

«...Некопебимо, как Россия...»

Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Орган Ленинградской
писательской организации

Нева

11 - 12
1991

Товарищество
«Журнал „Нева“»

Выходит
с апреля
1955
года

СОДЕРЖАНИЕ

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи объемом менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Сдано в набор 28.08.91. Подписано к печати 06.12.91. Формат бумаги $70 \times 108^1/_{16}$. Бумага газетная. Печать высокая. 23,8 усл. печ. л. 23,8 усл. кр.-отт. 27,73 уч.-изд. л. Тираж 230 750 экз. Заказ № 797, 1327
Цена 3 р. 60 к. (по подписке 3 р. 20 к.)

Адрес редакции: 191065, Санкт-Петербург, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, заведующая редакцией — 315-84-72, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики, критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

«Печатный Двор». 197110, Санкт-Петербург, П-110, Чкаловский пр., 15

Президенту РСФСР
Б. Н. ЕЛЬЦИНУ

Председателю Верховного Совета РСФСР
Р. И. ХАСБУЛАТОВУ

Министру информации и печати РСФСР
М. Н. ПОЛТОРАНИНУ

От имени создаваемой Российской ассоциации журналов мы вынуждены обратиться к вам, чтобы привлечь внимание к той катастрофе, которая угрожает сегодня всему журнальному делу. В связи с резко возрастающей стоимостью бумаги, полиграфических услуг и распространения, многократным ростом арендной платы за помещение подавляющее большинство журналов, в том числе наиболее популярных, внесших немалый вклад в развитие отечественной культуры и науки, становление демократии и гласности, оказались сегодня на грани гибели. То, что в свое время не сумели сделать ни политическая цензура, ни идеологические структуры партии, сегодня вполне может совершиться иным путем — путем экономического удушения журналов.

В Указе Президента РСФСР, направленном на защиту свободы печати, было дано поручение правительству России разработать меры по защите средств массовой информации в условиях перехода к рынку, однако мы до сих пор не знаем, что это за меры, как и когда они будут осуществлены, да и будут ли осуществлены вообще. Неопределенность лишь усугубляет положение.

Поймите нас правильно: речь не идет об интересах редакций или журналистских коллективов: мы защищаем интересы подписчиков, читателей, которых миллионы и миллионы, мы защищаем интересы культуры и науки, ибо закрытие журналов нанесет удар прежде всего по этим сферам. Крах журналов неизбежно отразится на интеллектуальном, культурном, нравственном состоянии общества — об этом нельзя забывать.

Кое-кто нам говорит: на рынке как на рынке, разве, мол, не сами журналы устами своих авторов отстаивали переход к рыночным отношениям. Однако в цивилизованных странах, лелеющих свое интеллектуальное богатство, давно найдены самые разнообразные способы решения этих проблем — от налоговых льгот до специализированных финансовых вложений. Нужны такие меры и в нашей стране, если мы не хотим, чтобы культура и наука были полностью подмяты единственной заботой — заботой о коммерческой выгоде.

Положение журналов осложняется тем, что стоимость подписки редакции вынуждены были определять заранее, еще в мае-июне этого года, и теперь в условиях галопирующей инфляции фиксированные цены на годовую подписку скорее всего приведут к банкротству многих изданий. Можно, конечно, попытаться финансовые тяготы переложить на плечи подписчиков, но вряд ли это будет правильный путь.

В Правление нашей Ассоциации вошли представители самых разных журналов — таких как «Юность» и «Октябрь», "Звезда» и «Нева», «Знание — сила» и «Квант», «Эхо планеты» и «Семья и школа», однако у всех этих журналов сегодня одни и те же беды и проблемы. Мы надеемся, что руководство России услышит наш голос. Ситуация требует безотлагательных действий.

Б. Н. НИКОЛЬСКИЙ,
Председатель правления Российской ассоциации журналов, народный депутат СССР, главный редактор журнала «Нева»

К этому обращению, принятому в конце ноября 1991 года, я бы хотел добавить несколько слов о ситуации, в которой оказался наш журнал. Как видите, уважаемые подписчики, нынешний номер «Невы» — не совсем обыч-

ный. Под одной обложкой объединены, причем в уменьшенном объеме, две журнальные книжки — ноябрьская и декабрьская. Шаг этот вынужденный. Он так же, как и существенное опоздание предыдущих номеров, вызван одной причиной — прекращением поставок бумаги Кондопожским ЦБК. К сожалению, ни прежнее союзное Министерство печати, уже прекратившее теперь свое существование, ни нынешнее российское Министерство печати и массовой информации оказались не в состоянии помочь журналу, не сумели защитить интересы четверти миллионов подписчиков «Невы». И искать выход нам пришлось по старой формуле: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Журнал, по сути, оказался перед выбором: либо закрыться, либо искать и покупать бумагу по цене, в несколько раз превышающей ту, что заложена в подписную цену журнала, и, следовательно, нести огромные убытки. Редакция, сознавая свою ответственность перед подписчиками, все-таки выбрала второй путь. Именно трудностями с бумагой, ее крайней дороговизной и объясняется решение выпустить сдвоенный номер. Редакция видела свою цель в том, чтобы полностью завершить публикацию второго тома «Марта Семнадцатого» А. Солженицына и тем самым выполнить свое обещание перед подписчиками.

Все это время редакция активно искала выход из создавшегося положения, и мы уверены, что в 1992 году читатели будут получать «Неву» бесперебойно. «Нева» в 1992 году придет к подписчикам в обновленном виде: изменится обложка журнала, изменится и формат. Изменение формата тоже вызвано положением на бумажном рынке. Что касается содержания, мы надеемся, журнал оправдает надежды читателей.

Начинает выходить литературное приложение к журналу. Уже увидели свет две книги: «Аквариум» В. Суворова, повесть, вызвавшая большой интерес читателей «Невы», и сборник, включивший ряд лучших произведений, опубликованных журналом: роман А. Кёстлера «Слепящая тьма», повесть Л. Чуковской «Софья Петровна», рассказ Е. Глинки «Колымский „трамвай“», пьесу А. и Б. Стругацких «Жиды города Питера». В дальнейшем в библиотеке «Невы» будут выходить не только произведения, публиковавшиеся на страницах журнала, в частности, нами готовится серия «Русская историческая библиотека» или «Летопись Петербурга».

Сейчас, когда погоня за прибылью, за коммерческим успехом все более и более захлестывает различные сферы нашей культуры, когда ожесточение охватывает все наше общество, мы видим свою главную задачу, чтобы оставаться верными великим принципам отечественной литературы и в меру своих сил служить делу добра и нравственности.

Б. НИКОЛЬСКИЙ,
главный редактор журнала «Нева»

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН

МАРТ СЕМНАДЦАТОГО

(23 февраля — 18 марта)

259

Так что ж, на том и скончалась наша слобода? Вот оно и всё? Винтовку в пирамиду поставь, и не тронь, и опять у офицерей в полной зависии? Третьего дня и вчера их как ветром выдуло, из казарм и с улиц, нигде не стало. А вот уже и ворочаются. Придут оглядчиво — а уже и тон берут на нашего брата? И — что теперь будет? Споткнулся ногою — платить головою. Одно — что слободу отведали, отдавать не хотится, а другое — что расплата? Не, мы не согласные! Надо нам, братцы, плечом к плечу устоять! Вот, бают, приказ какого-то-сь Родзянки, главного генерала: оружие у солдат дочиста отнять и чтоб офицерам подчинялись. Не-е, братцы, надо заступу искать. А где нам заступа? А есть такая заступа, кто уже побывал, сам видал: С о в е т! Там тоже-ть не наш брат, тоже-ть господа, но — другого сорту, которые всему супротив. Мы в бунте по колено завязли, а они — по пояс. Так что ежели кто совет нам и даст — так они. Вали к им, ребята!

И — валили иные с разных казарм, не зная ни прозванья того дворца, ни той комнаты,— а по памяти улиц да по наслыху — находили и пёрли.

Просто — пёрли, а что там и назначено в 12 часов дня в 12-й комнате собрание Совета рабочих депутатов — об этом мало кто знал. При дверях загораживали, спрашивали *манда-ты* — да сам ты такой! отодвинься, не дёржь! А кто из солдат: я — от такой-то, мол, роты, меня выбрали!

А внутри — рабочих в их чёрной одёжке лишь вкрапь, а всё шинели да шинели серые. И набивались в ту комнату, и набивались — а там сидячих мест только у стен, на спроворенных скамьях, накладом досок,— а то всё стоймя. А потом и сидячим из-за стоячих ничего не видать, и не сидеть, а лезть на те скамьи. И ещё один стол впереди — уже весь затоптанный, и на него лезут по нескольку, покричать, ещё и кулаками потрясти, вольнопёр какой-то из Финляндского:

— Товарищи! Пока мы тут доверчиво беседуем, а контрреволюция не дремлет, собирает грозные силы! А цензовый туз Родзянко издал приказ: всем солдатам вернуться и подчиняться!

И кричат ему сустречь, оттуда, отсюда:
— Сже-е-ечь приказ!
— Арестовать Родзянку!
— Мал-мала стряхнули — и опять? Не доломали барску кость?
— Мало их побили, покололи, надо б ещё!
— Теперя, говорят: нельзя. Осаждают.
— А кто говорит-то? Их же кумпания и толкует. А ты — не внемь.

А тот вольнопёр нажигает:

— Не верьте, товарищи, офицерским притворным улыбкам! Они какие были дрессировщики и палачи, такие и остались.

Всё гуще набивалось, уже и дверей не закрывали, и в дверях толпились, в теснота такая, даже сплюнуть некуда. Да такая лихоманка берёт, аж руки трясутся, и цыгарки не скрутишь: вот ведь как задумано у их — посогнут нам шею горше прежнего.

Окончание. Начало см.: Нева. 1991. № 6—10.

Долго.

А товарищ Максим тем временем с готовой бумагой:

— Вот есть, товарищи, проект воззвания к гарнизону... Офицерам оружия не выдавать, а передать его в ведение батальонных комитетов. В состав Военной комиссии делегировать солдатских депутатов... Исполнительному Комитету, в соответствии с высказанными мнениями, издать обращение и разослать частям гарнизона...

И Соколов забрал десяток депутатов и пошли они в заднюю комнату.

А тут — не стало просторней, как и было внабой. Но и расходиться не в пору: ещё не каждый выразил, и не про всё. Нам эта беседа сейчас сытее каши.

260

Утром довезли капитана Нелидова в ломовых санях и закутанного в обиходный сторожевой тулуп к воротам Московского батальона, тут он вылез, распахнулся и снова стал в офицерской шинели и при шашке. Подъехали по Лесному — и первое, что увидел с болью: проломленные, сорванные ворота.

Думали приехать в темноте, но извозчик завозился, и вот уже не только все были давно на ногах, но с плаца виднелся как бы выстроенный батальон.

Нелидов ждал, что у самых ворот его и задержат. Но никаких часовых не было, похромал дальше свободно.

Да, батальон как будто выстроен был или строился поротно, но и притом же многие солдаты шлялись по плацу во все стороны — или ещё не стали в строй, или уже вышли из него. А мелькали и чёрные фигуры рабочих, как будто здесь им и обитание. А капитан Яковлев верхом на лошади пытался строить батальон или ожидал конца построения. Офицеров при строе было видно мало — несколько молодых прапорщиков.

Опираясь на палочку, Нелидов стал пересекать плац к Яковлеву. Тот заметил, подъехал навстречу и склонясь с коня объяснил, что тут произошли выборы командиров. Он, Яковлев, выбран командиром батальона, 1-й ротой — выбрали всего лишь подпрапорщика, а 2-й и 4-й ротой утвердили Нелидова и Фергена. А час назад прибыл какой-то неизвестный прапорщик с бумагой из Государственной Думы, препоручающей ему вести наш батальон непременно к Думе, зачем-то обязательно приветствовать. В батальоне всё разорено, расстроено, не до радостных шествий, да и солдаты не все хотят идти,— но есть такой приказ, приходится подчиняться. Однако Яковлев не может отдать батальон пришельцу и решил вести его сам.

В груди так всё и повернулось: кого приветствовать? с чем приветствовать? И что это за порядок: капитан Нелидов и состоял командиром 2-й роты, зачем же его ещё выбирать?

Нелидов пошагал к своей роте. Тут навстречу ему вышло из строя несколько солдат, не спрашивая разрешения выйти или обратиться, и объявили, что рота выбрала его своим новым командиром. И сказано это было не оскорбительно, но дружелюбно, как бы наградно. Среди них мелькали и его виноватые унтеры, которые были позавчера в клинике.

Рота стояла, нестройно, галдела— и оттуда тоже выкрикивали капитану, что они его выбрали, верят ему, и он должен их вести к Государственной Думе.

А на многих были — безобразные красные лоскуты, невозможно смотреть.

Нелидов ещё весь был сжатый от вчерашнего заточения в клетушке — и вдруг вот расширился на весь этот разбродный плац, а теперь ещё и комедия шествия к Думе? Не успевала равновесить ни грудь, ни голова.

— Как же я, ребята, пойду так далеко? — ответил Нелидов, показывая роте на свою палочку.— Вы же знаете, у меня одна нога не действует.

Рота загалдела разноречиво. И поборолo:

— Мы вам лошадь оседлаем!

На лошади он ехать, конечно, мог, но не признался:

— Нет, ребята, с лошади я свалюсь. Идите уж без меня.

Согласились. И скоро их шаткая колонна стала выходить на Сампсоньевский, и Яковлев впереди верхом.

Опустел плац, сильно поредело в казармах.

Только тут сообразил Нелидов: где же Ферген, если он выбран 4-й ротой? И где Дуброва?

В офицерском флигеле, рядом с собранием, была квартира Нелидова. Но прежде чем туда, вошёл он в собрание, уже снаружи видя, что была тут стрельба изрядная.

Но что творилось внутри! Толпа мстительных чужих дикарей не могла наделать хуже. Не было ни одного уцелевшего портрета или уцелевшей картины, все изрезаны и исколоты, посрамлена и изгажена 106-летняя история полка. Хрустальные люстры побиты многими ударами каждая, и осколки на паркете. Вся мебель испорчена. На биллиарде сукно изорвали штыками, кии переломали, а все шары исчезли — разворовали, наверно. Духовые инструменты раздавлены, изогнуты, а барабаны прорваны. Полковой музей смешали в кучу мусора, исторические полковые предметы, мундиры бородинского времени,— всё растащено. Библиотека — рассыпана в книжные груды на полу.

Дурнило от такого поругания — как будто не русские, не дорога своя же слава.

Тут подошли к Нелидову трое полковых писарей. Сперва среди этого разгрома, медленно хрустя под подошвами разбитым и истолчённым, потом отведя в свою канцелярию, они рассказали ему много.

Как позавчера шёл бой за офицерское собрание. А этот весь перебив и погром был уже в ночь за тем. Били — солдаты 3-й роты и с ними многие рабочие.

Полковник Михайличенко? Как уехал ещё до восстания в штаб, так в батальон и не возвращался. Но оттуда ушёл всего-то в свою квартиру на Васильевском острове. Там его и схватили сегодня утром, куда-то повезли на грузовике.

Штабс-капитан Ферген? Он где-то здесь. Капитан Дуброва? Его хватил паралич, на носилках унесли в полковой лазарет. Но доктор не хотел его у себя оставить, тоже боялся — и перенесли его в детскую больницу, рядом с казармами. Но и там он не остался — перевезли в Выборгскую городскую больницу. Но и нашли его там: ворвалась толпа и поволокла прямо с кровати на улицу — плевали в него, издевались, били, собирались расстреливать. Но подъехал какой-то автомобиль, и спасли его, забрали в Государственную Думу.

Всё перевернулось, в голове кружилось.

А писари не без гордости рассказывали о своей стойкости: выбранному теперь батальонному комитету и от него приходившим уполномоченным не дали ни одной справки, не объяснили ни одного пути, как решать хозяйственные дела. Оттого-то за сутки солдаты хватились и сегодня стали своих же офицеров выбирать на прежние должности.

Да солдаты бы так не дурили, не бушевали, если б их не подбивали штатские с Выборгской стороны.

И опять в каком-то головокружении, потеряв всякую нить смысла, пошёл Нелидов бродить по собранскому разгрому, хрустя сапогами.

И увидел другого такого же печального одинокого бродящего — штабс-капитана фон-Фергена!

— Алексан Николаич!

Они не виделись с позавчерашнего утра, тёмного предрассветья, когда расходились со своими командами по разным местам Выборгской стороны. Всего с позавчера?..

Теперь встретились как в покойницкой.

Глаза Фергена смотрели напряжённо-остеклело, как потеряв самого близкого.

— А вас в Думу не заставляли идти?

Ферген неколебимо:

— Я им ответил: никуда не пойду и не буду вами командовать, пока вы не снимете красных тряпок и не примете настоящий строй.

— А они что?

— Заорали, рассердились. Я ушёл.

Стояли на осколках.

— А пойдёмте, Александр Николаич, ко мне,— вспомнил Нелидов, что и сам до своей квартиры никак не дойдёт.— Отдохнём, подумаем, что дальше.

Квартира Фрегена была в городе.

Дошли до флигеля близ полковой церкви. Стучали — не сразу Лука открыл. Встретил с лицом заспанным. Стал оправдываться, что ночами спать не давали, приходили обыскивать. Но перед налётом солдат успел золотые, серебряные вещи и что поценней — упрятать в печку, нечего было им и брать. Если б и сегодня капитан не пришёл — он думал туда, к нему в укрытие, пробираться. Да Лука и правда предан.

В комнатах было нетоплено, Лука спал, хорошо укрывшись. Один миг, один миг — сейчас он и растопит и накормит. Доставал из золы подстаканник, ложки, чарки, кольцо — и вот уже растапливал, и дрова приятно потрескивали.

Сели офицеры, опустошённые, мрачные, друг против друга через пустой стол. Кто что пережил и знал за эти дни.

Ферген рассказывал, как третьи сутки по разным местам Выборгской стороны никем не сменяемые караулы московцев продолжают и сегодня стойко стоять, не уходят. А здесь в батальоне такие же солдаты — и...

Потянуло теплом по обеим комнатам.

А ещё и поевши горячего — вдруг почувствовали изнурчивую усталость. Ещё был день — едва за середину, и не сделали они сегодня ничего,— но как будто должайший, труднейший день их жизни подвалил к концу, они больше не выдерживали, устали самой душой.

И Нелидов сказал:

— Может, спать ляжем? А?

Не раздевались — только сняли сапоги, накрылись и заснули при белом свете.

261

Тут же, в начале Остоженки, был и штаб Московского военного округа, и Воротынцев сразу отправился туда: там должны были всю ситуацию знать, и оттуда всё станет ясно. Правда, состав штаба сильно изменился от 14-го года, приятелей у него тут не осталось, но — знакомцы среди офицеров, да и толковые старшие писаря.

Пошёл — лишь узнать, но пробыл там часа три — быстрей нельзя было собрать и осознать всю картину, да она всё время и менялась.

Впечатление было — ошеломляющее. Происходило нечто просто недостоверное — и в такие короткие сроки, что Воротынцеву не верилось вдвойне: как же он черезо всё это прошёл — и ни обломком не был задет. В воскресенье, когда из Петрограда уезжал — совсем тихо. В понедельник в Москве — как будто покойно, ничего не заметил. А вторник...

Узнавая от штабных, что происходило в Москве вчера и что сегодня, Воротынцев, конечно, не открыл им, что сам-то здесь уже третий день, и что сам из Петрограда. Невозможно было признаться, что и там, и здесь он всё пропустил.

Да в Москве вчера своих событий никаких особенных: ни столкновений, ни стрельбы, ни захватов зданий, ни арестов должностных лиц. И сегодня — работает водопровод, освещение, телефон, банки, торговые и присутственные места, всё обычным порядком, нет только трамваев и газет. Всё — только отзвук Петрограда и волнение ожидания. Но нетерпеливые студенты и курсистки начали стекаться на Воскресенскую площадь. Члены городской думы выходили к ним с речами. А потом потянулись и рабочие, обыватели, гуще толпа, потом и другие сходки по городу. Однако в самой думе кипели речи всё законной публики, не революционеров, а благомысленной части населения,— как ей запретить? Если где и требовалось какое вмешательство, то только полицейское. Но ни полиция, ни конная жандармерия нигде ничему не препятствовали, на всех заставах пропускали шествия с красными флагами. Близ думы топтался на конях жандармский эскадрон и не знал, что предпринять. Тогда почему же должны были действовать военные власти? А войска — были заведены в казармы, и сидели там.

Как будто правильно.

Но вот что, студенты перелезли через забор Александровских казарм, прорвались в запасной пехотный полк, в школы прапорщиков — уговаривать солдат и юнкеров поддержать великие петроградские события,— и никто им не воспрепятствовал? И так же врывались агитаторы в Спасские казармы. Но и это не побудило штаб Округа ни к каким действиям! А поздно вечером и прямо уже пришла сбродная команда приветствовать бунтующую думу — и всего-то измыслил за ночь Мрозовский свой приказ об осадном положении? — уже сегодня утром всем на смех, без военной силы его не установить.

От Мрозовского, невылазно сидевшего дома, всё же сведенья перетекали к его помощнику генералу Протопопову, и дальше через полковников — по штабу. Мрозовский — не хотел кровопролития. И поэтому отказывался вообще от каких-либо действий войск! Начальник московского охранного отделения Мартынов предлагал Мрозовскому объявить блокаду Петрограда как захваченного врагами отечества и из надёжных частей создать заслоны между столицами — но Мрозовский не мог на это решиться без указаний Верховного Главнокомандующего.

И вдруг ночью узналось, что Государь сам поехал в мятежную столицу — так вот, всё и решено, замечательно, он сам там и примет меры, зачем же блокировать Петроград? А тут пришёл слух, что Эверт движется с войсками на Москву,— так и замечательно, Эверт придёт — и порядок сам восстановится. И этой же ночью пришла телеграмма из Петрограда в городскую думу, что Челноков теперь будет не городской голова, но назначается *комиссаром* Москвы — страшное слово, оно парализует, а Мрозовский не хотел ссориться с новым начальством? А сегодня с утра пришла грозная телеграмма от Родзянки самому Мрозовскому: что никакая старая власть вообще больше не существует! — перешла к Комитету Государственной Думы под родзянковским председательством, и все петроградские войска признали новую власть, и Мрозовскому также приказано подчиниться, иначе на его голову возлагается вся ответственность за кровопролитие.

И действительно ополоумеешь.

И Мрозовский, видимо, затрепетал. И стал звонить новому комиссару Челнокову, умоляя его приехать поговорить. Однако Челноков не ехал.

Генерал Протопопов, сидевший в штабе, сам очень склонялся — признать реальностью и подчиниться ей, и даже побыстрей подчиниться, пока новая власть представлена уважаемыми именитыми гражданами, а не перешла в безответственные руки крайних левых. И вся тыловая бледнота, какая заседала тут, в штабе,— генерал Вогат, полковник Вонсик, Котляревский, и дальше, и мельче, Вильмис, Бузри, Фишер, Руновский,— все ещё желательней подстраивались к этой успокоительной позиции. По начальному часу обязательных занятий все прибыли в штаб — и были настроены тем более ни во что не вмешиваться сегодня, когда в Петрограде ещё более определилась и укрепилась новая власть,— зачем же конфронтировать ей? Обстановка деликатная.

Сила и слабость военной иерархии! Непобедимая сила, когда сверху твёрдая команда. И — раскислое тесто, когда сверху команды нет.

Ещё эта поездка Государя в Петроград... Что двинуло его из Ставки в такую минуту? Неужели — сам поехал навести порядок? Поездка лишняя, но эффектно: самому войти в гущу бунта!

Но нет, но нет. Он слишком кроток. Не может быть, чтоб он на это решился. Он — наверно поехал со всеми мириться, то на него скорей похоже.

А уж сегодня — сегодня Москва и вовсе бурлила шествиями, час от часу — вот пока Воротынцев бродил по штабу, подсаживаясь там и здесь. Говорили: мятежниками занято градоначальство, градоначальник сбежал, губернатор объявлен под домашним арестом! Полиция вовсе исчезла с улиц, и будто городовых сажают под арест, неизвестно чьим распоряжением. А толпы —

приветствуют новую власть, которую никто ещё не видел и не понимает,— и при неотменённой старой...

А Мрозовский прятался у себя на квартире, будто его не касались события в этом городе и в этой стране. (Боже! и ведь бывали на этом посту какие решительные генералы, Малахов! почему сейчас так несчастно оказался Мрозовский, решительный только в грубости к низшим по чину?) А когда иные командиры частей просили разрешения действовать — из обезглавленного штаба им отвечали: повременить, как-нибудь обойтись пока. И войска Округа распадались на осколки, отдельные казармы, каждая из которых управлялась своим отдельным разумением. А из каких уже текли и струйки солдат с красными флагами к думе.

Да действовать же! действовать быстро и круто! Надежды штаба, что кто-то одумается или Эверт придёт выручать Москву,— это не военное: нельзя ждать, чтобы твой участок держали другие. В разгар войны разлагается и гибнет центральный гарнизон страны, вторая столица и центр траспортных путей,— по отношению к Действующей армии это прямая измена!

Но — кому действовать и как? Тут никто не намеревался. А — как Воротынцев мог вмешаться? в каком качестве? Его никто не звал — и никому тут он не мог себя предложить. Здесь штаб насыщен собой и не вмещает постороннего полковника. В Спасских казармах или Манеже — там тоже везде свои командиры, при чём какой-то чужой полковник? Сила армии в том, что каждый на своём месте, а дартаньяновская шпага никому не нужна.

Ещё было своё родное Александровское училище, звонил туда знакомому преподавателю — тот отвечал, что училищем принята задача: сохранить своих юнкеров от касательства этих событий.

Вот оказался Воротынцев: как будто у самого места, в разгар событий — и никому не нужен.

Да и правда, раздуматься: как действовать? Как можно действовать войску против миролюбивой толпы, когда никто не стреляет, всё только радуется, и какая-то пехота тоже там радуется. Какими силами и средствами кто бы взялся сейчас разогнать эту радостную толпу по местам её жительства и работ? Никто не обнажает даже холодного оружия, никакого сражения нет.

А может быть всё и обойдётся спокойно само?

Тут — все кинулись к окнам на Пречистенку. И Воротынцев за ними. И увидел: с Волхонки на Пречистенку медленно переезжал большой отряд жандармов, чуть не дивизион? в полной парадной форме, в полном порядке,— но ничего не предпринимали, уезжали куда-то из центра прочь.

С тротуаров, с бульвара им улюлюкали — но не трогали.

Покинули Манеж? Так в центре вовсе не осталось полицейских сил.

А между тем подошло время перерыва занятий — и штаб спокойно расходился на полуденный завтрак. Надо было и Воротынцеву уходить.

Но — куда же?

Да куда же, к себе, в Девятую армию?..

Ему нужно было ещё время для соображения. Оя не мог ничего предпринять — яо и уехать теперь уже не мог.

Вышел — и просто пошёл в недоумении, как будто тоже хотел присоединиться ко всеобщему ошалелому ликованию. Пошёл — по Волхонке.

И погода была, как для всеобщего гуляния, наилучшая: солнечный день, лёгкий морозец (в тени зданий и покрепче).

На крышах трамвайных станций — красные флаги.

Но не было ни трамваев, ни извозчиков. Иногда тянул ломовой на санях, а на нём — компания в складчину, кто и стоя. А то ехал перегруженный грузовой автомобиль, а в нём — натолпленные солдаты с винтовками, студенты, реалисты, гимназисты, и машут публике красным. И они — „ура!", и им с улицы — „ура!".

Но — народом! народом были залиты улицы, и по мостовым, да больше всего по ним! Зимой тротуары дворниками чистятся, а мостовые нет, оттого они намащиваются выше тротуаров, и блестяще накатаны санями, белые, когда не порчены грузовиками. И теперь-то все валили по этой мостовой полосе, оттапливая снег и измешивая с грязью. То разрозненная, то густая толпа,

будто весело расходясь после какого-то сборища. Вся Москва на улицах! — и барыньки в мехах, и прислуга в платках, и мастеровые, и солдаты, и офицеры. Так дико видеть солдат с винтовками, а без строя, прогулочной развалью, а кто и с красным на груди. Большинство отдавали офицерам честь, а иные как бы забыли. Но неуместно было остановить и призвать. Хотя каждый, не отдавший честь,— как будто ударил, такое чувство.

А то идут: солдат и студент обнявшись, у солдата — красный флаг, у студента — ружьё.

А какой-то штатский — ошалело нараспашку, болтается шарф.

И на всех лицах — радость пасхальная, умилённые улыбки — и ни у кого угрозы. Если действовать вооружённой частью — то против кого?..

Воротынцев, с малым чемоданчиком в левой руке, держался больше тротуара.

Всего странней было встречаться с офицерами: они так безупречно отдавали честь и так спокойно миновали, как будто ничего особенного не происходило вокруг. И оттого выглядело, будто офицеры — соучастники происходящего.

И от этого офицерского равнодушия при нагуленной радости толпы Воротынцев испытал ещё новый толчок проснуться: да что ж это происходит? Что за всеобщий морок, обаяние, измена? Почему никто не противодействует, никто не беспокоится?

Но — и мятежа ведь нет никакого! Никто никому не перегораживает дороги, а просто гуляет вся Москва!? А — после чего веселье? Никакой скорби не было заметно накануне.

Все обыватели и прислуга — просто валили поглазеть, что деется. Там — мальчишка лезет на чугунный трамвайный столб. Тут на заборчике детвора поменьше уселась рядком и лупится.

А ещё заметно, что заговаривают, знакомятся — незнакомые, и что-то радостное друг другу, и поздравляют? и даже обнимаются, даже целуются. (Это — публика, получше одетая, она больше всех и рада.)

Не понимая ни пути, ни задачи, пошёл Воротынцев по Моховой. Тут публика густилась ещё тесней, появилось много студентов, курсисток. Эти были особенно оживлены, сверкали зубами, хохотали, и около университета строились в колонну.

На стене висел лист, отпечатанный на ремингтоне. Около него — кучка, читали. Подошёл и Воротынцев, достоялся, прочёл. Арестован Щегловитов. Арестами врагов отечества заведует Керенский. (Такого не слышал.) Военное ведомство поручено полковнику Энгельгардту. (Это ещё кто такой? что за чушь?)

А из Манежа свободно выходили и входили бездельные солдаты, офицеров не видно, и понятно стало, что Манеж уже не сопротивляется.

Конечно, если из Ставки пошлют войска на обе столицы — всё это московское гулянье и петроградское самозванное правительство сдует как ветром. Да может уже и посланы? Но Государь зачем-то поехал в Петроград? — бросил мощную Ставку и поехал в плен к родзянковскому правительству?

Нет, в голове что-то недорабатывало. Мимо Манежа толпа густо текла к Воскресенской площади. Воротынцев знал, что там — центр и все туда собираются. И тоже свернул, тротуаром, еле пробираясь в тесноте. А спереди сюда, к Александровскому скверу, доносилось особенное гудение площади. Отсюда начиналась едва не сплошная масса. А тут ещё, позади Манежа, подвалило большое чёрное шествие рабочих, тоже конечно с красными флагами. Они шли, взявшись в шеренгах об руку — это производило впечатление силы. И через толпу они проникали уверенно. И — длинно, какой-то целый завод.

И что-то не захотелось Воротынцеву идти к городской думе.

По Моховой прошёл до Тверской — и здесь не миновало его увидеть шествие пехоты, батальон: спускались по Тверской с оркестром, с полковым флагом и с большим красным полотнищем на древке,— гонко спускались, строй разляпистый, но держали ногу, и вот что: на своих местах шли и младшие офицеры — по счёту не все, а бодро, уверенно, даже весело выглядели.

Шествие этой оформленной воинской части более всего потрясло Воро-

тынцева: армейская часть шла в строю приветствовать самозваную власть, когда и старая ведь никуда не делась!

Нет, это они без хозяина рассудили...

Но — к а к же назвать то, что делалось?

На Тверской на тротуарах толпилось столько зевак — и не пройдёшь. Поднимался Воротынцев по Тверской, выходя и на мостовую, с измешанным бурым снегом. Валила густо публика и вверх, и вниз.

Вдруг послышалось сильное странное тарахтенье и гул. Публика шарахнулась. Потом догадалась смотреть вверх. Вдоль Тверской летел аэроплан! Все запрокидывали головы, всё останавливалось.

Летел низко, саженей сто, хорошо виден, то ещё снижаясь, то повышаясь. Ничего не разбрасывал, а на крыле нёс красный флажок...

И — туда же, к Воскресенской.

И ему с улицы кричали „ура" и шапки подбрасывали.

Зато следом ехал опять грузовик — с солдатами, рабочими, студентами — и разбрасывали направо и налево какие-то листовки. Прохожие хватали. Воротынцеву любопытно было бы прочесть, но не мог полковник нагнуться и поднять. Или просить у кого-нибудь.

И ещё прокатили вниз две трёхдюймовые пушки — этим толпа кричала особенно восторженно. Номера ходко шли рядом и помахивали.

Несколько штатских провели арестованного городового — рослого, с полицейским самоуверенным лицом.

С генерал-губернаторского дома тоже свисал красный флаг. Вот так-так. Суета подле него, автомобильная и санная, показывала, что новая власть занимала места.

А по ту сторону: на поднятой шашке Скобелева — торчала красная тряпка. У памятника возвышался оратор, на чём-то поставленный. Он не говорил, а выкрикивал — и сотни две любопытных густилось вокруг, и кричали ему одобрительно. (Разглядел Воротынцев, что кричит он с грузовика.)

А в Гнездиковский сворачивали — там было разгромлено охранное отделение, любые заходили туда, оттуда выносили бумаги, читали, смеялись.

Пока дошёл Воротынцев до бульвара — встретил ещё новое: два студента на двух палках несли какой-то фанерный щит, а на нём наспех, неровными буквами, с подтекшей краснотой: «Да здравствует демократическая республика!»

И после этого показалось Воротынцеву, что он уже перевидал сегодня всё мыслимое. И больше нечего ему ходить, смотреть, больше нечего делать в Москве.

Но он ошибся.

Памятник Пушкину у начала Тверского бульвара был приметно ощетинен. Одна палка с красным долгим вымпелом торчала от плеча его — и вверх, высоко. Другая — по согнутому правому локтю — и вперёд. Ещё два флага выдвигались из низа постамента. Сам поэт был перепоясан по плечу наискось красной лентой. А на постамент спереди прикреплена сплошная красная бязь, и на ней довольно тщательно выведено белыми буквами:

Товарищ, верь, взойдёт она,
Заря пленительного счастья!

Вокруг цепной обвески памятника стояли где дамы, где купеческого вида старики, старушки с обвязью платков поверх меховых шапок. Несколько солдат, несколько — типа прислуги.

Эти — глядели и через цепи, на ту сторону, лускали семячки на снег.

МОСКВА ЗАМУЖ ИДЁТ! — ПИТЕР ЖЕНИТСЯ

262

На подъезде к Таврическому шествия с параллельных улиц втискивались в Шпалерную, а с тротуаров махали им и кричали. Кутепов поглядывал с

омерзением. Стоял будний день, среда, третья неделя поста, 32-й месяц войны, на фронте сидели в собачьих норах, сторожили врага, хода сообщения заметало снегом и в них проносили стынущие котелки, Россия воевала, закопанная в землю, а эта столичная развратная шваль ликовала от того, что перебили полицейских, и можно безобразить, пить и грабить.

В сквере перед Таврическим была уже неописуемая давка, круговорот, и солдаты, хотя большей частью с винтовками, но так расхлябаны и во все стороны повёрнуты, что производили впечатление согнанных военнопленных.

Однако Кутепов с Холодовским крепко, очень уверенно шли — и проложили путь ко входу.

В вестибюле Кутепов сразу узнал ящики винтовочные и с несобранными пулемётами. А в следующих залах густилось ещё непробиваемей и бессмысленней: опять то же изобилие потерянных людей, развёрнутых в разные стороны, а над толпою кой-где фигурки размахивающих ораторов и красное.

Но возмущали Кутепова даже не весь этот отвратительный вид загаженного дворца, красные подделки флагов, когда российское государство имеет свои знамёна, а как будто уже признанное право солдат не отдавать чести. Никто не проявил к полковнику и капитану враждебности, не сказал дерзкого слова — но скользили по ним равнодушными взглядами, как по равным. И вот это наглое равнодушие больше всего глушило Кутепова, как если б рухались колонны залов. Если нет почитания офицеров — то нет армии. Сколько он жил, сколько служил — на этом всё держалось.

Где же было искать полковника Туманова? Куда было идти? Спросить — решительно не у кого.

У многих дверей стояли часовые — юнкера или преображенцы! — из 4-й роты. Спрашивали пропуска. У Кутепова никто не смел требовать — и он свободно входил, куда хотел, но так же быстро и выходил, не находя искомого военного штаба.

В одной просторной комнате со столами под бархатом он застал как бы заседание, но беспорядочное, без правил, а собеседование общее — человек сорок прилично одетых людей, без пальто, в сюртуках, в галстуках, может быть членов Думы, может быть общественных деятелей, и среди них несколько офицеров, они сидели в креслах, на стульях, тоже довольно в разные стороны, и обсуждали не в единый голос — что же?.. На Кутепова с Холодовским не обращали внимания, они постояли и вслушались.

Спорили вот о чём: что лучше — монархия или республика? В России сейчас — но и вообще в мире всегда. И вспоминали Афины, Рим, Карла Великого, и конечно Францию, Францию, в разные её столетия и десятилетия.

Кутепов стоял и молча слушал. Слушал — и наливался гневом. И почувствовал, что уже не может уйти, смолчав. Но и публичной речи — да ещё перед такими слушателями, он не произносил никогда в жизни.

И вдруг, пренебрегая очередным оратором, перебивая его, выступил военным шагом на пространство, всем видное впереди, и повелительным басом сказал:

— Господа! Стыдитесь устраивать диспут, когда гибнет государство! Что вам Афины, если в вашей квартире пьяные солдаты с обыском? Я удивляюсь вашим пустым разговорам в такое время. Столица — в разорении. Говорить надо о том, как навести порядок и спасти положение. Если этого не сделать сегодня же, сейчас — то потом будет поздно. И толпа сотрёт вас всех с вашими Афинами — с лица земли.

От удивления — все слушали. Но подкатило Кутепову к горлу, что — не стоит дальше говорить, ни к чему он их не склонит, это совсем безнадёжно. И остаться слушать, что они ему ответят,— так же бесполезно.

И он — повернулся круто, зашагал военным шагом, пропустил вперёд Холодовского и сильно хлопнул за собой дверью.

В самом дворце у них торжествовало неистовство и распущенность, а ведущие умники России, заслонясь одною дверью, рассуждали о республике!

Где же искать Туманова? Стали опять пробиваться — и в коридоре натолкнулись на полковника Энгельгардта.

Это был довольно слабый когда-то академист, из гвардейских улан, зачем-

то протаскиваемый через высшее ученье, затем рано ушёл в отставку и в сельское хозяйство, и хорошо сделал. Но избрался в Государственную Думу, а вот теперь по революционным дням опять напялил мундир полковника? — и неважно в нём держался.

Обменялись рукопожатием, и Кутепов сразу спросил, какие меры наметил полковник принять для водворения порядка. Тот ответил, что за Петроград он больше не отвечает, градоначальником города Петрограда только что назначен доктор медицины Юревич, который и наведёт все порядки.

— Кто? — не мог Кутепов поверить, что доктор медицины.

Но именно так. Профессор Военно-медицинской Академии.

Посмотрел на него Кутепов как на безумного. Но всё же попробовал дать совет: в запасных батальонах (он это почерпнул, приехав) есть солдаты, которые последний год постоянно дежурили вместе с городовыми на остановках трамваев, на перекрестках, имеют опыт наведения уличного порядка. Надо сейчас их всех разыскать, надеть им комендантские повязки, поставить на знакомые обязанности. И толпа сразу почувствует, что на улице есть власть.

Энгельгардт вспыхнул румянцем:

— Прошу меня не учить!

Кутепов посмотрел на него сверху:

— Да я не то что учить, я даже разговаривать с вами не желаю. Но помните, что никакие доктора вас не спасут.

Повернулись с Холодовским — и пошли. Куда ж? Наружу, прочь. Что ж теперь искать Туманова, если он подчинённый Энгельгардта.

На крыльце они встретили толпу, несущую на руках тяжёлого Родзянку в окружении красных флагов.

Ящики с патронами куда-то утаскивали и грузили.

Разбередился Кутепов, расстроился и решил, что отпуск свой обрывает и уезжает в полк.

263

Кто долго служил в армии или кто знает народную жизнь и перенял её мудрость, тот и знает, что во всяком угрожаемом и неясном положении, когда требуют от тебя невозможного,— не надо отрубать не́том, даже не противиться открыто.

Не мог Иудович напрямую отречься перед Государем, не мог поколебать его милостивое к себе доверие, распахнуться простецки, мол увольте, Ваше Величество, ослаб, не могу, совсем я не тот герой, какого вы во мне видите,— не мог увидеть разочарование в глазах Государя, да не мог покачнуть своего почётного генерал-адъютантского положения, без которого как же дальше ему жить? Ещё может быть он будет переназначаться на высокий пост?

Да вот и назначался — диктатором.

Не принять такого поручения, не ехать на Петроград, спасать родину,— Николай Иудович никак не мог. Но в его возможностях оставалась оттяжка.

Уж он собирал свой батальон, и уговаривался со Ставкой, и разведывал петроградскую обстановку — как мог долго. Уж ехал поздно — а поехал ещё поздней. А прицепивши наконец свой обжитой вагон-дом к поезду георгиевских кавалеров — он и в пути не метал громов на естественные задержки, не требовал к себе на разнос начальников станций и военных комендантов, а покорно подчинился всем замедлениям и сложностям железнодорожного передвижения, как мужик со своею работою пережидает ненастье. Вчера в семь вечера проехали Витебск — да и завалился Николай Иудович спать, на своей привычной мягкой постели, в своём обиходливом прилаженном вагоне. Неизвестно, какие беспокойства и опасности ждали его на следующий день, а пока, в ближайшие часы, выгодность его положения была, что ни с кем он не имел связи и никому не давал отчёта.

И ночь прошла очень спокойно. А сегодня утром ждал диктатора тот приятный сюрприз, что за ночь вместо четырёхсот вёрст проехали только двести и находились всего лишь на станции Дно. Это давало большую надежду ещё и весь день 1 марта никуда не доехать, не вступить в дело. А за этот день

в Петрограде всё и без него должно прийти к какому-то концу. Иудович очень приободрился.

А тут представили ему едущего через Петроград из отпуска командира пехотного Дагестанского полка барона Радена. И что, порассказал барон, творится в Петрограде — онемеешь: мечутся толпы распущенных пьяных солдат, отбирают у офицеров оружие, не глядя на чин и боевые заслуги. И приставляют дула к голове. И стреляют на улицах запросто, как разговаривают.

Так много и живописно этот полковник рассказал,— распорядился генерал-адъютант, чтобы полковник тотчас написал подробный доклад на имя начальника штаба Верховного.

Пусть Алексеев почитает и поймёт, каково там, в Петрограде.

А тем временем поднесли Николаю Иудовичу сильно запоздавшую телеграмму из Ставки: что ещё вчера в полдень оставшиеся верными части должны были покинуть Адмиралтейство, чтобы не подвергнуть разгрому здание. Части эти распущены по казармам, а ружья, пулемёты и замки орудий сданы морскому министерству.

Вот так.

Да и слава Богу, всё кончилось без лишнего кровопролития.

Теперь ясно, что с батальоном нечего на Петроград и соваться. Приедешь туда командовать всеми войсками Округа — а тебе просто приставят дуло к голове, как этому барону.

Там, небось, и пулемёты уже приготовили ко встрече.

Но другая телеграмма подтверждала, что на помощь диктатору идут войска, посланные с Северного фронта и даже ещё подкреплённые.

Но можно было надеяться, что сегодня они никак не прибудут, самое раннее — завтра. А до завтра ещё, Бог поможет, как-нибудь распутается само.

Но и прекратить движение к Царскому Селу — тоже невозможно.

Ещё хорошо, что царские поезда ездят теперь кружным путём по Николаевской дороге. Очень было бы неловко Иудовичу по той же дороге от них отставать или на какой станции ещё встречаться с Государем.

Двинулись потихонечку дальше.

Тут на станциях от комендантов и железнодорожной жандармерии стали поступать жалобы, что по этой ветке в поездах из Петрограда едет множество солдат вне своих частей, неизвестно куда и зачем, многие пьяные. И на станциях впереди — отбирают у офицеров и у станционных жандармов оружие и производят разные насилия.

Волей-неволею приходилось уже вступать в действие. Вёз диктатор с собою грозное право военно-полевого суда — и мог бы тут же на станциях вершить суд и расстреливать. Но он никак бы не хотел этих жестоких крайностей, а надеялся усмирять, по-отечески, что и приведёт к общему успокоению, хотя и задержит экспедицию в пути.

На следующих станциях велел генералу Пожарскому осматривать встречные поезда. Да и сам со своею мининской бородой толкнулся в один вагон, надеясь всех сразить и на колени поставить,— но в проходе даже пройти было нельзя, всё забито безбилетными и странной какой-то публикой: многие в штатском и все молодые мужчины. Тут из пассажиров надоумили генерала: это в Петрограде грабили магазины одежды, вот солдаты переоделись и теперь разъезжаются по домам, зачем им в частях оставаться?..

И ушёл генерал-адъютант из того вагона, так ничего и не предприняв.

А дальше приходили навстречу поезда с выбитыми стёклами, давка на площадках, всё забито солдатьём. Стали георгиевские патрули ходить по вагонам — стали пассажиры, где женщины, где старики, показывать, какие солдаты-забияки отбирали офицерское оружие. Тех забияк стали арестовывать в свой эшелон, а оружия офицерского отобрали назад до ста экземпляров.

Тут, выскакивая из вагона, на самого генерал-адъютанта нашибнулся солдат с тремя шашками — две в руках, одна на боку и ещё винтовка за плечами. Генерал размахнутую шашку успел отвести, а солдат успел укусить его в руку. Этого бы негодяя тут же коротко судить и расстрелять. Но не хотелось масла в огонь подливать, и без того опасная обстановка.

Обстановка — теперь видно, в Петрограде какая.

Подошёл следующий поезд — там шапки подкидывают: „Теперь — свобода, все равны, нет больше начальства!" Пока их образумливали, кого и на колени ставили,— нашёлся среди них переодетый городовой в штатском и тоже кричвл „свободв!", значит — скрывался так. Арестовали и его.

Да если сплошь порядок наводить, то и двигáться вперёд не надо, только встречай эшелоны. Но Николай Иудович не забывал о боевой задаче — и поезд их продвигался. К сумеркам прибыли в Вырицу.

Тут узналось, что в Царском Селе ещё вчера произошли беспорядки, войска вышли из повиновения — и там теперь мятеж.

Вот так-так: и царская семья, значит, в плену? Ай-ай-ай, ай-ай-ай! Государыня императрица! И сам наследник!

Но если и Царское Село уже в их руках — то как же двигаться дальше генералу Иванову?

А был к нему приставлен от Ставки начальником штаба отряда подполковник Капустин. Так из его замечаний Иудович понял, что тот и сам пропитан мятежным духом и сочувствует бунтарям.

Да донесли Николаю Иудовичу, что и Пожарский ещё в Могилёве говорил офицерам, что стрелять в народ не даст, даже если Иванов ему велит.

Так тем более надо быть теперь осмотрительным.

Но и не продвигаться к Царскому Селу тоже нельзя: ведь полки собираются на той линии.

Распорядился Николай Иудович: сзади к своему составу прицепить другой паровоз, головой назад, чтобы в любую минуту можно было дать задний ход.

С величайшей осторожностью двинулись.

264

Уже знал генерал Беляев все новости, как министров арестовывают. А уцелевшему Покровскому на Певческий мост вчера днём передавал приказ Государя всем оставаться на местах, едет генерал Иванов.

Но сегодня в этого Иванова уже переставал верить.

И куда же было деть себя военному министру, теперь уже очевидно бывшему, но всё ещё не арестованному, а значит вынужденному принимать решения и распоряжаться своим телом? Вчера вместе с генералом Занкевичем вовремя ретировавшись из Адмиралтейства от гиблого хабаловского отряда, генерал Беляев этим намного продлил своё свободное существование.

Вчера же в Главном Штабе первые часы он ещё сидел у прямого провода, слал донесения в Ставку, отвечал на её вопросы, принимал её поручения, всё ещё надеясь на её силу и её спасительное вмешательство. Во второй половине дня приходили даже полные отчёты о движении войск на Петроград — но из медленности его стало ясно, что если Ставка и придёт спасти столицу, то для жизни Михаила Алексеевича Беляева уже будет поздно. (И около самого Главного Штаба так близко и гулко стреляли из пулемёта!)

Какая удивительно быстрая, удачная, завидная карьера — и погибала!.. (Два месяца назад тоже был критический момент: потерял пост при румынском короле и уже в отчаяньи ехал принимать дивизию — как Государь вызвал телеграммой в Петроград и назначил министром.)

И хорошо Занкевичу: он в Главном Штабе на своей службе, он может тут и дальше оставаться, он не был прямо связан с прежним правительством, и его несчастное участие последние сутки в действиях хабаловского отряда вообще могло утаиться. Он был нейтральный военный специалист, который мог теперь хоть и вступать в переговоры с новыми властями. (И на этой-то должности Беляев и состоял ещё прошлым летом. И — как хорошо бы сегодня!)

И хорошо было морскому министру Григоровичу. Хотя и на посту вполне аналогичном беляевскому, он пользовался симпатиями Думы, даже срывал там аплодисменты, а вот весьма кстати заболел, вовсе не участвовал в последних действиях правительства, а вот сумел и отказать в гостеприимстве хабаловскому отряду. Всё это настолько укрепило его положение, что (Беляев с ним всё время сносился по телефону, ища решения для себя) адмирал Григорович просто позвонил в Думу и попросил прислать себе охрану! И ему

прислали! А ещё для большей безопасности ото всякого рвзгрома он, поскольку был человек одинокий, перешёл из комнат своей квартиры в комнаты морского штаба.

Беляев тоже был человек одинокий, неженатый (всегда преданный только службе, её приказам, циркулярам и предписаниям) — и это тоже облегчало бы задачу его личного спасения,— если бы он имел такую хорошую общественную репутацию, как Григорович. Увы, нет. От Нового года, перейдя с безупречных нейтральных должностей в военные министры, он опасно связал своё имя с этим последним обречённым кабинетом, а ещё по должности своей ответственный за военную цензуру — отвечал тут и за цензурирование некоторых думских речей. Ужасное положение, ужасная ошибка! И кого и чем теперь убедишь, что всё его назначение и продвижение произошло не по какой-то его особой преданности императору, а просто за то, что он говорил на иностранных языках и имел опыт поездок за границу, что было важно в целях военного снабжения. (Ну, ещё перевёл сына Распутина из сибирского полка санитаром в Петергоф, и очень угодил императрице.)

Но так или иначе, всю вторую половину дня вчера его видели в Главном Штабе, это известие уже конечно потекло, и оставаться тут на ночь даже в квартире какого-нибудь генерала было опасно. (Так и оказалось потом: ночью приходили в Главный Штаб его арестовывать, искали.)

Куда ж идти? Или на частную свою квартиру на Николаевской улице — но это далеко и опасно; или рискнуть, хотя казалось безумием, возвратиться в свою казённую квартиру на Мойке, в довмин, откуда он бежал прошлой ночью при стрельбе?

Так и поступил, и это оказалось счастливо. Странности революции: в самом центре известная квартира военного министра — и никто её не громил, только угнали автомобиль. Даже продолжал действовать прямой провод со Ставкой, и можно было разговаривать с Алексеевым. Но, разумеется, Беляев не только не сделал такой попытки, а велел секретарю при вызове отвечать, что никого нет.

Разгрома не было, но он мог нагрянуть — и Беляев решил использовать своё возвращение, чтобы жечь и жечь как можно больше документов. Он мобилизовал и секретаря с помощником, и денщика, и швейцара,— и жгли документы сразу в двух печах и в камине. Тут были и дела военного министерства, и Особого совещания по обороне, и Совещания по снабжению армии и флота, многие материалы без копий в единственном экземпляре, многие секретные, и секретные перечневые журналы, и сами секретные шифры, и переговорные ленты со Ставкой, и материалы недавней союзной конференции в Петрограде,— в общем, очень много бумаги,— и Беляев, всегда так любивший самую фактуру бумаг, саму их глянцевость, и шорох, и чернильные петли на них, теперь и сам тоже заталкивал их в огонь с остервенением и облегчением, как бы освобождаясь от позорной связи с этим правительством. Чем больше налохмачивалось этой сажи — тем он чувствовал себя белей.

И так жгли до двух часов ночи — и никто не нагрянул. И уже стало так поздно, что можно было надеяться на покойный сон.

Но утром позвонила родственница и сообщила ему горестную новость, что громят и грабят его частную квартиру на Николаевской. Ужасное терзающее состояние: знать, что грабят твою квартиру, и не мочь вмешаться!

Опять он по телефону советовался с Григоровичем. Тот благополучно отсиживался под охраной в морском штабе — и ему советовал для безопасности всё-таки переходить в Главный. Это было верно! — тем более, что и на Мойке против ворот собирался, кажется, подозрительный народ. А днём в Главном Штабе — не схватят.

Надев попроще шинель без погонов, нахлобучив большую фуражку, Беляев через чёрный ход и другой двор ушёл — незаметный, маленький, ещё съёженный, никем не узнанный,— и по Морской быстро достиг Главного Штаба.

А там он ощутил себя уже гораздо смелей и рассудил так: он — никакой не преступник перед новой властью, он — честнейший человек, но ошельмован в ходе общей политической кампании. Во время войны он выполнял колос-

сальную работу на пользу родины, и это должно быть ему зачтено. Ему — 54 года, и он подлежит увольнению со службы с большой пенсией. Он даже очень охотно отрясёт от себя прах власти — и как бы хотел теперь начать жизнь частного человека! Если нужно — он может дать подписку о невыезде. Но надо просить охрану себе и спасать квартиру на Николаевской, откуда он ещё никаких ценных вещей не успел перевезти на казённую.

И с таким настроением, с этими мыслями он сел после трёх часов дня за телефон и стал дозваниваться в Государственную Думу, до какого-нибудь ответственного лица. Подошёл Некрасов.

— Я бывший военный министр Беляев. Я никаких препятствий вам не чинил и не буду чинить. Дайте только возможность мне поскорей превратиться в частного обывателя. И защитите меня самого и мною квартиру, которую громят... Я могу дать подписку о...

— Я вам советую,— ответил Некрасов,— как можно скорей самому отправиться в Петропавловскую крепость.

— Как? За что? Позвольте, я — честнейший...

— Там, в каземате, вы будете лучше всего и защищены.

Всё упало. Но ещё успел пискнуть бессердечному насмешнику:

— Тогда лучше арестуйте меня, пожалуйста, в Таврический дворец!

265

* * *

Политехнический институт в Лесном. Над белым, как дворец, зданием — красный флаг. Вокруг толпа. Внутри у раздевалок уже нет больше служителей, не раздеваются, грязь по лестницам, коридорам. На дверях аудиторий надписи: „социал-демократическая фракция", „социал-революционная"...

* * *

Морской кадетский корпус на Васильевском острове извне казался мёртвым, все ворота и двери наглухо заперты, у окон никого. Толпа, однако, не уходила, шумела, угрожала. С той стороны ворот служитель узнал условия: корпус должен в полном составе, с офицерами и музыкой, пройти по городу и тем показать солидарность с революционным народом.

Условия приняли. Юнцы построились во дворе и вышли с музыкой. Толпа весело приветствовала.

* * *

В разных местах по городу произносятся речи — со ступенек подъездов, с балконов, с пьедесталов памятников, с грузовиков. Публика перебраживает, слушает, соглашается с последним оратором.

Все интересуются: а что царь? что — с царём теперь будет?

Наклеено на стене дома большое объявление, один читает вслух. Вдруг за спинами недалеко пальба. Обернулся:

— Что это?

— Да не обращайте, товарищ, внимания, читайте!

* * *

Офицеры уже могут показываться на улицах, без оружия.

Почтенный полковник шёл по Каменноостровскому проспекту с радостным лицом и красным бантом в петлице.

Солдаты иногда надевают через плечо поверх шинели не пулемётные ленты, а широкие генеральские — станиславские, анненские.

* * *

В офицерскую квартиру пришли с обыском. Хозяева наспех бросили шашку в сундук, еле закрыв тряпьём, револьвер — в книжный шкаф, за книги. Обыскивающие ворвались с заряженным оружием. Офицер отпускной, отвечает: оружия нет. Не верят. Отвечает: шашку сдал в починку, револьвер остался на фронте, воюю там, а не здесь. Начали обыск, не выпуская заряженных винтовок (неловко с ними обращались, запасные) и всё время следя за офицером.

Искали нелепо: в шкапчике с безделушками, среди рюмок в буфете, в бельевом шкафу жены. Когда стали осматривать книжный — хозяин отвлёк, предложил осмотреть письменный стол. Так на лезвии... По просьбе жены не входили в детскую.

Хозяин настоял дать ему расписку, что обыск был и ничего не нашли. Старший нацарапал, подписался: „член партеи леуцынеров Семёнов".

Обещали придти обыскивать ещё раз.

После их ухода шашку перепрятали в печку и заложили дровами.

* * *

В коридоре многоквартирного дома стучат в одну дверь — никто не открывает. „О-о, знать крупный сазан!" — и стали ломать дверь штыками. С кряком вывернули с петель — а там стенная кладовая, и в ней колбаса, окорок, другое что. Захохотали солдаты, достали ножи и тут же резать, рвать, жевать. Рассыпалась крупа на пол, выше щиколотки.

Прибежала дама, стала кричать.

* * *

Схватила толпа невзрачного полицейского писца, а он кричит: „Я соединился!" С народом, значит.

Отъехал от дома автомобиль с арестованным адмиралом. Говорили в публике: „Старик совсем."

* * *

Толпа окружила невысокого плотного румяного мужчину буржуазного вида в тёмном пальто с каракулевым воротником и такой же шапке пирожком. Кричат: „Он — министр!" Мужчина в испуге отрицает. На помощь приходит молодая дама: „Да что вы! Это мой сослуживец по магазину Блинкен и Робинсон". Толпа хохочет, опознаватели смущены.

* * *

Известному либеральному профессору Бернацкому, ссаживая его с автомобиля:

— Буржуй! Привык на автомобилях ездить? Теперь пешком походи, а мы поездим.

* * *

В здание Технологического института солдаты привели полковника 1-го стрелкового полка Четверикова — и требовали тут сейчас судить его за строгость к солдатам. С помощью студентов начали суд. Но вбежал ещё один солдат — выхватил шашку и зарубил полковника.

* * *

Командира лейб-гвардии Московского батальона полковника Михайличенко целый день возили по городу на грузовике, показывая народу „этого кровопийцу". Поднимали его на руках — и бросали об пол автомобильной платформы. После нескольких таких часов доставили сильно избитого в Таврический.

* * *

В городской думе за столом начальника городской милиции сидел адвокат Кельсон. К нему вошёл дюжий штатский с саблей, винтовкой, револьвером, ручной гранатой и пулемётными лентами наискось через плечо. Он привёл двух арестованных старушек, перепуганных насмерть. Но едва начал докладывать, что они выражались против нового строя,— разглядел Кельсона, смолк и сразу исчез. И Кельсон его узнал: как раз вчера, революция помешала, он должен был защищать его от 9-й судимости, по новой краже. Это был Рыбалёв, лишённый всех прав состояния взломщик и рецидивист.

* * *

Нет никакой инструкции, кто подлежит аресту и кто имеет право производить арест.

Одни милиционеры арестовывают других как незаконно носящих оружие.

На улицах — много пьяных. И на тротуарах кой-где уже свалились спящие оборванцы.

* * *

По Мариинскому дворцу середи дня стреляют солдаты. Уверяют, что оттуда „генералы отстреливаются". Публика прячется за углами, площадь пустеет. Две курносых мещанки в салопах и платочках, но уже с красными лентами, любуются стрельбой издали.

* * *

Со средины дня стало всё более просвечивать солнце. Иногда лёгкими хлопьями шёл „слепой снег". Потом — уже полное солнце, весёлое небо.

* * *

На Миллионной улице в квартиру генерала Штакельберга ворвались революционные солдаты (он их долго не пускал, с денщиком оборонялись). Обвиняли, что на улице убит матрос выстрелом из этого особняка. Генерал высокого роста, ещё не старик, надел николаевскую шинель с бобровым воротником. Вывели. Закричали: „Стой, генерал!" Схватили за пелерину шинели, оторвали. „Кто убил матросов, генерал?" — „Я не обязан следить, кто тут шляется",— с презрением. Голоса: „Убить! Расстрелять! На набережную!",— и потащили по Мошкову переулку. Часть толпы оспаривает, перетягивает генерала к себе. Вдруг один коренастый солдат даёт прямо в генерала два выстрела из револьвера. Но ранений ещё не видно — и поток несёт уже раненого генерала к парапету набережной.

Генерал взмолился о пощаде. Но толпа уже пятится от него назад полукругом. Мгновенное молчание. Кто-то крикнул: „Пли!" Генерал сделал ограждающий жест одной рукой. Залп. Упал на бок.

Теперь, без команды, стреляли с азартом в лежачего. Рослый преображенец с румяным, почти девичьим лицом и улыбкой проверял на упавшем бой новенького охотничьего ружья, украденного из магазина.

Тут со стороны Троицкого моста подбегали матросы — и рикошетом от парапета двоих ранило в живот.

Убитого обыскали, добыли из кармана массивные золотые часы. Солдаты вчетвером раскачали труп — и перекинули его через парапет на невский лёд.

* * *

По Невскому перехлёстывает овация толпы. Это идут — одни офицеры, в несколько длинных шеренг, взявшись под руки, занявши всю проезжую часть. (Идут после собрания в Доме Армии.)

На всех — красные банты. Некоторые смеются и кивают приветствующей толпе.

* * *

— Довольно, братцы! — кричит солдат с коня.— Теперя мы́ будем пить через соломинку!

Энтузиаст, раздавая прокламации:

— Надо чтоб и нам, и детям нашим было хорошо!

* * *

Ведут арестованного кавалерийского полковника. Невысокий, гибкий, в полном самообладании и сознании своего достоинства. И конвой молчит. И у встречных — ни насмешки, ни оскорбительного слова. Твёрдость уважается невольно.

* * *

Околоточный когда-то выселил еврея, квартировавшего без права жительства в Петрограде. Эти дни околоточный скрывался у себя дома, соседи знали, но не донесли, он смирный был. Сегодня тот еврей появился с милицейской повязкой и двумя солдатами, арестовал своего околоточного и увёл.

* * *

Квартиру председателя уездной земской управы обыскивали 8 раз — и каждый раз один и тот же человек, зовя новые партии солдат.

* * *

Из Калуги приехала мать молодого измайловского офицера, позавчера убитого у казарменных ворот. Она нашла его тело в чулане нагим: хорошо был одет, всё содрали.

И никто не помогал хоронить. Но улюлюкали из толпы.

* * *

Двигалась по Петербургской стороне, перетекая из улицы в улицу, громадная толпа. А впереди как предводитель — какой-то человек, вида обывательского, но увешан пулемётными лентами.

Флагов не было, речей не было. Так и двигались — молча, ничего не громя, сознавая свою силу, парадируя вместе со своим предводителем — и не открывая своего намерения. Грозно.

* * *

В Кронштадте из ворот корабельного завода среди дня, в необычное время, выходили рабочие — в давящей тишине.

Соединялись с матросами.

Из винного погреба ресторана таскали ящики с винными бутылями и били их во дворе, приговаривая: „Эта сивуха проклятая погубила нас в Девятьсот Пятом!" Весь снег во дворе залился вином, как кровью.

Растеклись по городу арестовывать офицеров — сухопутных и морских, сперва — кто был на суше. Ходили брать не стихийно, а по спискам — у кого-то заготовлены были списки офицеров.

Некоторых убивали тут же, в домах или в казармах, где заставали. Других расстреливали на Якорной площади. Третьих водили на край оврага, так чтоб они в овраг падали, куда уже и адмирал Вирен.

Штабс-капитан Таубе увидел среди пришедших солдат — своих, и громко спросил:

— Солдаты! Кто мной недоволен?

Все промолчали. Тогда повели его не расстреливать, а в тюрьму.

266

Этого великого князя до сегодняшнего дня мало кто и знал — только кто счёт им вёл, не путался в их генеалогии. Зато сегодня узналось его имя по всей столице и ещё бежало впереди него: Кирилл Владимирович! Ещё колонна его шагала, не дойдя до Шпалерной, а уже в Таврическом знали и жда́ли: великий князь Кирилл Владимирович ведёт в Думу свой гвардейский экипаж! (До сих не знали, чем он и командует.)

Да ещё и примелькалось глазу шинельное солдатское сукно, серый цвет его с рыжинкой заливал все улицы уже до надоедности,— и радостно и грозно показалась чёрная матросская колонна, в чёрном цвете особенно чётко видно ещё сохранённое равнение, только ленты бескозырок отвеваются самочинно, да на всех неуставно, неровно раскраплено красным — бантами, уголками, по грудям, по оплечьям.

Великий же князь опередил колонну и в шикарном синем автомобиле с красным флажком прибыл в Таврический на десяток минут раньше — высокий, черноусый, со строгим, очень напряжённым лицом, с подсобным адмира-

лом, с малым эскортом матросов. На груди его морского пальто выдавался большой красный бант.

Родзянко (Кирилл телефонировал, что прибудет, и выводя колонну из казарм — вторично) — вышел встретить его в Екатерининском зале. Была, правда, густая толкотня, портившая торжественность, все теснились посмотреть.

Великий князь не привык к такой демократической толкучке, несколько ощипывался, но всё же придерживался революционной именинной осанки. И произнёс приготовленную тираду:

— Имею честь явиться к вашему высокопревосходительству. Я нахожусь в вашем распоряжении. Как и весь народ, я желаю блага России! Сегодня утром я обратился ко всем чинам Гвардейского экипажа, разъяснил им значение происходящих событий, и теперь могу с гордостью заявить, что весь Гвардейский флотский экипаж в полном распоряжении Государственной Думы!

Это всем понравилось и нестройная публика вокруг крикнула „ура!".

Родзянко держался как большое каменное торжественное изваяние, постоянно готовое встречать парады и произносить речи. Через несколько минут с крыльца, возвышаясь и над Кириллом, он уже громыхал к экипажу возгласами о родине, о верности, о победе над врагом,— фразы готовые были в нём и гулко выкатывались ядрами из жерла его рта.

После этого экипаж кажется ушёл или частью остался, не так легко было расстаться с Таврическим тому, кто сюда уже пришёл,— и то же чувство испытал великий князь, пожелав ещё задержаться в здешней приветливой обстановке.

Сперва вместе с Родзянкой он прошёл в последнее тесное убежище Председателя. И там выказал себя совсем не радостным, а сильно потрясённым, в глубоких опасениях. И Родзянко тоже — уже не торжественно гордо, а смущённо, морщась и озираясь, чтоб не услышали, сказал Кириллу неприятное:

— Ваше императорское высочество, простите, ваше присутствие здесь при нынешних обстоятельствах весьма неуместно. Вы к тому ж и флигель-адъютант. Я не советую вам так открыто демонстрировать...

Затем великого князя перехватили корреспонденты газет. Корреспонденты? Да! Вообразить было нельзя, что они тут существуют, ни одна известная газета не выходила, не давал разрешения Совет рабочих депутатов, но корреспонденты-то остались вживе — и где ж было им находиться, как не в самом кипении Таврического? И как же было им не кинуться на крупнейшую сенсацию: вслед за конвоем его величества — на сторону революции перешёл двоюродный брат царя!!! Экипаж — экипажем, эти воинские колонны уже надоели, но — великий князь? но — кузен царя?? Он был важней всего своего экипажа: это был символ, что вся императорская фамилия признала революцию! И как же было не просить великого князя об интервью (уж там неизвестно, когда напечатают)?

И как же было великому князю отказать им? Уже совершив такой бесповоротный шаг, надо было хотя бы показать его презентабельно русскому обществу и истории. Надо и всем и себе дать обдумать совершившееся.

Великий князь Кирилл последовал за корреспондентами в их комнату — да, у них такая была здесь. Там, нервно и красиво куря папиросу за папиросой, он отвечал их любопытству.

— Теперь-то я свободен и могу говорить открыто всё, что думаю.

Барышни принесли великому князю чаю с печеньями.

Да, перед его умственным взором проходит вся его трагическая жизнь — и некоторые щемящие перипетии её он считает возможным открыть прессе.

— Ведь я — из немногих, спасшихся после взрыва „Петропавловска". Сколько интересных подробностей я мог бы сообщить верховному вождю армии и флота. Но он никогда меня не расспрашивал. Очевидно, ему всё было некогда.

Непростительный урон в государственном управлении. И так, по сути, всю жизнь.

— Я, кузен и шафер императора, осмелился жениться на кузине Виктории

без разрешения царя. В Царском Селе рвали и метали. Александра Фёдоровна подсказывала царственному супругу самые суровые наказания. Спешу туда сам — сообщить о переменах в моей семейной жизни, меня не принимают. На другой день распоряжение — на три года за границу с лишением чинов, орденов... И так и пришлось бы жить в изгнании, если б не...

Да что говорить, сколько ошибок в руководстве страной:

— Какое отличное министерство он мог бы себе составить, если б опомнился раньше. Сколько замечательных достойных людей в Государственной Думе!.. И даже совсем молодых, как талантливый Керенский...

Большая приятность — поговорить с прессой и совершенно откровенно. Но когда-то кончается и интервью. И великий князь спешит дальше.

— Куда изволите проводить вас, ваше императорское высочество?

— Я хотел бы — в Военную комиссию.

Как военный человек, естественно.

Но неестественно, что эта Военная комиссия вчера уже смещала его с Экипажа, каково?! Да кто там правит в ней? Сейчас Кирилл надеялся увидеть тут Гучкова, подозревая, что Родзянко — не главное действующее лицо. А Гучков ему нужен, чтобы поговорить... Довольно деликатное обстоятельство...

Дело в том, что когда начались *эти* события — Кирилл весьма задумался о том двойственном положении, в которое попал. Он метался — то к Хабалову, то в собрание преображенцев — ища, каким ему правильно быть. Всеми ли силами поддерживать трон (он посылал учебную команду на Дворцовую площадь) или только сохранить свой Экипаж (он отзывал учебную команду) и своё положение?

А вчера уже стало ясно, что трон проиграл столицу (Кирилл предлагал депутатам свой автомобиль), что началось движение в пользу думского Комитета,— и Кирилл поспешил не отстать в этом движении: уж *ему*-то, всегда обиженному, не оставаться было под обломками трона, уж ему-то первому надо было высвободиться! Одному самому? — мало! Со всем Гвардейским экипажем? — тоже мало. Он прекрасно надумал, как отомстить Александре: увести от неё весь царскосельский гарнизон! И сочинил, разослал такую записку командирам царскосельских частей.

Но хотя контр-адмирал Кирилл так быстро, предельно быстро переходил на сторону нового правительства — в его собственном Экипаже настроение перетекало ещё быстрее. Вчера шатнуло умы это известие, что великого князя сместили. А сегодня утром его разбудили известием, что несколько офицеров его Экипажа уже арестованы матросами, другим угрожают, и всех зажигают слухи, как расправился с офицерами Кронштадт. И идти торжественным маршем в Думу — Кирилл должен был уже не только по созревшему своему желанию, но и чтобы спасти Экипаж от развала.

Падение Николая Кирилл мог принять только с облегчением: тот всё это заслужил своими несправедливостями, промахами, дурными советчиками, небратским отношением. Но — кто же вместо Николая? Кирилл узнал, что тайно происходят всякие движения в пользу Михаила, сделать его регентом. Это известие укололо и обожгло Кирилла, это было уже совсем непереносимо! Николай — на троне по наследству и уже четверть века, какой ни есть,— но почему Михаил? Как ещё это ничтожество снести над собой?

А известно было, что Михаил всё время тайно сносится с Родзянкой (Родзянке — не верить ни минуты!) и скрытничает от дяди Павла и от Кирилла, не говорит о своих намерениях, а засел в Петрограде — зачем? Выжидает занять пост?

Так ещё потому и пришёл Кирилл в Думу, чтобы сшибить Михаила с этой позиции, затмить его.

И с деловым Гучковым он хотел поговорить об этом вполне откровенно.

267

Можно было сто книг прочесть о разных революциях и всё-таки лишь на самом себе испытать впервые: что такое революционная густота событий,

каких ни сердце, ни мозг не успевают перерабатывать,— именно в те самые часы отказывают, когда они всего нужней. А потом — вздыхай хоть полстолетия.

Ещё вчера вечером и сегодня утром казалось, что главное — это отбиться от войск, направляемых на Петроград. Естественно: обратиться против старого, не дать старому задушить новое. И Гучков вместе с молодым князем Дмитрием Вяземским, излюбленные бесстрашным своим помощником, кого узнал он на фронте год назад, в своих поездках по Красному Кресту, а за эти месяцы привлёк к живейшему участию и в собирании заговора, теперь кинулся объезжать полки. Где — речи говорил, и ему кричали „ура", а лейб-гренадеры даже вынесли на руках, где — только выяснял положение и старался, чтобы обезглавленные растерянные части попали снова в руки своих офицеров. Если не создать оборону города, то хоть знать хорошо наличные силы,— это именно ему нужно было успеть, он считался среди думцев самый военный и лихой, наиболее знающий армию, в постоянной с ней связи.

Но всё более Гучков видел, что офицеры сбежали из частей, во множестве прячутся в неизвестных местах и даже в Государственной Думе, опасаясь растерзания. А батальоны, которые кричали Гучкову „ура",— часом позже или раньше кричали „ура" уже и делегатам Совета. Итак, пока Гучков собирал оборону от внешнего врага, за спиной думского Комитета собиралась сила ещё горшая. И может быть надо было спешить обернуться, а нашлись бы силы — так и врестовать кого-нибудь из этого богомерзкого Совета. Но тем более не было сил таких.

А пока он мотался в этих поездках — в его собственной Военной комиссии его собственный помощник Энгельгардт с перепугу вместе с Родзянкой издал дикий, немыслимый приказ, угодничающий перед Советом, перед распущенными солдатами, а офицерам грозящий расстрелом!!! Бред! — но отпечатанный на листках бумаги, он рассеивался по городу быстрей и множественней, чем успевал Гучков,— всё губил безвозвратно: теперь и вовсе нельзя было вернуть офицеров в части, а части выставить на защиту Петрограда.

(А ещё ж висели на Гучкове его военно-промышленные комитеты по всей стране, так помогшие ему в штурме власти,— но сейчас уже никак не хватало на них головы. Армию конечно снабжать, да, послал циркуляр всем комитетам: да, вести работу, да...)

Среди дня большое подбодрение своею явкой в Думу произвёл Кирилл. Хотя и пришёл он по определённому расчёту — удержаться во главе гвардейского экипажа, испугался, что заменят, и вообще удержаться как великий князь в опрокидывающей стихии этих дней, но такое поклонение Думе видного члена династии оказало тут на всех на них резкое впечатление. И Гучков, принимая Кирилла у себя в Военной комиссии, и произнося лицемерно-вежливые успокаивающие фразы (этот великий князь, кажется, не против бы и сам сесть на трон), не мог сдержать торжества. Это — первый из династии, а потянется она, ничтожная, вся. То казалось — рушится всё кругом, то — какая же сила Дума!

И производило впечатление, что гвардейский экипаж не утерял выправки и пришёл с офицерами,— да не возьмётся ли великий князь охранять вокзалы против Иванова, хотя б на ночное время? А что ж! Взялся. (Пригодился.)

Не один Гучков замотался в эти часы — и все члены думского Комитета. Но все они мотались, куда звала их мгновенная необходимость,— то произносить речи, то спасать арестованных,— и такими затычками пробоин они утеривали способность охватить всё положение и отгадать, как его направить в главных чертах.

Гучков, что ни делал, старался рассмотреть эти главные черты и использовать их, прежде чем они размылись. Были жертвы и сейчас, но если не решиться быстро, то будут жертвы несравненные — начнётся гражданская война.

Разворот событий завихривался по самому опасному склону — и надо было спешить обуздать его через законную передачу власти. Мысли Гучкова имели привычную колею и сразу занимали её: отречение и регентский совет. Он сформулировал это уже год назад, если не раньше (душою раньше, ненавидя этого царя). Он — хотел этого, он — жаждал этого, он — вёл к этому, уж как умел. И если отречение так было необходимо минувшей осенью, уже тогда созрело, то теперь даже перезрело,— но тем более срочно необходимо. Надо решительно и быстро сменить ситуацию: Петроград будет не защищаться от царя, но сам совершит на него прыжок! Когда ноги думского Комитета разъезжаются — от распада полков, от зреющей злобы Совета,— надо не скользить, а прыгнуть и овладеть троном.

Регентский совет Гучков так понимал, что сам займёт в нём решающее место. Гучков искренно любил Россию, он был — патриот. Но так понимал, что в *партии* должен занимать ведущее положение, по своим политическим талантам.

Однако не с кем, негде и некогда было присесть, обсудить — что же делать? Всем и всё время надо было куда-то ехать, идти, кричать.

Вот это и была революция.

268

От Старой Руссы до Дна невыносимо тянулась эта старенькая одноколейная дорога с разъездами, не знавшая экспрессов, а теперь в неё втиснулись великолепные синие императорские поезда. Дорога — не могла пропустить быстрей, но старались как могли. Железнодорожники и местные жители глазели на невиданные поезда, робко переговаривались между собою, очевидно: где же тут царь?

Наивны, милы и доверчивы были их простонародные лица. Государь не показывался им, но из-за занавесок смотрел — и сердце его утеплялось. Вот такими он и представлял себе своих подданных, для таких он и правил,— только никогда нельзя было, как и сейчас, через двойные стёкла, услышать их и прямо им объснить, а всегда слышались раздражённые, предубеждённые образованные голоса и крикливые газеты, которые всё извёртывают до неузнаваемости.

Очень тяжело было сегодня на душе, хотя и солнце иногда поглядывало на снега. Не как сознательное мрачное размышление, но само по себе — грудь разбирало, разгрызало невыносимое состояние. Ещё вчера с утра мнившийся в поездке покой был весь вымышленный. Ничем невозможно было заняться, ничего читать, никуда отвлечься, мыслями не уйти.

Нетерпеливо хотелось скорее достигнуть Дна — во-первых потому, что это был уже прямой поворот на Царское. Во-вторых потому, что там сейчас предстояла встреча с Родзянкой, и она всё больше казалась облегчением, выходом: миролюбиво уладить, чтобы всё успокоилось и стало на свои места. С предполагаемой уступкой части министров Николай уже смирялся: от рокового несчастного 17 октября Девятьсот Пятого он так или иначе был наведен на цепь неотклонимых уступок.

Уступка — уже как бы и была сделана. И давление на сердце ослабло. Полегчало.

Но он — не отдаст главных министерств. И, разумеется, министры будут ответственны перед ним, а не перед Думой. Этот монархический принцип — скала государства. Если министры ответственны перед Думой — то что тогда монарх? Какое-то набивное чучело?

В этом, уверен был Николай, Аликс — горячо с ним заодно.

У свиты было откуда-то сведение, что Родзянко уже в пути.

На мелких станциях подхватывала свита и другие слухи, и Воейков иногда докладывал. То — будто есть наглое распоряжение всё того же юмористического Бубликова — задержать императорские поезда! — каково? Но никто этого не выполняет, разумеется. То — будто дорога уже перегорожена, но после поворота с Дна, или какой-то мост повреждён на той линии.

Подъехали к Дну в пятом часу пополудни. Узловая станция тоже была в обычном порядке, ничем не взметена.

Но тут сразу ждало много новостей, и все неприятные.

Первое, что сразу узналось от станционного начальства: что генерал Иванов со своим батальоном прошёл Дно не вчера, а лишь сегодня утром.

Сегодня утром? Отчего же так медленно, Боже мой? На что ж он потратил время? Да тогда: достиг ли он Царского Села сию минуту?

На ком же государыня с детьми?

Но и хуже знали на Дне, ужасные известия: что гарнизон Царского Села вчера вечером также присоединился к мятежу!

Сердце Государя обронилось во мрак. Затмился свет, рухнула опора, державшая эти дни. Он выслушивал со спокойным выражением, но внутри его заваривалось отчаяние. Только не имел он права и вольности выказать это видом и словами.

А между тем Воейков принёс депешу от Родзянки на имя Его Величества, пришедшую менее часа назад. Родзянко сообщал, что сейчас (только сейчас!) выезжает на станцию Дно для доклада о положении дел и мерах спасения России. Просит — дождаться его приезда, ибо дорога каждая минута.

Да, но когда же он достигнет Дна? Не ранее как ещё часов через пять. И ещё, кажется, попорчен путь?

Воейкову удалось переговорить с Виндавским вокзалом в Петрограде, и он узнал, что заказанный Родзянкой поезд стоит под парами — но и сейчас не выезжал.

Горяча каждая минута, да — но ещё горячей она в Царском Селе. И ещё мучительней — сидеть на этой захолустной станции — и жгуче не знать, что творится с семьёй! Что ж было делать, Боже мой?

Маленькое глухое Дно. Один железнодорожный жандарм. Один урядник на селе. Но — завод с фабричными, неподходящее место.

Ощущение было ясное: что попали не туда. Что не на месте.

И ещё удалось узнать Воейкову по аппарату: что перед Царским Селом Виндавская линия занята революционными войсками и генерал Иванов, не доехав, остановился с поездом в Вырице.

Николай нервно смотрел на карту.

Четыре дороги скрещивались в Дне. По одной из них приехали.

Другая, налево, вела назад, на Могилёв. И не вызвала никаких мыслей.

Направо — краткая, желанная, в Царское Село — была для него, значит, перерезана? По ней ожидался и Родзянко — и выглядело бы несолидно ехать к нему навстречу. И если перегорожена — так всё равно не попадёшь в Царское.

А вот что: прямая — вела во Псков, и это уже близко. Там — штаб Северного фронта, там есть с Петроградом связь по юзу, оттуда, может быть, удастся поговорить с Царским (да и со Ставкой), и вот уже скоро всё узнать? И оттуда, по двухколейной Варшавской дороге, нетрудно доехать до Царского через Лугу.

Во Пскове — военные силы, и железнодорожный батальон: Оттуда всегда можно обеспечить себе проезд.

Вот и решение: ехать во Псков!

И это даже хорошо, что Родзянко ещё не тронулся из Петрограда: дать ему теперь депешу, чтобы ехал прямо во Псков.

А что могло его так задержать, почему он не спешил? Может быть, его задержка имеет резон: он удерживает Петроград, не отдаёт его разнузданным силам?

Тут подали Государю ещё одну телеграмму, от 10 часов утра, и какую же окольную! Телеграфировал опять начальник морского штаба из Могилёва (почему-то опять не Алексеев), но не от себя, а сообщал пространную телеграмму командующего Балтийским флотом адмирала Непенина — а тот тоже не от себя, но сообщал две телеграммы, полученные им от Родзянки вчера, 28 февраля,— и вот только с каким опозданием, и вот только каким кружным путём подтверждалось Государю, что читали в Бологом в случайном листке: Родзянко вчера извещал все фронты, что его временный думский комитет перенял всю правительственную власть ввиду устранения бывшего совета министров. И что он приглашает Действующую армию сохранять спокойствие и надеется, что борьба против внешнего врага не будет ослаблена,— разумные слова. На старое правительство он валил „разруху'', но брался быстро восстановить спокойствие в тылу и правильную деятельность учреждений.

А Непенин добавлял, что всё это объявил командам! — Боже мой, кто ему разрешил? — и докладывает Его Величеству своё убеждение о необходимости пойти навстречу Государственной Думе.

И в этом — Государь всё более убеждался сам. За несколько минувших часов Родзянко переместился в его представлении и сознании,— вырос. И Государь уже не только был согласен его принять, но уже — хотел, чтобы он приехал, но уже досадовал, что нет его в Дне.

Но что ж, во Псков так во Псков. Дали знать туда — и двинулись.

Свита радовалась: тихий губернский город и рядом надёжные войска.

Пили тягучий вечерний чай.

Ехали — пока что прочь от Царского Села, слишком затянувшимся крюком.

Смеркалось.

Приезжал, бывало, Государь на свой Северный фронт — но не в таком положении.

И тут ещё одно неприятное сообразил: на Северном фронте начальником штаба — Данилов-чёрный. Два года назад Государь считал его великим стратегом, и сам же указывал Николаше взять в Ставку. А потом они с Николашей сжились, и убрал его вослед Николаше, освобождая место для Алексеева — однако не сердясь, и всё считая его крупным стратегом. И ни Николаша, ни Алексеев — никогда не объяснили, чего Данилов сто́ит, только этою зимой Гурко открыл Государю, сколько жестоких кровопролитных ошибок наделал Данилов в первый год войны, во что обошлись нашей армии его ошибки. И так горько стало, что был — обманут, и ещё благодарил его, награждал. Например — Галиция... А Николай считал таким успехом. Стыдно, как плохо водили русские войска.

И вот сейчас — предстояло встретить его, с тех пор первый раз.

ЛИХО ДО ДНА, А ТАМ ДОРОГА ОДНА

269

В комиссариат поступили сведения, что грабят особняк Кшесинской,— и Пешехонов послал прапорщика Ленартовича остановить грабёж и, если нужно, поставить там временный караул, пока толпа схлынет.

Ленартович не знал особняка и не уверен был, кто именно Кшесинская, Пешехонов объяснил, что это — знаменитая балерина, которая была любовницей царя в его молодости, а потом — по великим князьям.

Оказалось, это — первый дом по Кронверкскому проспекту, начало его дуги, у самой Троицкой площади. Туда было близко, Саша с двумя своими солдатами быстро дошагал. Дом выдавался в сторону площади полукруглым крылом.

Но сейчас — не грабили, и толпы никакой не было, да даже ни одного человека ни рядом, ни внутри. Окна двух этажей асимметричного дома с башенкой и полуподвальные, выходящие прямо на улицу, были не побиты и все закрыты. На втором этаже — балкончик, тоже мёртвый. Да даже не поймёшь, как в этот дом зайти,— двери в нём нет, ах вот, калитка во двор.

Калитка была заперта, но в каменном столбе Саша увидел кнопку, стал звонить. Дом был приятно отделан цветной плиткой, и привлекательно, что несимметричный.

Вышла прислуга, мужчина и женщина. Видя офицеров и двух мирных солдат — впустили, но опасливо. Действительно, за эти сутки было уже два грабежа, оба под видом обыска. Не пустить — силы нет, а пустить — озоруют, открыто грабят, в шинели кладут, за пазуху,— и что хозяйка скажет, воротясь! А вчера — из броневика пустили очередь по их дому.

А хозяйка где?

А хозяйка — позавчера вечером вместе с сыном, 14 лет ему, и гувернёром вышли из дому, малый чемоданчик в руках,— велела приготовить чай, скоро вернётся, так и не вернулась. И в ту же ночь два автомобиля из гаража увели, больше их и не видели.

По парадной лестнице поднялись в холл с мраморным полом. Беспорядка особенного не было, наверно прибрали.

Саша пошёл осмотреть дом, уже не из надобности, а из любопытства. Полуподвальный этаж был для служб. В бельэтаже в столовой — потревоженность, но столовое серебро, сказала прислуга, на месте, или почти. Мало покрали, и посуда не бита. Тут были гостиные с роскошной мебелью — и беломраморный залик, в котором просторно дать и бал, снаружи не предположишь. Большие зеркальные окна зала выходили прямо на Петропавловскую крепость, через Кронверкский. А тот самый полукруглый выступ, обставленный пальмами и с малым гротом в центре, и в нём текли струйки воды по голубоватому фону,— тот окнами выходил на Троицкую площадь и на Троицкий мост. Мебель в зале обита белым шёлком под общий цвет белого мрамора, того же тона и рояль.

Все эти фокусно-роскошные затеи не могли задеть сашиной души, даже напротив — вызывали раздражение. Но, пожалуй — до революции. А сейчас — его отношение как-то повернулось. Хозяйка сбежала от своих забав, а — местечко большое и богатство большое, всё это надо бы сохранить, особенно от глупого пустого погрома.

Решил Саша — караул здесь поставить и пока подержать.

Пошёл наверх, уже один.

А, вот здесь-то погром и был, и остался хаос: в двух комнатах пол заброcан фотографиями и бумагами, все ящики столов и бюро выдвинуты.

Висела, нетронутая, остеклённая большая фотография молодого царя в морской форме, и внизу надпись, да кажется и его рукой: „Николай, 1892".

Другие портреты, великие князья, генералы, артисты.

Мебель и обстановка пострадали мало.

Под стеклянным футляром лежал венок, какая-то награда,— да не золотой ли? Саша снял колпак, вертел венок и внизу обнаружил явную пробу: „96"! Грабители просто не сообразили.

Да, караул придётся поставить. А потом — многое отсюда вывезти, спасти.

Пачки писем, пачки писем — перевязанные ленточками.

И стопка сафьяновых тетрадочек.

Дневники... За 20 лет... О, тут читать и читать...

Сколько ж ей может быть лет? Уж за сорок? И ещё танцует и ещё чарует?

В детской разбросаны были по полу дорогие игрушки, рельсы с локомобилем и вагонами.

Сколько ж у неё детей? От кого?

Уже ясна была обстановка, и ждали его дела в комиссариате, надо было уходить. А он всё бродил по комнатам.

Его затягивало.

В гардеробной отодвинул дверь — висело множество платьев, блузок, юбок,— двести, всех цветов, шерстяные, воздушные, вязаные, кружевные.

Оглядясь — никого не было, тихо,— он медленно провёл рукой по перебору этих платий.

Как по струнам. И платья как будто зазвучали.

И — пахли.

Он открыл ещё дверь.

Ванная комната. Но не просто с овальной ванной — а вели ступени вниз, в углубление — в мраморный бассейн. А на верхней ступеньке стояли маленькие-маленькие туфельки, непонятного назначения — балетные? купальные?

Саша остановился над ними, замер.

Отодвинутая этими днями — выступила перед ним Ликоня, прелестней всех этих балерин,— всё недосказанная, всё недопонятая, всё ускользающая.

Мучительно, сладко потянуло к ней.

И он долго стоял, смотря под собой на эти туфли.

270

Несколько часов не покидала Пешехонова забота: что делать с Павловским училищем? — заперлось, не выходило на поддержку нового режима, но в любую минуту могло выступить против,— а ведь оно на Петербургской стороне —и что тогда тут удержится?! Но к счастью переговоры с ним взял на себя Таврический.

Из Совета рабочих депутатов прислали приказ: комиссариату *тем или иным путём* обзавестись на месте необходимым числом автомобилей (какой они подразумевали *тот или иной* путь?),— а если окажется излишек, то передать его в Совет.

Правильная, значит, была вчера его идея захватывать автомобили. Захват от захвата, конечно, отличается морально: это — не корысть, но революционное право, питающее новогосударственные потребности.

Тут — на замороченную голову Пешехонова свалились ещё квартирьеры 1-го пулемётного полка, немедленно требуя отвода помещений всему полку.

Их два пулемётных полка пришли пешком из Ораниенбаума в Петроград помогать делать революцию. Одну ночь они провели в чьих-то казармах на Охте, но там им не понравилось, и они желают перейти на Петербургскую сторону.

Взвыть можно было. Сколько же их? Запасные полки раздуты, тысячи, небось, четыре?

Как бы не так! — их оказалось 16 тысяч!

И все они — уже шли сюда! Да почему же столько?

Не квартирьеры могли ответить. (Потом объяснили Пешехонову: других запасных пулемётных полков во всей России не было, только эти два готовили пулемётные пополнения для всего фронта,— и вот они поднялись и кочевали.)

А главное требование квартирьеров было: солдаты ни за что не хотят расходиться по разным местам, мелкими партиями — а стать всем непременно вместе.

Грозная сила! — и бедная сила. Их все боялись, а они боялись больше всех: как бы, расчленённых, их не настигла кара за мятеж.

Но таких больших помещений на Петербургской стороне не было. Спортинг-палас рядом — всю зиму не отапливался, в нём не действовала канализация. Самое большое здание — Народный дом на Кронверкском,— не мог вместить 16 тысяч.

Кто-то из товарищей напомнил о только что отстроенном дворце эмира Бухарского на Каменноостровском.

Пешехонов постеснялся: дворец — и в казарму?

Но, объяснили, это — просто доходный дом с двадцатью большими квартирами, ещё не занятыми.

Квартирьеры поспешили навстречу своему полку, уже пришедшему на Троицкую площадь и грозно стоявшему там.

После переговоров и уговоров один батальон соблазнился жить во дворце и дал себя отделить от полка. Остальные пошли в Народный дом.

Пока Пешехонов занимался с квартирьерами, немного отойдя от „Элита", показывая им направленья по улицам,— сзади близко раздалась сильная стрельба. За эти дни ухо настолько привыкло к выстрелам, даже и близким, что Пешехонов не слишком удивился. Но удивился он, что публика перед комиссариатом куда-то сразу вся исчезла, не толпилась, не ломилась.

И тут увидел, о ужас, что на площади перед комиссариатом залегли солдаты и обстреливают один из домов по Архиерейской улице.

Оттого-то и вся толпа рассеялась!

А в этом доме, куда стреляли,— сообразил Пешехонов,— в этом доме помещался лазарет с увечными солдатами!

Да что ж это, с ума сошли? Он бросился сзади к лежащим на снегу солдатам. Подбегал и хватал за плечи.

— Что вы делаете?!

Кое-как остановил. И ответили ему, что из того дома стреляли по комиссариату, и не иначе как там спрятан пулемёт.

Рассердился Пешехонов:
— Кто именно видел?
Стоял в рост среди рассыпанной цепи, и ничей пулемёт его не поражал.
Стали и солдаты приподниматься. Не нашлось такого, кто именно видел. И не было убитого ни одного на площади и ни одного раненого.
Покричал на них, постыдил — и послал из них же наряд, ни офицера, ни унтера не было под рукой,— проверить, сами ли они никого не убили в лазарете? А если уж так подозревают — пусть и проверят, нет ли заклятого пулемёта. Сотни этих пулемётов из невидимых рук со всех чердаков стреляли, а сколько ни лазили — во всём Петрограде ни одного этого пулемёта не нашли.
А уже — опять хлынула толпа к „Элиту" и внутрь, так что сам Пешехонов еле втиснулся.
И опять осаждали его со всех сторон — доносами, требованиями реквизиций, обысков и предложениями новых видов общественной активности.

271

Приходили читатели, и немало, но никто ничего не читал, даже если брали книги, а то и не брали. На главной лестнице, в просторном над ней вестибюле, у книжных прилавков, у дверей залов и в самих залах собирались маленькие клубы — и нарушая священную, присущую этим местам тишину, некоторые слышно гудели, в полные голоса. Раздавались радостные женские аханья, смех мужчин и весёлые перебивы. А другие, верные дисциплине и привычке, и сейчас всю радость выражали только шёпотом и переходили по залам на цыпочках.
Остановилась выдача книг, остановилась библиография, и изо всех потаённых углублённых уголков вытягивались смирные сотрудницы — сюда, на люди, в оживлённое обсуждение.
Никогда Вера не видела — вне пасхальной заутрени — столько счастливых людей вместе зараз. Бывает, лучатся глаза у одного-двух — но чтобы сразу у всех?
И это многие подметили, кто в церкви не знавал: пасхальное настроение. А кто так и шутил, входя: Христос Воскресе! Говорят, на улицах — христосуются незнакомые люди.
Как будто был долгий не пост, не воздержание, но чёрный кошмар, но совсем беспросветная какая-то жизнь,— и вдруг залило всех нечто светлее солнца. Все люди — братья, и хочется обнять и любить весь мир. Милые, радостные, верящие лица. Это пасхальное настроение, передаваясь от одних к другим и назад потом к первым, всё усиливалось. Одна с собою Вера не так уж и испытывала чёрный кошмар прежнего, но когда вот так собирались — то этот кошмар всё явственней клубился над ними,— как и сегодня всё явственней расчищалось нежданное освобождение. Дожили они, счастливцы, до такого времени, что на жизнь почти нельзя глядеть, не зажмурясь. Отныне всё будет строиться на любви и правде! Будущее открывается — невероятное, невозможное, немечтанное, неосуществимое. Что-то делать надо! что-то делать в благодарность! но никто не знал, что.
И Вера думала: может быть, действительно, начала братства — вот этого, уже ощущаемого между совсем чужими людьми,— теперь законно вступят в жизнь, разольются,— и люди начнут бескорыстно делать друг для друга? И таким неожиданным путём победит христианство?
Вспоминали имена свободолюбцев, ещё от времён Радищева и Новикова, вспоминали декабристов, Герцена, Чернышевского, народников, народовольцев,— поколение за поколением отдававшие себя с верой в будущую свободу. Ведь вопреки всему — верили, что — будет! И вот сбылось! Какая святая вера, какое святое исполнение!
У многих были слёзы на глазах.
Так интересен был всем каждый штрих свободы и каждый штрих отмирания прошлого. Передавали имена арестованных деятелей старого режима — каждое имя как падающая мрачная колонна. Последняя новость — что утром сегодня арестован Николай Маклаков. Передавали пикантную подробность: неистового антисемита Пуришкевича видели с красной гвоздичкой в петлице. Склоняют головы, склоняют, мерзавцы!..

Появился и новый сенсационный слух — а газеты не успевают, проверить негде: в Берлине — тоже народная революция, второй день!
Боже мой, неужели начинается всемирное братство? оборвётся эта ужасная война? Преобразится Европа, преобразится вся планета?!
И ещё слух — о крушении царского поезда. Неизвестно, уцелел ли Сам.
А само собой — какие-то войска движутся на Петроград.
Конечно, опасность контрреволюции ещё очень велика. Не может быть, чтобы старое было так сразу разбито и так окончательно умерло. Оно, конечно, притаилось и выжидает, чтобы накинуться на наш светлый праздник. Оно, конечно, ещё шмыгает шпионами в уличной толпе и прислушивается. Оно, конечно, ещё затаилось на чердаках с пулемётами и вот-вот начнёт обстреливать улицы.
Но — бессильны они и обречены!.. Передавали с любовью и надеждой имена членов Думского Комитета, замечательных деятелей, которые теперь поведут Россию. Европейски образованный Милюков, подлинный учёный, он внесёт в управление методы науки! Вечный антагонист императора — неукротимый воинственный Гучков! А Керенский — с его страстною жаждою правды и сочувствием к угнетённым! Да, это будет впервые на Руси — народная власть, всё для народа.
Так в этих растерзывающе-радостных разговорах и прошёл счастливый болезненно-нерабочий день. Было Вере необыкновенно тепло, светло, но немного и грызло: а что же убивают офицеров? Наши защитники, герои нашей армии — в чём же и перед кем они виноваты?
Она робко пыталась выразить это в двух группах, её как бы и не услышали, даже не возразили серьёзно. Это не ложилось в общий поток восторга, выбрасывалось на сушу как инородное. Ну, случайности, ну, какая революция без крайностей? К светлому будущему невозможно вырваться без каких-то хоть малых жертв.
Прошёл день, и опять пересекала Вера кипуче-восторженный Невский, такие же сияющие лица культурного Петербурга на нём, перемешанные с самой простой толпой и с солдатами, а на всех красное, красное.
А в Михайловский манеж, увидела, вводили группу арестованных, по одежде обывателей. Кого-то, за что-то. И в полицейских мундирах тоже. И за некоторыми тащились женщины с детьми, их отгоняли.
Она вошла домой, ещё сохраняя это весеннее поющее настроение, ещё с той же невесомой улыбкой,— но мрачная встретила её няня и эту улыбку успела заметить и сразу же согнала:
— Пакостники! Слышать не хочу! Злодыри! По всем этажам обыскивать шастают, глядят — где б спереть, что плохо лежит. Так и валят, кучка за кучкой, а морды-то колодников, небось из тюрем да попереодевались. Полное для них нестеснение. И ружья держать не умеют, один во дворе чуть дитятку не застрелил, на палец не угодил.
Приходили с обыском и к ним, но няня как стала на пороге, так никого не допустила, тряпкой в морды им махала. А какой дом получше, вон у Васильчиковых, рядом,— так двери не запираются, всё новые на обыск валят, женщины так и бродят с ними, чтоб не стяпнули. А прислуга ихняя бесстыжая — красные банты понадевала и в город.
Наконец, нашли несколько хороших солдат, на кухне их посадили, кормят,— так они эти банды отваживают.
— Радуются! Дураки и радуются! И ты, дура, с ними. Разорению — чего ж радоваться? А хвосты, вон, всё хуже! Доживём теперь — и нечего будет трескать.
Правда, онемела Вера перед няней. Нельзя было серьёзно повторить ей хоть и самыми простыми словами того, что говорилось сегодня в Публичной: ни про заветную сказку, ни про мечты поколений, ни уж, конечно, про Христово Воскресенье.
Но оттого что слова эти все оказались недействительны перед няней — сразу стали они маленькими, маленькими и блеклыми. Уже и для себя Вера

могла ли их сохранить? Это был какой-то гипноз, очарование говорящего общества.

— А с Егором что будет, ты подумала? Да ведь у него если шашку отберут — он же ведь убьётся! Он жить не будет!

272

Как свернулось, пошёл по Страстному бульвару, потом по Петровскому. Здесь — не было красных шествий, а на бульваре — неизменные няньки, коляски и детская беготня в разноцветных шапочках и варежках, и тут совсем другой был тот же красный, не раздражал.

Так значит Гучков был прав: надо было спешить *предупредить*?

Или наоборот: вот это и значило, что — *доигрались*?

Доигрались — если теперь это покатится по стране.

И — к фронту?

И — что тогда с фронтом?..

А между тем, если происходящее можно назвать р е в о л ю ц и е й? — вот это и есть революция? — нет, это ещё не революция! — то ведь у неё совсем нет никаких сил. Сейчас — один хороший твёрдый полк может овладеть этой расшатанной Москвой.

Но — где быстро взять этот полк? В Москве, видимо, не было такого.

Но и какая тут может быть революция, если вся многоствольная, штыковая и копытная сила в Армии? Если Армия не признает — то никакой революции нет, это — пшик.

Теперь в часы — всё может решить Ставка. (Только зачем же Государь оттуда уехал?) Несомненно стекутся и верные в Ставку со всех сторон.

Кинуться в Ставку?

Тем скорей он должен прорваться к какому-то действию, чем позорней провёл эти дни.

Ехать в Ставку! — представилось вдруг несомненным и даже немедленным!

Значит — на Александровский вокзал! А он — уже спустился к Трубной площади, только крюку дал.

И — уже поворачивал.

И тут увидел, как по Трубной бегут мальчишки-газетчики с восторженно-раззявленными ртами, кричат и размахивают. К ним сразу бросились, сгущались вокруг них, просто рвали из рук.

Бросился и Воротынцев, уж тут ему можно, это не листовки. Пробился, добился, купил. А купившие прежде тут же и читали, восклицали, да и мальчишки кричали.

Кричали: что царь — на пути в Петроград — *задержан??*

Какая-то маленькая небылая газетка — „Известия московской печати". Но хотя маленькое, а плотно шло только одно главное под жирными заголовками, перехватывающими глаз каждый к себе. Падение Адмиралтейства!.. Преображенский полк перешёл в революционный лагерь вместе с офицерами!.. Та-ак... Собственный конвой Его Величества перешёл на сторону революции!.. Поездка царя Николая II... На Николаевской дороге поезд задержан...

Неясно было сказано: что? — арестован?..

Кем? Когда? И где он теперь?

Как раз то уязвимое путевое состояние царя, на которое и целился Гучков...

Воротынцев медленно вытолкнулся из толпы назад на бульвар. С этой газеткой так и присел на оснеженную морозную скамью.

Эта отчаянная поездка Государя, оборванная неизвестно где,— поражала.

И что тогда Ставка? Алексеев без царя? Без имени Государя Ставка превращалась в немощь. Она не может принять решений и не может начать военных действий, если Государь в руках мятежников.

В Ставку — ехать незачем.

Но тогда что будет с Армией? (И со всей войной!)

Голова никак не брала решения.

Честь — требовала вмешаться. Разум — не указывал пути.

А не первый раз в эту войну, и особенно в эти последние месяцы, Воротынцев вопреки своей вере в силу единичной воли — ощущал почему-то заколдованное роковое бессилие: даже в гуще событий, в самом нужном месте и сколько ни напрягайся — нет сил повернуть события! Почему так?

Да не погнать ли назад по Николаевской дороге? И даже прямо в Петроград? Может там ещё что-то?..

Это была авантюрная мысль, от крайности,— но всё-таки центр событий там, но может не всё ещё так бесповоротно, как пишут? Всё-таки возможны какие-то действия?

Какой бы ты ни был воин, сто раз обстрелянный,— а вот подступит, обоймёт совсем неожиданное, и ты внутри своего мундира — слабый и беспомощный человек, как каждый.

Ехать или не ехать,— но на Николаевском вокзале можно узнать что-то чёткое от приезжающих.

И Воротынцев рванулся к Николаевскому вокзалу, отдавая ходьбе всё неизрасходованное: перетолкался, пересек Трубную, поднялся крутым Рождественским бульваром и, чтоб избежать возможного столпотворения Мясницких и Красных ворот, срезал по Уланскому и по Домниковке.

В переулках не замечал никакой необычности. Пересекал на Садовой всё такое же растерянно-радостное многолюдье. Пока дошагал до Каланчёвской площади, уже сам с собой стал применять слово „революция".

Революция во время войны!! Даже если б она имела цель выйти из войны — это уже полный проигрыш войны. Это — ещё куда хуже, чем тянуть войну дальше.

Такое же обезумевшее, восторженное и бесцельное бродево охватило его и на Каланчёвской площади.

А поезда с Николаевского вокзала — ходили как ни в чём не бывало. И через несколько часов можно будет уехать.

Но именно тут углубилась нелепость: если во главе революции Государственная Дума — то что же в Петрограде против неё можно делать? И с кем? — с петроградскими никудышними запасными?

А вот — пришёл из Петрограда поезд. Воротынцев стал при потоке идущих и смотрел знакомых, особенно офицеров.

Знакомых не увидел, но заметил, что все офицеры идут безоружные. И остановил одного капитана. И ещё один штабс-капитан потом сам набежал.

Они были настроены отчаянно, не с той поверхностной растерянностью, как офицеры в Москве. Они рисовали, что в Петрограде — ад, убийства офицеров и погоня. Что ехать туда нельзя ни в коем случае: расправа наступит ещё на перроне. Ехать можно только в штатском и безоружному. Рассказывали разные случаи. Действительно, оторопь брала.

Воротынцев привык, что опасность зовёт. Но такая — не звала.

А царский поезд? Не слышали, не встречали? Где он?

Ничего не встречали. Нигде по дороге ничего подобного, заметили бы.

Окончательно не понимал Воротынцев, что ему делать.

Нет, возвращаться в Петроград конечно было упущено, это — вздорная мысль.

И вздорная, непонятная, самоубийственная поездка Государя! Все эти дни ведь он знал о событиях с самого начала — и что же он решил? Куда поехал?..

И уйти с вокзала Воротынцев тоже ещё не решил. Недоуменно затерялся в вокзальной толпе. Пошёл в ресторан — и пообедать, и поразмыслить, выиграть время, остояться, не делать пустых движений.

И тут, над тарелками, вдруг подумал: а Государь-то едет — просто-напросто к жене...? Всего-навсего...?

Тогда он — погиб.

И всё погибло.

Шли по вокзалу — два студента с винтовками, взятыми на ремень. И больно было — как ударило: и стрелять ведь, конечно, не умеют. А вот — *они* взяли оружие. А офицеры сдают своё.

Разливанная Каланчёвская площадь была уже при вечерних фонарях.

Нет, офицер вне своей части — ничто. Военный силён только на поставленном месте. Что может одна отдельная одинокая шашка, когда и её отбирают? Надо, не мудрствуя, просто возвращаться в 9-ю армию, на своё место.

Вошёл в телефонную будку и стал дозваниваться до знакомого капитана в штабе Округа, который сегодня вечером дежурил,— узнать последние новости.

Тот ответил: Кремль, Арсенал, все последние части — перешли на сторону революции. Генерал Мрозовский только что арестован у себя на квартире.

Ну, и дождался.

273

Трудный день выдался Исполнительному Комитету: после короткого перерыва опять заседали во второй половине дня, под гул беспорядочного Совета за дверью — и под угрозой, что во всякий момент эта отчаянная солдатня ворвётся сюда в поисках правды. (Неправильно разрешили выбирать по человеку от роты: слишком много солдат собирается.) Но нет, Соколов как-то всё справлялся с ними, молодец: орали там, а сюда не врывались. Как-то он там учредил подобие порядка и ораторов.

А между тем И-Ка сдвинулся обсуждать условия передачи власти буржуазии — и Гиммер вытягивал самую сладость из теоретической косточки.

В новых условиях демократии начиная борьбу против буржуазии не на живот, а на смерть, не надо отнимать у буржуазии надежду выиграть эту борьбу! Поэтому нельзя уже при начале ставить ей слишком жёсткие условия власти. Наоборот, надо заманить её на власть. Главное условие одно: обеспечить в стране абсолютную и бескрайнюю свободу агитации и организации! Нам это — больше всего нужно! Сейчас мы распылены. Но уже за несколько недель мы будем иметь прочную сеть классовых, партийных, профессиональных и советских организаций, да если ещё полную свободу агитации — то буржуазия нас никак уже не возьмёт, освобождённые массы уже не капитулируют перед жупелами имущей клики. И формы европейской буржуазной республики не затвердеют у нас, революция будет углубляться.

А вместе с тем это требование — свободы агитации — настолько общепризнанное демократическое, что буржуазия никак не может нам в нём отказать. Не покушаться на принципы свободы! — как они могут отказать? И если ещё к этому добавить всеобщую амнистию? И, в принципе, Учредительное Собрание? Как же они могут отказать, сами это провозглашали с Пятого года! А нам — вполне достаточно! И не надо пока больше ничего, даже о земле, даже экономические требования,— не надо пугать буржуазию! Даже не надо требовать объявления республики — это выйдет само собой. А тем более не заикаться о политике мира — это спугнёт их окончательно. Нельзя же от Милюкова требовать Циммервальда, это просто nonsense. Если открыть в с ю нашу программу мира — то Милюков и власти не возьмёт. А если открыть только часть, то западные социалисты удивятся, какая урезанная наша программа. Но беспокоиться нечего: при свободе агитации мы потом достигнем самого полного мира.

— Кто не знает, товарищи: я сам всю войну пораженец и интернационалист. Но сейчас я советую: помолчим об этом! Циммервальдистскими лозунгами мы можем отпугнуть даже обмороченную солдатскую массу, даже и в самом Совете: среди этих простаков ещё принято, что войну надо вести до конца. Нет, свернём пока циммервальдское знамя! — всё настойчивей вывинчивался Гиммер в своём монологе, несомый великой мыслью, даже приподнимался на цыпочки перед столом заседаний.— От этого правительства нам нужно только одно: завершить и закрепить переворот против царского режима! А потом — мы скинем их самих!

Он сам вздрагивал от глубины своего прови́дения. И как-то легко это выговаривалось, не боясь шпионов от думских кругов и что слышат многие за занавеской. У революционных истин есть великое свойство: обречённые, даже слыша их ушами, не понимают.

Тут члены ИК — зашумели, в несколько голосов. Большевики — всё

долой, оборонцы, духовные карлики,— разделить с буржуазией власть. А дюжий Нахамкис, час от часу входящий в силу и влияние, косым внимательным взглядом примерялся: может и правда принять гиммеровскую платформу? И, волнуясь получить и этого сильного союзника, собрать вот-вот большинство, Гиммер с новой пронзительностью, надрывая своё слабое горло:

— Нам не соглашение с буржуазией нужно сейчас, а только — вырвать у плутократии ядовитый зуб против нашей классовой самодеятельности! Их правительство тогда не выдержит и быстро лопнет под напором народных сил! Их правительство окажется скоро жертвой нашей углублённой революции!

Гиммер не помнил, когда он говорил так убедительно и так проницательно. Он ощущал просто свой великий момент, взлёт на пик революции! Буревестник!

А те не понимали, трусливые гагары: как это, в коалицию не входить, да ещё и никакого соглашения? Они хотели *соглашения*! — и, Чхеидзе:

— Мы будем их подталкивать.

Кружительная сложность гиммеровского выступления состояла в том, что все эти тонкости о власти, высказываемые вслух, были только первым планом его замысла, а позади таился второй: несмотря на перевес болота и оборонцев в ИК — уже сейчас, по этому вопросу, и затем по каждому следующему искусственно и искусно создавать левое большинство — из небольшого циммервальдского ударного ядра и опираясь на левый фланг. Но эти левые — глупые, неумелые, они не понимали всей тонкости гиммеровского замысла: они хотели кричать о „мире" в открытую и пугать буржуазию насмерть. Они хотели хватать власть, прямо сейчас.

А с большевиками и вообще трудно кашу сварить, они слышат и видят только себя. В самый важный момент гиммеровского доклада Шляпников куда-то уметнулся, а потом вбежал и, требуя в порядке ведения, срочно, забубнил своим владимирским говором:

— Да пока вы тут занимаетесь академическими вопросами, на вокзале конфисковали нашу партийную литературу! Исполнительный Комитет должен принять экстренные меры!

Академическими вопросами! — глупец. У большевиков — комичная исключительность, что только их партийная литература достойна внимания, только их воззвания содержат правильные лозунги, только их предложения могут приниматься.

А за дверью — орали солдаты, ох, орали! И какая тут перегородка? вот сейчас ворвутся со штыками и руганью! Солдатский вопрос ревел — и требовал первоочерёдности. Однако, если ворвутся — что им говорить? Офицеры возвращаются? — так горчицей намазать им это возвращение!

Да если требовать полной свободы агитации и организации народным массам — то значит, и в армии, для солдат? А как же? Да это было несомненное, замечательное и плодотворнейшее по последствиям продолжение мысли Гиммера — и тут они с Нахамкисом уже имели согласие. Распространить на армию полную демократию и свободу агитации — это создаст для буржуазии невыносимые условия, парализует её, а нам развяжет руки. Распространить на армию все завоевания гражданских прав, свободу союзов, стачек и собраний, ну, вне строя, свободу самоуправления — и армия будет вся на стороне Совета!

Но Нахамкис придумал и предложил и ещё специфический шаг — и Гиммер признал, что конгениально с его собственными предложениями, а без этой конкретизации все наши завоевания пойдут насмарку: *невывод из Петрограда и неразоружение воинских частей, принимавших участие в перевороте!*

Верно! Верно! Таким требованием мы окончательно привяжем столичный гарнизон к себе и к революции — и решительно отнимем его у буржуазии!

Всё более видели Гиммер и Нахамкис, что им двоим и надо взять в свои руки отношения с буржуазией, что остальной Исполнительный Комитет только всё испортит. Оборонцы всё никак не могли решиться отвергнуть даже коалицию, уже сколько часов с утра над этим прели.

Наконец, уже в шестом часу вечера проголосовали и, 13 против 7, приняли решение: в министерство Милюкова представителей демократии не посылать.

И меньшинство — осталось недовольно. И Рафес бурчал, что решение ИК — только предварительное, ещё будем консультироваться со своими партиями — и ещё завтра перенесём вопрос на пленум Совета.

Ещё чего! — такой деликатный вопрос переносить в безголовую толпу, вон они как орали за дверью.

И даже до того договорились правые, что решение ИК не может считаться авторитетным, потому что Исполнительный Комитет сам себя выбрал.

Опасный довод! Опасный прием борьбы! Революционно-этически недопустимо так аргументировать!

И — это все почувствовали почти сразу: дверь из комнаты Совета вдруг распахнулась — и оттуда ввалился — нет, не весь Совет, не орда диких штыков,— оттуда вшагнул расстёгнутый распаренный Соколов, ещё возглавляя движение, а за ним — десяток самых простых солдат, весьма невыразительных физиономий. Что это?

И Соколов уверенно объявил, что это с ним — новое пополнение Исполнительному Комитету — десятеро депутатов от солдат!

Это было — самочинно! непредвиденно! невероятно! Как это так? — никого не спросясь, привести?

— Но это очень неожиданно, Николай Дмитрич! Это меняет всю ситуацию!

— Но так меняется вся партийная и социальная структура Исполнительного Комитета!

Но они — втопали, и вот стояли!

Впрочем, стульев для них всё равно не было.

Обстановка очень испортилась: как можно теперь что-нибудь серьёзное обсуждать? Во что превратится теперь Исполнительный Комитет?

Ах, Николай Дмитрич, что вы наделали!

Бесповоротно погубил партийное представительство.

Соколов, войдя сюда, и сам конечно почувствовал. И оправдывался теперь:

— Мы выбрали временно, только на три дня. И главным образом решить вопрос о солдатских правах. Мы выносим на Исполнительный Комитет пожелания пленума Совета... Офицерам оружия не выдавать. И какие офицеры вели себя нелояльно к революции — их к командованию не допускать. И обеспечить солдатам все демократические права...

И Нахамкис оценил обстановку и сразу это принял:

— Так прекрасно, Николай Дмитрич, прекрасно! Вот и берите вашу команду, подите займите какую-нибудь комнату — и вырабатывайте документ. А мы на Исполнительном Комитете — утвердим. Я к вам ещё приду.

Переглянулись — ну что ж, хорошо, согласны, пусть идут.

А солдатам — только это и надо, своя нужда.

И Соколов — ещё не измотан, готов. Пошли.

Ушли, все лишние. И остался ИК в прежнем составе заседающих.

Воз-му-тительно! От этого „пополнения" надо как-то избавиться.

Итак, коалиция с буржуазией отвергнута.

А — переговоры? От переговоров — болото и правые не смели отказаться. Надо зафиксировать советские условия к буржуазному правительству. И — предъявить их.

Рафес: в первую очередь добиться отмены национальных ограничений!

Нахамкис решил всё более брать дело в свои твёрдые руки, и довести до конца, пролетариату бывает трудно организоваться. Он взял клочок бумаги и стал записывать, какие условия называли и принимали.

Тут неожиданно мало и спорили. О земле крестьянам? о 8-часовом рабочем дне? о войне и мире? и даже о демократической республике? — всё это можно перенести и на Учредительное Собрание, если на него цензовики согласятся. Чтобы Милюков меньше волновался, можно назвать его Национальным Собранием, или Законодательным, как это всё уже бывало у французов.

Но нужно отрезать им лазейку: не дать сговориться с царём! А значит: помешать им оставить монархию. Запретить им монархию!

Гиммер: но мы напугаем Милюкова — и он откажется от власти! И зачем так настаивать, если даже меньшевицкий ОК в сегодняшнем воззвании не назвал республики?

Ну, выразим это так: буржуазное правительство не должно предрешать форму будущего правления.

Приняли. Хорошо.

А личный состав правительства? Да в общем, пусть набирают, кого хотят. Пусть дружки там делят портфели, всё равно не надолго, в это мы не вмешиваемся. Ну конечно, если будут слишком одиозные лица — мы отведём.

А остальные требования, какие приходили на ум,— все были такие старые, от Девятьсот Пятого года, общие всему либеральному и демократическому движению,— не могли кадеты настолько потерять совесть, чтоб от них отказаться.

Вот только что́ там сейчас Соколов с солдатами готовит — это тоже придётся предъявить.

274

Днём по улицам Луги безвозбранно ходили толпы солдат, под предводительством неизвестно каких типов. У пожарного депо убили двух городовых. Разграбили несколько лавок. Среди солдат стали попадаться и пьяные.

Но согласно избранной тактике кавалеристы не выходили из казарм на подавление.

Ротмистр Воронович оставался в казарме своей команды, нервничал, но Всяких не возвращался из „военного комитета", и послать больше было некого, деликатное дело.

Около 6 вечера ротмистру доложили, что граф Менгден обходит казармы и произносит речи. Значит, не усидел, решил вмешаться. Что этот сумасбродный старик мог нагородить, ничего не понимая ни в обстановке, ни в чувствах солдат? Воронович поспешил найти его, нагнал его свиту в команде Кавалергардского полка.

Старомодный седой генерал, уверенный в неотразимости своих слов и с неостывшей горячностью, произносил солдатам призывы о славных традициях полка и о верности присяге. Солдаты выслушали молча и не раздалось „рады стараться", и так же молчали при уходе генерала.

И Менгден хотел идти в следующую казарму. Но Воронович придумал просить его зайти в управление подписать срочные бумаги. Генерал согласился, и вся свита повернула.

Оказывается, за минувшие часы генерал уже был арестован на своей квартире артиллеристами и отведен этими мальчишками в их дивизион, но там его освободили и даже извинились. Может быть, этот арест и встряхнул Менгдена. Настроение его было снова бодрое, уверенное, как всегда. Входя в свой кабинет с Вороновичем, он укорил его, глядя краснотечными, чуть слезящимися глазами:

— Я очень сожалею, что днём вы меня отговорили — выйти и крепко поговорить с этими мерзавцами. Это была ошибка, что я поддался вам. Нельзя бездействовать. Вот завтра-послезавтра всякие волнения в Петрограде будут кончены — и мы только осрамимся перед фронтом за сегодняшний день.

На этот единственный миг усумнился и Воронович: может быть, и правда он предложил линию ложную, а старик прав?

Но тут вбежали и сказали, что перед управлением собралась толпа солдат, которая хочет арестовать всех офицеров.

Всех? Не разбирая? Ёкнуло сердце. Вот так попался, и зачем ушёл из своей казармы, сидел бы и дальше там.

Из соседней канцелярии уже слышался стук прикладов.

Высокий черноусый Воронович вышел из генеральского кабинета и увидел, что канцелярия переполнена солдатами разных частей, больше всё теми же щенками артиллеристами из дивизиона. Он силился сохранить спокойствие, хотя чувствовал, что пронимает дрожь — и негодования, да и опасения, чёрт возьми, это уже за пределами.

— Что вам нужно, ребята? — ласково спросил.

В несколько голосов ответили:
— Арестовать всех офицеро́в!
Но тут Воронович уже заметил и нескольких солдат своей команды, которые старались к нему протиснуться. Появилась надежда.
— Ну что ж, арестовывайте, если хотите.— Стал закуривать папиросу, руки заметно дрожали.
— Нет, *этого* не надо! — уже кричали свои.— Этого не трогать!
„Этого"! Ни ротмистра, ни его благородия...
— Кого же вы хотите арестовать? — уже с большей твёрдостью спросил Воронович.
Из толпы выдвинулся подвыпивший чубатый унтер, кавалерист Гусев, и мрачно уверенно объявил:
— Которые из немцев. Потому, много есть господ офицеров, которые немцы и шпионы.
Кто-то сунул ему записку, он стал читать.
И первым в списке был граф Менгден.
Воронович потерял всю офицерскую уверенность. И не оборвал и не отрубил, а осторожно промямлил о долголетней службе генерала, о старости. Но выдвинулся мальчишка-артиллерист и заявил, что „военный комитет" приказал арестовать генерала Менгдена за то, что он не признаёт нового революционного правительства и призывает к этому своих солдат.
Вот где он был, комитет!
А Гусев с несколькими уже отправились грозно в кабинет Менгдена.
Воронович подошёл к новобранцу, говорившему от имени комитета, и мягко спросил его, нельзя ли подвергнуть Менгдена лишь домашнему аресту, он никуда из своей квартиры не скроется.
Но из кабинета донеслось громко, и Гусев выскочил в ярости:
— Вы нам тут зубы заговаривали, а он удрал!
Куда же? Там выхода нет.
Но новые крики:
— Вот он! Тащи его!
Оказалось, старик не выдержал, потушил электричество и стал за печку.
— А-а-а! — торжествовал Гусев. И снимал висевшее на вешалке тёплое генеральское пальто, и с наглой усмешкой подавал его: — Закутайтесь, ваше сиятельство, в шубку, а то в карцере холодновато будет!
Он настаивал вести всех арестованных в карцер, где только что он сам сидел за буйство и был освобождён толпой.
Генерал беспомощно расслабленно озирался, надеясь, что кто-нибудь вступится.
Но не вступались ни свои кавалеристы, бывшие здесь, ни писари канцелярии, ни единственный здесь офицер — ротмистр Воронович.
И тогда сам обращаясь к нему, граф сказал по-французски:
— Ротмистр, передайте моей жене, что я арестован.
— Не сметь по-немецки! — набросились на него.
И повели.
Ротмистр стоял непроницаемый. Всё шаталось на лезвии, одно неверное движение — и его арестуют тоже. События замахнули гораздо дальше, чем можно было ожидать утром.
А Гусев вытащил ту записку и читал следующие фамилии: фон-Зейдлиц, барон Розенберг, граф Клейнмихель, полковник Эгерштром, Сабир.
Отряжали наряды — искать их, арестовывать, вести на гауптвахту.
Кавалеристы и писаря погудели между собой и предложили, что они берут Зейдлица, Розенберга и Сабира на поруки.
Артиллеристы согласились.
Об остальных речи не было.
При первой же возможности Воронович осторожно выскользнул из канцелярии со своими солдатами.
И хорошо сделал: оказалось, что Гусев подговаривал артиллеристов брать Вороновича: этот ротмистр как старший адъютант подписал приказ о гауптвахте Гусеву.

В своей казарме Воронович почувствовал себя в полубезопасности, но всё равно оставалось тревожно.
Тут вскоре вернулся Всяких и сообщил, что „военный комитет" действительно непрерывно заседает в автомобильной роте, но чувствует себя растерянно без единого офицера. Все офицеры скрылись, боятся показываться. Впрочем, часть их уже арестована. Комитет поставил было караулы к казначейству, к винному складу, но караулы самовольно разошлись, и начался грабёж.
Ах, так вот это же и чувствовал Воронович! — как он нужен комитету, а комитет — ему!
Он сел и стал писать в комитет официальную записку, что если комитет желает, он немедленно выведет свою команду в город, займёт все караулы, а с дежурным взводом обоснуется на вокзале как центральном важнейшем пункте.
И не полагаясь больше на Всяких, послал с запиской проворного ординарца. Сам нервно расхаживал.
Тут прибежали перепуганные писаря управления и рассказали. Графа Менгдена, Эгерштрома и Клейнмихеля завели в ту самую камеру, откуда накануне вышел Гусев. Гусары команды Клейнмихеля и другие подходили к дверям карцера и подсмеивались над арестованными. А больше всех — полупьяный Гусев. Граф Менгден молчал, а те двое отвечали. Эгерштром якобы сказал: „Подождите, мерзавцы, сегодня вы куражитесь, а завтра мы вас перепорем".
Он не понимал, насколько серьёзно дело!
Толпа вломилась в карцер и бросилась на арестованных. Генерал Менгден был убит первым прикладом по голове. Эгерштрома и Клейнмихеля взяли на штыки, а потом кинули на пол и добивали прикладами.
Кавалеристы в казарме слушали толпой, Менгдена жалели. Упрекали тех, кто был в управлении при аресте, отчего не взяли его на поруки. Поднялись голоса: разыскать сейчас убийцу старика и с ним расправиться! Но Воронович удержал их: это неуместно, от этого только увеличится кровопролитие и беспорядок.
После этого эксцесса тем более, тем более нужен был тесный контакт с комитетом, иначе через несколько часов начнётся общее избиение и всех остальных офицеров.
Так легко бессмысленно погибнуть.

275

Меньше чем за час в Ставку донеслось две телеграммы от Мрозовского. Одна — что войска переходят на сторону революционеров и даже с орудиями, и по Москве большие толпы забастовщиков, и нет надёжных войск обезоружить бунтующих.
Вторая — прямо и кратко: в Москве — полная революция.
Так полнозвучно было названо всё не прорывавшееся, скрываемое слово: революция!
Вот — и уже?..
А Северо-Западный, получив успокоительную № 1833, теперь с изумлением и нервностью переспрашивал: откуда у наштаверха такие сведения? Главкосев генерал Рузский просит срочно его ориентировать ввиду ожидающегося через два часа проследования через Псков императорского поезда. По их сведениям, Петроград прервал все сообщения и нельзя подбросить на помощь идущим войскам крепостной артиллерии из Выборга. А в Кронштадте, как уже известно, убивают офицеров и адмиралов.
А Алексееву так неможилось, что он и среди дня прилёг. И лёжа, поручил Лукомскому передать во Псков для подъезжающего Государя — московские новости, кронштадтские новости, гельсингфорсские, и что адмирал Непенин не скрывает от флота телеграмм Родзянки и признал думский Комитет. И — снова передать для Государя всё утреннее красноречивое уговорительное письмо, отправленное в Царское.

Ах, и отчего уж так упрям Государь?.. Через год ли, через два, после конца войны, но самодержавию всё равно придётся пойти на самоограничение, не избежать дать ответственное министерство. Так отчего не уступить сейчас, зачем вызывать лишнее озлобление и смуту?..

А сам Алексеев — ничего не мог изменить. Вот даже не мог отменить уже бессмысленного движения крепостной артиллерии из Выборга,— но посылал Клембовский распоряжение направлять её к Петрограду походным порядком, ещё усилив пехотной частью.

Чередовались на передаче Лукомский и Клембовский.

— Но что, Михаил Васильич, ответить им о телеграмме № 1833?

С той телеграммой конфуз, что и ответить? Стыдно признаться, что просто поверил, поддался Родзянке. Хотя впрочем были же подтверждения и из морского штаба. И от иностранных агентов. Видимо, слишком переменчивая обстановка.

— Скажите, что сведения, заключённые в той телеграмме, получены из различных источников и считаются достоверными.

Изможадала Алексеева и болезнь, и неподвижность, и невозможность отсюда достать во Псков, самому убедить Государя. А этим убеждением решилось бы всё.

— Передайте, чтобы всё было доложено Государю немедленно по прибытии. А если литерные поезда будут задерживаться с прибытием во Псков, то пусть пошлют навстречу офицера генерального штаба со всеми депешами. Экстренным поездом. А если будет неисправность пути — то послать железнодорожную команду для исправления.

Пот бессилия выступал на лбу Алексеева. Вся судьба России стянулась к этому отрезку от императорского поезда до Пскова. Как их соединить, прояснить и помочь?

Оттуда донесли, что генерал Рузский и Данилов уже выехали на вокзал встречать императорский поезд.

Так просить штаб тотчас вдогонку им везти все телеграммы на вокзал!

Прежде чем Государь повернёт на Петроград — он должен быть обо всём осведомлен!

Тут пришёл к Алексееву великий князь Сергей Михайлович, инспектор артиллерии, тоже едва оправившийся от болезни, сухой, пригорбленный, жёлто-чёрный. И Алексеев — встал к нему. И показал ему все телеграммы.

Сергей Михайлович был хороший знаток артиллерии. Среди ставочных офицеров держался просто. На тыловые дела давно смотрел пессимистически. А сейчас был и схвачен тревогой за свою Малечку Кшесинскую, и дом в Петрограде, по слухам разграбленный.

Сейчас он выразил полное согласие с уговорными доводами Алексеева об общественном министерстве. И дал разрешение передать своё согласие Государю.

Алексеев очень был рад поддержке и тем более укрепился в своей правоте. И тут же велел бритолицему Клембовскому телеграфировать во Псков, что великий князь Сергей Михайлович безусловно присоединяется к необходимости мер, указанных в телеграмме наштаверха, и в качестве необходимого *лица* считает наиболее подходящим самого Родзянку.

Не так Родзянко был хорош, как не приходила другая кандидатура.

И ещё:

— Выразите мою надежду, что главнокомандующий Рузский придерживается тех же взглядов. И поэтому защита их перед Государем не представит затруднений, а будет успешна.

Все разумные люди всегда соединяются доводами умеренности.

Тут поднесли ещё телеграмму из главного морского штаба, что порядок в Петрограде налаживается, хотя с большим трудом. Однако появилась опасность раскола в самом Комитете Государственной Думы — и левые блокируются с Советом рабочих депутатов.

Тем более! Тем более надо было всеми силами поддержать здоровое ядро думского Комитета.

И Москва своим восстанием перешла на сторону думского Комитета.

И Балтийский флот — на сторону думского Комитета. И подошла крайняя пора Государю идти навстречу своему населению, издать успокоительный *акт*.

С Кавказского фронта пришло Алексееву лаконичное подбодрение великого князя Николая Николаевича: „ознакомился с телеграммой 1833, вполне и всецело присоединяюсь твоему мнению". (Они были на „ты".)

Кружным исхитренным путём достигла Ставки и телеграмма Брусилова — графу Фредериксу, то есть для прямой подачи Государю. По долгу чести и любви к царю и отечеству подвижный Брусилов горячо просил Государя признать *совершившийся факт* и мирно и быстро закончить страшное положение дела. Междуусобная брань угрожала бы безусловной катастрофой и для отечества и для царского дома. И каждая минута промедления в кризисе влечёт напрасные жертвы.

Ещё и эта новая телеграмма укрепила Алексеева в его миротворческих усилиях. Он снова лежал на диване с температурой и взвешивал: что же складывалось? Миролюбивое направление вот уже открыто поддерживали трое главнокомандующих фронтами и один командующий флотом, четверо из семи, большинство.

А попытку противиться сделал пока только Эверт. Важен, конечно, не Эверт, но за ним стоит Западный фронт, он здесь рядом, тысячи офицеров и все по местам. А сам Эверт — только по внешнему виду страшен. На самом деле — он не шагнёт без приказа, он трус.

Между тем Западный фронт не забыл и не дремал, но в семь часов вечера Квецинский опять вызывал к аппарату: хотел бы узнать ответ на вопросы главкозапа. Оповестительная телеграмма Ставки о положении в Москве, в Кронштадте, о позиции адмирала Непенина и шагах генерала Алексеева нами принята. Но фронт наполняется телеграммами и слухами со всех сторон, и нельзя различить, где правда, где сплетня. Главкозап опасается, чтобы беспорядки не перебросились на фронт, и полагал бы необходимым получить возможно скорее определённое решение. И — где Государь? и — где Иванов? и — где ушедшие эшелоны?

Снова эти висящие, не остановленные эшелоны. События не ждали, правда.

К аппарату пошёл размеренный круглолицый Лукомский. Вообще он раздражал Алексеева, и работать с ним долго не будет возможно. Но, не подходящий в военном деле, министерский снабженец, не знавший фронта, он очень укрепил Алексеева в эти кризисные дни тем, что весьма сочувствовал обществу, Земгору, реформам, и искренно поддерживал последние шаги наштаверха.

Как-то он там отговорился от Западного фронта, пришёл грузной перевалкой к лежащему Алексееву и доложил:

— Михаил Васильич. Невозможно не сообщить им вашей дневной телеграммы Родзянке. И вообще они настаивают на *определённом решении.*

Выговорную телеграмму Родзянке? Об опрометчивости его телеграмм, перерыве связи с Царским Селом, задержке царских поездов? Вынести на обсуждение — значит омрачить отношения с Родзянкой,— но он сам на то нарывается. Хорошо, сообщите всем главнокомандующим.

В такой момент единственно с ними должно быть упрочено, и без скрытностей, да.

А *определённое решение*? Хотел бы Михаил Васильич сам его от когонибудь получить!

276

Едва в гущу Таврического ввели генерала Сухомлинова — три матроса, два солдата и интеллигент в очках с браунингом,— как весть прокинулась по залам. Возбуждённые солдаты потянулись: куда? куда его повели?? Угрожая и расправиться.

Кого ещё все эти дни водили арестованными — солдаты не знали. Видели мундиры жандармские, генеральские, видели бобровые шапки, дорогие шубы, чужую кость. Видели, как с револьверами в руках вели какого-то архиерея, это уже и грех, он и идти не мог, ему подставили стул, он подкосился на него,

а дальше его несли на стуле, а он благословлял попутно. Но Сухомлинова — это единственное имя знали даже тёмные солдаты, о нём уже год писали все газеты и разъясняли читчики газет: что это и есть тот главный генерал-изменник, из-за которого гибло столько нашего брата на фронте, не было снарядов, из-за которого не кончалась война! Наконец-то поймали настоящего виновного и врага! (А кто и слышал, что его уже сажали в крепость — но потом освободили по руке других таких изменников.)

Успели его провести в крыло здания, в какую-то неизвестную комнату,— но солдаты настигли, крик рос, столпились жаркой стеной и требовали подать его сюда, и знали, что никак иначе не провести его в арестные комнаты, как через них и потом через большой зал. Кричали:

— Выдать Сухомлина!

К ним вышло два думца и успокаивали, что во всём разберётся суд, что не должно быть расправы.

— А сюда его! Изменник!

Нехотя поддавалась толпа уговорам. Своими руками расправиться — эх хорошо бы, верно, быстро, без сумления. А то ведь — спрячут, потом уведут, опять ослобонят, избегнет. Кому и разверстаться, как не солдатам, кто ж гиб, как не солдаты, не вы ж тут гибли!

Ладно, кто догадливый выкинул:

— А сорвить с него погоны и несить нам сюда!

Погоны-то, золотопереплетенные, и были ненавистны боле всего.

— Не! при нас сорвите!

— Всем унутрь нельзя? Хорошо, вот при наших посланцах.

(Посланец называется *делегат*, учили их тут в другом крыле другие господа.)

Пошли двое от солдат. Пошли в ту комнату, где сидел у стены этот лысый, вислоусый генерал, погорбился, мешок опущенный.

Какой-то господин подошёл к нему с ножницами. Но генерал пожелал срезать сам. Проворно снял шинель на колени. Достал перочинный ножичек. И ловко срезал, не портя погон.

Но тем самым открылся мундир.

— Давай и с мундира! — командовали солдаты.

С мундира срезать ему помогли.

А орденов на груди он не принёс, лишь георгиевский крест.

Кто-то из здешних господ сказал, что надо снять и крест.

Но конвоир-матрос вступился:

— Ничаво. Георгий пущай останется. Снимут по суду.

Солдатские посланцы понесли генеральские погоны и высоко подняли. В толпишке загрохотало „ура".

— Сюда покажи! Сюда покажи!

Всё ж таки бывает правда на земле!

Кто стал расходиться. А иные всё стояли, ожидая, когда поведут.

И думские в комнате не знали, как его безопасно перевести в министерский павильон.

А генерал подрагивал.

Тут появился, ворвался, как крылатый, вездесущий Керенский. Он и решил: везти генерала немедленно в Петропавловскую крепость, откуда он незаконно освобождён царём! И он же взялся его вывести. Пошёл впереди театральным шагом, сзади ещё двое-трое и матросы-конвойцы. Выйдя к растаявшей уже кучке, Керенский, сам тонкий, прокричал повышенно тонко-звонко:

— Солдаты! Бывший военный министр Сухомлинов находится под арестом. Он состоит под охраной Временного Комитета Государственной Думы. И если вы в законной ненависти к нему дозволите себе употребить насилие, то этим вы только поможете ему избежать кары, которой он подлежит по суду! И опозорите революцию пролитием крови в стенах Государственной Думы. А со стороны нас вы встретите самое энергичное противодействие, хотя бы оно стоило нам жизни!

И голос его дрогнул от переживаемой красоты.

Хотя по-учёному он это выразил, но поняли солдаты: ладно, не трожьте, будут судить.

И никто рук не простягал. Только орали:

— Изменник! Предатель!

Бледный Сухомлинов набрался ответить:

— Неправда.

— Правда, правда! — кричали со всех сторон.

И повели генерала, и в новом месте посадили неподалеку от крыльца, пока автомобиль разыскивали. И мимо него ходили солдаты и штатские, вооружённые и с красными повязками, „товарищ, как пройти к такому-то?", „товарищ, где информационная комната?".

Странно звучали эти повсюду „товарищи".

Сухомлинову арест был не внове, как другим сановникам: только последние 4 месяца он был под домашним арестом, а перед тем полгода просидел в Трубецком бастионе, в Алексеевском равелине, единственный там узник, полежал и на соломенном мешке с продавливающими железными болтами койки, походил по цементному полу от ватерклозета до окна, у него уже отнимали ремень, подтяжки и даже полотенце на ночь, чтоб не удавился. Не сегодняшний арест под дулом браунинга какого-то интеллигента, но тот первый арест был для него воистину как гром над ясной счастливой жизнью, и вот уже год имел он время размышлять и удивляться и обижаться: почему все вины валились именно на одну его постаревшую голову? Вместе со стольким радовались жизни, продвигались по увлекательной лестнице государственных чинов, это длилось как нескончаемая прелестная игра,— и откуда же вдруг на старость лет так тяжело спросили с него одного?

Сухомлинов долго продвигался, не достигая сияющих ступеней. Лишь на пятом десятке лет он стал генералом, и тут начались самые яркие счастливые его годы: генерал-губернаторство в Киеве с революционного октября 1905 года и, уже двукратный вдовец, в 60 лет он страстно влюбился в 23-летнюю замужнюю женщину и поставил жадной задачей — отнять её себе! В его высоком положении и при памяти, что и вторая покойная жена его была разведёнка, и при отчаянном сопротивлении нынешнего мужа — трёхлетняя борьба этого нового развода была сотрясательной, но чудесный приз стоил того, и Сухомлинов не унывал, боролся, и с благодарностью принимал помощь ото всякого, кто её предлагал,— от австрийского консула в Киеве, от генерала Курлова, от жандармского офицера Мясоедова или начальника Охранного отделения Кулябки. Три года длился скандальный процесс, и заветный развод был вырван подачей на высочайшее имя, когда Сухомлинов стал уже военным министром. Одержанная мужеская победа стоила потерь — неприятностей при Дворе, властных капризов жены, поездок на заграничные курорты, поиска денег,— всё это не омрачало изумительной победы.

В Киеве он научился совмещать несовместимое: быть популярным в обществе, нравиться образованной публике, театральному миру, иерархам церкви, помягчать евреям, и получать всё более высокие посты от Государя. Он умело избежал поехать на японскую войну, предпочтя надёжное тыловое выдвижение. Генерал-губернатором он умел не рассердить ни революционеров, ни либералов. Только правые сильно не любили его и в одной публичной речи выразились о своём генерал-губернаторе так: „Крылья ветряных мельниц или, как их называют в здешнем крае, *сухих млынов*, осыпанные золотистой пылью, вращаются по направлению дующего ветра".

Когда-то юному наследнику престола Сухомлинов преподавал тактику. В зрелые годы он сумел возобновить с Государем правильный тон: постоянную жизнерадостность,— она так нравилась! Он всегда убеждал Государя в наилучшем течении военных дел и постоянно занимал его внимание бытовыми частностями военного дела, так всегда интересными ему как большому любителю. И в Четырнадцатом году Государь хотел назначить военного министра Верховным Главнокомандующим, но Сухомлинов отклонил эту честь, и Государь понял мотивы. Так же Сухомлинов вовремя отшатнулся от защиты судимого этого негодяя Мясоедова, и когда началась общественная клевета против военного министра, Государь понимал и всегда обещал защитить его от завистников. И даже увольняя, Государь написал ему самое трогательное письмо, как 7 лет они проработали тесно, без недоразумений.

Он и был таким на самом деле — жизнерадостным, жизнелюбивым, с лёгкой подвижной мыслью, быстрой ориентировкой, приветливый, обходительный, приятный собеседник, рассказчик анекдотов, доверчивый даже до юношеской беспечности, широкая натура, ему нравилось, что пишут и публикуют его биографию (он помогал материалами из архивов), и глубоко огорчали его разные тучки, какие появлялись на горизонте военного дела. (Оттого бывал и опрометчив: грозило столкновение с Австрией,

а он размещал там военные заказы и туда же вёз на курорт жену.) Он так всегда хотел хорошего, что ему неприятно было произносить что-либо мрачное. И так он напечатал в „Биржевых ведомостях" перед самой войной, что Россия — вполне готова к ней, что она совершенно забудет понятие „оборона", а её артиллерии никогда не придётся жаловаться на недостаток снарядов. (И это так было приятно Государю!)

Ветряная мельница в золотистой пыли, он всё молол, молол, не беря на зубы твёрдого, и так не рискуя их сломать. И если иногда его охватывало страховатое чувство, что его всю жизнь принимают как будто не за того, кто он есть, и как бы не разоблачили,— он ещё оживлённей и цветистее молол. За этими весёлыми взмахами он к июлю Четырнадцатого упустил подготовить запасной вариант частичной мобилизации. Но и ещё год потом, до своего снятия, всё докручивал по ветру: маршала Жоффра заверяя, что Россия насыщена военным снабжением; Николаю Николаевичу сокращая его непомерные заявки.

Да не один же Сухомлинов — и во всех странах так же ошиблись, сколько продлится война и сколько нужно снарядов. И не так всё страшно сказалось, как кричали газеты: много знающих людей работало в военном снабжении, и всё время делалось нужное, как-то само собой (и Сухомлинову тоже некогда было вздохнуть от работы). И перерыв в снарядах был только полгода, а уже к осени Пятнадцатого без всяких союзников, и до всяких военно-промышленных комитетов, и без Поливанова, ходом прежнего министерства стало на фронте доставать трёхдюймовых снарядов, доставлен был миллиов.

Но — кто-то должен был пострадать за летнее отступление Пятнадцатого года, и все ненавистники накинулись клевать Сухомлинова. (А почему — не великих князей? а почему не Коковцова, всегда урезавшего деньги на вооружение?)

И Государь — не защитил своего верного слугу.

А вот — начиналось и вообще какое-то бешевство.

Он не был изменником. Но он был на самом высоком холме — ветряною мельницей, тоже замахнувшей нас в войну и прокрутившей впустую лучшую русскую силушку.

277

* * *

Собрание печатников на Калашниковской бирже решило: буржуазных газет пока не печатать. По постановлению Совета рабочих депутатов разрешён выход в свет только тех газет, которые не будут противодействовать революционному движению.

* * *

Из Таврического выносят свежий номер „Известий СРД", несут к автомобилю, развозить и разбрасывать по городу. Публика накидывается, умоляя поделиться. Несущие начинают разбрасывать. В свалке один солдат кричит:

— Да стойте же! Да тише же! У меня бомба в руках!

Еле выбирается из гущины. И правда, бомба. Морская мина.

— Ведь эка лезут, непонятливые!

* * *

Обстреливали с улицы высокий дом, ранили домовладельца: пуля вошла через подбородок, пробуровила лицо, вышла над глазами. „Ты стрелял?" — „Нет!" — Солдат хочет его пристрелить, а штатский в черном пальто: „Зачем на такую скотину пулю тратить?" — Схватил полено от печи и пришиб его. Стащили убитого вниз, показать народу, бросили под ворота. И штатский рассказывает толпе, как убил, дико вращая глазами.

Прибежала жена, плачет: „Невинной погиб!"

* * *

Дряхлый сенатор А. М. К., с разбитыми ногами, сидел дома за столом, семейных никого не было. Мимо прислуги вломилась толпа солдат и рабочих, подошли к старику с вопросами и требованиями. Старик ничего подобного на земле не представлял, да ещё в его квартире! Что за тон?

— Прошу вас, господа, сначала снять шапки! — первый раз любезно, а потом заволновался, раскричался, застучал костылём по полу.

Те рукой махнули и ушли. А сенатор к вечеру умер от кровоизлияния в мозг.

* * *

Великий князь Игорь Константинович позвонил из Мраморного дворца на Фонтанку княгине Лидии Васильчиковой. Но едва она трубку взяла — к ней в дом ворвалась очередная солдатская банда „проверять, откуда пулемёты стреляют",— и матрос выхватил у княгини трубку, сам спросил в телефон:

— Откуда вы звоните?

Ответил бы „из Мраморного дворца" — и княгине бы не сдобровать. Но Игорь Константинович, услышав грубый чужой голос, сообразил:

— Я хотел узнать, все ли у вас здоровы?

Матрос оскалился:

— Спасибо, *мы* — здоровы! А вот как *вы* поживаете?

* * *

Все аптеки на Невском закрыты. А над каждой аптекой висит, как положено, двуглавый орёл.

И вот какой-то рабочий догадался или надоумили. Сыскал лесенку, приставил и бил орла молотком. На тротуар сыпались осколки.

Мимо шли два иностранца, с очень довольным видом, разговаривали по-английски. Оглянулись, засмеялись, пошли дальше.

* * *

Нигде у ворот уже не стоят дворники, не охраняют порядка. Каждый волен делать, что хочет.

Лазаретные солдаты тоже сбегают в город, ночевать не возвращаются или поздно. Сёстры их просят: хоть по телефону сообщать о себе.

На Суворовской улице жгли соломенное чучело, одетое в мундир полицейского. И бороться-то не стало с кем живым!

* * *

В красных лучах заката вдоль Дворцовой набережной мимо Летнего сада медленно движется грузовик. На нём — матрасы, узлы, вещи, вывезенные из квартиры жандарма, то ли арестованного, то ли убитого. Его самого мундир высоко торчит, надетый на подметальную щётку, и пустые рукава болтаются на ходу. Впереди вещей наверху в кузове — двое солдат без поясов, шапки кое-как. А между ними — пьяная девушка в яркой жёлтой косынке скатертного материала, с красной перевязью наискось по пальто и с обнажённой саблей в руках. Охрипшим диким голосом она поёт, уже видно не первый раз:

Вы жертвою пали в борьбе роковой,—

и размахивает саблей в такт.

Как раз проехали мимо того места, где Каракозов стрелял в Александра Второго.

* * *

Вечером солдаты 1-го пулемётного полка, ставшего в Народном доме, сообразили, что это с умыслом их завели в такой странный, на дома не похожий дом, стоящий настолько отдельно, что его можно легко и взорвать. Их завели, чтобы тут изничтожить. В большом зале для сиденья в одну сторону они долго обсуждали, не уйти ли им. И пустили разведку обсмотреть подвалы. Так и есть! — там стояли какие-то машины, и от них куски пола проваливались, а от одной начинался гром без молнии. Большой был перепуг, и бежали, душились все наружу, хорошо много дверей.

Всё ж остались. Но на 10 их тысяч с лишком не хватало отхожих очёк. Враз забила, завалила братва все дырки. Стали штыками дырки прочищать — трубы пробили, потекли, знать, нечистоты — и потолки стали мокнуть.

* * *

Вечером на петроградских улицах — полная темнота, фонари многие

перебиты, дома наглухо закрыты, окна зашторены, магазины заколочены. Всюду жуткая пустота, есть кварталы — ни встречного, только где промелькнёт испуганная фигура.

Сильный свет и движение — лишь от фонарей автомобиля, когда едет. А некоторые автомобили задрапировали по одному фонарю красной материей — и так ездят, однокрасноглазые, с розовым пучком вперёд.

* * *

(Шлиссельбург) — Сегодня рабочие Пороховых заводов пошли большим шествием вверх по Неве — с красными флагами, утаптывая по льду снег. В верхних открытых окнах Шлиссельбургского замка уже стояли арестанты, ожидающие освобождения после вчерашнего, махали, кричали. Охрана не пыталась сопротивляться и беспрекословно отдавала рабочим свои винтовки и подсумки. В тюремных коридорах появились молотки, зубила — и каторжане сами сбивали кандалы, разбрасывая их по полу мёртвыми змеями. А кто-то брал с собой на память. В цейхаузе меняли бельё, рубахи, но серые халаты и туфли оставались те же. По двору, нагрузя сани „делами" в синих обложках, потащили их к жерлу котельной — и сбрасывали туда, а потом в топки. С других саней, где уложено было отнятое у охраны оружие, произносили горячие речи товарищи Жук и Лихтенштадт. И тронулись через ворота, по Неве — на тот берег, своих больных ведя под руку.

В городе Шлиссельбурге перемешались с горожанами, снова речи. Люди несли арестантам тёплую обувь, шапки, перчатки. Потом потянулись долгим шествием к Пороховым заводам. Вечером рабочие разбирали арестантов по своим квартирам, угощали, клали на лучшие кровати.

Всего в этом тюремном бастионе нашлось 67 человек, политических и уголовных. Среди них — разжалованный за причастность к убийству бывший член Думы Пьяных, эсер.

* * *

(Москва) — Как днём пришёл 2-й дивизион из Ходынских казарм и стал у Александровского сада — так и стояли до 7 часов вечера, всё холодая и голодая: зачем они тут? То говорили — сейчас вернутся в бригаду, то приказывали ждать особого назначения. Затем велели им сменить на Красной площади 1-й дивизион: одно орудие направить на Никольские ворота Кремля, одно по Никольской улице, одно мимо Минина, одно по Ильинке, и другим тоже назначили. Тогда сами нашли дворы, куда поставить лошадей и где добыть им корму. У прапорщика Юры Зяблова было тяжело на душе. Пошел в Думу получить пехотное прикрытие для пушек — и поразился тамошнему хаосу и сутолоке. От него требовали пропусков, он кричал, прорывался к коменданту,— фамилия того была Грузинов, и что-то грузинское в лице. Доказывал Зяблов, что не могут пушки стоять без прикрытия среди снующей толпы, их можно взять голыми руками, подкрасться вплотную. Наконец добыл бумажку от Грузинова получить два взвода из 251-го запасного полка,— а где полк? никто не знает. С трудом нашли на площади 70 нижних чинов того полка и одного прапорщика, у всех винтовки были без патронов, а у сорока — и без затворов. Но для толпы всё-таки ружья, взял прикрытием. Сказали — можно водить солдат кормить в Большой театр. Зяблов повёл команду. Там паркет фойе и буфета — в грязи от солдатских сапог, а есть нечего. Повёл своих в Малый театр — и там ничего не нашли. Но на улице увидел у студентов хлеб в руках — и отобрал для солдат.

Жутко: удержат ли вожаки такое положение? Кажется — налети сейчас две казачьих сотни или ударь по площади пушечный снаряд,— и всё побежит.

К вечеру Кремль сдался, и солдаты валили в Никольские ворота.

Ночью из Бутырской тюрьмы освободились две тысячи уголовников — и пошли гулять по городу.

* * *

(Кронштадт) — Полуэкипаж составлялся из худшего и даже уголовного матросского элемента, списанного с судов и не посылаемого в бои. Они этой

ночью и кинулись первые: врывались с мола на пришвартованные суда и вязали офицеров. Гавань была ярко освещена электричеством — и видно было, как они выбрасывают за борт убитых офицеров, и лёд окрашивается кровью.

Мичман Успенский, уцелевший осенью при взрыве броненосца „Императрица Мария", был в феврале командирован на обучение в минные классы в Кронштадт. В эту ночь он нёс вахту на минном заградителе „Терек". С берега ворвалась банда вооружённых матросов с ленточками Полуэкипажа. Успенскому скрутили руки и уже приставляли к голове револьвер, как вахтенный унтер остановил их: что этот — с Чёрного моря и учится в минных классах. Бросили его, связанного. Сами снимали с офицеров часы, кольца, брали кошельки, грабили их каюты. И волна обыскивателей повторялась 5 раз.

Неубитых офицеров вывели на мол, срывали погоны (с кусками рукава), кокарды, повели на Якорную площадь, показывать трупы убитых офицеров и растерзанного адмирала, потом снова вывели на лёд: „Не хотим пачкать собачьей кровью кронштадтскую землю, будем расстреливать на льду". Щёлкали затворами, целились — но потом повели в Морскую тюрьму, пустили в камеры без нар, спать на полу.

278

Да кого не перемелет эта изматывающая тупая мельница, эта перелопатка, колотушки по бокам! Как в этом месиве сохранить возвышенное состояние души? И все вокруг стали как пристукнутые, потерянные,— но монархисту, но патриоту, но консерватору Шульгину подступило уже вовсе нестерпимо и непонятно. Творилось что-то совсем н е т о, даже по сравнению с его вчерашней дерзкой, но успешной поездкой в Петропавловскую крепость. Какие ещё вчера утром трепетали, обещали красивые лепестки — все безжалостно срывались и затаптывались. Шульгин и все они — попали куда-то н е т у д а, и в головокружении, в потере воли не могли найти себе ни места, ни применения.

И — некому было кинуться на грудь, ужасаясь. Вокруг не стало никого, с кем поделиться.

Это был затянувшийся на день и на ночь, на день и на ночь, на день и на ночь кошмар: минутные вспышки просветления, когда вдруг остро и безнадёжно осознаёшь происшедшее, а потом — тягучий серый бред, как это вязкое людское повидло, набившее весь дворец, связавшее все движения и наяву и во сне. Как нельзя было физически протолкаться по дворцу, так нельзя было и действовать, и невозможно придумать, что делать. Полутьма ночей, где фигуры истомлённых новых властителей России дремали в скорченных позах на кушетках, стульях и столах, сменилась круговращением серых дней, трещанием телефонов с жалобами, призывами, умолениями, вереницами приводимых арестованных, выставляемых на какие-то проверки или заводимых в кабинеты для перепрятки, а потом выпуска; целой очередью приниженных переодетых городовых, закрученной на внутренний думский двор; бледными потерянными вопрошающими армейскими офицерами; и поручениями от думского Комитета, и поездками в полки, и речами, речами, речами тут же, в Екатерининском зале, обращённом в манеж серо-рыжего месива, торчащего штыками, и в бывшем Белом зале заседаний, где зияла теперь пустая рама императорского портрета; и „ура, ура" непрекращаемых митингов, перемежаемых порчеными марсельезами, иногда команды „на караул" в честь Родзянки, но войскам уже не выдать себя за войска, а — вооружённые банды, которым Чхеидзе поёт о сияющем величии подвига революционного солдата, тёмных силах реакции, почему-то *старом режиме*, распутинской клике, опричниках, жандармах, власти народа, земле трудящимся и свободе, свободе, свободе. И валят во дворец ещё какие-то гражданские депутации, только ленивый не произносит перед ними речей. Между испачканными колоннами Екатерининского зала расставлены столики, и барышни, по виду фармацевтки, акушерки, раздают листки и брошюры, до этих дней нелегальные. На красной бязи по стенам протянуты партийные лозунги. Много ремонта понадобится — вернуть всё в прежний пристойный думский вид. На комнатных дверях — бумажки

с надписями о каких-то „бюро", „бюро", „ЦК партии эсеров", „Военная организация РСДРП",— оседают, завоёвывают Таврический дворец. И всё мыслимое пространство его, где только можно было бы протиснуться, всё гуще заполняется враждебнеющей людской мешаниной.

А особенно больно зацепил ухо Шульгина этот „старый режим", „смена режима". Хорошо, если бы под сменой режима они понимали бы расставание со Штюрмером, Протопоповым, с безответственными министрами, с бездарными назначениями. Но ведь они включают в эти слова — расставание с самою монархией?! А — кто это определил? Кем это поставлено?

И когда же, как это повернулось? Шульгин и его единомышленники всю жизнь боролись против революции. И пошли в Прогрессивный блок, надеясь кадетов превратить в патриотов,— и где же сами очутились? Сами, сами же содеяли разрушительной работе злополучного Блока. Под защитным прикрытием государственной власти, красноречиво угрожали — ей же. А вот теперь, когда её наконец расшатали, не стало,— теперь все они оказались перед лицом зверя из бездны.

Шульгин оставался из немногих думцев, кто ни единой речи не произнёс перед этим приходящим стадом. Не потянулся за такою честью. Да и горло его было слабо перед этими торчащими штыками, немел независимый язык. Все лица толпы стали сливаться для него в одно гнусно-животно-тупое выражение, и хотелось не видеть его, куда-нибудь отвернуться, где его нет, и он стискивал зубы в тоскующем отвращении.

Как это бывает, совсем забудешь в себе какое-то, уже тебе известное, но не укоренённое впечатление,— и вдруг оно проступит вновь. Так теперь поднялось в Шульгине старое его ощущение ненависти к революции, это дрожное нутряное чувство киевского Девятьсот Пятого года. За многими годами воротившейся мирной жизни, за шумными думскими прениями, разоблачениями правительства — он как-то совсем его забыл. А теперь час от часу оно вставало в душе, дорастая уже и до бешенства: пулемётов бы! Несколько пулемётов сюда! — только их язык поймут эти!

Как им скачется! Свобода! Свобода до одури и рвоты! Ах, прозревать начинал Шульгин, чему эта солдатня так рада: они надеются теперь не пойти на фронт! Для того они и насилуют, унижают, оскорбляют, убивают офицеров — чтобы тогда не идти на фронт!

Да где же тянулись эти пресловутые войска Иванова? — что ж они никак не идут? не войдут?

Ах, если б у Думы был хоть один решительный генерал, хоть один верный батальон, чтоб вымести отсюда эту банду! Десять лет проговорила, прокричала, проугрожала Дума, никогда не предполагав, что ей понадобится иметь и силу.

Да если б и был у неё батальон — кто тут посмел бы им воспользоваться, кто тут посмел бы отдать ему приказ вымести это стадо? Жалкие людишки, богатыри — не вы!

Не то что батальона, а трёх решительных вышибал не было у думского Комитета, чтобы хоть прочистить коридор в своём последнем думском крыле! Ведь не протолкнуться же через эти рожи!

Впрочем, разве павшее правительство лучше? Куда же оно-то дело свои войска, свою полицию? Разбросали городовых по улицам по одному, по два, на побой и на убой. А надо было собрать всю полицию в один большой кулак и выжидать. Когда все части перебунтовались и потеряли дисциплину — вот тут бы и двинуть. Но кто это мог сообразить? Протопопов? Он первый сбежал.

А где та гвардия, та легендарная гвардия, которая одна остаётся верна императору в худший и гиблый час, когда всё вокруг бунтует и пылает? Одно из двух: или гвардия нужна или пусть её вовсе не будет. Если нужна, то нельзя посылать её перемалывать на войну, и солдаты её должны отбираться не по росту, не по форме носа, и не по месту жительства, близкого к запасному батальону, а по верности и закваске.

Но — нет такой гвардии. Но — бессмысленно состряпана гвардия. И перемолота.

И теперь — остаётся Бога молить, чтоб это всё сотрясение родило лишь конституционную парламентскую монархию, но *не дальше*.

Ибо это всё уже заворачивалось — *дальше*.

Строил Шульгин: перед этим грозовым завихрением — что должен делать царь? Что делал бы на его месте Шульгин?

Самое правильное — разогнать всю эту сволочь залпами.

Или? Или уж тогда...

Не проговорить самому себе. Сползало в пропасть.

У Государя не осталось сторонников, не осталось верноподданных — последних съел Распутин. Мёртвый он ещё хуже живого: был бы жив — вот сейчас бы его убили, и отдушина.

Монархия — под угрозой!

Как же в этом безумном повидле монархисту — спасти монархию?

Шульгин хотел найти какой-то высокий, красивый, стремительный — и аристократический образ действий. Но — ничего не мог придумать. Он утерял свою обычную живость и слонялся в дурманном бессилии.

Революция ждала от нескольких затёртых толпою думцев, чтоб они осуществили власть. Какую там власть!.. Думский Комитет оказался не только не власть, но не имел сил удержать за собой даже просторный кабинет Родзянки. Родзянко хотел за помещения спорить, но Милюков и иже сразу подались: Дума не должна вступать в конфликт с Советом рабочих депутатов! И вот Комитет перешёл в две крохотные комнатки в конце коридора, против библиотеки, где помещались канцелярии, прежде неизвестные самим думцам.

И тут, в той тесноте, и то лишь в промежутках, когда никто не рвался в дверь и никого не рвали наружу, Милюков и компания обсуждали состав нового правительства — то шепчась по углам комнат, по краям стола, то громко в несколько голосов. Нашли время и место! Сколько раз предлагал им Шульгин заранее твёрдо определить и даже опубликовать список „облечённых доверием всего народа" — и всегда отвечали ему, что неудобно и рано.

А теперь — как бы не слишком поздно.

Милюков был — кандидатура самая несомненная, он уверенно и руководил переговорами, в его руках был и главный список. Твёрдо заходил и Гучков. Хотя и не член 4-й Думы, но всегда такая громкая и воинственная была его позиция, что претендовал на министерство с основанием. С другой стороны, робея перед социалистами, два портфеля — юстиции и труда, уже оказывается уступались Керенскому и Чхеидзе. Да вдохновенный Керенский, бритый как актёр, стал настолько необходимым для всех в эти дни, что без него уже и не мыслили правительства.

Но дальше начиналось загадочное: какая-то неназванная тайная спайка вступала в переговоры, и всё гуще шептались,— и донеслось до Шульгина, что министром финансов воюющей России станет не ожидаемый Шингарёв, а почему-то — 32-летний надушенный денди Терещенко, очень богатый и прекрасно водящий автомобиль. Шульгин присматривался — и удивлялся. Как старая власть губила себя, цепляясь за Штюрмеров, а ей тыкали вот эти самые люди,— так теперь эти самые люди на первом же шагу топили себя, нагружаясь ничтожествами Терещенкой, Некрасовым. Столетие „освободительного движения" против надоевшей Исторической Власти принимало себе на финише призом — кабинет полуничтожных людей.

Всё это неслось куда-то в пропасть...

Шульгину не предлагали никакого портфеля — он был слишком правый для нового правительства, в новой обстановке. Да он и не тянулся за портфелем. Он и не знал такой государственной области, в которой мог бы руководить. Ни одно министерство ему и не подходило. По характеру он любил не материальную власть, но духовный авангардизм.

С его постоянной живостью и остротою он был, во-первых, оратор. Может быть — писатель. Не работник политики, но — артист её.

И сейчас, когда всё начало падать в пропасть, и отемнилась, и защемилась душа его, и может быть надо было готовиться к смерти,— Шульгин жаждал лишь проявить себя в некоем подвиге.

Артистичном. Аристократичном.

279

Родзянко стал не только внешне каменным изваянием, но он уже и на самом деле каменел. Каменел от непрерывного глашательства речей. Каменел от скорбных дум. От несочувствия вокруг себя членов Комитета и что лишили они его права действовать. Все вместе они восстали против его поездки — и он не мог разорвать этого кольца. И из его огромного тела утекала решимость.

Не так было обидно, когда не пускал этот собачий совет депутатов. Обидно, что не пускали — свои же.

Бывало, с высоты трибуны озирал он депутатов Думы — как своих защищаемых, подопечных, едва ли не как своих сыновей.

А они — вот...

Если он поедет — то будет премьером. Для того и не пускали, чтоб его обойти. И выставляли предлог, что Родзянку — „не позволят левые".

Они второй день готовили самочинное правительство — без Председателя.

Он столько лет грудью защищал их свободу слова. Он сегодня ночью спас их всех от карательных войск. А они его — не пускали. Интриговали...

Уже всё было подготовлено! — историческая встреча! И не состаивалась!..

Из Дна от Воейкова пришла телеграмма, что не дождавшись там, Государь приглашает Родзянко во Псков.

А от Бубликова всё звонили: поезд на Виндавском под парами, когда же поедут?

Лишали себя и лишали всех последней единственной возможности мирного посредничества.

Догадка страшная: да нужно ли им мирное посредничество? Да нужен ли им мирный выход?

В кошачье-злых глазах Милюкова прочёл Родзянко, что не нужен.

Они вообще, кажется, не хотели переговоров с Государем, и ничьих? Они и хотели — разрыва?..

Но и в этот горький час надо быть благородным, подумать и о несчастном Государе, которому несладко вот так метаться, а его тем временем, как воришку, хотели задерживать. (Стыдно, что утром не сразу успел пресечь.)

Едва не зарыдав, Родзянко скомандовал Бубликову по телефону:

— Императорский поезд назначьте на Псков. И пусть он идёт со всеми формальностями, присвоенными императорским поездам.

Голос дрогнул.

— А между тем готовьте с Варшавского вокзала поезд на Псков.

Может, ещё и поедет.

Или кто-то другой?

Решалось.

А поедешь, получишь от Государя назначение, а чтоб здесь считали изменником и прислужником реакции? тоже не годится.

Да и со Дна слухи, что там жандармы арестовали ненадёжных железнодорожников. Небезопасно было туда Председателю и ехать, может хорошо, что не поехал. Смотри — и самого задержат.

А ещё свободна ли дорога на Псков? Доносили о каком-то бунте в Луге. Запросить Лугу.

А тут пришёл Гучков и стал намекать, что ехать — надо, да, но не за утверждением ответственного министерства — а за отречением самого Государя.

Уже от-ре-че-нием??

Может быть, действительно, Председатель чего-то тут не понимал, отставал?

Нет, з а э т и м он ехать не может. Пусть кто-нибудь другой.

Хотя после явления Кирилла — действительно, какая-то шаткая ситуация. Династия — расколота.

Раздутая голова гудела от трёхдневного круженья. От невозможного столпотворения в родном Таврическом дворце. И взнесен ликующими криками полков. И уязвлен предательским поведением думских коллег. И оскорблён хамской дерзостью Совета депутатов.

Какие-то солдаты искали убить Председателя. А Совет депутатов — мог задерживать, значит мог и арестовать? (Узнал, что там сегодня резко выступали против него и Энгельгардта.)

Всё это человекокружение было ненаправляемо.

А поезд Государя — уже во Пскове, и Государь ждёт своего Председателя.

Но уже видно, что его не пустят.

И Родзянко телефонировал опять в министерство путей и просил телеграфировать:

„Псков. Его Императорскому Величеству. Чрезвычайные обстоятельства не позволяют мне выехать, о чём доношу Вашему Величеству."

Он — прощался со своим Государем.

280

Было бы удивительно, если бы революция не пришла, это бы значило, что народ уже безнадёжно пал. Но для народа, увы, революция — это только практическое средство, он не ощущает её внутренней красоты, как она разворачивается ото дня ко дню и от часа к часу. Эту красоту всю пропускает через себя сильный характер.

В стране, которую безликая правящая банда лишила характеров, Александр Бубликов был на редкость характером цельным и сильным. Вот он сам открыл, нашёл себе место и добился его: руководить министерством путей сообщения. Не прийди сюда Бубликов, не назначь его себе полем боя — и это министерство так же бы продремало и прокисло дни революции, как и десяток других министерств. Но он пришёл — и зажёг огонь в омертвевших правительственных жилах, и отсюда, из нескольких смежных кабинетов совершил революционный акт большего значения, чем всё происшедшее в Петрограде: выпрыснул петроградскую революцию по всей России — только одними путейскими телеграммами, в одну ночь.

Вслед за тем стали ловить и загонять в тупик царский поезд. Само собой по всем дорогам продолжали двигать продовольственные поезда к Петрограду. А сверх задумал Бубликов ещё одну игру: как расставить ловушку на великого князя Николая Николаевича — заставить его вступить в сношения с новой властью и признать её. Для этого он послал ему телеграмму, что необходимо сменить главного инженера по постройке Черноморской железной дороги (как будто в дни революции не было у министерства задачи срочней), — и комиссар Государственной Думы Бубликов испрашивал на это назначение согласие его императорского высочества, кавказского наместника. Даст великодушное согласие — вот и признал новое правительство!

Расхаживая нервно по просторным кабинетам, потирая руки и на дальних расстояниях достигая событий и людей — Бубликов за всю жизнь впервые почувствовал себя в настоящем просторе. Он всегда рвался к действию! Ему бывало душно в слюнявых интеллигентских компаниях, вечно размазывающих о морали, но не способных к мужским действиям — принуждать непослушных, подавлять непокорных, направлять движения масс. Когда через несколько дней он будет назначен в это здание уже полноправным министром, Бубликов знал, какие грандиозные преобразования он затеет: они поразят робких чиновников старого состава, но будут сокровенно революционны в своей инженерно-технической сути. Нашу интеллигенцию невозможно перевоспитать словами, идеологию индустриализма надо показать в действии. России предстоит путь титанического развития промышленного творчества, феерического развития капитализма, — и только этим избежать закланного пути социализма, так губительно близкого народным идеалам справедливости. Но народ надо уметь *позвать*. Первая телеграмма Бубликова и была таким зовом, и история оценит её когда-нибудь как начало творческой революции.

Переполненный такими мыслями и восхищением от совершаемого, Бубликов расхаживал и расхаживал по смежным комнатам, в промежутках между телефонными звонками, а между тем и зорко замечал, что происходит рядом. Наладились строгие дежурства Рулевского (оказалось — он большевик) с подсменниками. Каждому из них в дежурство приставлялось на побегушки по

4 студента-путейца (им деться некуда, их институт занял пехотный полк, пришедший из Петергофа). Ротмистр Сосновский, очень живой и приятный человек, тщетно добивался для своих солдат-семёновцев питания из их батальона — ничего не несли, зато стали таскать из института путей сообщения. Сам же ротмистр повадился ходить нáверх в пустую министерскую квартиру, убережённую им от солдатского разгрома, и там министерская прислуга в благодарность поила его вином. Как начальник охраны Сосновский подписывал вместе с Бубликовым разные пропуски. Всех руководителей — Бубликова, Ломоносова, Рулевского, Шмускеса и других, кормила жена одного из курьеров — латышка и социалистка. Обычных служащих являлось меньше половины, но пульс революции в министерстве ещё отчётливей бился и без них. Задержка царского поезда не удалась в Бологом, не удалась и на всём пути до Дна, а потом Родзянко — сдался, велел пропустить императорский поезд во Псков.

Рыхлый ничтожный толстяк! Разве с такими делать революцию? Потерянный русский народ! Нет в России железных людей!

Телефонные переговоры с Думой, официальные и по знакомству, отнимали у Бубликова больше всего времени и сил, вызывали и наибольшую досаду. В Думе царила полная неразбериха, растерянность и говорение. Чего стоили одни отмены родзянковской поездки, с трёх вокзалов. А потому и не мог он поехать, что явно не было власти ни у кого в Думе, но шло непрерывное говорение с Советом рабочих депутатов, который и пересиливал их всех. Это — бесило Бубликова, их всех там одолевала интеллигентская беспомощность,— но он не мог отсюда прыгнуть ещё и туда к ним и влить им всем горячего железа — и победить Совет рабочих депутатов.

Это говорение в Таврическом могло сгубить всю революцию — и действительно начало губить: вот стало известно, что думский Комитет назначает комиссаров для заведывания всеми министерствами — и что же? — комиссаром путей сообщения назначался не Бубликов, а Добровольский!

Они совершенно там ошалели! Они не только забыли про Бубликова, отдавшего им всю Россию, не только забыли, что он уже тут сидит и правит министерством, и держит Кригера арестованным,— неблагодарно забыли даже, что самую идею комиссаров придумал именно Бубликов! Для себя лично Бубликов больше бы достиг, если б эти двое суток проболтался в бессмысленной толчее Таврического!

Он твёрдо решил: министерства не уступать!

И для укрепления назначил Ломоносова Товарищем Комиссара.

С Ломоносовым отношения были сложные: тот когда-то в комиссии провалил бубликовский проект. Но сейчас Бубликов верно выкликнул его на революцию. Конечно, он остроглазо и острым нюхом следил только — чтоб оказаться среди победителей. Он не был боец. Но сейчас в этой обстановке прекрасно годился.

— А когда стану министром — хотите старшим Товарищем?

Ломоносов молниеносно (уже думал):

— А Воскресенский?

— Не пойдёт. Ведь его прочили в министры, ему обидно.

Есть красивые жесты: не хочу никаких наград за участие в революции! Или: я привык — работать, назначайте меня начальником Николаевской дороги, или начальником управления. Но в такой момент — и упустить? А потом Бубликов куда-нибудь перейдёт, возвысится,— сразу станешь министром.

— Ну что ж, ваша воля, Алексан Алексаныч.

— Вот сядем, обсудим списки первых назначений и увольнений.

А пока — мелькал, перекатывался по комнатам стриженый котёл ломоносовской головы, и уверенный баритональный бас его от телефонных разговоров вдохновлял всех тут:

— А что там в Гатчине?

— Двадцать тысяч лояльных войск.

— Что значит — лояльных?

— Не революционных.

— Усвойте себе раз навсегда, что это б у н т о в щ и к и! Лояльные — это те, кто на стороне народа!

281

Эта война шла у генерала Рузского с гребня на хлябь, то возносило его, то обрывало вниз. Удачей было уже начальное назначение на командующего армией — но тут же последовало триумфальное взятие Львова, Николай Николаевич гневался, что Рузский не окружил, упустил австрийские армии,— и даже грозили отдать под суд,— но тут пришла благодарность самого Государя — и Рузский, перескочив Алексеева, сверкающе вознёсся в генерал-адъютанты и на командующего Северо-Западным фронтом вместо Жилинского. Выше того — почти и не оставалось а Армии постов, только сам Верховный. (И в замкнутой глубине: кто мог ожидать или кто мог теперь вспомнить: Кревер, сын кастелянши дворцового ведомства, для всей служилой аристократии — чухонец, переменивший фамилию поблагозвучней.) И сразу за тем — две трети всех русских армий попали а его ведение. И сразу за тем — жестокие испытания в Польше, которые могли кончиться полной катастрофой, а кончились новой славой: Георгием 2-й степени (третьим Георгием!) „за отражение противника от Варшавы". Затем потекла полоса новых неудач, особенно в Восточной Пруссии, разгром 10-й армии, на верхах возбудилось недовольство Рузским, интриговала императрица,— посчитали с Зинаидой Александровной, что лучше самому взять отпуск по болезни. И вовремя: всё великое отступление Пятнадцатого года прокатилось без Рузского,— и он мог из Кисловодска только гипотетически примеряться — остановил ли бы он его? и мог себе позволить советовать энергичное контрнаступление. Но тут Алексеев, принявший фронт от Рузского и ответственность за всё отступление, виновник наших неудач,— получил не снижение, а повышение: начальником штаба Верховного, а при царе — фактически Верховным,— и уже непоправимо обошёл Рузского. Северо-Западный фронт разделили, и Рузский получил только часть своего прежнего — Северный фронт, и в тяжёлый момент, после сдачи Ковно. И — ненадолго: тянулась опять цепь неудач, а тут он перенёс плеврит, действительно расстроилось здоровье — и он второй раз за эту войну попросил отпуск по болезни. Его отпустили в декабре 1915 без уговариваний. Но когда к весне он уже и поправился, и вполне был готов вернуть своё Главнокомандование, и даже пробивался к тому настоятельно,— его не хотели возвращать — стена! — императрица, да и сам царь. Но становился его отпуск уже неприлично долог, необъясним, и этих военных месяцев боевому генералу не вернуть! Пришлось прибегнуть к самым разным средствам. Во-первых, стороною попросить благожелательных статей в газетах,— и они появились: такие разные газеты как „Биржевые ведомости" и „Новое время" со вниманием и симпатией всегда сообщали: как живёт генерал Рузский, как он выздоравливает, как приехал в Петроград, полон бодрости и готов получить новое назначение. И этот похвальный хор отзывался даже и в Германии, и немецкая печать тоже писала о Рузском как о самом талантливом русском генерале. Во-вторых, поискать заступничества некоторых великих княгинь и князей, и, совсем конфиденциально,— молитв Распутина. И они помогли, может быть, более другого: в июле 1916 Рузский получил назад своё Главнокомандование и даже с важным добавлением: теперь попадали в его ведение Петроградский военный округ, и весь живой кипучий Петроград, и, значит, цензура петроградских газет,— и генерал становился как бы шефом, защитником и отцом столицы. Но всё это он делал с таким тактом (с советами Зинаиды Александровны, прекрасно знавшей петербургскую жизнь и все фигуры тут), что сумел установить отличные отношения со столичными общественными кругами, и его очень любили и хвалили большие газеты, уверенные, что генерал всегда сочувствует общественным чаяниям. И даже, этой зимой, приезжавшие во Псков деятели полутуманно зондировали отношение генерала к возможным государственным изменениям,— и Рузский, в исключительно осмотрительной форме, подтвердил им своё сочувствие.

Эта натуральная живая связь с Петроградом была разорвана недавним выделением Хабалова в самостоятельную единицу. Сперва Рузский очень жалел, был обижен,— но когда на этих днях разыгрались петроградские волнения, то, верно, следовало порадоваться, что не на Рузского легла палаческая роль давить их.

Но и не вовсе в стороне пришлось удержаться. Ещё в воскресенье вечером Родзянко бестактно прикатил Рузскому телеграмму, убеждая ходатайствовать перед Государем о создании министерства доверия. Положение создалось колкое: беспрецедентно было военному чину, побуждённому гражданским лицом, обращаться к своему начальствующему с общественной просьбой. Но

и — при размахе петроградских событий невозможно было такому общественно-популярному генералу остаться безучастным ко взыванию Председателя Думы.

Целый понедельник Рузский проколебался в этом выборе весьма мучительно: он понимал, что это — отчаянный жизненный шаг, и можно лишиться Главнокомандования, без чего ни он, ни Зинаида Александровна уже не представляли жизни. Но в понедельник же, часам к 8 вечера, к счастью пришла от военного министра копия его телеграммы в Ставку. В ней прямо говорилось, что военный мятеж в Петрограде погасить не удаётся, многие части присоединились к мятежникам, а лишь немногие верны. Такой размах событий оправдывал вмешательство — и Рузский через час послал свою телеграмму Государю, где указал, что события начинают отражаться на положении армии и, значит, перспективах победы, отчего генерал дерзает всеподданнейше доложить Его Величеству о необходимости принять срочные меры успокоения населения, преимущественнее, чем репрессии. Рузский не повторил крайних слов Родзянки об общественном министерстве, но какую-то подобную телеграмму он не мог не послать в этот час, ибо в эти же самые минуты его штаб принимал приказ из Ставки о посылке четырёх полков на Петроград. И ещё до полуночи Рузскому пришлось эти полки назначить и послать. (Правда, отсылка полков задерживалась недостатком подвижного железнодорожного состава — и хорошо, ибо очень не хотелось вовлекать свои войска в эти гражданские события, как бы не стать первопричиной междуусобицы.)

И весь вчерашний день события качались на тревожном перевесе: в Петрограде нисколько не успокаивалось, и сдались последние правительственные войска, и неслись оттуда победоносные телеграммы Бубликова,— но и войска против столицы собирались уже с трёх фронтов, и Ставка предупреждала, что может понадобиться мобилизовать ещё новые полки,— и Рузский безупречно передавал все распоряжения и принимал все меры, даже и собственные, распространяя власть своего корпусного генерала в Выборге на всю Финляндию.

Близость Северного фронта к Петрограду, прежде выгодная, теперь становилась исключительно невыгодной: Рузский невольно попадал в положение первого карателя, во всяком случае вслед Иванову.

А сегодня с утра приходили телеграммы из Петрограда — от самого Родзянки и агентские, о том, что думский Комитет принял на себя функции правительства. И Рузский ещё более защемлялся между Сциллой и Харибдой: против кого же готовил он военные действия,— против нового законного правительства?.. Но и не мог не подчиняться законному военному начальству.

Давно уже так не изводился Рузский, как эти последние дни и как сегодня особенно. Бесчисленное количество он выкурил сигарет и понюхивал кокаин, набирая сил. Никогда ещё, ни в какой военной операции, его репутация и карьера так не сходились на единое остриё и не шатались так.

Тут стало известно, что императорские литерные поезда повернули от Бологого — и шли на Дно, и как бы не сюда, на Псков. А затем пришла и прямая телеграмма от Воейкова, что — да, во Псков!

Очень неприятно! И несвоевременно.

Во-первых, всякому военачальнику или офицеру неприятно, когда его старшее начальство приезжает в его расположение. Уж там как бы поверхностно и формально ни скользил император по военному делу, но легко мог сделать порицательное замечание или отдать приказ, круто меняющий весь заведенный порядок дел.

Во-вторых, именно сейчас, когда в Петрограде совершались такие роковые события, а Комитет Государственной Думы перенял власть от императорского правительства,— именно сейчас даже короткое пребывание царя в штабе Северного фронта могло положить пятно на общественную репутацию генерала Рузского: почему именно к нему поехал царь в тяжёлую минуту? нет ли здесь расчёта на какую-то особенную верноподданность Рузского? Потом трудно будет оправдаться, что и тени подобной быть не могло. Вот ведь, никак не лежал маршрут царских поездов через Псков — а почему-то шли сюда.

В-третьих, неприятно было, что теперь, как бы быстро царь ни миновал Псков, не избежать вести с ним тяжёлый разговор, и после этой телеграммы

в поддержку Родзянки... Не так трудно было послать её — заочно. Но теперь не мог себе позволить Рузский из-за личной встречи угодительно отклониться от своей точки зрения,— нет, он должен был заставить себя высказать всё то же. Но это — большое душевное испытание, напряжённая повышенная душевная работа. Показать свой характер. Впрочем, и Государь для такого столкновения — не сильный соперник.

А в-четвёртых, это грозило тем, что снова утерять пост, уже прежде дважды терявшийся, какое-то заклятье.

До приезда Государя оставалось несколько часов, и надо бы предварительно укрепить свою позицию к предстоящему разговору. Такое удобное подкрепление давала телеграмма Алексеева № 1833, вчера посланная Иванову, а сегодня среди дня — в штаб Северного фронта. Телеграмма эта рисовала положение в Петрограде как замечательно успокоенное и расположенное к умиротворению и соглашению. Из собственных прямых источников Рузский знал совсем другое: что в столице беспорядки не прекращаются, а в пригородах и в Кронштадте только завариваются. Но тактически было выгодно аргументировать от официального документа штаба Верховного. И распорядился Рузский — просить у Алексеева разъяснений, откуда у него эти сведения?

Навстречу из Ставки текло извержение — за сутки запоздавших к Государю известий и собственных телеграмм Алексеева. Но на прямой вопрос Рузского ответ был уклончив: сведения об успокоении в Петрограде — из различных (неназванных) источников и считаются (или считались вчера?) достоверными.

И понял Рузский, что Алексеев смущён и ответить ему нечего. Сведения эти были полным вздором, особенно при развернувшейся сегодня революции в Кронштадте и Москве.

Рузский заказал личный аппаратный разговор с Алексеевым — из Ставки отвечали, что Алексеев нездоров и прилёг отдохнуть. Это могло быть и правдой, могло быть и формой избежания. Отношения между ними были почти неприязненные. Трудно было и не испытывать досаду: Алексеев был серая рабочая лошадка, только и бравшая сидением и трудолюбием. Рузскому для охвата и понимания достаточно поработать лишь два часа там, где Алексееву нужны полные сутки. И судьба была каждый день возобновляться в обиде, получая от Алексеева приказы как бы от самого Верховного. (И даже уходя в болезнь, Алексеев интриговал и подставил вместо себя не Рузского, а Гурко.)

А сейчас через телеграфные провода ощущалось, как там волнуется Алексеев, спешит исправить свои просчёты, и спешит убедить Государя, и шлёт потоком телеграммы, а в промежутке его офицеры нетерпеливо добиваются, уже ли прибыл Государь и уже ли переданы ему все эти устаревшие телеграммы.

Да, теперь осмелел и Алексеев, когда революция так раскинулась,— но трудней было Рузскому ещё позавчера поддержать ходатайства Родзянки, а что делала Ставка тогда? Накатывала приказы о посылке войск.

Алексеев был в явной растерянности и бессилии — но не та ситуация, чтобы Рузский мог сыграть противоположно ему. При сотрясении обеих столиц дошёл и во Псков этот тонкодрожащий момент, когда мобилизуются все душевные силы — и нельзя потерять равновесия. И даже Родзянке нельзя в эти же часы не послать телеграммы, что тряска петроградских волнений, разрушение вокзалов и бродяжный элемент, текущий оттуда, грозят спокойствию и снабжению Северного фронта. И даже Алексееву нельзя отказать в союзе: хаотическим поворотом событий они оказывались в союзниках. И даже, вот, великие князья присоединялись к ним.

Да надо же было ощутить наконец душу и жажду России, всеобщее сочувствие к переменам,— и не гнать же полки, во имя призрака, на подавление собственных граждан.

Теперь или никогда — сослужить бессмертную незабываемую службу общественности.

И всё же, готовый к такому моменту и на высоте такого момента,— предпо-

читал бы Рузский, чтоб император почему-либо свернул бы, а до Пскова не доехал.

А Ставка слала распоряжения — исправлять, если понадобится, пути для следования царских поездов — чтоб они достигли Пскова и далее бы шли на Петроград.

Да и скорей бы на Петроград.

Увы! Перед самым подходом царских поездов пришло внезапное сообщение из Луги, что и там восстал гарнизон. И, значит, царь не мог тотчас покинуть Псков, чтобы ехать через Лугу.

Итак, Государь неизбежно застрянет во Пскове. И дело не ограничится мимолётным вокзальным провожанием.

Рузский с усилием стягивал в себе душевное сопротивление. Надо было найти смелость отказаться от обычного этикета — не выставлять при встрече почётного караула. Весь приезд перевести сразу в другой тон, сопутно общим событиям.

Да, царь вечно прятался за неодолимыми преградами. Но теперь он должен ступить на землю реальности.

Начальником штаба фронта сейчас, после того как Рузский не смог удержать своего любимца Бонч-Бруевича, был генерал Юрий Данилов „чёрный". Человек он был тяжёлый. В начале войны, при Николае Николаевиче, он, игрою обстоятельств, по сути руководил всеми военными операциями всей русской армии, отчего сам о себе много понимал до сих пор как о несравненном стратеге. В специально-военном отношении он, пожалуй, имел способности, но в общем довольно туповат, упорно предвзят, лишён дара творчества, способности быстро оценивать обстановку, он исполнитель, но не руководитель большого дела. А гуманитарного развития уж совсем никакого. Поэтому для Рузского он не был ровня, собеседник или единомышленник. Однако был в прошлом один момент, который делал отношения Рузского с Даниловым неназываемо трудными. Рузский не мог забыть, что Данилов, конечно, всегда помнит про него, как в одну ноябрьскую ночь 1914 года при лодзинской операции Рузский дрогнул и просил у Ставки — именно у Данилова — разрешения на следующую ночь крупно отступать. И получил это разрешение, но оно не пригодилось: за день положение внезапно исправилось, и вместо грандиозного отката совершилась сносная операция. Но это пятно перед Даниловым осталось — и заставляло Рузского быть осторожно предупредительным к своему начальнику штаба. Вот и сейчас — позвать его с собой на царскую встречу.

Данилов же был укоренённо обижен тем, что в 1915 году и Николай Николаевич от него отвернулся, и Государь сместил с генерал-квартирмейстерства Ставки на корпус. И поэтому он подошёл сейчас по настроению: встречать царя без звонких почестей, всегда отдававшихся раньше, пригасить значение императорского приезда. Это будет прецедент в истории России — но обстоятельства подкрепляли их решимость. И не везти царя в штаб фронта, в город, но встретить на вокзале, свести приезд к проезду. И изо всех непременных лиц сообщили только, по неизбежному порядку, псковскому губернатору.

И так общественность не упрекнёт Рузского, что он слишком носился с самодержцем.

Оцепили весь вокзал, никого не пускали, и на платформах добились безлюдности. Станция была и вся темновата, фонарей немного. Приехал губернатор с несколькими чинами администрации.

Рузский, однако, очень волновался. И непонятно было, куда же теперь Государь поедет. И в таких текучих условиях как же успеть добиться от него тех уступок, которых требовало общество? Решительно, в один приём? Задача нелёгкая, если знать характер Государя: непостижимое безрассудное, неразумное упрямство. И боязнь точных формулировок. И боязнь определённых решений.

Лишь в половине восьмого вечера подошёл первый из двух поездов. Ещё вот эта игра всякий раз: из двух неразличимых — который? царский? свитский? Хорошо, что не унизился Рузский заранее выйти на тот перрон: оказался первый свитский, где не с кем и здороваться.

Лишь через двадцать минут подошёл царский. Широкие окна его были затянуты шторами, лишь по щелям пробивались полоски света. Затем открылась дверь освещённого тамбура, выскочил высокий флигель-адъютант. Перед дверью приставили лестницу, обитую ковриком, и стали два казака. Это и был царский вагон.

Генералы вступили туда. Скороход принял от них шинели. Пригбенный печальный министр Двора граф Фредерикс пригласил их в салон-гостиную с мебелью и стенами, обтянутыми зелёным шёлком.

Государь вышел в тёмно-серой черкеске, форме кавказских пластунов.

Лицо его поразило Рузского,— за два месяца как он видел его на совещании в Ставке. Всегда Государь был таким молодым, завидного здоровья, да ведь ничего не делал, каждый день гулял. А сейчас было куда не молодо, сильно утомлено, темные глубокие морщины от углов глаз.

Не умея скрыть тона неловкости (от стеснительного положения, от смысла говоримого), но стараясь как можно обычнее, Государь объяснил, что поезд его был задержан на станции Вишера известием, что Любань захвачена мятежниками. А теперь он хочет проехать в Царское Село. Но не поехал прямой дорогой из Дна, предполагая беспрепятственней сделать это объездом через Псков.

Он говорил — не как властелин. В его тоне было потерянное, если не просительное. Говорил — и нервно трогал рукою ворот. Эти мотания в загнанном поезде не прошли для него бесследно.

Рузский и всегда испытывал превосходство над этим венценосцем. Но никогда столь большое, как сейчас. Как бы возвращая растерянного Верховного к правилам забытой им службы, Рузский монотонным, даже ворчливым голосом произнёс доклад о состоянии своего фронта и о событиях на нём,— последнее из того, что всех их интересовало, да и событий никаких не было, но Рузский этим укреплял свою позицию и сбивал Государя дальше в растерянность.

А уж затем выразил сомнение, можно ли проехать через Лугу: там восстал гарнизон.

Николай II был мастером самообладания, невыражения лицом своих чувств. Но и это покинуло его сегодня. При известии о Луге лицо его выразило уязвлённость и беззащитность: нигде не было ему проезда! Глаза, и без того углублённые, ещё подрезались наискось по щекам. А усы и без того висели.

Не только малоинтеллигентное, но примитивное лицо.

Рузский ощущал, что набирается твёрдости.

Собственно,— исправился Государь,— он и не предполагал сразу ехать. Он намерен во Пскове дождаться приезда Родзянки, как тот обещал.

(„Обещал"!.. Он уже ждал милостивого приезда Родзянки!)

Ах вот как? Это обрадовало Рузского. Тогда его задача облегчалась: вместе с Родзянкой... А царь, между тем, вполне подготовлен для обработки под ответственное министерство.

Впрочем, не так и прост! — карательный корпус Иванова тем временем стягивался.

Не потрафляя себе уклониться к смягчению, Рузский заставлял себя выдерживать твёрдый тон. И напомнить самое неприятное: получил ли Государь его позавчерашнюю телеграмму с поддержкой ходатайства Родзянки об общественном министерстве.

— Да, да,— поспешно подтвердил Государь, даже смущённо. Не имея сил на порицание.

Схождением обстоятельств и интеллектуальным перевесом ложилась на плечи и аксельбанты Рузского несравненная роль и задача: пересилить царя. Все было далеко, он — здесь, и вся образованная Россия ждала, как неотклонимой стеной аргументов он догонит загнанного монарха в последний тупик.

Данилов-чёрный рядом всё подтверждал своей грузностью, неподвижностью.

Через простые свои очки Рузский смотрел на императора стеклянно-блестяще. А есть ещё ряд сведений из Ставки.

Их обоих пригласили к царскому обеду. Сведения из Ставки — после обеда.

282

Великий князь Михаил Александрович полагал сперва, что зашёл к Путятиным перехорониться вчера перед рассветом всего на несколько часов. Но в городе разыгралось такое, что и думать было нечего выходить на улицу и добираться до Гатчины: всякий бы автомобиль отняли (и могли забрать, где он укрыт стоял сейчас на Фурштадтской) — и самого бы могли запросто убить. Ещё хорошо — удалось дозвониться в Гатчину, пока целы были провода, услышать наташин голос и успокоить её. Разумеется, и ей было в такое время сюда не ехать, оставив маленького их сынишку.

Но даже и здесь, в частном доме, в частной квартире, не было безопасности. То ли потому, что улица эта — Миллионная, особенно привлекала завистливое внимание толпы,— то и дело слышна была близкая ружейная стрельба, и узнавалось через прислугу о грабительстве в виде обысков в разных домах по соседству. Сегодня днём на Миллионной 16, через дом от них, ворвались с таким самозванным „обыском" на квартиру генерала графа Штакельберга, вывели его на улицу, там издевались и убили. А в следующие часы нагрянули и в их дом — в семью обер-прокурора Синода и в семью Столыпиных на третьем этаже,— наверно, привлечённые фамилией, но то была не семья убитого министра,— и разгромили, разграбили их,— вероятно только тем и миновало Путятиных.

А сегодня как раз был грозный для династии день: в этот день террористы убили деда. И в этот же день едва не убили отца.

Со своей кавалерийской „дикой" дивизией Михаил, себя не щадя и не вспоминая о своём императорском происхождении, ходил в смертные атаки под шрапнельным огнём. Но сейчас и вся смелость и все военные навыки были ни к чему, глупое зажатое цыплёночье положение: сидеть и трусливо ждать, не ворвутся ли. Беспомощное, беззащитное невоенное положение, это больше всего угнетало. И как же стрелять, рубить русского солдата?

Гувернантка Путятиных была на набережной, и на её глазах среди бела дня и прогулочного движения — ни за что убили офицера.

И пришлось-таки воспользоваться своим положением: позвонить Родзянке и вызвать караул. Хотя рядом преображенские казармы, но там что-то стало сильно не в порядке (да проходя их вчера ночью, Михаил слышал тревогу от дежурного офицера),— и караул прибыл из школы прапорщиков. Пять офицеров поместились в кабинете Путятина, двадцать юнкеров — на первом этаже, в другой квартире.

Теперь, разговором с Родзянкой, уже обнаружился Михаил, где он есть, и не было смысла таиться дальше, да оно само потекло. Телефонировал близким знакомым. Приходили. Через их визиты и телефонные сообщения открылось обозрение всего, что происходит в Петрограде,— и несчастная поездка брата, не пропущенного в Царское Село. От Родзянки узнал, что тот готовится ехать к Государю навстречу, добиться нового правительства и новой конституции,— и сердечно посочувствовал Михаил этому намерению. Так, правда, хотелось, чтобы все друг с другом договорились и всё кончилось бы хорошо! Сегодня он так и надеялся, что к вечеру брат доедет до Царского Села, и будет благополучен, и всё подпишет, утвердит Родзянку на ответственное министерство.

Но пришёл Бьюкенен — пешком из посольства, оно близко. Он только что провёл 10 дней в Финляндии в отпуске, сам не наблюдал нарастания петроградских событий, приехал уже на готовое сотрясение — но ничуть, говорил, не удивился, а так и должно было быть по его предсказаниям, и не могло благоразумно кончиться,— и сейчас, он уверен, не кончится без смены Государя. (О, упаси Боже!) Единственный способ спасти Россию — отказаться от всей нынешней политики и повернуться сердечно к обществу. Английский посол рассуждал и чувствовал не как посторонний, но как убеждённый член нашего общества. И чем огорчил и даже напугал: он убеждал великого князя, что ему

надо готовиться к принятию регентства над наследником в самые ближайшие дни.

Но Михаил — никак этого не хотел! Снова? опять ответственность, от которой так счастливо избавился 13 лет назад? Нет, не надо! Не готов. Это была бы — разбитая жизнь.

Потом пришёл — в простом армяке, переодетый в простолюдина,— дядя Николай, хотя из своего дворца по ту сторону Миллионной ему надо было всего только улицу пересечь. Дядя Николай только что вернулся из ссылки в деревню. Ничего другого он и не ожидал, кроме таких событий, раз не обуздали ведьму Алису,— он и предсказывал это Государю. Но, как страстный историк, он был не столько угнетён событиями, сколько обрадован ими: что он — присутствует при них, и сможет потом описать. И часы не ждут, надо действовать, и правильно действовать! и правильно потом отобразить в истории, чтобы потомки не переврали, как например жестоко переврали Николая I,— и дядя Николай когда-то писал большое письмо Толстому, и стыдил его, что он поддался поверхностным сплетням, и тот благодарил, но это осталось неопубликованным.

Хотя и сознавал дядя Николай всю ответственность перед историей, но что делать — так и не придумал. С тем и ушёл, в армяке.

Тянулись, тянулись бездейственные, смутные, томительные часы пленения.

Да Михаил готов был помочь посильно Родзянке и Государственной Думе в чём-нибудь, в такую минуту и все члены династии должны чем-то помочь. Как ни был он годами наказан.

Обидное угнетение от брата и от матери — как будто он не взрослый человек — живо стояло в памяти. И как в Гатчине распоряжением Мама через дворцовую телефонную станцию подслушивали его разговоры с Наташей, он долго и не знал. И сколько Мама стыдила его, что она — дважды разведёнка, что у неё дети, а брат назначал Михаила служить в Орёл, подальше от Гатчины. Четыре года преследовали его любовь, сами толкнули в спор-состязание. Обвенчаться в России и думать было нечего, так следили и мешали. Поехали за границу — следили и там за обоими, не давали соединиться. Но придумал Михаил, как обмануть догляд: поехал в автомобиле будто в Ниццу, а сам по дороге тайно пересел на венский поезд, а Наташа ждала в Вене,— и там в сербской церкви обвенчались наконец. И сколько бы лет ещё оставаться за границей, если б не началась война!

Да разве можно бороться с любовью? Есть такие силы на земле? Ведь не мог же бороться и дед — и сошёлся с княжной Долгоруковой ещё при живой императрице, и держал любовницу рядом же, в Зимнем, и нажил от неё сына и двух дочерей. И не это же потрясло династию!

Да обида Михаила нисколько не была настойчивой, у него вообще обиды не держались долго. Но как — помочь? Не знал он, в чём помочь. Сандро всегда считал, что помощь такая: великие князья должны занять все главные посты в государстве! Упаси Бог от такого жребия.

Да вот-вот брат приедет в Царское, и повидаемся, и можно будет поговорить.

Но Родзянко торопил по телефону, просил содействия раньше того. И другие надеялись на него почему-то. И, перебарывая неловкость, сердечное сопротивление и всю неуместность нового вмешательства, решился Михаил послать брату телеграмму по ходу следования поезда, где застанет:

„Забыв всё прошлое, прошу тебя пойти по новому пути, указанному народом. В эти тяжёлые дни, когда мы все, русские, так страдаем, я шлю тебе от всего сердца этот совет, диктуемый жизнью и моментом времени как любящий брат и преданный русский человек. Михаил."

Он уверен был, что Наташа бы одобрила.

Больше всего ему не хватало сейчас наташиных советов!

А затем позвонил из Царского дядя Павел, тоже узнав, где Миша. Дядя Павел говорил торжественно, что надо срочно спасать трон. Вот, Кирилл для этого ходил сегодня в Думу, истинный центр общественной жизни сейчас. Угроза трону! — и Михаил должен быть готов стать регентом. Но ещё прежде

надо постараться спасти трон Государю. И намекал дядя Павел, что скоро Михаил получит, узнает.

О, опять эта тень регентства! Тоска и дурное предчувствие сжимали нежную душу Михаила. О Господи, как избежать этой чаши, не брать на себя непосильное бремя! И как жаль брата! И как это худо для России! О, если б можно было удержать Государя на троне!

И вскоре пришёл молодой человек в штатском и принёс пакет от дяди Павла.

А внутри был — проект Манифеста на пишущей машинке. От имени Государя. Оставлено место для его подписи. А в самом верху: что сей акт, представляемый великими князьями на подпись Его Императорскому Величеству, ими вполне одобрен. А в самом низу — подпись дяди Павла. А над ним — подпись Кирилла. А ещё выше оставлено место для Михаила.

Кирилл был рядом, куда ближе дяди Павла, но по обычной неприязни ничем не дал себя знать. Впрочем, и Михаил же его не искал.

А проект Манифеста был составлен вот как хитро: будто Государь давно уже решил ввести широкую конституцию и только ждал дня окончания войны. А правительство, теперь уже *бывшее*, не хотело ответственности министров перед Отечеством и затягивало проект. А теперь Государь, осеняя себя крестным знамением, устанавливает новый государственный строй и предлагает Председателю Государственной Думы немедленно составить новый кабинет. И возобновить заседания Думы. И безотлагательно собирать законодательное Собрание.

Хотел дядя Павел скорее мишиной подписи, чтобы лучше убедить Ники — и сейчас же отсылать на подпись ему.

Нельзя было задерживать. И посыльной ждал.

Да что ж, это хорошо! И спасти трон, и не быть регентом.

Михаил быстро подписал.

И подумал, что — нет, вот и Кирилл незлобив: вот и он не отказывался помочь Николаю.

А что новый сразу государственный строй — так теперь в чём-то надо уступить. Трудно определить, в чём.

И ушёл посыльной, спрятав пакет во внутренний карман пальто. Одна копия, ещё не подписанная Государем, сейчас пойдёт в Думу для успокоения.

Ушёл,— а Михаил ходил-ходил в своём заточении, одиночестве, под уличную стрельбу — и что-то стал раздумываться: ах, его ли это было дело — подписывать? Его ли дело было мешаться в такие важные советы? Да зачем же ему вмешиваться в эту ужасную политическую суетню? И сразу — копия в Думу?

А с Гатчиной, вот, не было телефона.

Ходил, ходил по комнате мучительно, даже костями пальцев хрустел.

Не знал он, как правильно!

И поэтому лучше всего: позвонить сейчас в Думу, у кого этот пакет,— и пусть его подпись снимут. Ни к чему ему туда мешаться.

И телеграмму бы не посылать. Уже послали?..

283

Хотел Соколов со своими солдатскими депутатами пристроиться тут же, при ИК, за занавеской,— нет, будете мешать заседанию Исполнительного Комитета. Вернулись бы в большую комнату № 12,— нет, там не расходился народ — стояли, топтались, галдели, понравилось. Пошли ещё комнату искать. Нашли секретарскую: стол есть, несколько стульев, остальные и постоят, ничего. А курить — везде теперь можно.

Душно, да и распарился! — снял Соколов вовсе пиджак, на спинку стула за собой, в жилетке, сел за стол, бумага есть, чернильница, проверил перо, ничего, сейчас накатаем. Рядом посадил товарища Максима, социалист, журналист Кливанский из „Дня", хоть он не в депутации, а самый нужный тут будет помощник.

А солдаты почти все на ногах остались, стульев нет, среди них и этот

вольноопределяющийся Линде — высокий, худой, мешковатая шинель с университетским значком, и взор пылает.

Сейчас накатаем — так-то так, так-то так, а вот сразу и не возьмёшься: как писать? К кому обращаться? Необычность предполагаемого документа вызвала задержку даже у тёртого Соколова.

Немало он составлял за жизнь адвокатских документов — прошений, обжалований, протестов, да и социалистических разных немало. Но сейчас не совсем понимал форму: что оно такое будет? Постановление Совета рабочих депутатов? Воззвание? Обращение к гарнизону?

А пока не на бумаге — так и нет ничего, всё впустую наговорено.

Высказал свои сомнения Кливанскому. Обсуждали, перебирали.

Затоптались солдаты, уже не слишком доверяя, одолеет ли их вожатый всё теперь гладко на бумаге написать?

Вдруг Линде, запрокинув голову, как птица пропускает набранную клювом воду, с полузакрытыми веками произнёс вполголоса, как заклиная:

— При-каз!..

По штатскости своей Соколов не воспринял: как может быть приказ? чей приказ?

А тут вошёл увалисто Нахамкис, проверить их. Стал у стены, выше их всех, руки позади. Узнал, в чём затруднение, и сказал:

— Как бывший военный человек поддерживаю: приказ.

Солдатам понравилось, загудели:

— На родзянковский приказ — и наш приказ!

По их понятиям только Приказ и исполняется, а что это — Обращение? Солдаты привыкли, что к ним обращаются — приказами, верно.

Что ж, неплохо, революционное творчество. Приказ? Но — от кого приказ? Приказы подписывают генералы.

— А у нас подпишет Совет рабочих и солдатских депутатов,— спокойно отпустил Нахамкис.

— А как они пишутся, приказы?

Нахамкис задумался. Его военная служба в якутской местной команде была лет сколько назад, хотя и был он в роте лучший „фрунтовик", и офицер же помог ему из ссылки бежать.

И не было больше тут ни офицера, ни старшего унтер-офицера, ни младшего. Но сами же солдаты помнили кое-что из приказов. И самый налезчивый, лицо в оспинах, отважно ткнул в бумагу грубым пальцем, грязным ногтем:

— Должон быть номер у приказа!

Какой же номер? Ещё ни одного не издавали.

— Значит — первый.

Соколов красиво крупно вывел: „Приказ № 1".

А солдаты — ближе, оспатый — грудью на стол и дышал махорочным перегаром:

— Число поставить!

— Разве число в начале?

Хорошо, какое сегодня? Ох, какое, столько пережито, а всё ещё, кажется, первое марта?

А солдаты подымливали и из свежей памяти своей, как с печатного:

— По гарнизону Петроградского Округа... Всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота...

Звучно, громко, но и это казалось мало. Свой приказ-первенец страстились солдаты сопроводить:

— Для немедленного и точного исполнения!

Они и сами знали, что так не писалось. Но слова такие — слыхивали. И приказ этот — защищал их головы.

Соколов потеснял того, что локтями навалился, уж очень терпкий дух и дых, неприятно:

— Не надо, товарищ... А где же будут товарищи рабочие? К рабочим тоже должно относиться.

— Не доложнó!

— Не при чём тут рабочие!

А ещё был здоровенный солдат с усами, какие рисуют у Вильгельма:

— Приказ — это приказ! Это — по нашей части.

Но — нельзя было уступить солдатне пролетарских позиций. Кливанский стал объяснять им, что без рабочих никак не пойдёт. А солдатам жаль было уступить форму Приказа. Поспорили, поспорили, ладно:

... А рабочим Петрограда для сведения...

А что дальше в приказах пишется? А дальше пишется: приказываю!

А — кто „приказываю"? Кто это — „я"?

Тут солдатам неведомо. Изо всех присутствующих не состраивался тот отец-генерал, который бы вот скомандовал в защиту бунтованного солдата — и баста, всем отрезал. Замялись.

А Нахамкис от стены продиктовал баритоном:

— Совет Рабочих и Солдатских Депутатов постановил.

Ну, ладно.

А дальше — суть. Она была подработана ещё утром на ИК, и Соколов и Кливанский её уже всю прокричали и проголосовали на шумном сборище в 12-й комнате. Да у Кливанского и на бумаге есть: как относиться к возврату офицеров, к Военной комиссии, как быть с оружием. Но начать надо — с солдатских комитетов, это рычаг Архимеда. Но — как это в Приказ?

— Во всех ротах, батареях и эскадронах...

Линде, прикрыв веки, слушал как музыку и чуть улыбался.

— Пиши: и батальонах.

— Пиши: и полках!

— А у моряков же как?

Был тут один и матрос:

— На судах военного флота.

...Немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов...

— А унтеры что ж?

— А они тоже нижние.

А комитетам этим... чего делать-то?

Да — всё им делать. Чтобы — всё дочиста было им подчинено.

— Так не пойдё! А — строй, команда?

— Да хоть и строй-команда!

— Ну, не! Без офицера не сладится.

И солдаты заспорили. Уже и цельный день прокричали — а всё непонятно.

А Соколов пока, под шум, выводил для конкретности:

...по одному представителю от роты... с письменными удостоверениями... в здание Государственной Думы... 2-го марта к 10 часам утра.

Отнять армию у Государственной Думы. И отнять уже завтра к утру!

Нахамкис веско добавил:

— Николай Дмитрич, оттените: во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих депутатов и своему комитету. И больше никому.

Соколов быстро писал, перо не кляксило, не задирало, уже перешёл на второй лист.

А Кливанский со своей бумаги заботливо дальше:

— А приказы Военной комиссии исполнять только если не противоречат постановлениям Совета Рабочих и Солдатских...

Нахамкис тихо ушёл.

А солдаты, не мешая перу Соколова, между тем опять заспорили о главном деле, как они понимали: у кого ж будет оружие? В той комнате накричано: офицерам не выдавать. И для свободы — надо б его забрать себе. Но речь не о ревóльвере, не о шашке,— а ежели полковым оружием офицер не распоряжается, ни пушками — так что за армия будет? на что она гожа?

Но образованные от стола:

— И спорить нечего! Офицерам оружия — ни в коем случае не выдавать. Да так-то оно и нам безопасней. А только — как же армия?..

...Всякого рода оружие...

— Тогда уже особо пиши: пулемёты, винтовки...

— Гранаты, ничего не пропускай!

— Бронированные автомобили тоже-ть...

— И — протчее! И вообще — всё протчее, а то чего пропустим.

...Должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не могут выдаваться офицерам даже по их требованию...

— А на фронте?

— То — на фронте. А ты смотри — тебя бы здесь не издырявили!

— Это — так, братцы, а чо ж? А то они нас опять заворожат.

Там, в дневном перекрике, много чего наворотили: и офицерам не жить вне казарм, и погоны с них снять, и которого рота не подтвердит — на левый фланг. А — как же теперь?

И Линде — вытянув руку, как крыло, будто косо спускаясь к солдатам:

— Да! Да, товарищи! Раз комитеты выборные — то офицеры тем более выборные!

Сробели солдаты: эт' кого мы в офицеры себе сами возжелаем? Вот — его для прикладу?

Ну, не именно из солдат, объяснял Кливанский. Из офицеров же, но которые получше. А которые к вам плохие — метлой.

Солдаты робели.

А образованные за столом — нисколько. И вписали.

Солдаты затоптались: не! не! всё ж таки совсем начисто отменить воинску дисциплину — никак не можно. Всё ж таки немец стоит на нашей земле — и как же в армии без порядку? Просили солдаты: дисциплину оставить.

— Хорошо,— уступил Соколов, удивляясь пугливости стада. И вслух повторял, что писал:

...В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину...

Так, так,— улыбались. Без порядку — кака армия?

— А как из строя рассыпались — так всё, свобода. И солдаты пользуются всеми правами граждан!

Ну, ну, чего ж. Хорошо.

Вписал:

...в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты...

— И — чести больше не отдавать! — Максим из своей бумажки.

Солдатам опять неловко:

— Какая ж служба без чести?

— Не отдавать! — весь задрожал Линде, голову вскинул, румянец на бледных щеках.

— Ну, можно так,— польготили городские за столом,— не отдавать вне прямой службы. Из казармы шаг ступил — и уже не отдавать. На улицах — не отдавать.

Ну, верно. Как уже на улицах и пошло. Сами шашки поотдавали, признают.

— А сила казалась, братцы, наши командиры, сила! А хлипки на поверку.

— А „ваше благородие",— допрашивал Соколов: — Хоть и на службе — зачем оно? Отменить!

— А правда, братцы, на кой это благородие? Чего оно?

Записал: отменить!

— И отменить обращение к солдатам на „ты"! — воскликнул Линде.

— Как отменить? А чего ж говорить?

— Безусловно отменить! — настаивал Кливанский.— Это унижение вашего человеческого достоинства.

Не чувствовали! Вот бараны!

— А чего ж говорить?

— „Вы".

— А ежели он в одиночку? Что ж, вот я ему буду „вы" говорить? Ажно челюсть сводит.

Смеялись. Жил — я, был — я, и вдруг — „вы"? Дивно...

А Максим погоняет, а Соколов пишет:

...на „ты" воспрещается... и о всяком нарушении... доводить до сведения ротных комитетов...

Да уж умаялись. Да весь день не емши.

Ну, а кончать — это уж как положено. Тут оспяной знал:

— Настоящий приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, экипажах и прочих строевых и нестроевых командах...

Совершилось.

И отпустил Соколов солдат. И собрал листы.

Тут — Гиммер прибежал. Попрыгал, посмотрел, проверил. Теперь понесли листы в ИК, на утверждение.

— А там что ж? Отправлю в „Известия" к Гольденбергу, к утру катнём отдельной листовкой. И — пошло!

А если не развалить старую армию — так она развалит революцию.

ПО-ШЛА СТРЯПНЯ,
РУ-КА-ВА СТРЯХНЯ!

284

Маклаковых-детей было восьмеро, и который-то из братьев наследовал благородное глазное врачебство отца, но как бы не он стал продолжателем рода, а повсюду звучали только имена Василия и Николая, одно восхищённо, другое бранно.

Редко бывает между родными братьями такое враждебное отчуждение, такое полвое отделение, как между ними двумя. Потерялось в дремучей темноте то детство, когда они росли в одном доме на Тверской, при глазной больнице, и различались всего на год, гоняли по большому двору, а во время дифтерии сестёр жили в доме генерал-губернатора. Ещё и в студенчестве нельзя было предсказать, что их так раскинет, Василий учился на юридическом, Николай на историко-филологическом, студенты как студенты, обучали барышень конькобежному искусству. Но Василий был развязанней и разыскливей на знакомства — и это он водил Николая на квартиры, где собирались свободомыслящие, а Николая там всё коробило, оскорбляло, своей же воспитанностью поливал их холодом он,— больше туда не ходил, отшатнулся от них ото всех, затем и от Василия. Увидели себя братья в России — разные смыслы и круги. Василий Алексеевич стал знаменитым адвокатом, любимцем петербургского общества, очарователем петербургских дам, известным умницей и даже первым оратором Дум. Николай Алексеевич не имел таких блистательных способностей, но и со средними вполне бы преуспел, если бы пошёл по линии либеральной. Однако он пошёл по государственной службе и без протекций: начал податным инспектором в глуши, потом в казённой палате тамбовской, полтавской. Тут приехал Государь на 200-летие Полтавской битвы — и с радостным чувством упоённого монархиста Николай Маклаков так изобретательно украсил город и губернский приём, что был высочайше замечен и вскоре вознесен губернатором в Чернигов. (Может быть это произошло не без контраста с дерзким Василием; „ведь вот, из одной семьи, брат *того* Маклакова", плохого,— не все в России испорчены.) А в сентябрьские торжества 1911 года так же восторженно встречал черниговский губернатор своего монарха, приплывшего по Десне,— это был самый день смерти Столыпина, и, как потом рассказывал Государь, в самый момент, когда он прикладывался к раке Феодосия Черниговского, ему вступила мысль, что министром внутренних дел надо будет назначить Николая Маклакова. И через год это совершилось. И молодой министр рьяно и неумело бросился наводить порядки среди располза, и неопытной грудью противостоять думским атакам, и сразу же вызвал на себя озлобление и насмешки, не сумел поставить себя. Дума вычёркивала ему все кредиты, без которых министерство не могло работать, а по обществу привольно раскатывались анекдоты, что Маклаков держится на посту тем, что изображает перед царскою семьёй влюблённую пантеру в клетке, зверей, птиц, других сановников. (Этой прилипшей сплетней ему отомстил межминистерский проходимец князь Андроников, 18 лет причисленный к министерству внутренних дел с правом не посещать службы, но получать чины,— а Маклаков его отчислил.) Василий Алексеевич между тем произносил в Думе свои отточенные эрудитские речи, разя всё вокруг трона.

И каждый из них — стыдился иметь такого брата и самой фамилии своей стыдился из-за брата, брезгливо не желая быть спутанным с ним. Это — те были братья, что если б один тонул при другом, тот с берега не протянул бы ему палки.

Так и сейчас, может быть Василий где и прохаживался по Таврическому своей умеренной походочкой, чуть утиной,— но только облегчение могла доставить ему весть, что арестован и сидит в министерском павильоне позорный Николай Маклаков.

При аресте отбивался (гимнастические навыки), был ранен в голову солдатским штыком и приведен сюда под сильным конвоем, угрожавшим добить его по дороге. Уже в Таврическом наложили ему на голову повязку.

Арестован — и введен в душные, непроветренные комнаты министерского павильона, в фантастическую смесь заседания высших сановников государства — и неустроенной тюрьмы. Увидел столько знакомых сразу, в жалком состоянии, и узнал, что разговаривать с ними запрещено. Увидел на столе неаппетитную сгрудку недоеденных бутербродов с сыром и рыбой, пустых чайных стаканов и пепельниц. Увидел изнеможенного, стонущего Протопопова, вторым на диване с Барком. Увидел Горемыкина с разведенными баками, с усталыми глазами, всё так же хладнокровного и философичного. А кой у кого увидел в немых глазах облегчение: что вот и он, Маклаков, арестован. И увидел издали ещё одни немые глаза Ширинского-Шихматова, с кем позавчера они составляли отчаянный план, а кажется — ничего невыполнимого, как бы бросить бомбу на этот Таврический, в один миг и кончить со всей революцией,— но далеко сидели теперь, и глазами много не поговоришь.

А у стен стояли часовые преображенцы с винтовками, пугая этих стариков не бежать и не разговаривать. И влитой походкой расхаживал прапорщик Знаменский с неподкупным лицом и густым голосом. А курсистки-еврейки, разносившие подносы, корили: „Вот, когда мы сидели в тюрьмах, то вы надевали на нас кандалы, а мы вас угощаем бутербродами и папиросами."

И томился Маклаков, что дал себя взять, что не спроворился застрелиться.

И, как все, должен был встать при входе коменданта дворца полковника Перетца. Полковник этот — кажется журналист из кадетской „Речи", маленький, ничтожный, упивался видом поднявшихся перед ним вчерашних владык, ожиревших генералов и высохших стариков. Он держал лицо не прямо к людям, но полузапрокинутым к потолку и так отвечал. Что беседовать разрешить — никак нельзя во избежание сговора между арестованными. А почему Караулов сказал, что можно? Караулов уже не комендант дворца. Этот вопрос не в его ведении. Но если мы не будем касаться внутренней политики? Сказано: нельзя.

И напуганный пустоглазый большеухий, сам маленький военный министр спешил с жалким заявлением коменданту: что он, генерал Беляев, не совершил никаких преступлений, состоял министром совсем коротко и не понимает, почему его арестовали.

Очевидно, теперь могло начаться между арестантами соревнование: кто меньше виновен перед новой властью.

И ещё были все подняты на ноги и поведены вокруг стола шатким гуськом в затылок „на прогулку". И Горемыкин под его восемьдесят.

И ещё были все подняты на ноги перед заносчивым сморчком Керенским в окружении демократической свиты, которому благоугодно было произнести, что они все арестованы потому, что он, Керенский, хотел сохранить им жизнь. Иначе при народном гневе против слуг прежнего режима каждый из них рисковал оказаться жертвой народной расправы.

И опять сидели в напряжении и в молчанке. Несколько раз дико вскрикивал здоровенный адмирал Карцев:

— Воздуху! Воздуху!

Его лёгкие привыкли к свежему, но когда открывали форточки, то старики жаловались, что дует в ноги, и закрывали опять.

Доктор Дубровин для соседа генерала просил как врач прислать немедленно лёд.

В их комнату вдруг завели жандармского полковника, взятого при разгроме квартиры в невероятной одежде: в брюках, очевидно, сына, щиколотки голые, из-под жилета видна нижняя рубаха, рукава не дают свести рук, стоячий воротник без галстука, на одной запонке. Но прапорщик вскоре закричал, что не сюда его привели, а нужно наверх, на хоры. И увели.

А всё остальное время было — на мягком стуле молчание и размышление.
Но не о трёх своих сыновьях, из них двое на войне, думал Маклаков. А: зачем Бог дал дожить до крушения всего, во что ты верил на земле? Присутствуешь при гибели государственного порядка — как при собственной смерти.

А много ли помог сам?

Да, был неопытен и не готов. Оттого ринулся объезжать петербургские полицейские участки, вызывая всеобщие насмешки. (Сегодня это не показалось бы смешно.) Взял к себе товарищем и шефом корпуса жандармов — армейского генерала Джунковского, а тот и совсем был к такой службе не приспособлен, своими руками уничтожал осведомительную агентуру. Да, самое страдное, тяжёлое и ненавистное обществу министерство. Твой голос всегда заглушается кликами злобы врагов. И сам был во многом виноват, что сложились такие предвзятые отношения с Думой. Но не удивительна ненависть общества, а: в самом совете министров не встретил доброжелателей, тут приходилось ещё хуже, чем в Думе, и даже среди правых министров чувствовал себя Маклаков одиноким. Лукавые и равнодушные царские слуги! — давали неверные советы, как вести себя с Думой. Все скрытничали друг перед другом — а Маклаков был прям, горяч и только портил. Долго он учился, что надо сдерживаться и не всем верить. Нужно было сплочение к единой цели, политическая боевая линия, дух борьбы! — ничего этого в правительстве не было. Всеми презираемый, осуждаемый, Маклаков окрылялся только постоянной поддержкой Государя. Он высказывался перед монархом горячо, убедительно, и никаких не скрывал мнений — и смел заметить, что Государь тоже ни с кем не говорил так откровенно и много, как с ним. И называл его своим другом. Одному Маклакову ещё до войны Государь доверил свою мечту: изменить конституцию так, чтобы при розни между палатами проект не гасился, а царь избирал бы мнение. И Маклаков горячо был согласен: „народу мнение, а царю решение" и есть наша древняя московская монархия. Но что мог поделать самый молодой из министров — и в одиночку? Перед самой войной, на петергофском совете, он поддержал, что у Государя тоже должны быть какие-то законодательные права,— но он единственный. (А Щегловитов — нет! Вот мы, правые. Почему Щегловитов всегда был так сдержан и не подставлялся в единый строй? Были хороши, ездили в одной карете,— но даже два правых министра врозь,— каких же правых можно объединить в стране?.. Загадка неединства. Щегловитов всегда: „закон выше наших желаний". А по Маклакову: высший закон — это на плечах голова со здравым смыслом.)

После многих докладов Государю, что внутреннее состояние России обострено, нельзя дремать, надо действовать, в позапрошлом году на Страстной, в дни средоточия, Маклаков отважился на страстное письмо: честных русских людей смущает направление, которое приобретает правительство; сердце подданных чувствует беду, затемняется светлый лик монарха; ваше доверие ко мне, Государь, подорвано, всё равно люди и обстоятельства принудят позже вас к тому, чтоб уволить меня,— так увольте меня сейчас. Государь — был взволнован и так же пылко уговорил Маклакова остаться. (Что-то соединяло их прочней служебных отношений и даже единства взглядов — общий день Ангела? малая разница лет? или служба монархической белизне как исповедание?) Но в Думе Маклакова всё гуще травили, и Горемыкин, ища пути полегче, пожаловался Государю, что больше с Маклаковым не устоять,— и всего через 3 месяца после трогательного порыва — Государь уволил своего любимого министра.

Маклаков плакал. Не от потери поста — он не искал в службе личного, и жизнь его принадлежала царю, и славу родины он видел только через величие царя, и обожал его до слёз, и видел от него только добро,— а вот плакал, что Государь пожертвовал им для Думы, что он покидает верных, если на них разгневано общественное мнение, что гибнет правое дело. Тяжело всем верным.

Ещё когда только впервые собиралась 4-я Дума, Маклаков уже слышал подземные толчки: эта Дума, не как 3-я, она будет бушевать. Надо пробовать сразу ввести её в русло твёрдой рукой, объявить ей прямо: Дума не призвана бороться против государственной власти, но — укреплять родину! (Он рвался выступить сам, но так плохо стоял перед Думой, ещё б и это обратили в посмешище.) А не поймёт — распустить её тотчас же, объявить в столицах чрезвычайную охрану и назначить новые выборы!

Но ничто подобное сделано не было. Государевы решения принимались так ненастойчиво, всегда выливались в такую мягчайшую форму, от самого энергичного доклада оставалась всего лишь крупица. Забывалось Священное писание, что даётся меч царю — на казнь злым, на покровительство добрым. От миролюбия и мягкосердечия сверху — Россия шла к распаду. Думские отчёты, расходясь по стране, подрывали государственный порядок. Россия сбивалась с толку: общество воспитывалось в постоянной злобе к правительству, что русское правительство не просто ошибается, но оно — *враждебно* народу, и даже единственное препятствие на пути к русскому счастью. При таких думских нападках как же армии стоять спокойно на позициях? По России ширилось новое мировоззрение: совсем забыв и вычеркнув царя, видеть всему начало и конец — в общественном мнении. Дума прокладывала по всей стране путь к революции.

Думцы издевались над Николаем Маклаковым, по всем либеральным гостиным читались о нём сатирические стихи, лгали, что он ни одного дела не начинает без Распутина и целует ему руки (в жизни виделись два раза и прохладно),— но и Маклаков же своих врагов понимал: политически изменчивых, приспособленных к поворотам обстоятельств, одурманенных честолюбием и до неправдоподобия равнодушных к судьбе родины. В те дни 1915 года, когда Родзянку чествовали во Львове почти как царя и штатские шпыни раздавали георгиевские кресты солдатам,— Маклаков оледенел, что Дума — сломает самодержавие! Пусть и у Маклакова не хватало государственного ума, но сколько мог, два с половиной года, он сдерживал этот разрушительный ход. А когда его, реакционера-душителя, убрали — разрушение пошло быстрей. Щербатов, младший Хвостов да Штюрмер — угробили внутреннюю политику. Внутренней политики, собственно, вообще не стало, никакого общего плана действий, никакого представления, куда идёт страна, а — движение закрыв глаза, по инерции, и даже как походка пьяного от стены к стене. Безнадёжно становилось России выйти из теснины разнящей ненависти. Уже с начала 1916 года Маклакову чудилось: всё кончено.

И не в учреждениях было несчастье: они вполне хороши, устоялись, разработаны. Безнадёжен не государственный строй, а — люди, занимающие места. Многие люди, на многих местах. Высокие чины в учреждениях исполняют свои обязанности плохо. И во многом даже не по своей вине, а из-за отсутствия системы и программы в управлении страной: постоянная смена политических убеждений на верхах создаёт невозможность служить. (Нельзя назвать тут Государя — а во многом именно от него.) У слуг царя создаётся личная неуверенность в завтрашнем дне — и так колеблются и расшатываются все исполнительные власти. И государственная деятельность становится — как черпать воду решетом.

Казалось бы: выход — сплачивать всех, кто верен короне. Но корона давно не поддерживала своих истинных сторонников. Правые повсеместно настолько ослабли, что даже в исконном своём Государственном Совете, где только половина была выборная, а половина назначенная самим Государем,— даже там они уже не имели большинства и не пользовались сочувствием. И Маклаков, там тоже член, был *один*, кто посмел голосовать против вздорных Особых Совещаний, вырывающих уже и дело обороны из рук правительства в руки общества. После своих речей в Государственном Совете, Маклаков получал грубые угрожающие письма от левых. Исповедывать правый образ мысли стало не только уже не популярно, но даже не безопасно. Безнадёжно были удручаемы все, кто верил в русское самодержавие и пытался его поддерживать. На правых беспрепятственно сыпались любые клеветы. Правых били, не давая встать, и опять били. Правая вера была в общественности поругана, осмеяна, вышучена, замарана, и самим правым всё очевиднее становилось, что колесо повернулось уже непоправимо. Стояли правые у могилы того, во что веровали.

При таком разброде и упадке какое же одно несомненное русское дело оставалось дворянину вне службы? — в деревню! в семена! в навоз! в коров! Полтора года после своей отставки, кроме заседаний Государственного Совета, Маклаков проработал у себя в тамбовском поместьи.

Но не нашёл он покоя в этом уединении. Напротив: оттуда повиделось ему ещё отчётливей и обречённей положение страны. А если он видел так вперёд, как разрешённый ребус, то вправе ли он был молчать? — это уже предательство.

В этом декабре ему пришлось поехать в Петроград ликвидировать свою квартиру. И тут он снова написал Государю порывно-душевное письмо. В сложную, небывало острую пору обязанность всякого верноподданного высказать Государю всю правду положения. Направление занятий Думы и характер произносимых там с ноября речей — вконец расшатывают остатки уважения к правительственной власти. Хотя страна не выражается Петроградом и что волнует верхи — не касается России, но в столице, совместно со съездами и союзами, *уже начался штурм власти*, и он угрожает самой династии. Трудно остановить близкую беду, но ещё возможно. Заседания Думы отодвинуть, союзы поставить в рамки закона, создать единодушное правительство и упорядочить продовольственное дело.

Никогда не считал себя Маклаков умней Государя, с радостью признавал превосходство его души и его дальновидности,— но как было добавить ему силы воли и власти?

Написал — и уехал на Рождество снова в деревню. И там только в январе

до него дошло, что на петроградскую квартиру приезжал царский фельдъегерь вручить ответное письмо и будто бы Государь вызывал к себе. Но в Тамбовскую губернию вызова не послали: видимо, горели минуты.

И действительно, на Новый год был назначен премьером Голицын — в тщетной попытке найти примирение с Думой.

По известии о фельдъегере Маклаков воротился в Петроград смущённый и почти угадывая, зачем вызывал его и не дозвался обожаемый Государь. Он никак не рвался идти в правительство в столь проигранном положении. Но и не вправе был бы отклониться.

Вскоре передали Маклакову пожелание Государя: написать царский манифест — на случай, если он остановится не на отсрочке Думы, но на полном роспуске её.

Это было уже начало февраля, три недели назад, и последняя царская служба Николая Маклакова. Все свои скромные силы слога и всё своё цельное, никогда не прерванное монархическое чувство он вложил в трёхдневное писание этого манифеста. Он наслушивал душой, как это должно бы грянуть для всякого русского уха, везде на просторе Руси! Он объяснял: внутренний враг стал опаснее, наглее, ожесточённей внешнего врага! Он призывал: смелым Бог владеет! Он благословлял взмах царской воли, который, как удар соборного колокола, заставит со страхом Божиим перекреститься всю верную Россию. Он звал: всех сплотиться вокруг Государя. Он готовил документ для поворота русской истории!

Выборы новой Пятой Думы назначались на 15 ноября 1917 года. Выигрывалось без раздоров, без поношения власти — время до осени. Если к осени победоносно кончится война, то в общем подъёме спасётся и всё.

Ему дозволено было отвезти манифест Государю лично. Он пылал с ночи, с утра,— и таким поехал на вокзал.

А тут что-то случилось с поездами, все остановились — и Маклаков изводился в вагоне. Поезд опоздал в Царское на полтора часа. За это время у Государя уже истекало расписание, он куда-то торопился. Маклаков надеялся сам вдохновенно прочесть — Государь взял бумагу, не читая, посмотрел своим обворожительным взглядом и легко — слишком легко! — сказал:

— Это, Николай Алексеич, так, на всякий случай. Ещё надо со всех сторон обсуждать.

То была последняя аудиенция.

И последний неиспользованный шаг.

И сейчас, озирая эту комнату с немощными стариками,— он остро жалел, что не отбился, что не мог уйти для борьбы.

Или — что никакой отчаянный и сегодня не прилетит на Таврический с бомбой.

285

Последние часы до Пскова ехал Государь с восстановленной надеждой: и на скорое соглашение с Думой, отчего отвалится давящая душу тяжесть и весь кошмар последних дней,— и на быстрый проезд в Царское Село.

При встрече во Пскове не был выстроен почётный караул, промелькнул одинокий караульный солдат в конце платформы. Так — ещё никогда не приезжал Государь не только в штаб фронта, но и в полк. И губернатор псковский был с двумя чиновниками, без сбора местного начальства, как это всегда. Но и, однако,— Государь не обиделся, и не придал значения потере обряда: стояло мрачное время и ждали дела, верно. Он тут же принял субтильного Рузского и приземистого Данилова.

Первым его удивлением было — что они ничего не слышали об ожидаемом приезде Родзянки.

Затем удар — о мятеже в Луге. Мало того, что делалось в Царском! — даже и проехать к ним нельзя!..

Пересидели обед — с генералами и губернатором, в полном воздержании от событий, ценою тягостных пауз. Покрывая их, Государь подробно расспрашивал губернатора, как он живёт.

Ах, скорей бы кончился этот обед и скорее бы что-нибудь узнать, хоть неприятное. Хоть и что Родзянко привезёт.

Нет, не ехал. А после обеда подали такую телеграмму из Петрограда:

„Передайте Его Величеству, что председатель Государственной Думы изменившимся обстоятельствам приехать не может. Бубликов."

И опять упало сердце. (Последние дни такое хрупкое стало всё внутри.) Эти *изменившиеся обстоятельства* могли иметь много значений, но все зловещие. Измениться могло: или к тому, что Родзянко более надмевал. Или к худшему мятежу, так что Родзянко уже не управлялся с ним.

И всё тот же загадочный, никогда не слыханный, а всё сильнеющий Бубликов, как стена на всех путях.

Как изменилось за день: сегодня утром Государь ещё выбирал — принимать Родзянку или нет. А теперь — только впусте жаждал его приезда.

В этом отказе Родзянки было какое-то зловещее отрезание. Николай ощутил, как с осени уже несколько раз: что неотвратимо катят события, уже не подчиняясь его воле,— и даже его самого увлекают как предмет — и ничего нельзя будет исправить. Рок. В такие минуты обрывалась его вера в свою миссию — а это грех, нельзя, нельзя подаваться! Надо перебороть и этот новый удар.

Но — как добраться до Царского?! И что творится в Царском? Да не глумятся ли там над ними??. Всё существо, всё нутро, вся интимная внутренность тянулась туда, жаждала воссоединения с родной Аликс. Однако не только нельзя было ехать, а даже не оказалось телеграфной связи: всё забрал и прервал восставший Петроград.

Нельзя даже было простой телеграммы послать своим — что прибыл во Псков.

После обеда Государь позвал Рузского к себе в поездной кабинет, а Данилов-чёрный поехал в штаб за новыми телеграммами и сведениями.

Только сейчас Государь дослушался, досмотрелся впервые, какой самоуверенный педант этот Рузский. Не прежний — почтительный, искавший милостей, умолявший вернуть его в командование Северным фронтом,— но назидательно выговаривающий свой длинный монолог и, перебитый, всегда возвращается закончить фразу. И в движениях, как и в речи, проявилась механическая размеренность, которой раньше не замечал Государь. И странным казалось сочетание седого бобрика и чёрных усов, наверно крашеных. Без живых чёрточек — мертвоватое же у него лицо — какого-то небольшого зверька, но с нацепленными очками. И болезненное при том.

Как странно в час-другой изменились отношения с подчинённым генералом. Возник какой-то неизбежный неотклонимый собеседник,— и Государь не знал средства против такого изменения.

Правда, начал Рузский с оговорок. Что его нынешний доклад выходит за пределы должностной компетенции, ибо тут вопрос не военный, а государственного управления. Что может быть Государь не имеет к нему достаточно доверия, поскольку привык слушать Алексеева, а оба генерала часто не сходятся в оценках.

Государь, разумеется, предложил генералу высказываться с откровенностью.

И после этого развернулся монолог Рузского. Что Родзянко, и не приехав, ждёт ответа,— и ответ этот не может быть иным, как уступить и дать ответственное перед Думой министерство. И почему это нужно было сделать уже давно. И как все события, бунт в Кронштадте или успокоение в Петрограде, ведут к этому самому. И как со всех сторон все понимающие, знающие люди именно об этом и просят. Думцы. Земцы. Союз городов. Да вот — и генерал Алексеев, досланная телеграмма, второй день идёт. Да вот — и генерал Брусилов, переслана через Дно, там не застала вас. Да вот — и великий князь Сергей Михайлович, даже он, даже члены вашей династии.

Увы — да. Увы — всё это было в наличии и вот разложено, да. За два дня блужданий Государь многого не получал, а теперь оно стеклось. От Алексеева. Старые вчерашние и совсем ещё не плохие сведения из Москвы. Всё страшное произошло в Москве сегодня. И в Кронштадте сегодня. (Как больно и стыдно

за флот, за любимую государеву гордость!) Убит начальник кронштадтского порта. И адмирал Непенин признал родзянковский комитет.

Забота Алексеева, как он писал,— спасать армию: спасать её от агитации, в ней много студентов и молодёжи, и спасать её продовольственный подвоз. Алексеев считает подавление беспорядков опасным — прежде всего для самой армии,— волнения перекинутся в неё, и это приведёт к позорному окончанию войны и даже всю Россию — к погибели. Государственная Дума пытается водворить порядок, и надо не бороться с ней, но скорее помочь ей против крайних элементов. В этом — единственное спасение, и медлить невозможно.

Вот как... Неужели так?.. Страшные слова.

Но почему он так уверен, что *это* может перекинуться в Действующую Армию?

А дядюшка Сергей Михайлович — тот уже не говорил „лицо", а прямо: назначить премьером Родзянку и только его.

(Сам-то сколько напутал в артиллерии.)

И почему-то — от Брусилова. Никем не спрошенный, телеграфировал на имя Фредерикса. Спасая армию — признать совершившийся факт и закончить *мирно*.

Но больше всего поражало, что Рузский и Алексеев, всегда во всём несогласные и соперники,— вот, говорили одно и то же оба. Это было достойно, чтоб удивиться.

Пусть не было доверия к Рузскому,— но почему они все заодно?

Однако, могло ли быть так, чтобы всем легко была открыта единая истина — а Государю закрыта?

— А что скажет Юг России? А что скажет казачество? — опомнился он.

Да как же идти на такую ломку во время войны, не дождавшись её окончания? Кто же вводит парламент во время войны? Пока немец на русской земле — какие же реформы? Надо прежде выгнать немца.

Разъяснял Рузский: именно. Для спасенья войны, для успешного её окончания и нужна реформа.

Да разве Государь был против того, чтобы советоваться? Всегда и охотно, но с людьми благожелательными и преданными России, а не с этими озлобленными. Разве партии, узкие своим разумом, своими программами,— способны открыть подлинный путь народу и даже подлинную свободу?

Сколько лет были прения и бои — и всё об этом „ответственном министерстве"! Сколько непримиримостей столкнулось именно на этом камне! Сколько клевет и оскорблений родилось вокруг этого! Сколько совещаний с общественными деятелями, сколько скандалов в Думе.

Но откуда это предположение, что при парламентском министерстве Армия станет лучше воевать?

А на последней зимней конференции ещё и союзники домогались от Николая того же: „ответственного" министерства. (Как будто *их* это было дело, им не нялось.) И Гурко — добавлял туда же, не то потеряем расположение союзников. И английский генерал при Ставке, на правах государева друга,— писал то же.

Всё — било в одну точку.

Но! — за всё, что случилось с Россией, и за всё, что ещё случится,— ответственен был перед Богом один Государь.

Ибо, как сказано: Народ согрешит — Царь умолит. А Царь согрешит — Народ не умолит.

Только возвышенные эти слова не мог он выговорить Рузскому вот так просто, через стол.

А Рузский всё настойчивей становился и тоном поучительным разъяснял, что дело Государя — лишь царствовать, управлять же должно правительство. Что *самодержавия* — всё равно уже не существует с 1905 года, при Государственной Думе оно — фикция, и благоразумней пожертвовать им своевременно.

При всём образованном лоске Рузского — проступало в нём что-то тупое. Такой прямоугольный лоб. И неживые накладные уши.

Царствовать, не управляя? Прадед Николай Павлович говорил: могу понять республику, не могу понять представительную монархию,— двусмыслица.

Возражал Государь, что этой формулы он не понимает. Наверно, надо для того переродиться, быть иначе воспитанным. Самому — ему нисколько не нужна власть, он не любит её, нисколько за неё не держится. Но он не может вдруг посчитать, что он не ответственен перед Богом.

Рузский прикрыл за очками веки, как принято прикрывать при упоминании Бога,— кто искренно, кто в насмешку.

И не может Государь сложить с себя ответственность перед русскими людьми. Да как бы он был вправе: передать управление Россией людям, которые к этому не призваны? Которые сегодня, может быть, принесут ей вред, а завтра — уйдут в отставку,— и где тогда вся их ответственность?.. Как же можно оставить Россию без верной преемственности? Как сможет Государь смотреть на легкомысленную деятельность таких людей — и притворяться, что не он, монарх, отвечает перед Богом и Россией, но думское голосование? Если он уже ограничил в Девятьсот Пятом свои права или ещё ограничит их сейчас — вся ответственность всё равно остаётся на нём.

А Рузский как будто открыто начинал выходить из себя — и начинал говорить тоном, будто перед ним не Государь вовсе. Он стал называть многие — действительно неудачные и несчастные назначения за последние годы на многих министерствах,— от внутренних дел, иностранных, юстиции до военных и обер-прокурора Синода,— и Государь слушал и сам ужасался, как много верного было в его упрёках и как много, правда, неудач.

Но разве делил с ним когда-нибудь Рузский или Алексеев, или любой громогласный общественный критик, или вообще кто-нибудь, кроме верной жены и покойного Григория,— это мучительное перебиранье имён, жгучий многодневный поиск в людской пустоте, когда, кажется, голова уже лопается, а кандидатуры всё не приходят! Да наконец: а все кандидаты, которых предлагало общество,— чем они были способней, или приспособленней, или опытней, чем выбранные царём? Да ни в чём и никто. Государь тут же перебирал их перед Рузским и доказывал, как они не умны и не опытны. Нет в России сейчас таких общественных элементов, которые были бы приготовлены к делу управления страной и способны исполнять обязанности власти.

А Рузский утверждал, что — есть, и много.

Но Рузский, кажется, не пытался ничего понять в глубину. Он — и не уговаривал Государя. Он просто — ставил перед ним со всех сторон, что никакого другого выхода — нет.

Вот как... Почему-то сложилось, что именно они двое, в одном разговоре, над столиком поездного кабинета, и во Пскове — должны были решить судьбу России.

Стеснённый Государь стал ощущать с неумолимостью, что и не уступая — он уже уступает.

Он курил, курил, через свой любимый пенково-янтарный мундштучок, и гасил половинные недогоревшие папиросы, и тут же зажигал новые.

Да, вот как он соглашается: пусть Родзянко формирует кабинет и берёт кого хочет, но четырёх министров — военного, морского, иностранных дел и внутренних — будет назначать и контролировать сам Государь.

Ни за что! — возмущался Рузский как имеющий право на возмущение и с тем же тоном учительным: в таком виде — это не согласие. Растревоженная гудящая Дума воспримет это как оскорбление! Да и кто ж иностранных дел, если не Милюков? Это значит — прямой отвод Милюкову?

Да Государь готов был согласиться и с Милюковым, он — запас оставлял из предусмотрительности, чтоб не так уж сразу много уступить. Он строил загородки потому, что знал за собой эту слабость — слишком быстро и легко уступить.

Хорошо, вот как он соглашается: пусть Родзянко формирует весь кабинет, но ответственный перед монархом, а не перед Думой.

Нет! — с властным оттенком голоса и уже повышенным тоном отводил Рузский.

Тут приехал из города Данилов, ещё насупленней, чем при встрече (он

открыто напоминал Государю свою обиду за смещение из Ставки). С новой телеграммою от Алексеева.

Перед опасностью распространения анархии и тогда невозможностью продолжать войну, ради целости армии и России, Алексеев усердно умолял Его Величество соизволить на немедленное опубликование манифеста — проект которого тут же телеграфно и прилагал, они выработали его в Ставке. (Сидели и вырабатывали не порученное им!)

А в манифесте стояло: для скорейшего достижения победы — вот это самое министерство, ответственное перед представителями народа. И чтобы сформировал его именно Родзянко — из лиц, пользующихся доверием всей России.

Как застенок обступал Государя, всё тесней.

А если от этого именно и возникнет анархия?..

Но не согласиться с Рузским, не согласиться с Алексеевым, не согласиться с Брусиловым,— так что же надо делать: менять всё главнокомандование? Тоже — в разгар войны... И — тем более нет сил.

Да, вот лежал вполне готовый манифест, очень понятно и даже трогательно составленный: о верных сынах России, объединившихся вокруг престола; что Россия несокрушима как всегда и козни врагов не одолеют её.

Оставалось только подписать.

Манифест лежал тем убедительный, что уже составленный. Николай боролся с облегчительным искушением: сразу взять — и подписать. Раз это нужно для блага России — как же не подписать?..

О, с октября Пятого года знал Николай этот дьявольский соблазн: такой по виду простой шаг, только подписать — и на миг насколько станет легче! Знал он, по 22-летнему царствованию, это манящее блаженное облегчение, которое наступает всегда после уступки, в первый момент.

Да и ему самому при ответственном министерстве — насколько меньше забот! Насколько легче станет собственная жизнь.

Но и слишком же помнил Николай ту роковую уступку Пятого года: с тех пор всё и пошло худо. И именно э т о он и уступил тогда. Ещё и сейчас болел в нём тот Манифест.

О, где взять сил этому сердечному кусочку одному застрять на склоне и удерживать собой лавину?

Только: откуда же у глупого Родзянки возьмётся такая прозорливость? Как же он будет искать этих лиц, каждое из которых пользуется доверием *всей* России?..

— Нет,— возразил Государь генералу мягко, даже робко.— Нет. Не могу.— И скорее смягчил: — Пока...

Рузский сильно покислел. Но, с новой надеждой: может быть, можно пока сообщить в Ставку и в Петроград, что Государь, ещё не подписав, согласен на такой манифест *в принципе?*

Нет. Пока нет. Подождём. Не сразу.

Но об армии, духе войска и России — о ком же ещё? — хлопотал и Рузский.

— Если нет,— жёстко выговорил он,— какие другие меры? На что вы надеетесь, Ваше Величество? Если нет — значит, надо и дальше вести войска на Петроград. И вы берёте на себя страшную ответственность: что впервые в истории нашей армии русские войска вступят в междуусобицу?

Государь содрогнулся. Верность и сила этого довода поразила его. О, только не это, правда! Уже довольно ему на памяти — несчастной, непредусмотренной стрельбы 9-го января и липкой клички „Кровавый", которой метили его левые. После т о г о дня о н — не имеет права приказывать русским войскам стрелять в русских...

О Боже, какая мука и какая безвыходность! Пыточный застенок стискивал грудь Николая.

Так может быть,— предлагал Рузский, видя успех,— пока заказать на ночь прямой аппаратный разговор с Родзянкой? Сговориться, когда тот сможет прибыть к аппарату?

Ну, что ж. Это можно. Это неплохо. Раз он не смог приехать сюда.

Послали Данилова снова в штаб, уговариваться с Петроградом.

А манифест — лежал перед Государем и звал к подписи...

А Рузский — безжалостно, не давая ни времени, ни отступа,— наседал. Требовал. Немедленно и честно объявить определённое решение, пока от беспорядков не всколыхнулась армия.

И Верховный Главнокомандующий, император — вскидом головы и стекшим измученным лицом просил у него пощады:

— Я должен подумать. Наедине.

Рузский недовольно ушёл в свитский вагон, дожидаться.

И остался Николай — над безысходным манифестом. Остался, никем не подкреплённый, незащищённый, один.

И подпирал голову, чтоб не упала. И почти грудью рухнул на эту бумагу.

Все — сошлись. Все, едино и вкруговую...

О, как нужна была ему голубка Аликс сейчас — чтобы посоветовала. Чтобы направила.

Да ведь она и писала уже в телеграмме, что нужны уступки? Поймёт ли она, что такая уступка была неизбежна?

О, каково ей! Каково ей — переживать все эти события одной!..

Нет, нет! Подписать такую бумагу — значит изменить долгу императора.

Подписать такую бумагу — значит, отменить в России извечный монархический принцип и кинуть страну во все зыбкие колебания парламентарного строя. А то и прямо в анархию.

А заодно — изменить и своему сыну. Нет, *этого* Аликс не могла бы одобрить!

Да что же такое произошло, что в один день он должен уступить монархию в России?

А какой выход? Слать войска на междуусобицу? И уволить всех старших генералов?

О Боже, какая пытка! — и Ты послал мне её в одиночестве.

А когда в своей жизни Николай был волен решать? Всегда он был сжат обстоятельствами и людскими требованиями.

А может быть — этого и требует благо России? И — прости их всех Бог? В доброй уступке — какое сердечное облегчение!..

Что ж, пусть эти умники составят свой кабинет? Посмотрим, как они потрудятся и как справятся.

О Боже! Дай силы, дай разум.

286

Тонко отзывчивая Лили Ден, как помогающий беззвучный ангел, оказывалась то около больных детей, то близ государыни в самые нужные минуты. С Аней всегда были капризы, претензии, а сейчас, больной, ей не говорили о Петрограде,— эта была вся слух и помощь, только ей и могла государыня говорить как самой себе.

— Итак, Лили, всё положение в руках Думы. Будем надеяться, что теперь-то они очнутся и сумеют что-то исправить.

Навстречу ожидаемым двум депутатам выслали на станцию две придворных кареты.

Но кареты воротились пустыми: депутаты пренебрегли дворцовым приглашением и ожиданием, сели в автомобиль мятежников под марсельезу и поехали в ратушу произносить перед гарнизонным собранием речи — очевидно в духе революции.

Кареты вернулись пустыми — и это унижение приходилось снести. И императрица попросила коменданта Гротена — генерала-совершенство, все часы спокойного, уверенного, точного, подлинного военного человека и главную сейчас защиту,— поехать в ратушу и всё же просить депутатов приехать во дворец и подбодрить охрану.

Гротен поспел к концу собрания, где депутатов встречали восторженно. Депутаты разумно возразили ему:

— Генерал, что мы можем сказать вашей охране? Что царского правительства больше нет, а надо подчиниться Государственной Думе? Каково будет

ваше положение? Если мы приедем к вам — это будет значить: вы подчинились Думе.

И Гротен — не нашёлся, не уполномочен был, что ответить. Вернулся спросить государыню.

Смысл приезда депутатов оказался совсем не обещанный. Из ратуши они поехали по казармам восставших полков — впрочем, кажется, с успокоительными заявлениями, что задача — сохранить фронт.

Впрочем, уже и установился какой-то нейтралитет: мятежный гарнизон не подступался и не трогал дворцовой охраны.

Зато Гротен привёз петроградский листок с совершенно невероятной вестью: будто вчера Собственный Конвой в полном составе явился в Думу. Это был вздор, потому что — не только о благородных конвойцах, но и потому, что две сотни были здесь, во дворце, верны, никуда не уходили, а две — в Могилёве, при Ставке, и не могли попасть в Петроград. В Петрограде была всего лишь полусотня и нестроевая команда.

— Однако! — подумала тревожно государыня: если эта изменническая весть достигнет Государя, то ведь он может и поверить, ибо ничего не знает о царскосельских сотнях. О Боже, как быстро, за сутки, нарастает лавина невысказанного и непонятого! Какой ужас!

Тем временем — как метеор появился и пронёсся великий князь Борис. Он как бы ужасно торопился, и был бледен, и кусал губы, и всё сообщение его состояло в том, что его срочно вызывают в Ставку, и оттого он ничего не может сделать тут, и все подчинённые войска его там.

Трус. Государыня презрительно отпустила его. На этого „казачьего атамана" она даже не обиделась, от него и не ждала ничего доброго. Она даже удивилась, что он вообще приехал отметиться.

Но — Павел? Но куда же опять делся Павел? Ведь он обещал утром встречать Государя — вот не встретил — отчего же не забеспокоился, не приехал, и что ж он будет делать с гвардией?

Он — не ехал, не давал о себе знать. И опять государыне приходилось первой. Хотела послать князя Путятина, но оказалось, что Путятин — сам уехал к Павлу?..

Всё разъяснилось вскоре — уже вечером, но ещё перед обедом. Вернулся князь Путятин, и вместе с Бенкендорфом и Гротеном просили приёма. Великий князь Павел Александрович действительно утром ездил на вокзал и не встретил Государя, но ещё ранее того, прошлой ночью, он с семьёю вынужден был скрываться в чужом доме, опасаясь разгрома своего незащищённого дворца. Великий князь готов хоть сейчас ехать в Ставку и в гвардию на фронт — но не смог бы проехать через Лугу, где тоже начался мятеж. Однако более того, великий князь взволнован дошедшими до него слухами, что думские круги готовят регентство Михаила.

Это ещё что? Ничего подобного государыня не слышала! Что за вздор?

И, подгоняемый такими слухами, все эти часы великий князь Павел изыскивает пути спасти трон Государю.

Спасти?? Трон нуждается в спасении???

Великий князь составил и предлагает проект манифеста, который бы должен подписать Государь — и всё спасено, и все удовлетворены. Но пока Государя нет — быть может для успокоения общества его подпишет государыня? Как бы для заверения?

Государыня с изумлением взяла бумагу. Единственный ещё живой сын Александра II, убитого террористами,— и один брат убит террористами, а ещё один едва избежал той же участи,— после всего резкого, что он выслушал вчера от государыни, и вместо того чтобы ехать приводить подчинённую ему гвардию — как же он заглаживал? что же он предлагал?

В возвышенных сбивчивых выражениях какая-то совершенно идиотская бумага: будто Государь всё время только и намеревался ввести ответственное министерство, но прежние министры препятствовали. А сейчас, в скорби, что столицу постигла внутренняя смута, но уповая на помощь Промысла Божьего,— он единым мановением предоставляет государству российскому конституционный строй и предлагает председателю Государственной Думы составить временный кабинет министров, а дальше будет законодательное собрание и новая конституция.

Но Александра Фёдоровна, несмотря на возбуждение, бессонницу и волнение, сохраняла государственную ясность ума, как всегда. Ей сразу была видна и фальшь этого неуклюжего движения, ничем не оправданного,— и степень капитуляции, которую не смел великий князь приписывать Государю. Ни даже — сама бы она не решилась так посоветовать, хотя размах событий убеждал её, что какие-то уступки теперь неизбежны.

С разочарованием она отложила бумагу. Не может быть даже и мысли такой глупой, чтоб она подписала.

Однако, она почему-то не рассердилась на Павла, а даже пожалела его. Бумага была — фальшивая, но порыв Павла — искренний: он действительно хотел спасти трон Государю. Он — не сносился тайно с Родзянкой, как очевидно сносился Михаил, откуда и слухи о регентстве. Павел проявил себя неумно, но преданно,— и государыня больше не сердилась на него. Безумная затея — но и благородная.

Ужасные текли часы — часы поразительного безвестья! Где находился Государь — неизвестно, и это самое ужасное. Г д е он, в какой точке,— она всегда знала. (И когда совершал поездки по фронтам — предупреждал её о маршрутах. Она даже по часам следила, что он может делать в течение дня.) Но сейчас — и связи со Ставкой не было. Осталась единственная связь с Зимним дворцом — она ничего не могла дать. Установили только достоверно, что толпою разгромлен и сожжён дом Фредерикса, а бедная семья его в конногвардейском госпитале, жена — без памяти.

Всю жизнь Александра жила с Ники неразрывно, двадцать лет всё делили пополам, крупное и мелкое, утешительное и тяжёлое. Когда-то отъезд его в Италию на короткий срок казался кошмарной трагедией. Ей — всегда было неестественно, что он уезжает, буквально каждый его отъезд был ужасным терзанием,— видеть его большие грустные глаза при расставании. Она ненавидела быть в разлуке! (Сейчас она с содроганием проходила сиреневую комнату, где они так уютно сиживали вместе.)

С тех пор как Государь возглавил Верховное Главнокомандование — он часто должен был оставаться в Ставке, впервые на 21-м году они провели порознь и день сватовства и день рождения. (Одно время она уговаривала его перенести Ставку ближе к Петрограду, чтобы видеться чаще.) Да, эта разлука, цепь разлук — была их личная жертва, которую они приносили своей бедной стране в это тяжкое время.

Но более, чем за себя,— Александра во время разлук страдала за него: она мучилась *его* одиночеством, как *он* переносит разлуку, и особенно, когда ему выпадают тяжёлые испытания: он может размякнуть, потерять веру в себя, все вокруг там всегда дают ему дурные советы и злоупотребляют его добротой, а он истомляется от этих внутренних вопросов. У каждой женщины в её чувстве к любимому есть что-то материнское. Александра — будто носила Ники в себе, в своей груди. Это Господь так устроил, Он желает: чтобы бедная жёнушка помогала ему. Что она советовала ему — она не считала своею мудростью, но инстинктом, данным ей Богом. Она — всегда была способна его подбодрить, всегда была способна вдохнуть в него веру. (Те, другие, потому и боялись её влияния, что у неё упорная воля, и она лучше других видит насквозь.)

Так и сегодня: она, может быть, что-то могла бы предотвратить,— а вот вынуждена была метаться здесь, и даже не знала его точки нахождения, не то что обстоятельств,— и тоска глодала сердце.

За обедом — с Лили и одной здоровой Марией — почти не ели.

Уже становилось слишком мучительно притворяться перед детьми и скрывать от них. 18-летняя Мария достаточно уже и сама видела, урывками слышала, поняла. А старшим, лежащим в тёмной комнате, да и Бэби надо было постепенно объяснять, подготавливать их.

Ещё днём были какие-то глухие слухи, что едет сюда из Ставки генерал Иванов с войсками. Не верилось. Но поздно вечером вдруг сообщили со станции — что он приехал, уже здесь!

Боже, какая радость, слава Тебе, благодарение Тебе! Боже, какая внезапная радость! И — узнать про Государя! (Да может и сам Государь следом за ним?) И — помощь, защита.

Как чувствовала! — как чувствовала, как она всегда любила этого генерала, называла его „дедушкой'', советовала брать в Ставку, советовала в военные министры,— как бы он умел захватить сердца Думы! Как тактично было со стороны Ники послать именно Иванова!

Государыня распорядилась мчать на станцию и звать генерала сюда!

287

До станции Царское Село поезд дошёл благополучно: никто не стрелял, никто не задержал.

Уже давно стемнело, и было тем более опасно.

Генерал Иванов распорядился георгиевскому батальону: никому из состава не выходить, всем быть в полной готовности, но внутри. Сам же послал за начальником гарнизона и комендантом города.

Те явились весьма расстроенные, обеспокоенные, и подтвердили все худшие сведения: что гарнизон не подчиняется им, находится в брожении, а слушается — своих *комитетов*.

Вот как...

Однако и серьёзных мятежных выступлений тоже ещё не было. И сегодня были тут члены Думы, успокаивали. Все трактирные заведения разграблены — и в таком количестве, что не только хватило гарнизону, но корзинами вина и питей встречаются разные новоприбывающие части, группы, военные грузовики. Из Петрограда с Путиловского завода приехали и броневые автомобили с пулемётами и солдатами, возможно — для враждебных действий против Дворца.

А что вообще в Петрограде?

В Петрограде никакого сопротивления уже с середины вчерашнего дня. Все боевые действия закончились.

Итак, с одной стороны высадка георгиевского батальона была безусловно опасна. А с другой стороны, поскольку явного мятежа в Царском Селе не было, гарнизонное начальство могло справиться и само.

Царскосельский дворец? Но его охрана не входила в прямую задачу генерала Иванова, его задача была более общая.

И потом: прямое столкновение близ дворца могло бы косвенно угрожать царской семье.

К счастью, революционные отряды пока не нападали на прибывший эшелон. Но в темноте, в глубине, происходили какие-то перемещения, такое было впечатление, что станцию окружают. Слышались и пьяные песни издалека.

Да Николай Иудович по своему опыту мог представить, что это значит, когда четыре вооружённых полка перепились.

Что предпринять — была головоломка. В таких необычных обстоятельствах Николаю Иудовичу ещё не приходилось действовать.

Тут доложился генералу прибывший младший офицер Тарутинского полка: полк весь прибыл, в полном составе и в боевой готовности, находится в 5 верстах отсюда на станции Александровская. То есть по лужской ветке.

Вот как? И давно?

Да уже с утра.

— И никто на вас не нападал?

Нет. Полк находится от Петрограда по своей ветке в 20 верстах, готов двигаться дальше эшелоном, готов немедленно выгружаться и идти маршем.

— Ни в коем случае! — решительно озаботился и запретил генерал Иванов.— Ни в коем случае, не возбуждайте народ! До моего особого распоряжения всем оставаться в эшелоне.

А как они проехали?

Через Гатчину.

И Гатчина их не задержала? Большой там сейчас гарнизон?

Тысяч двадцать, все лояльные и тоже могут быть позваны на помощь.

Так-так. Хорошо. Но пока оставайтесь в эшелонах. А ко мне прикомандируйте связь.

Генерал раздумывал. Прибытием Тарутинского полка и лояльностью гатчинского гарнизона его личная задача даже осложнялась: ему как будто следовало бы передислоцироваться к своим главным силам — но это было 5 вёрст в сторону по тёмной неохраняемой дороге,— а как же бросить георгиевский батальон?

Военные действия, когда их ведёшь не против истинного неприятеля, а в собственной родной стране, могут создать исключительно сложное положение.

Но! — у них есть и такая счастливая особенность: возможность прямых сношений с так называемым противником. Не успел Николай Иудович достаточно нахмуриться над картой, как к его вагону подошли и просили быть представленными полковник Доманевский и подполковник Тилли. Вот как! О первом генерал слышал, тот служил в гвардии на высоких должностях, а второго Николай Иудович и прямо знал по Юго-Западному фронту. И прибыли они не от себя, это не случайные были какие-то офицеры,— но через мнимую, так сказать, боевую линию они были присланы своим начальством — начальником Главного Управления Генерального Штаба генералом Занкевичем.

— Генерал Занкевич — на месте? — обрадовался Иудович.

Конечно, отчего бы нет. На месте и весь состав Главного штаба.

Ну, тогда это совсем не было похоже на бунт.

Генерал Иванов весь день сегодня ехал как бы навстречу тёмному горизонту — события были непроницаемо заслонены от него, а он от них. Теперь же оказывалось, что о его движении на Царское Село было прекрасно известно в Петрограде,— и вот, полковник Доманевский послан к нему ни более ни менее как в качестве его начальника штаба, помочь генералу Иванову в его командовании Петроградским военным округом и разъяснить обстановку.

Так это замечательно! Отпадал заслон враждебности, по обе стороны оказывались дисциплинированные офицеры одной и той же армии!

Но более того и лучше того: эти два офицера одновременно присланы также и по поручению Временного Комитета Государственной Думы.

Каким же образом? так это всё, значит,— одно?

Да, да. При Думском Комитете действует Военная комиссия, и генерал Занкевич поддерживает с ней постоянную связь. И вот все они совместно прислали этих двух офицеров добросовестно разъяснить новоназначенному диктатору, каково состояние в Петрограде, полностью ориентировать его в петроградских событиях.

Очень замечательно.

Так вот, в Петрограде уже все полностью — за Временный Комитет Государственной Думы, никакой борьбы уже нет. Даже Гвардейский экипаж с великим князем Кириллом Владимировичем сегодня отдали себя Думе, и даже Собственный конвой Его Величества присылал делегатов, и охрана царскосельского дворца тоже. Многие офицеры властью Государственной Думы уже вернулись в свои части и беспрепятственно командуют ими. Хабалов и часть министров арестованы. Борьба вся окончилась, и восстановить прежний порядок военной силой уже трудно рассчитывать. Но это и не требуется, потому что Думский Комитет верен монархическому принципу и продолжению войны. Поэтому, вот, все высшие штабы и военные чины столицы продолжают спокойно работать, признавая Думский Комитет. А всем распоряжается — Родзянко.

Генерал слушал, изумлялся, одновременно и облегчался: его сложнейшая задача вот уже почти перестала и существовать. Родзянко? Ну, на поверхности Родзянко, а за его спиной, конечно, Гучков, и председателем совета министров станет, конечно, Гучков. (А у генерала Иванова с ним втайне весьма добрые отношения.)

Так что, объясняли присланные офицеры, вооружённая борьба только испортила бы всё положение. А наиболее разумно для нового Главнокоманду-

ющего Петроградским Округом — поддержать умеренный Думский Комитет против непомерных претензий Совета рабочих депутатов.

Ах, ещё и — рабочих депутатов? Нет, это всё было не так ясно. Нельзя было давать никаких обещаний — но и с другой стороны нельзя портить отношений с новой властью.

Но и Его Величеству нельзя было не угодить.

Ах, попал! Ах, сложное положение.

Ясно, что Петроград — это силища, там чуть не 200 тысяч гарнизону,— что можно сделать с одним батальоном, к тому ж и без боевого настроения, из парадной ставочной охраны?

И больше того: оставаться на ночь в Царском Селе в пьяном революционном окружении тоже крайне опасно, генерал слишком высунулся вперёд.

Наружно Николай Иудович не дал почувствовать своей тревоги приехавшим офицерам — его широкобородое широколобое простодушное лицо прикрывало такие подробности.

Но предусмотрительная мера гарантировала его: сзади был прицеплен паровоз головой назад.

Дворец? Прямых указаний защищать дворец он не получал от Государя. Да чем более тут узнавалось — раз уже и дворцовая охрана посылала своих депутатов в Думу, значит уже все помирились и никаких столкновений не предвидится.

Но за всеми этими разговорами и выяснениями прошёл не один час. И слух о прибытии эшелона распространился по Царскому Селу, достиг дворца,— и вот оттуда приехал офицер и подал генералу Иванову телеграмму от генерала Алексеева, на дворцовый телеграф пришедшую ещё рано утром и лежавшую там.

Телеграмма № 1833 была длинная, и генерал ушёл читать её в свой кабинет, да чтоб и обдумать спокойно. Телеграмма эта могла ещё очень осложнить положение. Но нет, к счастью нет! Напротив, всё совпадало с тем, что доложили ему благоразумные полковник с подполковником. Алексеев тоже сообщал, что в Петрограде — полное спокойствие, войска примкнули к новому правительству, а правительство — к монархическому началу. И если все эти сведения верны — а они были верны, генерал Иванов уже убедился,— то изменяются способы действий: к умиротворению, избежав позорной междоусобицы. Дело можно привести мирно к хорошему концу, который укрепит Россию.

Ну — совершенно же правильно! Ну — так и есть! Так и предчувствовал Иудович! Вот что значит боевая опытность! — как правильно он вёл себя, ни на чём не оступился, будто предвидел эту телеграмму.

Теперь — всё было легко, переговоры вести — это не воевать.

А переговорам нисколько не мешает, если на эту ночь отъехать назад в Вырицу.

И, ещё чуть выдержав характер, собирался генерал отдать такое распоряжение,— как приехал ещё один гвардейский офицер из дворца, передать: императрица вызывает генерала к себе.

Ах, некстати! Ах, не успел уехать!

И в новых обстоятельствах это может бросить на него пятно.

А в старых обстоятельствах — не поехать никак нельзя.

Да ведь не брать же с собой батальон — а как ехать по улицам Царского, пока эти пьяные разбойники спать не улегли, не успокоились?

Надо было ещё немного повременить.

Опыт полувековой службы подсказывал, что пока, прикрывая некоторую недостаточность своих боевых действий, неплохо составить приказ. Что генерал прибыл в Царское Село и имеет здесь местопребывание своего штаба.

* * *

Товарищи солдаты!

...Для того, чтобы вас не обманули дворяне и офицеры — эта романовская шайка, возьмите власть в свои руки! Выбирайте сами взводных, ротных и полковых командиров... Все офицеры должны быть под контролем ротных комитетов.

Принимайте к себе только тех офицеров, которых вы знаете, как друзей народа.

Солдаты! Теперь, когда вы восстали и победили, к вам приходят вместе с друзьями также и бывшие враги-офицеры, которые называют себя вашими друзьями.

Солдаты! Лисий хвост нам страшнее волчьего зуба!

...Ваши представители и рабочие депутаты должны стать Временным Революционным Правительством народа, и от него мы получите землю и волю!

Солдаты! толкуйте об этом по ротам, по батальонам! Устраивайте митинги!

Да здравствует Совет Рабочих и Солдатских Депутатов!

Петербургский Межрайонный Комитет РСДРП
Петербургский Комитет Социалистов-Революционеров

* * *

288

Всю войну от самого начала, и от знаменитой Тарнавки — до января этого года штабс-капитан фон-Ферген пробыл в строю лейб-гвардии Московского полка, во главе своей 14-й роты, преданной ему, не пропустил ни одного боя, ходил во множество атак, вылазок, разведок, застигался всеми обстрелами, обсвистывался всеми пулями, среди строевых офицеров не осталось ни одного не раненного, а он — ни царапины не получил. На суеверный фронтовой глаз это было уже прямое чудо, за пределами вероятности. И в январе командир полка генерал Гальфтер вызвал Фергена и сказал:

— Не считаю себя вправе, голубчик, испытывать дальше вашу судьбу. Такого офицера я хочу сохранить. Поезжайте вы на несколько месяцев в запасной батальон, поучите там. Всё равно кому-то надо.

И Ферген прибыл в Петроград, и получил 4-ю роту, в полторы тысячи человек. И даже эта неохватная текучая рота быстро узнала его невозмутимость, нераздражимость, непридирчивость по мелочам, даже и кротость. И немецкого не было в нём ничего, кроме фамилии. И так ничего враждебного солдаты не высказали ему и в дни мятежа, когда он вернулся со своим караулом от Сампсоньевского моста,— приняли его ночевать в ротном помещении эти две ночи. И вчера вечером рота ещё раз избрала его снова своим командиром — и сегодня пошёл бы он с батальонным шествием в Государственную Думу, если б не ответил резко о красных тряпках.

Но тряпки — оставались на солдатских грудях и рукавах,— и что теперь было дальше? как?

Только и оставалось, в разорении души, что забыться дневным сном.

И проспали они с Нелидовым — в вечер, в темноту.

Вдруг проснулись от грозного стука в несколько кулаков в дверь и непрерывного электрического звонка.

Сразу поняли: плохо. И уже ничем не загородиться. И не открыть нельзя.

Надели сапоги, Нелидов сам прохромал к двери и открыл.

Ввалилась ватага солдат, с десяток, с ними и рабочие. И лиц знакомых не находил ни один из ротных — какой же проходной двор сделали из батальона!

Но те не вслепую пришли, знали за кем. Фергену сразу ткнули пальцем в грудь: отказался командовать ротой.

Что ж, возражать, что не отказался?.. Смолчал.

Сейчас отведут в Государственную Думу.

Это ещё хорошо, в Думу. Но очень злобны были лица и голоса.

К Нелидову стали придираться так: а его — признала рота командиром? а почему он здесь?

Выскочил подвижный Лука:

— Идите в роту, проверьте.

Но они, толпясь, стали будто оружия искать по комнатам, и взяли нелидов-

ский револьвер (Ферген оставил свой в роте),— а тем временем открыто хапали по карманам, что ценное где лежало.

— Собирайтесь! — скомандовали Фергену.

И что делать — придумать было нельзя.

Нелидов и Ферген обнялись и поцеловались.

— Прощай,— шепнул ему Ферген.— Меня — убьют.

Он чувствовал, что губы его леденеют, будто он уже и кончался.

— Прощай, Саша,— не оспорил Нелидов.

Ничто не было объявлено, ничто не сказано прямо,— но ясное ощущение наступившего конца овладело Фергеном, как не бывало ни при одном подлетавшем снаряде.

Да к концу он был давно готов — но почему же здесь? но почему от своих?

Зацепился, споткнулся на пороге.

А снаружи, при фонаре, завыла сплотка рабочих со штыками — и не светло, и некогда лиц различить, а звериная маска.

— Пошли! — показали ему к воротам на Сампсоньевский.

И он пошёл в окруженьи беспорядочного конвоя — не военной команды, где подчиняются одному, а каждый вёл и кричал, как хочет,— и подправляли его штыками.

На воротах не было ни часового, ни начальника караула, никто не остановил их.

Не боялся Саша Ферген смерти — но почему от своих?

С небывалой скоростью проносились — отец и мать (а ещё он не женат был), неправдоподобные уцеленья на фронте, торжество производства в офицеры, поздравляющий Государь с любезной улыбкой, дальше, кадетский корпус...

— Так красные тряпки не нравятся, сволочь? — кричали.

Остановились, уже никуда не вели. Штыками заставляли поворачиваться, поворачиваться — показать себя и всех увидеть.

Сюда достигал свет воротных фонарей. Во все стороны была ровно-злобная оскаленная чёрно-серая толпа. Но ничего не сказал и не увидел больше — кольнуло внутри насквозь, как при простуде в лёгких,— и оглушило по голове ударом.

Его погасшее сознание уже освободило его знать, что тело, подпырнутое несколькими штыками, ещё подняли с земли на воздух, на показ — и толпа радостно гоготала.

289

Если вспомнить всю 58-летнюю жизнь Павла Николаевича, его славную научную деятельность, затем перенесенную на общественную арену; знакомство с Западом и даже с Америкой и сыгранную там роль провозвестника грядущей русской революции, успешные, сильно повлиявшие лекции и книги — о неизбежности гибели русского самодержавия,— этот широкий западный кругозор, при котором особенно хорошо видны общие слабости России; и потом со славою „неистового революционера" возврат в Россию в самые зыбкие передвижные месяцы 1905 года и сразу погруженье в политику (верно пророчили ему, что он станет историком падения русского самодержавия, но он рвался стать и участником этого падения!); и в русской первобытной политической недифференцированности нащупывание опорных пядей, очерчивание разделяющих границ, собирание единомышленников, так и расплывающихся влево; и жестеющею рукой формование кадетизма как идеологии, как движения, как партии — той самой, которой предстояло держать на себе будущую конституцию, партии с твёрдой дисциплиной и самой левой из аналогичных ей западноевропейских; и в ответ на уступки царского манифеста 17 октября найти удачное соединение либеральной тактики с революционной угрозой, никогда не допустить публичного осуждения террора, быть готовым и нещекотливо отнестись к физическим средствам борьбы, добиваясь немедленного устранения захватившей власть в России разбойничьей шайки; и в том самом октябре 1905 выдержать вступительный экзамен на лидерство среди кадетов, а последние годы и лидерство в Прогрессивном блоке. Если всё это вспомнить, то можно сказать, что никто во всей России не был так подготовлен к нынешнему сотрясению страны, пониманию и управлению ею — как Милюков.

Процессу русской политической борьбы он отдал всего себя. Всю свою личную жизнь он растворил в сизифовой работе политики (так что редко доставалось отдохнуть со знакомой в коротких европейских прогулках). И — никогда не менял убеждений.

Уже и первая революция при своём конце стелила Милюкову путь стать министром, если даже не премьер-министром. Уже приглашался он на переговоры то к Витте, то дворцовым комендантом Треповым в ресторан Кюба, то и Столыпиным на Аптекарский, уже реально взвешивались его условия и докладывались царю,— и он тогда бы уже получил власть, если б не уклончивость царя, коварство Столыпина, честолюбие Муромцева и болезненная добросовестность Шипова, углядевшего в Милюкове самодержавные навыки и слабость религиозного сознания,— тоже, оказывается, регулятив для занятия министерского поста. (Заплесневелое славянофильство: „не учреждения, а люди", „не политика, а мораль" — подозрительные формулы, маскирующие реакцию.)

Нечего и говорить, как вырос Милюков ещё за последние годы, такое уникальное положение занял, что не было ему противников, соперников, конкурентов, кто в комплексе мог соревноваться с ним и политической опытностью, и дискурсивным мышлением, и умением руководить. Маклаков мог посверкать в ораторстве, в юридизме, но не был приспособлен к практическим битвам, не имел ни железной груди, ни каменных ног. Огнестрастный оратор Родичев, впрочем губернского масштаба, насмешливый парадоксалист Набоков, отточенный формулист Кокошкин бывали незаменимы каждый на своём частном месте, на думской трибуне или за кропотливой подготовкой документов, но не могли бы претендовать на партийное лидерство. Пылкий Аджемов, трудолюбивый Шингарёв были только отдельными лучами, идущими от Милюкова. Лишь Петрункевич и Винавер могли ещё претендовать на место лидера, но в результате Выборга вышли из колеи. (Да само Выборгское воззвание помогал им сочинять тоже и Милюков. Да и перед подписаньем это он убедил их не отступать.)

Так всею своею жизнью, опытом многих манёвров, как нельзя лучше был подготовлен Милюков и ко всей наступившей теперь бурной ситуации и к держанию штурвала государственного корабля. Но — более всего и особенно он был подготовлен к переговорам с социалистами, какие предстояли ему сегодня ночью. Его главная книга, выпущенная в Соединённых Штатах, как раз и доказывала эту мысль: что только сближение русских либералов с русскими социалистами принесёт России политическую свободу. Это была его излюбленная, давняя и даже коронная мысль. Для осуществления её осенью 1904, во время японской войны, Милюков отправлялся на парижскую конференцию совместно с русскими социалистами и террористами. Первый же общественный доклад, на котором Милюков триумфально вплыл во взволнованное русское общественное море 1905 года, трактовал о союзе конституции и революции. Его постоянной мечтою было — стать идейным руководителем левых, высшим указателем их пути. Зорко следя за чёткостью своих границ справа, Милюков всегда добродушен был к расплыванию границ налево: хотя бы и вовсе не было их, этим и достигался бы прочный союз с социалистами для овладения государством,— они сольются в борьбе с режимом.

Увы, нетерпимость социалистов уже сколько раз эту надежду разрушала! Даже благоразумные меньшевики, которые нередко занимали конкретную позицию ну вполне же кадетскую,— всё равно из предубеждения, из стыда всегда отшатывались как от *буржуазии*. Нечего говорить о большевиках, проектирующих геометрические линии в будущую пустоту. А эсеры, старые друзья Милюкова, со столыпинских лет всё больше слабели, прибледнялись, растворялись. Выбор характера взаимных отношений почему-то всегда принадлежал левым — и они всегда выбирали резкое обидное отталкивание. Перед фронтом левых всегда была опасность дискредитировать себя умеренностью,— но никакою смелостью невозможно было заслужить у них похвалу. Однако, Милюков никогда не уставал терпеливо убеждать левых и наводить мосты. Даже перед лицом декабрьского вооружённого восстания 05 года он повторял, что кадеты не отделяют себя от общего дела, не ждут октроированных царских хартий, хорошо понимают и вполне признают верховное право революции,— но всё же нельзя революцию обоготворять: революция всё-таки не цель, а средство для завоевания власти, а это завоевание допускает и другие пути.

Тем обиднее и опаснее была эта постоянная трещина недоверия между кадетами и левыми, что главная опасность всему обществу грозила всегда от правых и черносотенцев, и тут недостаточно государственного анализа, но только тот может понять силу угрозы, на кого самого поднимались их грязные руки. В окне, противоположном милюковскому кабинету, производились какие-то таинственные приготовления, которые объясняемы были приятелями как установка огнестрельного оружия для выстрела в него. Затем было получено телеграфное сообщение, что на германской границе задержан некий фельдшер, чёрный боевик, ехавший с поручением убить Милюкова, Гессена, Грузенберга и Слиозберга,— так что правительственные агенты приходили некоторое время аккуратно высиживать на кухне, охраняя личность Милюкова. А за-

тем-таки на Литейном наскочил на Павла Николаевича плотный молодец мещанского типа, нанёс два удара по шее, сбил котелок и разбил очки. Серия покушений грозила продолжаться, но Павел Николаевич отправился в заграничную поездку.

И вот, 11 лет спустя, по-новому возникла в России всё та же ситуация и всё те же сгущённо-острые вопросы. И — революция с её бурным колыханием,— эта страшная и красивая гроза, в которой рождается новый строй. И неповторимое соотношение сил, что в заслуженные руки кадетского вождя сами тянулись правительственные вожжи. И — правая царистская контрреволюция, наступающая озверелыми эшелонами Иванова. И — опять непонимание, недоверие, настороженность левых! — тут же рядом занявших думское крыло, а не желающих соединиться! Между двумя крылами Таврического промелькивали какие-то случайные туманные контакты, летучие сведения, кто-то кому-то что-то сказал, шепнул,— но Совет рабочих депутатов упрямо держался в самодовольствовании, в самонасыщенности, пренебрегая озабоченным думским крылом, что-то там своё решая и устраивая. (Хотя одну ночь Милюков спал на столе под одной шубой со Скобелевым.) И каждый час этого раскола был неимоверно опасен, повторяя собой тот раскол революционеров и конституционалистов, который погубил весь 1905 год.

И вот э т о т раскол, э т о непонимание мучили сегодня Милюкова больше всех других озабоченностей днн, тем более что подошло реальное время подбирать упавшую власть: тут, в Петрограде, без всякой санкции негодного монарха, брать власть de facto. Временный Комитет Думы уже стал смешным, ничем он не руководил и руководить успеть не мог, и состоял-то наполовину из трухи. (Другую, дельную половину Милюков брал в правительство.) А тут ещё — неуклюжие замыслы увальня Родзянки, его потешные порывы стать диктатором русской революции, его прозрачные намерения сговориться с царём и с главнокомандующим, ехать на неконтролируемую встречу — захватить себе премьерство в общественном кабинете. (Родзянко в эти двое суток стал отыгранной фигурой, устранялся почти шевелением пальца. Такие ли головы Милюков перерабатывал на своём веку! Было время, Родзянко очень годился, чтобы стеснить правых в Думе, и последние двое суток он полезно поработал, но вот уже и отошло.)

А князь Львов сегодня в Таврическом и не появлялся, вся формировка правительства шла без него. Да и лучше.

И второстепенны были все комбинации вокруг отсыхающего императора Николая, жалкий манифест трёх великих князей, который поднесли Милюкову под расписку, а он положил в карман, никому не показывая. Этому императору, конечно, уже никогда не царствовать, а с большими шансами пойдёт комбинация Алексей-Михаил, и так сохранится монархический балдахин, без которого народ был бы ошеломлён.

Но беспокоило, беспокоило — вот это противостояние с Советом рабочих депутатов. Оно было бессмысленно исторически, ибо первый петербургский Совет рабочих депутатов был выдвинут на поверхность односоюзниками Милюкова, ими перепрятывался и по квартирам. И — нелепо практически, в сложной бурной сегодняшней обстановке.

И когда узналось поздно вечером, что Совет рабочих депутатов предлагает переговоры,— Милюков взликовал: это и было создание настоящего фундамента образуемому правительству! Прочней всего будет, если социалисты дружественно войдут в кабинет. Но если и не войдут, то такие переговоры — основа кабинета.

Вот высший смысл ориентировки налево: при правильном обращении с левыми можно, опираясь на них, выйти к власти.

А Милюков — умел вести переговоры!

Он понимал, конечно, что они идут сюда опять с недоверием, опять с предвзятостью — не как к людям просто, не как к своим товарищам, но как к цензовой буржуазии, перед которой нельзя проявить слабости.

Но и Милюков готов был их обхитрить! Он готов был на всё их недоверие, он заранее терпелив был ко всем предстоящим досадным извивам,— важно

начать диалог! Сколько пройдено с ними общего в прошлом — это не может не сказаться на переговорах. И не беда, что наступает третья бессонная ночь,— за переговорами Милюков выдержит и третью, и без кофе даже.

Столько пройдено с ними в прошлом,— но с крупными, яркими вождями, а не с этими, которые вот пришли. Из них он давно знал лишь адвоката Соколова, ещё по Союзу Освобождения,— бездарный, ограниченный, только и способный передавать партийные директивы. А остальные были — так, вторая вода партийной публицистики.

Даже разочарование, что против льва кадетской партии придут не видные социалисты — да откуда им в Петрограде взяться? — а так, какие-то.

Ну что ж, н е т е это были вожди, но обстоятельствами поставлены на место т е х. Не именно этих он должен уважать, а вообще левых, вообще революционный подпор, без которого не может выстоять радикальный либерал.

А уж переговоры он вести умеет!

Вбежал в комнату думского Комитета какой-то растрёпанный ошалелый солдат. И, не обращаясь, грубо:

— Вот, нам тут надо приказ печатать. Кто это будет?

Улыбнулись, вежливо ему отказали.

Посмотрел, разинув рот, размахнул рукой:

— Ну, так мы сами испечатаем!

290

Постепенно Исполнительный Комитет — сморился, растёкся,— и никто не получил полномочия вести переговоры с думцами, а просто, кто при деле остался: Нахамкис, не выпускавший пункты из руки,— и Гиммер. Нахамкис однако очень осмотрительный: чего б никогда Гиммер не пошёл делать, а Нахамкис не поленился: сходил в полупустую 12-ю комнату и перед остатком неразошедшегося сброда прочёл свои девять пунктов,— и докажи потом, что они не утверждены Советом.

Гиммер в малом теле имел избыток динамизма, он был мал, но прыгнуть мог выше любого большого. Именно быстротою сообразительности и действий он всех и обскакивал.

Сколько ни обсуждали целый день проблему переговоров с думцами — всё равно он был не удовлетворён, мозг его усверливал дальше, не обо всём договорились даже в узком кругу. Во-первых, не слишком ли перегнули в его собственной формуле поддержки буржуазного правительства? Он — ни в коем случае не имел в виду классовый мир, вовсе не повторять 1848 год, когда рабочие таскали каштаны для либералов, а те их потом расстреляли,— нет уж, лучше мы не упустим время и сами расстреляем либералов. Он и не предлагал отказываться от резкой оппозиции, это уже было бы капитуляцией демократии,— нет! — он имел в виду только тайные контакты с буржуазией, только на эти короткие переворотные дни не мешать думскому правительству делать своё дело, при цензовом правительстве не будет и военного подавления от Ставки,— а когти в запасе держать наготове и выпустить их вскоре. В девяти пунктах, которые записал Нахамкис, этот вопрос поддержки правительства никак не был отмечен, но опасность была, что думцы на переговорах поставят его встречно. Второй вопрос и вторая опасность была, что думцы, поклоняясь своей Государственной Думе, не захотят и слышать ни о каком Учредительном Собрании рядом с ней.

В последние полчаса перед переговорами согласились Гиммер с Нахамкисом: вопрос о поддержке всячески смазывать, а по вопросу Учредительного Собрания, если слишком упрутся, то и не настаивать.

Быстрее всех Гиммер сносился и с думцами: как бы он ни был занят в Совете, а, как в уборную выбегают, так успевал он всегда выбежать и протолкаться по Таврическому для осведомления и для контактов. И за этот вечер он уже дважды или трижды успевал сообщить в думское крыло, и ещё повторить и ещё нагнести сообщение: что — *готовится*. Что — *будут контакты*. Что — придут на переговоры. Это требовалось и практически, чтобы встреча состоялась, не разошлись бы там, но и — для психологического подавления

противника: в несколько толчков повторяемое сообщение должно было вызвать в них опасение: что ж это будут за переговоры и что за ультиматумы им принесут?

Здесь исключительно мог бы помочь Керенский, с его помощью можно было бы разыграть этих думцев в прах,— но с ним случилось: нервное заболевание властью, жажда стать министром. И он потерял весь свой революционно-демократический рассудок, и ни о чём деловом советском нельзя было с ним говорить, но когда в эти последние пробеги Гиммер встретился с ним — куда-то вызванным, в шубе, готовым уехать,— тот плохо слушал и понимал, а нервно, отрывисто отвечал всё об одном: что руководители демократии проявляют к нему недоверие, что они желают поссорить его с массами, ведут подкопы, интриги, начинают травлю. Гиммер, сам один из главных руководителей демократии, смотрел с сожалением на своего бывшего приятеля: он определённо заболел нервным расстройством и был бесполезен в предстоящих переговорах. Очень жаль.

Но тем необходимее было для представительства вести с собой на переговоры Чхеидзе, хотя и он от переполненья событиями тоже выбыл из строя: был сонный, вялый, размякший, никакой.

Да, вот кто ещё был такой же подвижный и неутомимый, как Гиммер, только по-глупому,— Соколов. Он сидел в первой комнате думцев, в проходной, за чаем с бутербродами с новым градоначальником Юревичем и обсуждал задачи градоначальства. А Гиммер был с подведенным желудком — и тут же накинулся к ним на этот чай, сервированный с ложечками и сахаром, вмешался горячо, как разгромить полицейский аппарат и создать выборную милицию. Потом Соколов прицепился, выведал намерение — и просил взять его на переговоры тоже. Затем Гиммер заговорил с Некрасовым. По нему уже видел, что думский Комитет подготовлен, ждёт и опасается.

— О чём предполагаете беседовать? — настороженно спрашивал Некрасов. (Впрочем — тоже дурак.)

А-а-а, вот это самое их сейчас там и грызло! Вот этого-то они и боялись, что́ им сейчас предъявят, например, циммервальдское „долой войну!". Вот это и нужно было Гиммеру: напугать их и размягчить заранее, в этом и была его тактика.

И перед Некрасовым он прошёлся фертом:

— Придётся поговорить об общем положении дел.

Некрасов прижался, пошёл за дверь доложить своим главным, вернулся: ждут представителей Совета рабочих депутатов к 12 часам ночи.

291

Генерал Рузский вышел от Государя в напряжении и досаде, что не довёл дело до конца, хотя в некоторые минуты разговора ему казалось, что он уже преуспел в доводах: царь нервничал, дёргался одной рукой и, кажется, брался за ручку.

И куда ж было теперь идти в стеснительном состоянии ожидания, как не в купе кого-нибудь из свитских. Рузский попал в открытое купе дряхлого, согбенного Фредерикса со слезящимися глазами — но кто-то был и внутри и в коридоре близко, и по коридору проходили. Между ними шли тут свои возбуждённые разговоры, стихшие при Рузском.

Всю свиту вместе и каждого порознь Рузский бесконечно презирал: среди них не было ни одного полезного государству человека и никто не был занят никаким полезным делом — дутая численность, которая, однако, непременно должна окружать священную особу. Ему сейчас унизительно было сравняться с ними, невольно оказавшись в их обществе. А к тому ж и по характеру он был необщителен. Однако, где ж ему теперь прождать? — нельзя и уйти в свой вагон на станции.

Тут был сонливый Нарышкин. Молодой смазливый Мордвинов. Суетливый глупый историограф Дубенский. Раз прошёл с грозным и непримиримым (очевидно к Рузскому) видом низкорослый адмирал Нилов. И не удостаивал их, лишь твёрдо, гордо проходил самовлюблённый тупой Воейков.

А остальные — очень хотели говорить с Главнокомандующим фронта! Остальные так и натеснялись к нему сюда из других купе — ещё один молодой генерал, ещё один флигель-адъютант, кажется герцог, и ещё командир конвоя, кажется граф,— узнать от него новостей, о чём там идут переговоры, или даже помощи его:

— Ваше высокопревосходительство! Только вы один можете помочь!..

Хозяин положения, Рузский откинулся в угол дивана и смотрел на них на всех саркастически. Что оставалось ему сделать — это эпатировать их, оскорбить и раздражить до чрезвычайности. Ничто они были раньше, тем более ничто после происшедших событий, объятые страхом за себя, и вся соединённая их враждебность ничего не могла причинить Рузскому, уже решившемуся на жестокий тон с самим Государем. И, откинутый на спинку дивана и прикрывая глаза в действительном утомлении, он выдохнул:

— Да... Довели Россию... Сколько говорилось о реформах, как настаивала вся страна... И я сам много раз предупреждал, что надо идти в согласии с Государственной Думой... Не слушались... Голос хлыста Распутина имел больший вес. А потом начались Протопоповы...

— А при чём тут Распутин? — вдруг услышав через глухоту и со внезапной силой, как проснувшись, возразил древний Фредерикс.— Какое он мог иметь влияние на государственные дела?

— Как какое? — изумился, раскрыл глаза Рузский.

Фредерикс отвечал с достоинством:

— Я, например, никогда его не видел, не знал. И ни в чём не замечал его влияния.

— Ну, может быть, граф, вы были в стороне,— уступил Рузский с уважением. (Тем большим, что сам был не без греха, в трудную минуту отставки хлопотали о нём и через Распутина.) — Но обязанность тех, кто окружал Государя, была: знать, что делается в России. Вся политика последних лет — тяжёлый сон, сплошное недоразумение. Гнев народный не простит Щегловитова, Сухомлинова, Протопопова, протекционизма при назначениях...

Он *их* же и имел в виду, придворных, но они нисколько не были эпатированы, а столпились вокруг, предлагали сигары,— Рузский не курил сигар, держал свою папиросу. И сбивчиво наводили Рузского на дальнейшие объяснения.

— Что теперь будет?.. Что теперь делать, ваше высокопревосходительство? — спрашивали в несколько голосов.— Вы видите, мы стоим над пропастью. Только на вас и надежда!

Они уже знали от Данилова, что и Алексеев телеграфно просил ответственного министерства.

— Теперь что ж, когда довели? — вздохнул Рузский, как бы с трудностью.— Теперь придётся сдаваться на милость победителя.

— Победителя?..— сбилась свита испуганно.— А кто победил?..

— Кто же! — усмехнулся Рузский.— Родзянко. Государственная Дума.

О, о! Свита была не только не против ответственного министерства, она оказывается ждала уступок Думе! Они тут — и были все за ответственное министерство.

(Рузский не знал, что сердитый маленький адмирал Нилов, отозвав историографа, доказывал ему необходимость сейчас же доложить Государю: Рузского — сместить, казнить, а назначить энергичного генерала и идти с войсками на Петроград. Но — ни тот ни другой не имели смелости прямо обратиться к Государю и не знали, кто бы обратился.)

— Что ж? — вдруг открылось за другими головами надутое рыло Воейкова.— Я готов разговаривать с Родзянко по прямому проводу.

Тут Рузский мог усмехнуться особенно ядовито:

— Если он узнает, что разговаривать хотите вы,— он не подойдёт к аппарату.

И гордый Воейков задвинулся.

Курили, разговаривали — но Государь не вызывал Рузского. А стрелки уже подходили к полночи.

И перешли её.

Это становилось уже невозможным, унизительным — что за спектакль этого думанья наедине, всё равно без советов, без телефона.

Рузский склонялся — не уйти ли ему. Нет, последний раз пусть решительно доложат: уходить ему или ждать? Тут снова подошёл Воейков. И сказал прежде, чем Рузский ему:

— Генерал, я имею телеграммы Государя для передачи, разрешите воспользоваться вашим юзом.

— Нет! — сорвался голосом, вскричал Рузский.— Здесь хозяин — я, и только я имею право посылать телеграммы!

Зря он вскричал, но и можно потерять равновесие: хотели обойти его с неизвестным результатом и даже если успешным, то оттеснить, как будто не он этого всего достиг.

Крупным шагом Воейков с телеграммами пошёл назад к Государю. Но и Фредерикс поплёлся туда же, взволнованный нарушением этикета.

(Так что ж, мы — пленники здесь? — передалось по свите.)

Воейков возвратился очень недовольный и протянул телеграммы Рузскому. Рузский поправил очки и прочёл верхнюю:

„Прибыл сюда к обеду. Надеюсь, здоровье всех лучше и что скоро увидимся. Господь с вами. Крепко обнимаю. Ники".

Вздрогнул, переложил её в испод.

А в открывшейся, главной, Алексееву, стояло: что — согласен на предложенный манифест и согласен на ответственное министерство.

Может быть слишком раздражённый предыдущим столкновением, Рузский теперь нашёл, что это недостаточно ясно выражено: хотя все одинаково понимали, что значит „ответственное", однако всё же — ответственное перед кем? Надо указать конкретно, что — перед Думой, перед народом. Не был ли это уклончивый хитрый манёвр царя, так для него характерный.

И Рузский настоял, чтобы Государь принял его снова. Тот принял.

Сколько не видел его Рузский? — минут сорок пять-пятьдесят. Представить нельзя, чтоб за эти минуты человек мог так осунуться, потерять всё недавнее упрямство, как-то рассредоточиться взглядом, лицом, обвисли глазные мешки, и кожа лица стала коричневая.

Но тем уверенней был напор Рузского: в тексте телеграммы ошибка, это — не совсем то или совсем не то. Надо исправить!

Государь посмотрел недоуменно, спросил, как точней выразиться, и тут же переписал.

Фредерикс сидел и дремал в углу, иногда вздрагивая.

Государь поднял от бумаги большие глаза с надеждой:

— Скажите, генерал, но ведь они — тоже разумные государственные силы, правда? Кому мы передаём.

— Ну, разумеется, Ваше Величество,— подбодрил Рузский.— И ещё какие разумные.

Теперь Рузский предложил, чтоб телеграмма была послана не только Алексееву, но и, для ускорения, сразу сообщена Родзянке в Петроград.

Государь покорно согласился.

А не угодно ли Его Величеству самому поехать на этот аппаратный разговор?

Государь смотрел, плохо понимая. С чего б это, куда? Среди ночи?

— Поручаю переговорить вам.

Рузскому и лестно было, что такое громовое известие он сообщит Государственной Думе первый.

Но уже столько сил положив за этот вечер, но уже достигнув столького, как никто не мог и мечтать в России,— как остановиться? Который раз за этот вечер всё изучая на пальце Государя перстень с продолговатым зелёным камнем, а на кисти рыжеватые волосики и коричневые пятнышки вроде крупных веснушек,— Рузский повёл сломленного собеседника дальше. Теперь, после этой главной принципиальной уступки — как можно продолжать бессмысленную операцию посылки войск против столицы? Войска вот-вот уже скоро могли накопиться, столкнуться — и во имя чего же всё? И кровопролитие?

Если примиряться — то какие же войска? против кого?

Размягчённый Государь тотчас согласился: войска, снятые с Северного фронта,— остановить.

И выборгскую крепостную артиллерию, конечно?

Да, тоже.

Но — и ещё не хотелось Рузскому уходить! И ещё, он чувствовал, можно что-то взять.

Да, вот! — тогда и генерала Иванова надо остановить?

Государь смотрел увеличенными печальными глазами, не сразу понимая. Иванова? Да, и Иванова, конечно. Послать и ему остановку.

— Но это можете сделать только лично вы, Ваше Величество. Он никому более не подчинён.

Государь тотчас же сел. Тотчас написал собственноручно. И подал Рузскому телеграфный бланк.

И тут вдруг череаусильная и стеснительная улыбка выказалась на его больших губах под густыми усами:

— А как вы думаете, Николай Владимирович, теперь смогу я проехать в Царское Село? Ведь у меня, знаете, дети больны корью.

— Так что ж,— согласился Рузский.— Вот подтвердится. Вот утвердится общественное министерство, всё везде успокоится,— и поезжайте.

Он вышел, цепко неся свою телеграфную добычу.

292

Летали эти шальные пули по всем направлениям — вверх, но и вдоль, но и вкось, и какая-то часть их должна была где-то застревать, впиваться.

А Гучков с князем Дмитрием Вяземским всё ездили, всё гоняли по Петрограду, из батальона в батальон, из казармы в казарму, где успокаивая страсти, где собирая силы отражать правительственные войска, ожидаемые на город.

Хаотически движущиеся предметы имеют вероятность пересечься.

Уже около полуночи проезжали мимо казарм Семёновского полка — и в обрывках света, криков и стрельбы увидели и догадались, что солдаты-семёновцы или чужие — грабят, потрошат офицерские квартиры. Сами офицеры то ли скрылись прежде, а женщины кричали, протестовали, а их тут было в автомобиле четверо, и подёргался автомобиль — застрять ли в мелкой бытовой потасовке или гнать дальше,— и в этот момент Вяземский охнул и схватился за спину:

— Ох! Меня кажется...

Он сидел рядом с шофёром, а Гучков с адъютантом графом Капнистом сзади.

— Попало? Зацепило?

— О-о-о! — застонал.— Кажется, крепко... Тьфу, пропасть!

Как некстати!.. А когда оно кстати? Как на крыльях носились — и остановило их.

Дмитрий отнял руку от спины, вперёд — она в крови сильно.

Кто стрелял — хоть смотри, не смотри в темноту, целенная, не целенная,— не исправишь дела.

Куда ж теперь? Домой? Всё равно Аси нет дома, она в отъезде. К матери на Фонтанку? Не надо её пока тревожить. В госпиталь? Да может, посмотреть, так обойдётся? Да вот в одну из этих квартир, что ли. Заодно и защитим...

Сгоряча Дмитрий сделал два-три шага, а дальше чуть не упал, подхватили его с двух сторон Гучков и Капнист. И сообразить бы: вернуться назад в автомобиль — нет уж, как задумали, пошли.

Вяземский вис на шеях, уже совсем ногами не перебирал. Шофёр подменил Гучкова.

Через распахнутую освещённую дверь с крыльца уметнулись перед ними в темноту две солдатских грабительских фигуры. Гучков крикнул на них, для острастки.

Женщина стала в двери закрыть её — а на неё надвигалось строенное чудовище.

Гучков назвался и попросился войти.

Там ещё другая была женщина, обе возбуждены до дрожи рук,— а тут вносили раненого, сгромождение невозможное, всё на одну семью в короткие минуты.

Сняли шинель. Надо было осмотреть рану — но в нижней части спины и так уже густо насочилось через брюки, через китель, видно было, что серьёзно.

Надо было раненого положить — и придумали, что ничком, чтобы кровь не так стекала.

— Подстелите, пожалуйста, на диван клеёнку, найдётся у вас?

Выдержанный Дмитрий сильно стонал, и со стороны было видно, что положить его — будет ещё больней. Сам ли, или поддерживали ему ноги, назад оттягивали,— всяко хуже. Видно что-то было повреждено в спине.

Уложили — стало легче. Совсем потный, он уронил лицо. Принесли, подложили ему под лицо подушку.

Тут сразу всё, что в квартире случилось, и что в Семёновском делается, и — где у вас близко телефон?

— Александр Иваныч,— ещё не слабо просил раненый,— звоните Дильке, она дома и быстро что-нибудь. Но пусть не говорит Мамá.

Дилька-Лидия была единственная его сестра, очень решительная, случайно родилась девочкой. Вся семья Вяземских была в центре общества, на пересечении с Воронцовыми, Вельяминовыми, старший брат Борис женат на Шереметьевой, сам Дмитрий на Шуваловой, младший брат на Воронцовой-Дашковой, и все вместе дружны с молодыми великими князьями Константиновичами. Лидия сама ведёт фронтовой госпиталь, у неё много знакомых хирургов, сейчас она, правда, быстро...

Одна женщина накинула шубку, повела Гучкова. Он разговаривал с ней рассеянно.

И как же Дмитрию не везёт! — уже третье ранение. Вот осенью у него была прострелена навылет грудь, и с тех пор он ещё не долечился. По дефекту сердца освобождённый от воинской повинности, он взялся вести санитарный летучий отряд рысистого общества, самый передовой, всё время в пекле. (Всё время у Радко-Дмитриева, и Гучков знал Вяземского и через Радко, и сам как краснокрестовый начальник.)

И Дмитрия было жалко и не мог скинуть досаду, как это некстати: потерять его в такие часы, когда он так нужен рядом, и самые эти исторические часы потерять, когда где-то напряжённое текло и утекало.

Дмитрий Вяземский был его любимый и верный сподвижник по неудавшемуся перевороту. Он и по характеру напоминал Гучкову самого себя: Дмитрию радостна была всякая опасность, он как будто искал её, выдвигался навстречу. (Так и с отрядом он лез вперёд, где другие не бывают, зато и подхватывал же раненых вовремя.) От постоянного ли внутреннего беспокойства (как бы снова и снова „доказывая" себя), он был абсолютно безбоязнен и с быстротою решений. А поскольку он не был под полицейским наблюдением, как Гучков, а сам так подвижен и с широкими знакомствами в кругах гвардейского офицерства,— он был и лучший связной, ездил по запасным частям вдоль железной дороги, выяснял настроение офицеров. (Правда, завербовал лишь одного ротмистра.) А сейчас, в эти петроградские дни, смело входил в бушующие солдатские казармы.

И вот вырван беззвучной глупой пулькой.

До Лидии Леонидовны дозвонился сразу, та взялась найти лучшего хирурга, Цейдлера, и устроить сейчас осмотр.

Ах, зря они вышли из автомобиля, надо было сразу ехать в центр и в госпиталь. Понадеялись, что лёгкая рана.

В Семёновском батальоне было очень неспокойно.

А на Виндавский и Варшавский вокзалы Гучков так и не набрал заслонов. Вечером ещё мотался во дворец к Кириллу Владимировичу — и оказалось, всё у него хвастовство: послать отряды из гвардейского экипажа он не сумел, уже не подчинялись ему.

Правда, и царские войска не подступали к городу. Один Тарутинский полк стоял весь день сегодня под Царским Селом, других пока никого. Сам Иванов был уже в Царском, известно, но от него Гучков ничего опасного не ждал.

И всё равно, с каждым получасом необозримые события утекали во все проломы.

Крови много натекло, но сам Дмитрий не видел, не подозревал. Раненое место обмазали иодом по краям, обложили бинтами.

Выходного отверстия пули не находили. Засела.

Как же поднимать и везти его дальше? Послал Капниста к телефону — попробовать вызвать санитарный автомобиль.

Дмитрий лежал щекой на подушке, повернув набок к Гучкову отменно длинную узкую голову, со своим всегда удивлённым видом, а сейчас резче. Сильно избледнел.

— Вот не везёт,— говорил тихо.— И от русской пули...

Больше всего досаждала сейчас вот эта случайность, ненамеренность пули,— с чего? зачем — тут? Обиднее всего.

И — бездействие.

А думать — не было основания дурно. Самому и всегда думается ободрённей. Однако...

— Если б знать, что никакой серьёзный орган не задет...

Но пуля где-то засела.

И кровь не останавливалась. С клеёнки потекла в ведро.

— Сейчас Лидия всё устроит,— успокаивал Гучков. Но сам мрачнел.— Как вы себя чувствуете?

— Сильно в ушах звенит, говорите громче, Александр Иваныч.

Как не подумать: а если...?

Только что они носились вместе, в одной сфере, в кругу одних мыслей,— но влетел кусочек свинца, и сферы их стали быстро раздваиваться. У Гучкова, кажется, ещё расширилась и напряглась, в тщетном усилии охватить упускаемое по задержке. Он сидел у головы раненого и хмурился. А у Вяземского сфера действия стала разрежаться, облегчаться, стала вытягиваться в какой-то светлеющий эллипсоид, всё менее омрачённый заботами этой ночи, всё менее запорошенный сором революции. Передний конец эллипсоида — в никому не известное будущее, задний — в светлое милое прошлое.

— Как жаль, что вы у нас в Лотарёве не побывали, Александр Иваныч... Кругом степи, а у нас каждая дорога аллея. Как мы с Борисом любили ездить в табуны, на луга, сидеть там в траве...

Там он и вырос — на прикидке молодых рысаков на беговом кругу, на поездках в табуны, в дальний конец имения,— наездник, лошадник, спортсмен. Взрастил и псовую охоту. Верхом по пахотным полям на полуарабе однажды взял в угон матёрую волчицу, проскакав за ней 25 вёрст, волчица кинулась на шею лошади, поцарапала куртку Дмитрия. А в лесах материнского имения Осиновой Рощи, тут, под Петербургом, в финляндскую сторону, охотился на рысей, и устроил зверинец: зубров, лосей, уральских козлов.

Если с чем упускается время, то даже не с расстановкой отрядов по вокзалам, даже не с подтяжкой запасных батальонов — но с отречением царя. Именно отречение всё введёт в русло. Именно отречение снимет опасность гражданской войны. Восставший Петроград и замерший фронт могут быть соединены только отречением. И именно сейчас, когда так разгулялось в столице,— самая сильная позиция для ультиматума царю. Сейчас можно ставить ему любые условия и требовать уже не ответственного министерства, куда больше. И конечно Родзянке это не под силу, и хорошо, что он не поехал к царю, всё бы только испортил.

— Поймали мы однажды медвежонка. А осенью привезли в Петербург, отдали в зоологический сад. Он долго там рос, и звали его Мишка Вяземский.

Клубистей и гуще темнела, грузнела неразрешимая сфера вкруг мрачной головы Гучкова — светлей и наивней вытягивался овал у Вяземского. Как будто ранен был и угроза была — не Вяземскому, а Гучкову.

— А совсем ещё в детстве нас по парку отец катал на ослике в низкой колясочке. А старик-мужик косил в парке траву, и отец спросил его, знает ли

он, что это за животное. Ответил: „Вестимо знаю, это — лев, на таком звере ехал Спаситель."

И эта вдруг окунутость Дмитрия в детские воспоминанйя пугала. Ничего не зная, где пуля, какой орган, раненый сам о себе чувствует больше, чем может высказать учёный хирург.

Неужели?..

А мог быть и Гучков на переднем сидении. Или чуть бы в сторону пуля.

Столько раз почти с патологическим вожделением ища не пропустить нигде на земле опасность, Гучков ли боялся смерти или не задумывался о ней? Но всегда хотел умереть — красиво! Боялся он умереть ничтожно. И были случаи уже захода за безнадёжную грань — в Каспийском море, в жестокую бурю, в старой лодчёнке один, с запутавшимися парусами, не знал, как их выправить, и плавал плохо. В ярости моря испытал тогда первый настоящий полный страх. Но и в ту минуту не молился — и там, за гранью, не почувствовал Бога, не поверил в него.

Дмитрий выговаривал светлым голосом:

— А в соседнем Коробове, две версты от нас, отец построил больницу, не хуже петербургских.

И подарил земству. И была там древняя маленькая церковь, прабабушка помнила, как в ней нашли татарские стрелы. Так отец построил крестьянам просторную новую церковь. А учить хор привозили певчего из московского Архангельского собора. На колоколе гравировали из Шиллера: Живых зову. Усопших поминаю. В огне гужу. Добавили: В мятель людей спасаю.

— А под церковью поставили склеп для нашей всей семьи. Там — бабушка с дедушкой, отец, две тёти. Может быть и мне туда первому, из молодых?

— Да что вы, Митя, очнитесь, я вас не узнаю. Пролежите события в госпитале, да. Потом встанете.

Гучков старался в голос вронить как можно больше чувства, заставить себя ощутиться этим пригвождённым телом. Но нет, не ранено было его тело, и голову не отпускала цепкая, когтистая, клубистая сфера действия. Такой момент, такие часы! — а он был связан остановкой, сиденьем тут. А — гнать бы скорей в Таврический — жжёт, что́ там происходит без него.

— Вот досада, и Аси нет, детей бы привезла...

Ну завтра привезёт, в госпиталь, Митя...

Сколько известно было Гучкову, и с Асей у него не так всё просто: Дмитрий считал, что Шуваловы поймали его на неосторожном ухаживании,— Ася же долго не знала, что он так думает, а когда узнала — охолодились их отношения. А уже и двое маленьких есть.

— Нет, серьёзно,— говорил Вяземский с растущим удивлением на всё бледнеющем узко-длинном лице.— Если я умру, то скажите, чтоб наши знали: меня хоронить непременно в Коробове. Это совсем не безразлично, где человек лежит.

Вернулся Капнист: такое везде творится, с санитарным автомобилем ничего не получилось.

Тогда Гучков зашагал к телефону опять.

Прибился Дмитрий к вождю всероссийской оппозиции — а как бы не с той стороны. Всегда был совершенный консерватор, всегда против всяких либеральных дерзостей, и никогда не стеснялся это высказывать, в уездном земстве дразнил левое большинство. Прибился, чтоб не пошло всё прахом.

Да ведь и Гучкова корили, что он монархист. Да ведь и Гучков после третьедумской декларации о Польше ждал себе смерти от поляков.

Дозвонился опять до Лидии Леонидовны. Профессора Цейдлера она нашла на заседании городской думы, он обещал немедленно ехать в Кауфманскую общину и велел везти раненого туда. И Лари сейчас ищет санитарный автомобиль. (Князь Илларион Васильчиков, муж Лидии, тоже был крупный чин в Красном Кресте.)

Вот, хорошо. Теперь ждать не долго.

А даже можно и не ждать?

А тем временем Дмитрий начинал грезить. Громадные, загадочно одиночные дубы в степи... Цветенье степи жёлтыми, голубыми цветами... А канавы розовым миндалём, белым тёрном... Красавица речка Байгора. И крестьяне, крестьяне... И близкие — и чуждые... И какого-то другого языка — и главная живая часть родного пространства... Столетняя старуха просит у Дильки поцеловать руку, и обижается, что не дают: гордые стали... А в Пятом году в саратовском Аркадаке, на отгуле косяков,— взбунтовались. И Дмитрий в 19 лет ставил лошадь на дыбы и шёл на толпу. Смутьяны снимали шапки...

— Вестимо знаю: это — лев...

293

С тех часов, как думский Комитет под напором толпы отступил из просторного кабинета Родзянки в дальние комнаты своего крыла, он здесь был устроен очень некомфортабельно, всё более временно,— и сейчас для переговоров с Советом не было и комнаты подходящей. Не было такого длинного стола, чтобы двум делегациям благопристойно сесть с двух сторон друг против друга. А стояли по-разному расставленные канцелярские столы (на них рядом с бумагами — неубранные пустые тарелки, бутылки, стаканы), обыкновенные стулья, и ещё несколько кресел, но кресел самых неподходящих — низких и с сильно откинутыми спинками, так что севший в кресло никак не мог состоять на уровне переговоров, зато, по всеобщей измученности и бессоннице, мог почти спать.

Две революционных ночи пролежав на столах, Милюков был сильно помотан и, как все, очень нуждался в отдыхе в полночь третьей ночи. Но и, как никто среди думцев, он сознавал ответственность наступившей минуты — для целой новой русской эпохи. Да и для себя самого. Поэтому требовалось собрать всё упорство — а у него невиданное было упорство! — чтобы пересилить депутатов Совета преимуществом своего ума и опыта.

Из присутствующих думцев никто не мог быть ему союзником в переговорах. Родзянко — лучше б вообще ни на слово не встревал, его время кончилось. Некрасов — хищно высматривает, а способен только на подножку. Шидловский — подставная фигура, ноль. Шульгин — имеет остроту, но выдержки у него нет, да и правый, чужой. Незаменим был бы Маклаков — но нет его тут, и не надо. (Маклаков убыл в министерство юстиции комиссаром — направить первые законы революции.)

Да никто и не мог и не должен был быть коллегой Милюкова в таких переговорах. Он один и должен был встретить их, сколько пришло, и один перемолоть.

Итак, вслух между собой не готовились, а вся подготовка шла в голове Милюкова. Он ожидал сильного напора, даже их прямой попытки захватить все правительственные места. Ещё с Пятого года он знал, как трудно вести переговоры с левыми, как они настойчивы и бескомпромиссны. Но и Милюкову не было равного в аподиктическом диалоге.

Вошли. Четверо. Сонный и истомлённый Чхеидзе, спотыкаясь на ровном полу,— он тоже был член думского Комитета, но все дни избегал их как чумы, сюда не приходил, а только видели его оратором над войсками. Рослый красивый Нахамкис-Стеклов, плотный низенький Соколов. И — но не и, а раньше их всех, как мальчик впереди взрослых,— тщедушный острый бритый Гиммер-Суханов. Бритый или не росло, шли голые вылизины мимо крупных ушей и высоко на темя, а ещё выше, как сдвинутый назад парик, сидела на нём полсть плотно-скатанных серых волос.

Кроме Чхеидзе, все не скрывали важности и удовольствия придти сюда и вот обмениваться рукопожатиями с думским Комитетом. Но Гиммер — особенно преобразился. Нельзя было узнать в нём того вертлявого субъекта, который попадался им в коридорах, иногда любил налезть с дерзкой репликой, а то всё время выведывал что-нибудь или сообщал,— теперь при той же фигурке, при той же заострённости в чертах лица и поворотов головы,— это был важный многозначительный дипломат, с особой рассчитанной церемонностью пожимающий руку или наклоняющий голову.

Пришедшие важно расселись на стульях, а для Чхеидзе нашлось кресло, он ослабло опустился туда и больше не существовал.

Не придумали, как начать, а тут ещё и рассадка вышла неудобная для переговоров,— и так не оказалось ни председателя, ни процедуры, а затеялся общий неторопливый — в половине первого часа третьей бессонной ночи! — разговор: как вообще идут дела в городе. Не произносилось великое слово „революция" или какое другое значительное, а просто: как идут дела в Петрограде, вот — столкновения, недоразумения, эксцессы, вот развал в запасных полках, насилия над офицерами.

Да это — не безразличная попалась тема, но самая удобная для думцев. Им — вот это и нужно было как раз от Совета депутатов, припугнуть советских и понудить их же обуздать стихию.

Но — не это нужно было Совету! И видя, что беседа опасным образом пошла на распыление и затемнение центральных вопросов,— Гиммер резко завертелся и объявил, что желает получить слово. Некому было дать, но некому и не дать, вовремя было заявлено — и слово началось.

Милюков не ожидал, что его противники будут до такой степени умно и тактично говорить. Для связи с предыдущим, но как о малозначимом, Гиммер сказал, что борьба с анархией — одна из технических задач Совета, да, она не упускается им, и вот сейчас печатается специальное воззвание к солдатам об отношении к офицерству...

— Ах, вот как? — приятно были поражены думцы.

...но что нынешнее совещание должно заняться вопросом центральным. Как известно, подготавливается создание нового правительства. Совет рабочих депутатов не возражает, и даже предоставляет такое право цензовым элементам, даже считает, что это вытекает из общей наличной конъюнктуры.

Прекрасное начало! Прямая борьба за власть сразу же отпадала. Советские не пытались захватить её в целом. Милюков чуть порасслабился. Становились возможны переговоры bona fide.

Однако Совет рабочих депутатов как идейный и организационный центр народного движения, как единственный орган, способный сейчас ввести это движение в те или иные рамки, единственный располагающий реальной силой в столице,— выставлял Гиммер, отлично понимая силу позиции,— желает высказать своё отношение к образуемой новой власти. Как он смотрит на её задачи. И (выразительно) — во избежание осложнений — изложить те *требования*, какие могут быть предъявлены от имени в с е й демократии — к правительству, созданному революцией.

Нельзя отказать, это умно было высказано: как будто не противоборство, не торговля, но посильное содействие.

Хватка была холодная и крепкая, это сразу почувствовали и все думцы, но никому из них не предстояло спорить, можно было остаться зрителем. А Милюков напряг крепкую шею, ожидая ударов. Вот положение: Государственная Дума дала единство и силу перевороту, а приходят со стороны и имеют большую силу диктовать!

Теперь голос перешёл к Нахамкису. Обстановка была неофициальная, выступающие не вставали. Но Нахамкис, доставший на колено свои пункты, написанные на неровном клочке случайной бумаги, стал говорить с большой важностью, даже торжественно.

Когда-то юнец-революционер, исключённый из 7-го класса одесской гимназии, и якутский ссыльный, потом в эмигрантских скитаниях, потом в первую революцию при Троцком, и арестован в этом же самом петербургском Совете рабочих депутатов, и снова, снова эмигрантские ничтожные годы,— не мог Нахамкис придать и вообразить себе такой высоты и значения, что вот он — поставляет правительство, что вот самые знаменитые буржуазные лидеры сидят и слушают его условия. Он не просто их читал одно за другим и даже не объявлял, сколько их, чтобы сильнее действовало, а прочтя один пункт спокойным сдержанным голосом, не торопясь разъяснял и мотивировал, как бы снисходя.

И всё это вместе — получилось длинно.

Но первый пункт, который мог быть сразу сокрушающим, был лишь — всеобщая амнистия. По всем преступлениям, в том числе политическим, в том числе террористическим, в том числе военным восстаниям и погромам помещиков.

По совести — ничего не мог кадетский лидер на это возразить! Программа всеобщей амнистии всегда была козырем Думы и Блока против правительства, всегда была излюбленным лозунгом всей интеллигенции, ещё с 1-й Думы.

И такой же несомненный, и такой же интеллигентски-приемлемый оказался второй пункт: свобода слова, собраний, союзов и стачек. Кто же мог против этого возразить!

Правда, с некоторым расширением,— и с расширением этих прав на армию. (Так ведь и демократизация армии всегда была в кадетской программе. И её выдвигали даже в 1906 на переговорах со Столыпиным.)

Но на всякий случай Милюков тут стал возражать. Он считает, что в нынешней обстановке это вызовет в армии хаос и она en masse потеряет боеспособность. Нахамкис, напротив, с большим спокойствием аргументировал, что такое требование вполне совместимо с сохранением боеспособности армии. Что от дарования солдатской массе всех политических и гражданских прав армия только приобщится к задачам революции и её боеспособность, напротив, окрепнет. И приводил примеры из собственной службы рядовым и якобы из европейских армий, где-то надёргал.

Вступал и Гиммер, спор затянулся. Но со стороны думцев только Шульгин, почти не садившийся, а нервно похаживавший, встревал иногда, выкрикивая что-то возбуждённое. Все остальные молчали, будто их совсем не касалось, Некрасов был абсолютно невозмутим, он очень умел молчать, когда выгодно.

Родзянко пил содовую воду и вытирал пот. У него был грустный вид, как будто сильно болела голова или он весь заболевал.

Милюков рассчитал, что ему важней узнать полный состав пунктов, чем спорить на очередном. И, оставив недоспоренным, просил дальше.

Но третий пункт оказался: правительству воздерживаться ото всех действий, могущих предрешить форму правления.

Фью-ю-у! Это значило — открыть путь республике!

Тут он не мог не упереться! Тем более, что делегация Совета предполагала, что эти все пункты, после их принятия, правительство должно опубликовать от *своего* имени — одновременно с заявлением о своём создании. Каково? В сложных условиях начинаемое правление — начать ещё и с общего сотрясения основ?

Надо было упереться! Вводить сразу и республику? Это вызовет в стране страшнейшую смуту!

Но и нельзя открыто выложить все аргументы! Долгие месяцы сами же кадеты штурмовали трон, и чем шире распространялось мнение, что династия сгнила, тем это лучше было для их политического движения. Но всё-таки в программе кадетов стояла — конституционная монархия. А сейчас, когда реальная власть уже втекала в ожидающие пальцы, никакой более прочной основы для неё не было, чем наследственная династия. Да, всё время трон расшатывали,— и это было верно. Но сейчас, когда он зашатался,— надо его поддержать. Вот это и есть диалектика. Для того чтобы перенять власть, совсем не надо, чтобы предыдущая упала с грохотом: тогда наступит хаос, и кому достанется власть — уже совсем неизвестно. Перенять власть — но без падения предыдущей, мягко. Проще всего — сменить только венценосца: нынешний — очень уж упрям, и за 22 года научился упираться, с ним работы не будет. Однако, так уже было напряжено общественное мнение и особенно у социалистов, что Милюкову стыдно было перед ними предстать с экспликацией этих аргументов, как бы защитником всеми ненавидимой, проклинаемой и осуждённой романовской династии. Итак, надо было строить сложные фразы со сложными законоведческими и государствоведческими аргументами, чтоб этими призрачными бастионами окружить свою позицию. Поймите, господа, монархия нисколько не нарушит наш modus gubernandi.

Верней, он мог бы сказать им понятно, но если б они были только вчетвером здесь, трое от Совета и Милюков. При многочисленных тут думцах ему было

неудобно совсем просто выговорить этот простой аргумент: „Поймите: наследник — больной мальчик, регент Михаил — совсем глупый человек, что же может быть для нас всех благоприятнее? Малолетний наследник при слабом регенте не будет пользоваться авторитетом полного держателя власти — и это даст возможность нам окрепнуть!"

Однако, владея политико-юридической речью, он складывал это в те фразы, что персональная династическая ситуация наиболее благоприятствует укреплению у нас конституционных начал, которым и нужно время для укрепления. А монархия уже никак не реституируется в прежней силе.

А ему возражали о всеобщей ненависти к монархии, что она дискредитирована в глазах народных масс.

Да, Милюков понимал, как это со стороны позорно выглядит, что именно он выступает защитником этой династии. Но как практический политик он не мог уступить этой опоры под своим же будущим правительством.

Ну, кажется все поняли его иносказания, да кроме Соколова — не глупые ж люди.

А Николая? Николая Милюков и не защищал. Тут теперь неизбежна абдикация.

Керенский был угрюм и даже демонстративно пренебрежителен. При думцах и при советских ему важно было сбалансировать, не показать, на чьей он стороне. Он — вообще выше всех сторон.

Родзянко посасывал из стакана, совсем уже больной и несчастный, платок ко лбу.

А Шульгин испытал как бы истерический приступ. Ему представилось, что в этих переговорах вырастает нечто двуглавое, но не привычный двуглавый орёл, а две головы новой власти,— и та, вторая, голова очень ему не нравилась. А вырастала она, кажется, и надо всею Россией? Кто были здесь думцы? — всероссийские имена, прославленные политики. Кто были эти пришельцы? — никому не известные писаки, и неизвестно кем сюда выбранные,— и вот они пришли диктовать условия, даже свержение династии! И сила была — у них, это чувствовалось. И всероссийские деятели должны были их умолять?

Один раз Шульгин ещё сдержанно упрекнул их, что они ведут подкоп под Государственную Думу, надежду всего народа. Это их не проняло нисколько. Другой раз он крикнул им:

— Хорошо! Арестуйте нас всех! Посадите в Петропавловку! И правьте сами! Или, напротив, дайте править нам, как понимаем мы!

Рыжебородый Нахамкис со спокойным великодушием и, что возмутительно, с барской интонацией ответил на его нервный крик:

— Мы — не собираемся вас арестовывать.

Но так получилось: не собираемся, а разумеется — можем.

Вдруг, никто не ожидал, из своего чернобородого и глазогорящего молчания вырвался Владимир Львов. Он вломился в паузу, никого не спросив, и заговорил бурно, едва не взрываясь от чувств. Что же?

Гиммер смутно числил его каким-то сильно правым и был поражён: этот смешной лысый диковатый и глуповатый, из своего глубокого кресла, где, оказывается, не спал, заговорил, нахлёстывая фразу на фразу, что он — республиканец! Что возврат царизма он считает хуже смерти! И новое правительство ни за что его не вернёт! Но — но! — но: вернуть царизм хочет именно Совет рабочих депутатов своей безумной политикой разложения армии во время войны: наступит военное поражение — и Вильгельм насадит нам царизм.

Столько было вздора наворочено, что никто серьёзно Львова не принял. Но всё же он и Милюкова сбил.

Тут вошёл Энгельгардт и напомнил Родзянке, что пришло время ему ехать к прямому проводу на переговоры со Псковом.

Родзянко убрал платок, взбодрился, надел шубу, шапку, вышел. Но очень скоро воротился, опять с несчастным видом:

— Пусть господа рабочие депутаты дают мне охрану! Или едут сами со мной! А то меня по пути, или там, на телеграфе, арестуют.

Нахамкис заколыхался добродушным и довольным смехом. Теперь — не

он, а Гиммер, с ехидной улыбкой и даже вкрадчиво, стал успокаивать Председателя Думы, что никак они не собираются его арестовывать.

И поручили Соколову пойти найти Родзянке провожатых.

Но надо ж было двигаться дальше по пунктам. Гиммер и Нахамкис переглянулись: сейчас и был тот пункт, по которому они соглашались сразу уступить Милюкову: Учредительное Собрание. Хоть назвать его иначе, хоть и вообще снять.

Произнесли: принять немедленные меры к созыву Учредительного Собрания на основах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.

А Милюков — кивнул.

Кивнул?!

Записал и кивнул, как лёгкому пункту, ожидая следующего.

Как это надо было понять?? Гиммер и Нахамкис снова сметнулись взглядами. Только что полчаса проспорив против непредрешения образа правления — как же он так легко уступил Учредительному? Оставлял образ правления висеть, пока Учредительное решит,— и, конечно, не в пользу монархии! Когда революция раскатится достаточно широко — республика обеспечена.

Просто кивнул? Уступил сразу??

Гиммер ещё пронзительней видел теперь правильность своей тактики. Если бы высунулось требование о немедленном прекращении войны, об отказе от территориальных приобретений, от верности союзникам, да даже жёсткое навязывание каких-нибудь внутренних мероприятий,— Милюков мог бы их оттолкнуть сейчас. А завтра — неизвестно что будет, ведь царские войска идут к Петрограду, да в самом Совете непримирённые меньшевики стали бы оспаривать действия самозванной делегации и ещё не окончательные пункты. Нет, надо было именно спешить посадить цензовиков на правительство.

Но почему такое спокойствие об Учредительном Собрании??..

Или уж очень что-то хитро, или отказал знаменитому парламентарию ум.

294

Обязанность начальника штаба — не только подать своему командиру идею, но и оформить её готовым документом, чтоб оставалось лишь подписать. В течении дня всё неотвратимей складывалось в генерале Алексееве, что не избежать Государю дать ответственное министерство. А к вечеру сложилось, что надо составить тут, в Ставке, и нужный манифест — и, пока Государь ещё во Пскове, спешить переслать ему туда на подпись.

С помощью дипломатической канцелярии при Ставке сочинялся нужный манифест, а тем временем Алексеев составлял Государю ещё последнюю решительную убедительную телеграмму, в которую готовимый манифест включался как составная часть. Если в прошлую ночь прояснилось генералу, что издание такого акта вытекало из установившегося успокоения в Петрограде, то вот оно всё более вытекало из опасности распространения анархии по стране и армии. Для спасения армии и продолжения войны никакого более выхода нельзя было придумать, как призвать общественное министерство и поручить его Родзянке.

И — спешить, чтобы думские деятели успели охранить порядок от крайних левых элементов.

Нервно было, пока составляли манифест,— ещё нервнее стало после десяти часов вечера, когда уже передали манифест во Псков. Неясно было, там ли ещё царь, неясно было, сохраняет ли с ними контакт Рузский. Как реагировал Государь на все предыдущие пересланные ему дневные телеграммы? И как воспринял он эту последнюю?

Но трудно было узнать что-нибудь толком: там всё начальство уехало из штаба на вокзал, в штабе оставался только генерал-квартирмейстер Болдырев, потом и он перестал подходить к аппарату, а — штабные полковники. Они сами были не в курсе, что делается, а когда и узнавали — небрегли тут же докладывать в Ставку, как им велели и как их просили. Несколько раз запрашивали Псков о судьбе телеграммы с манифестом, настаивали срочно везти её на вокзал Государю. Она там шла через дежурного офицера, через генкварсева

Болдырева, через наштасева Данилова — и наконец к одиннадцати вечера достигла на вокзале главкосева Рузского, а уж он лично доложит Государю.

Ещё и к одиннадцати часам не было известно в штабе Северного фронта, когда Государь намерен покинуть Псков.

Алексеев места не находил от волнения — прилегал и опять поднимался, и сидел за столом, шинель накинув на плечи и пытаясь заниматься очередными бумагами,— но не было покоя на душе, вся судьба России и фронта повисла сейчас на манифесте.

А тем временем из Петрограда подтекали новые, весьма замечательные известия. Что конвой Его Величества с разрешения своих офицеров сегодня в полном составе явился в Государственную Думу! Что императрица сама добивалась встречи с Родзянкой! Что великий князь Кирилл Владимирович лично прибыл в Государственную Думу приветствовать её! И какие крупные сановники арестованы в Петрограде. И петроградское офицерство постановило признать думский Комитет!

Такие важные сведения должны были как можно скорее настичь Государя, чтоб успеть повлиять на его решение! После полуночи Клембовский всё это передал во Псков.

Когда начинаются крупные события, они обязательно почему-то стягиваются на ночь или по крайней мере так, чтобы военачальники должны были бы все решения и все действия производить ночью.

Обнаружил Алексеев упущение, что уже сутки не информировали Иванова обо всех событиях в Петрограде, Москве и о шагах, предпринятых наштаверхом,— а Иванову-то знать острей и важней всего, там-то и может завязаться. Стал Клембовский готовить ему телеграмму.

После часа ночи телеграфировал Псков — ещё не о решении Государя, но что Его Величество уполномочил главкосева говорить по аппарату с Председателем Государственной Думы и разговор этот начнётся в половине третьего ночи.

Вот там всё решится, значит. Хоть не спи и ожидай.

Ещё телеграфировал Псков, что восстал гарнизон Луги, перешёл на сторону думского Комитета, и возникает вопрос о возвращении посланных войск Северного фронта, о чём главкосев будет иметь доклад у Государя.

Ого! Решение назревало серьёзное, гораздо большее, чем мог бы вызвать один лужский гарнизон, где и ни одной боевой части толковой нет: к Петрограду дороги есть и другие. Но, значит, Рузский пользуется случаем убедить вообще прекратить выдвижение войск.

И это — правильно. Это облегчало тяжесть и Алексеева. Уже полных двое суток методично развивался его приказ о посылке и движении войск, и Алексеев формально ни в чём его не нарушил, кроме остановки Юго-Западного фронта, но он и сдвигал те полки сам, без Государя. Формально ни в чём не нарушил, а всё меньше ощущал сочувствия плану: немыслимо посылать войска против своих же русских!

И Лукомский питал его сомнения. Лукомский считал, что посылать войска на подавление восстания крайне опасно: малым количеством действовать бессмысленно, а большие войска собирать — понадобится может быть десять дней, уже все города и весь тыл будут охвачены революцией. И так пришлось бы вести войну и против немцев, и против своего тыла, а это невозможно одновременно. Оголить фронт — значит тогда не довоевать с немцами? Затратив столько жизней на эту войну?..

Вот и сходилось, что революцию надо прекратить мирно.

То есть уступками.

А малые уступки — уже опоздали.

А — где начинаются большие? А — ч т о такое большие?

Это — не выговаривалось между ними тремя, возглавителями Ставки, но что-то мучительно тяжелело в мозгах.

А во Пскове — сразу удача! Не сообщили прямо о решении Государя, но в половине второго ночи прислали сюда копию телеграммы Данилова своей Пятой армии, где, по высочайшему соизволению, он распоряжался: вернуть в двинский район войска, направлявшиеся к Петрограду! А Ставку просил — сообщить, если можно, Иванову: штасеву не известно его местопребывание.

Так быстро и, очевидно, легко было получено высочайшее соизволение!

Алексеев через немоготу и горбясь, в накинутой шинели, стал похаживать. Теперь и Иванову пойдёт уже совсем другая телеграмма. Но он Ставке не подчинён, ему не прикажешь.

Но теперь, если Северный фронт отзывался,— то как же можно двигать Западный?

Однако о Западном — не было распоряжения. Государь вообще, как уехал, за эти двое суток не отозвался своему начальнику штаба ни единым словом. Рассердился за что-нибудь?.. Алексеев так чувствовал, что — да, он уехал недовольным. Но сейчас — сейчас надо ковать железо, пока горячо. Надо немедленно (уже распоряжался Лукомскому) испросить высочайшего указания: не будет ли признано возможным вернуть также и полки Западного фронта?

Лукомский пошёл телеграфировать, но Алексеев остался в чувстве, что ответа ему от Государя не будет. Ответа не будет,— а полки Эверта двигались к непоправимому столкновению,— и это висело теперь на совести одного Алексеева.

Пока это ещё нигде не выстрелило. Но надо же успеть прекратить.

Но и не смел же он остановить войска самовольно!

Но и не мог допустить кровавого столкновения!

А тут совали ему ещё какую-то телеграмму. Что ещё такое? Сообщал тревожно заместитель Родзянки Некрасов, что поезд Государя по сведениям думского Комитета находится во Пскове, и отправка его в Царское Село, повидимому, не состоялась.

Свежие новости! Они в Думе ещё меньше знали о событиях, совсем ничего. Но что радовало — дружелюбность самого факта этой телеграммы. Что они обращались к Алексееву как к своему, как к союзнику.

И это — верно. Это надо поддерживать.

А было уже два часа ночи. Телеграмма во Псков пошла, но там заняты другим: вот-вот начнётся разговор с Родзянкой, не могут они сейчас гнать на вокзал к Государю, да и — примет ли их Государь так поздно? Вероятно уже и спать лёг. Так что ж — до завтрашнего утра?

А войска не ждут, а эшелоны идут и ночью — и вдруг в неожиданный час в неожиданном месте кто-то где-то столкнётся, прольётся русская кровь,— и вот уже гражданская война! И допустил до неё — генерал Алексеев.

Много же досталось ему на эти двое суток. Воспалённая грудь дышала тяжело. Сколько служил он, сорок лет, никогда не поступал самоуправно, без согласия начальства,— а вот сейчас должен был решиться сам?..

Но ведь он уже сам — и не тронул с места Юго-Западного? Но ведь он же и сам предлагал эти все полки Государю, мог предложить и другие, меньше числом?

Сердце — как раскалывалось от небывалого напряжения, от своей дерзости. И — торопясь нагонять ночные минуты, вызвал опять румянощёкого, но холодного Лукомского и велел ему телеграфировать на Западный фронт: все войска задержать! Какие не отправлены — не грузить. Какие в пути — задержать на больших станциях. Затем последуют дополнительные указания.

Он — не совсем вернул. Но — остановил.

И было ощущение — правильного шага.

Придётся ответить перед Государем?.. Но и Государь покинул его без руля, без ветрил.

Теперь — только бы Иванов не вломился в бой!

295

Такие испытания, как свалились в этот день, могли измучить и не такого гиганта, как Родзянко. Целые сутки то в жар, то в лёд. Эти долгие сутки начал с того, что грудью остановил восемь полков. И потом вместе с Энгельгардтом спасали Петроград от нового солдатского мятежа. (А кто угрожал убить Пред-

седателя — тот и сейчас ведь помнил.) И в каждый час могло опять вспыхнуть. И пять раз тремя поездами он выезжал к Государю — и всё не мог выехать. Под чьими-то чужими волями целый день из-под его ног осыпалась почва. И пока он приветствовал солдатские строи как главный тут — а неслышными грызунами за его спиной подтачивалось его старшинство и единственность. И при всей своей могучести он не мог придумать, что же ему предпринять.

Но копали не только под него, а и под Государя. Сперва Гучков, потом и другие объясняли ему, что Николаю Александровичу видимо больше на Руси не царствовать. Это — какими-то подземными силами было решено, без Председателя.

И сперва это было — невместимо. А потом, если подумать и всё перебрать — Распутин, Протопопов, злая царица, неуважение к Думе,— так пожалуй шло и неизбежно.

Но и на этом не кончились прижигания этого дня. А доконали Председателя ночные переговоры его Комитета с Советом рабочих депутатов. Весь день от часа к часу говорили думцы о Совете с опаской, так всё оглядывались, что наконец и сам Родзянко стал побаиваться. А тут ночью пришли три „рабочих депутата", слыхом не слыханные, видом не виданные, ничем в России не известные, никакого значения не имеющие,— и сидели как равные против известнейших членов Думы, не говоря уже о Председателе,— он с ними и слова не сказал, сидел в стороне и дико смотрел. Его схватило как судорогой, не разведёшь: что нашло на Россию некое великое Помрачение. (Как и сказано было, кажется, у кого-то из пророков, но об этом в Государственной Думе не разговоришься.)

И сидели эти депутаты — один рыжий развалясь, а другие два всё дёргались, и нисколько не стеснялись своей неименитости, своего появления из праха,— только тут, на ночном заседании, и рассмотрел Родзянко этих разбойников и расслушался их. Ничего они не стеснялись, а выкладывали Милюкову с насмешкой и снисхождением, и с уверенностью, что их сторона возьмёт.

А какие разбойничьи пункты они выдвигали — просто невозможно слушать.

И в тех переговорах не упоминалась ни Государственная Дума, ни даже какая конституция, а уж Государя и вовсе подразумевали как умершего.

Ещё три дня назад второй человек в государстве, Председатель сидел тут, при этих переговорах, как отметенный в сторону,— и впервые осознал своё бессилие. Не днём сегодня, когда Милюков с Некрасовым не допустили его ехать на Дно, а вот сейчас.

И что стоило этим бойким бандитам в любую минуту хоть и приказать арестовать их тут всех, думцев?

И даже самого Родзянко.

Как вот арестован же Председатель Государственного Совета, и ничего поделать нельзя. И бывшие министры. Уж там какие ни плохие, как с нами ни ссорились,— но всё ж они не убийцы. А между тем их держат под замком, со свирепыми предосторожностями, скопом, и даже не дают кроватей, хуже, чем в тюремной камере. А дальше собирались отправлять в Петропавловку.

Так и самого Родзянко разве не могут в любую минуту арестовать?

И даже повесить.

И нельзя было домой уходить. И нельзя вырваться из этих комнат. И каким облегчением пришёлся переданный вызов от генерала Рузского — на телеграфный переговор из Главного штаба.

Это замечательно! И это будет как замена поездки во Псков.

С той даже разницей, что поехав — ты станешь там гостем и даже пленником генералов. А отсюда — ты разговариваешь как глава революционного Петрограда.

На душе ещё царапины от выговора Алексеева, была потребность загладить. Да уехать от этих ужасных *пунктов*, от этого мерзкого совещания. Еле дождался назначенных двух часов ночи.

Уже пошёл — и вдруг подумал: а как же он поедет? По этим лихим улицам, ничем не защищённый, когда кто-то ищет его растерзать. Свои русские люди — а вот остановят посреди улицы, и не знаешь, как с ними говорить, на каком языке.

Ничего не поделаешь, вернулся на совещание — и просил тех проходимцев дать ему какую-то охрану, именно от них,— чтоб его не арестовали по дороге. Не просто с винтовкой, а *от них* человек, тогда не тронут.

Да, надо признать, что вся сила неожиданно перекинулась *к ним.*

Дали. Какого-то горлопана, унтера. И двух матросов.

Вторую ночь подряд ехал Родзянко в Главный штаб. Как подрядился. Сегодня — ещё позже и безлюднее.

Ехал, презирая своих сопровождающих.

Была такая морщинка: спросит Рузский, почему Родзянко до сих пор не сформировал министерства.

Но надо выше смотреть. Этот разговор — чтоб окончательно остановить войска. И всё умиротворить. И всех спасти.

Ещё раз — спасти всех.

А Государю — уже вряд ли в чём помочь.

Да теперь, когда решено, что не Родзянко будет правительство,— спасти уже, видимо, ничего нельзя иначе, как отречением.

Ах, Государь, Государь! Во многом вы виноваты сами! Сколько раз верный Председатель вас остерегал и предупреждал!

Главный Штаб — огромный, полукруглый, тёмный от зашторенных окон, наполненный военными людьми, офицерами, дежурными,— перестоял дни революции нейтральный и не тронутый ни той стороной, ни этой.

И в этом — всеобщее уважение к войне. Символ того, что Отечество всё перестоит, и эти сотрясения тоже.

Шёл по электрическим паркетным бесконечным изгибающим коридорам Штаба и думал: даже и *он* — что же один может поделать против всеобщего потока? не погибать же ему теперь, защищая грудью неразумного Государя.

Ну что ж, будет при наследнике регентом Михаил. На Михаила Председатель имеет большое влияние.

Стояла бы Государственная Дума — устоит и Россия.

296

Встретили генерала Иввнова во дворце два графа — средних лет Апраксин и старый сухой Бенкендорф, с большой надеждой и радостью.

Чем настойчивей к тебе подступают — тем важней себя надо держать, чтоб не уронить. И говорить поменьше.

Пока, минут десять, ждали приёма, ничего им генерал не выронил. А от них услышал, что гвардейцы Сводного полка и казаки конвоя собраны в обширных дворцовых подвалах, чтобы быть вызванными по тревоге в любую минуту. Но вокруг дворца, по уговору с мятежниками, образована нейтральная зона, куда не ходят с оружием ни те ни другие. А вечером была паника, что соседнее здание Лицея захватила банда неизвестных солдат и будет обстреливать дворец. Затем послали туда разведку, и выяснилось, что слух пустой, никого нет.

Оба графа, с двух сторон от Иудовича, наперебой волновались, что будет с ними и со дворцом, и с надеждой засматривали генералу в глаза. Но генерал был — главнокомандующий столичным Округом, и даже диктатор, и не мог давать им частных пояснений.

Государыня относилась всегда к генералу Иванову крайне одобрительно. Очень ласково принимала его и прошлой осенью. Через неё он иногда косвенно ходатайствовал к Государю, чего не мог прямо. Николай Иудович должен был быть ей чрезвычайно обязан — и это тем более стесняло его в нынешних сложных обстоятельствах.

Государыня приняла его в тёмно-сером платьи и в косынке сестры милосердия, лишь с ожерельем из крупных янтарных камешков в несколько петель на груди. Лицо её было измято-усталое, но вместе с тем сохраняло напористую энергичность, даже гордо-холодную свою красоту, при больших глазах.

Нецеремонийно быстро она прошла через комнату — как бы кинулась

к Николаю Иудовичу, как бы готова была обнять его. Подала ему сразу обе руки, в две руки:

— Генерал! Какое счастье! Какое счастье, что вы прибыли, избавитель наш! — говорила она по-русски, почти вполне правильно, но напряжённо, как иностранцы. Была очень приветлива, но улыбка не трогала её губ.— Как мы ждали вас! А я уже боялась, что вы не доедете!

Иудович знал за собой подкупающий вид, подкупающий голос, он всем умел нравиться своим добродушием. Его всегда любили за царскими столами. К его авантажному виду да ещё из широкой груди широкий бас:

— Что вы, Ваше Величество! Как же б я не доехал? Приказ. Но были препятствия, да.

— Садитесь! — порывисто указала она ему на мягкое кресло, а сама невдали села на банкетку, как будто не нуждаясь в прислоне своей ровной высокой спины,— и за ручки банкетки держалась как за морские поручни, как всходя по кораблю, и ещё подрагивали её руки:

— Государь мне телеграфировал, что посылает войска. Много войска у вас? И конница из Новгорода? Где они собираются?

Этак быстро говорить — скоро ни о чём не останется. Николай Иудович растягивал:

— Войска изрядно, Ваше Императорское Величество. По пешей бригаде и по конной бригаде с каждого фронта. Но пока все соберутся...

Он знал, что принял воинственный вид. Только стратегические препятствия ещё могли удерживать отважного генерала от наступления.

— Когда вы в последний раз видели Государя? — ещё нетерпеливее спрашивала императрица, обгоняя сама себя.

— Да когда же?.. По за ту ночь, Ваше Величество.

— Это — когда? — перебросилось нервно по её прямому выставленному лицу. На лице он разглядел теперь покраснелые места, как большие пятна нерадостного румянца.

Генерал вытягивал из глубины седеющей бороды:

— В позапрошлую ночь. Пошла жизнь больше ночами.

Она не заметила упрёка или быть его не могло:

— В каком он был настроении? Как он смотрел на события?

— В спокойном.

— Перед той ночью, позавчера, я послала ему три отчаянных телеграммы о положении. Неужели он их не получил?.. Как мог не ответить? Неужели их уже тогда перехватывали?

Заслонённый завесою лопатной бороды, со лбом широким невозвышенным, генерал не спешил отвечать.

Пытливым жёстким взором обгоняя его не идущие слова, вся выдаваясь вперёд с поручней, ещё с длинным римским носом, она нетерпеливо вырывала:

— Скажите — где Государь сейчас? Он должен был приехать сюда прошлым утром! — и не приехал!.. Он — не идёт за вами следом? Отчего ж ваши поезда не пошли вместе?

— Никак нет, Ваше Величество, Государь изволил отправиться другим маршрутом, через Бологое.

— Так он задержан! — блистали глаза императрицы.— Где он задержан? Кем? У меня нет с ним связи!

— Не могу знать, Ваше Императорское Величество. Я ехал сюда — полагал найти Государя здесь. Да кто ж посмел бы его задержать? — искренно удивлялся Николай Иудович.— Разве и там по дороге везде бунт?

Струнность государыни ослабела. Она взялась одной рукой за сердце:

— Ах, я теперь уже ничему не верю. Ничего не знаю. Если кто-то смеет *остановить* Государя — я ничего уже не понимаю!

Сказать ли, не сказать?

— Начальник станции Вырица говорил мне, будто у него сведения: императорские поезда сегодня проходили Дно.

— Дно?? — с новой надеждой оструниласъ государыня.— Но тогда он должен быть уже здесь? уже подъезжать?

Николай Иудович развёл большими мужицкими ладонями:

— Не могу знать. А может куда иначе поехал?

— Но куда ж иначе? — дрожало горло под властным длинным лицом царицы.— Куда ж иначе, если он едет к семье?

— Ну, может быть в Ставку? — невозмутимо рокотал Николай Иудович.

— В Ставку? — задумчиво повторяла царица.— Но ему надо ехать сюда!

Старый генерал был горько озадачен:

— Но я не представляю, чтобы посмели задержать Государя.

Как будто сами кости государыни омякли. Ей стало трудно сидеть без прислона — она поднялась — (вскочил и генерал) — перешла не слишком уверенным шагом и села в кресло — (генерал опустился).

— Ах, генерал! — сказала она.— Мы давно страдали от того, что нас окружают неискренние люди. Так мало осталось верных!

Николай Иудович преданно смотрел на государыню.

— Не хочу верить,— говорила сильным низким голосом.— Но нам принесли известие, что сегодня великий князь Кирилл Владимирович с гвардейским экипажем ходил в Думу на поклон! Если великие князья так ведут гвардию — сами посудите, на кого нам надеяться!

Старый генерал отемнился, бедняга. Такого предательства он не мог даже вообразить.

Но подтвердил, что и он имеет такие грустные сведения о гвардейском экипаже.

— А я не верила! И невозможно поверить! Мы гвардейский экипаж так любили всегда! И две их роты сейчас тут, во дворце, нас охраняют!

В выразительных её серых глазах вспыхивали искры, но погасающие. Её строгое решительное лицо только и жило верой. А с потерей веры теряло форму.

Но честный генерал ничего не мог поделать с этими изменниками.

Уже менее волнуясь, переходя к деловому тону:

— Когда же, генерал, вы думаете вступить в Петроград?

Николай Иудович сильно вздохнул богатырски-широкой грудью:

— Затруднительно сказать, Ваше Величество. Ведь со мной сейчас восемьсот человек, что я могу? Я приехал командовать войсками Округа — а меня просто арестовать можно.

Простоватое лицо генерала выражало расступленье ума.

— Да, но к вам же идут полки! — Императрица уже сидела не напряженно, откинувшись на высокую спинку и придерживаясь за сердце, это не был жест чувства, а, кажется, прямой боли, но неумирающие глаза её пылали снова: — В Петрограде — ужасы творятся! Грабят квартиры, разоряют дома, вот Фредерикса жгут, перепились, убивают офицеров. Всё это надо остановить немедленно! Но — не проливая крови.

— В Петрограде,— благообразно и светлооко возразил Николай Иудович,— уже всё успокоилось.

— Как успокоилось? Когда? — изумилась императрица.— Откуда у вас такие сведения? Я например знаю... Вот только что... Да даже у нас в Царском...

— Никак нет, Ваше Величество,— качал широким лбом генерал.— Нам известно, что в Петрограде всё успокоилось.

— Да откуда же?! Совсем не так!

— Изволите видеть, я только что получил телеграмму из Ставки. В Петрограде — новое правительство, прежних министров, правда, поарестовали, это сугубо прискорбно, но и новое правительство примкнуло к монархическому началу — и мне приказано вступить в переговоры.

— Ка-кие переговоры?! — ахнула императрица.— Там — разбойники, воры, враги Государя! — какие с ними переговоры? Это пьяная банда или изменники отечества, надо немедленно её разогнать! переарестовать!

Она — чётко это бросала, и такое решительное жёсткое выраженье взялось на её лице, подпрыгнули нити ожерелья на груди,— кажется, сама бы сейчас повела войска.

— Но Ставка...

— Да что может оттуда понимать Ставка? Государя нет, Алексеев ещё

больной, что он может решить? — гневалась царица, гнев очень шёл к её лицу.

Но в Иудовича никак не вкинулось её возбуждение, он оставался совсем покоен: почтителен — а не согласен.

— Изволите видеть, Ваше Императорское Величество,— приказ. Приказано — не открывать междуусобицы.— Он даже с грустью отвечал ей, что не давали ему проявить свою генеральскую власть. Но ведь и не свой же народ укладывать, когда такая война идёт.

— Междуусобицы? Конечно не надо! Кровопролития? Ни в коем случае! Но вы соберите все свои полки и торжественным маршем с музыкой вступите в город! И всё! И одни — сразу разбегутся, а другие сразу подчинятся и успокоятся. И всё. Лишь бы был проявлен авторитет власти! Кровопролития — конечно не должно быть, ни в коем случае!

Ну, так это же самое и генерал говорил. Так же ему и приказывали.

— Но — какие переговоры? Какое „новое правительство"? — поднялась государыня в досаде,— и тотчас же поднялся генерал. Она пошла по комнате, а он поворачивался в ту сторону, где она.

Это „новое правительство" досадней всего её и прижигало, она знать его не хотела (хотя вынуждена была просить у Родзянки защиты),— самозванцы, думские мерзавцы!

Она бессильно выхрустывала кистями. Акцент её стал сильней:

— Но ведь этот же приказ — не Государя?!

— Начальника штаба Верховного Главнокомандующего,— почтительно напоминал генерал.— А с Его Величеством у меня связи нет.

Да! Всё возвращалось к тому же! — нет связи с Государем! Надо искать и вызволять Государя!

Остановилась. И сплела руки на груди, как бы молитвенно:

— Вы правы, генерал. Прежде чем действовать — сейчас самое важное нам: найти и освободить Государя.

Самое важное сейчас — государыне соединиться с Государем. Сейчас под защитой генерала можно было бы всей семье поехать к нему. Но — нельзя вырывать больных из постелей, превратности пути, да и неизвестно, куда ехать, и отряд генерала — не больший, чем у них тут защитники во дворце.

— Надо выручить Государя! — решила она окончательно.— И открыть ему путь сюда. Можете вы привести поезд Государя — сюда?

Вздохнула широкая испытанная грудь богатыря, колыхнулась сивая борода:

— Ваше Императорское Величество! Я — с полной готовностью! Если бы мне удалось прорваться до Дна — я бы там дальше поискал бы поезд Его Величества, высвободил бы его — и он смог бы приехать к вам!

Генерал стоял — не колебнулся, смотрел — не моргал, мудрый старый полководец.

(Тогда освобождался он — не только от похода на Петроград, но даже и — штаб обосновывать в Царском.)

Ему, правда, было жалко государыню при больных детях и в двух верстах от взбунтовавшихся полков. Но тут — охрана была неплохая.

Государыня смотрела с надеждой и благодарностью на милого старика, постепенно уразумевшего положение. Просветлилась от новой мысли:

— Генерал! У меня — письмо для Государя, которое нельзя, чтобы попало в *их* руки. Я там откровенно пишу об обстоятельствах, о планах...

Договаривала уже на ходу. Чуть приподнимая долгую юбку, быстро вышла из комнаты. Из-за портьеры послышался шорох, разговор по-английски.

Иудович быстро соображал. Упаси Бог брать такое письмо. Ведь его, как самого простого офицера, могут в любой момент захватить, обыскать, да хоть вот сейчас, в пустынном Царском Селе, ещё до вокзала. За такое письмо не поглядят: участник заговора.

Государыня возвращалась с письмом в руках, одаряя улыбкой. И протянула — пальцами в перстнях и с обручальным кольцом Государя — конверт.

Иудович, всё с тем же старо-генеральским благородством, преданно и проникновенно отрапортовал:

— Ваше Императорское Величество, это никак не возможно. Я могу пасть в бою. На моих руках — отряд. И я не уверен, что так быстро достигну Государя сам.

— Но пошлите кого-нибудь! — ещё всё не отняла она протянутого конверта.

— Никак нет, Ваше Величество. Не имею такого надёжного человека, с кем бы послать.

Государыня вскинула голову породистым движением, в царственном недоумении.

Иудович исклонился весь, объясняя:

— Ваше Императорское Величество, моя офицерская служба, чуждая искательств... Сорок семь с половиной лет... Ведь я — не из-за себя. Как же можно вашим драгоценным письмом рисковать? Как же можно ваши августейшие планы допустить в руки какого-нибудь негодяя?..

Генерал Иванов очень спешил прочь из дворца, но в ярком вестибюле его нагнал дежурный офицер — и подал ему с дворцового телеграфа ещё новую телеграмму в сером запечатанном конверте с дворцовым гербом — только что пришедшую.

Досадуя, что не успел уйти, генерал вскрыл.

Такая же была, с дворцовым гербом, толстая бумага, и на ней красивым каллиграфическим почерком выведено:

„Псков, 0 ч. 20 мин. Надеюсь, прибыли благополучно. Прошу до моего приезда и доклада мне никаких мер не принимать. Николай."

Ну! Последние оковы спадали с рук обременённого генерала. Не надо вступать в Петроград! Не надо собирать войска! Даже не надо принимать никаких решений. И Государя вызволять тоже не надо, он приедет сам!

Отлично! Отменно! Всё предусмотрел Николай Иудович — и всё правильно! Хорошо, что не начал стрелять, вот бы влип. Хорошо, что не совался в Петроград.

Весёлый ехал он по перепойной или напуганной безлюдности Царского Села. Нигде не было ни толп, ни патрулей, ни часовых, ни прохожих, всё убралось в дома и казармы. Да морозец! Проехал до станции благополучно.

На плохоосвещённом вокзале стоял его тёмный эшелон в полусотню вагонов. Иванов приказал готовить отъезд. Оба паровоза уже были прицеплены назад. Для лучшего сосредоточения ясно, что ему нужно оттянуться назад.

Его отход из Царского Села был более чем разумен: здесь его может что-нибудь заставить принять решение. А ему надо — не принимать никаких решений.

А иначе и не достичь приказанного ему умиротворения.

Тут прибежали со сведениями, что 1-й запасной стрелковый батальон и с ним тяжёлый дивизион движутся к вокзалу.

Ну, так и ждал! Несомненно: чтоб захватить или перестрелять весь георгиевский батальон! Как хорошо, что не вышли из вагонов. И так ещё удивляться, что простояли благополучно.

На паровозы он велел поставить караулы из своих георгиевских кавалеров. А начальника станции прихватить с собой как заложника — чтоб не произвели чего со стрелками или со сцепами.

И велел немедленно трогать в два паровоза — назад, на Вырицу.

БОРОДА МИНИНА, А СОВЕСТЬ ГЛИНЯНА

297

Но и во весь день не мог себе Эверт найти места. На фронте событий не было, а в спину дула тревога — и ничего не оставалось, как сидеть и перечиты-

вать, перечитывать ворох этих необъяснимых телеграмм, и пытаться их уразуметь.

А уразуметь их — невозможно.

И Алексеева к прямому проводу не вызвать — то болен, то вместо него Лукомский.

Невозбранно и нагло разливался по России мятеж — а Ставка не препятствовала.

И сообщала об успокоении.

И поражала внезапность изменения: что — хрустнуло? что сломилось? Три дня назад всё это было уголовно наказуемо,— а вот текло, и никто не препятствовал.

И сидел Эверт над этими лентами, поддерживая неразумеющую большую голову большими руками: вот, никогда не думал, что ему придётся заниматься ещё и политикой. Всю жизнь он прослужил в императорской армии, уже третье царствование и уже третью большую войну, и знал, что служит престолу и родине, и все вокруг служат престолу и родине, и не было трещинки, где б усумниться в ком-то, в чём-то. А теперь что ж это творилось? и что надо делать?

Он-то сам по себе, Западный центральный фронт, Вторая, Третья и Десятая армии, был огромная сила,— но сам себя не знал, как использовать. Широченными плечами стоял Эверт от Западной Двины до Пинских болот и, кажется, мог повести плечами да и всё повернуть? Но ослаблен был ощущением полного одиночества. Если б он имел прямую связь со своим правым соседом Рузским или левым Брусиловым? Но и связи такой не бывало, и совсем были ему чужи оба, и не мог бы он прямо обратиться к ним даже за действием в пользу престола.

Вот если бы Государь приехал сюда, в Минск, и приказал бы действовать,— Эверт бы и действовал.

А за пределами прямого приказа научила Эверта долгая служба: лучше не брать на себя самому лишнего. Служить надо верно — но и не колебать опрометчиво своего положения. Так в прошлом году можно было браться наступать Западным фронтом, можно не браться,— Эверт и не взялся, указал, что позиции противника очень сильны, и предпочёл дать часть своих войск Брусилову. Наступление — дело очень неверное, можно и большую славу собрать, можно и сильно провалиться.

Так за целый полный день Алексеев и не стал к прямому проводу. В семь часов вечера велел Эверт Квецинскому узнать из Ставки ещё раз: что же делать с наводняющими фронт телеграммами, сведениями, слухами, очевидцами, сплетнями со всех сторон,— ведь так не может фронт стоять. Да и сама Ставка в только что разосланной телеграмме Клембовского подтверждает полное восстание в Москве, в Кронштадте, переход Балтийского флота на сторону Родзянки, и пока генерал Алексеев просит у Государя успокоительный акт,— а для фронта промедление может быть роковым. Дайте указания, как нам действовать! Благоволите сообщить: где Государь? где генерал-адъютант Иванов? где ушедшие от нас эшелоны?

Отвечал опять не Алексеев,— Лукомский. Извинялся, что какую-то важную телеграмму Алексееву к Родзянке не передали на Западный фронт — напутал штаб-офицер. Сейчас будет передана. А просил генерал Алексеев Родзянку — не распоряжаться помимо Ставки. И вы увидите, что проектированный ответ главкозапа Родзянке не противоречит взгляду наштаверха. А Государь — во Пскове, а генерал Иванов от Царского Села уже в трёх перегонах. И эшелоны Западного фронта проходят, по-видимому, свободно.

А решения — опять никакого. Указаний — опять никаких.

И так — до глубокой ночи. Всё кружилось, тряслось, переворачивалось — а указаний не было.

Обстановка — как ходишь по ножу, и самому ни на что не решиться, слишком многое неизвестно.

Наконец, во втором часу ночи, распорядился Эверт Квецинскому дать ещё одну телеграмму в Ставку: что нельзя ж допускать проникновения в войска этих разрушительных телеграмм! Что генерал Эверт по своему району отдал

пресекательные приказания, но считает необходимым единство мер на всех фронтах — и просит указаний!

Кто там в Ставке прочёл или спали — ответа не было. Но нет, не спали, потому что через полчаса оттуда прикатила на имя Квецинского телеграмма от Лукомского — совершенно изумительного содержания. Что вследствие невозможности продвигать далее Луги (там тоже мятеж) эшелоны войск, направляемых к Петрограду; и вследствие разрешения Государя императора вступить Главнокомандующему Северным фронтом в сношения с председателем Государственной Думы (отъявленным изменником!); а также вследствие высочайшего соизволения вернуть назад посылаемые войска Северного фронта,— начальник штаба Верховного просит также и Западный фронт распорядиться: не грузить те части, кои ещё не отправлены, а кои находятся в пути — задержать на больших станциях.

Вот это грохнуло! Вот это так перевернулось!

Однако дозвольте: если Государь распорядился повернуть войска Северного фронта — он же не распорядился о Западном? А может они должны подравняться? В эти решающие часы движения полков — генерал Алексеев останавливал их собственным решением, по аналогии?

Легко ж он обращался с присягой. Изворотливая формулировка.

Но и — некуда было пробиться: Государь — у Рузского, и с ним связи нет.

А начальник штаба в отсутствие Верховного является Верховным.

Что творилось, Боже мой?

И не выполнить невозможно.

И политики Эверт не понимал.

И надо быть осторожным.

Его собственный фронт уже трясло и клевало сзади.

Думал-думал Эверт — ничего не придумаешь.

И в три часа ночи Квецинский стал останавливать посланные войска.

А они — только пошли как следует!..

298

От пункта к пункту Милюков успокаивался. Чего он более всего боялся — чтобы социалисты не передумали и не взялись формировать правительство сами,— они вот и не собирались. О войне, о союзниках — не говорили. Очень хорошо. Учредительное Собрание? — так это самый расхожий лозунг интеллигенции от начала века, от него никак нельзя теперь отречься, это выглядело бы открытой изменой самим себе. Сегодня „Учредительное Собрание" принесли и офицеры из Дома Армии, тут под сурдинку уговорили их снять. Учредительное Собрание — это любимый мираж для всех. Но Улита едет — ещё когда-то будет. Важно получить реальную власть сегодня и укрепиться кадетскому правительству,— а там Учредительное может и не понадобиться.

Не возникало никаких страшных пунктов, и так это приятно поразило Милюкова, что он не выдержал и сказал:

— Ну что ж, условия ваши пока в общем приемлемы и могут лечь в основу соглашения. Я слушаю вас и между прочим думаю: как далеко вперёд шагнуло наше рабочее движение со времени 1905 года.

В его памяти ещё не загасли те невыносимые наглые левые, хотя бы в Союзе союзов, с которыми из рук вон невозможно было разговаривать. Но и — нарочно он это сказал, чтобы польстить им и смягчить их. Ведь всякие переговоры и сговор есть не только взаимная борьба, но и взаимная поддержка. На Петроград идут войска, защищаться некем, третий день нет никакой власти,— обе стороны находятся в положении рискованном. Надо укатать поскорей переговоры к успеху. Надо скорее получить власть, и притом не дать подорвать армию да и монархию как принцип — тоже, для удобства переходного периода.

Милюков начинал себя чувствовать всё лучше. Правда, Гиммер оставался ему несимпатичным, но Нахамкис-Стеклов — просто располагал к себе, какая положительная личность, он вероятно выдвинется среди социалистических вождей. Милюков старался быть предельно любезным с ним. Наконец, он

запросто попросил Нахамкиса передать ему этот листок пунктов — чтобы видеть своими глазами и для обработки.

Тот ещё сам почитал, потом отдал. Милюков положил рядом чистый лист, переписывал пункты себе и продолжал обсуждать.

Как ему показалось, он выспорил этот пункт — о непредрешении образа правления, ему дали вычеркнуть его. Стало пунктов не девять, а восемь. А чтобы не менять нумерации — сюда, на почётное третье место переставили с конца отмену всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений,— да это просто музыка, а не переговоры! — этот пункт Совет рабочих депутатов мог бы и не выдвигать, кадеты и сами называли его всегда прежде всех остальных.

Не стал оспаривать и пункт о замене государственной полиции, подчинённой центральной власти,— рассредоточенною народной милицией с выборным начальством: конечно, в каком-то смысле это временное разрушение охранной системы страны, но это уже и происходит стихийно: полицию уже преследуют и разгоняют, а с другой стороны это же прямо из старой программы освобожденцев и кадетов 1905 года: чтобы в руках правительства не было централизованной силы против народа. Постепенно уладится и разумная охрана. В конце концов ведь мы все, мы все из одной и той же интеллигенции.

И пункт о выборах городских самоуправлений — это уж легче всего; иначе и быть не может.

Это удивительно и так приятно, что между ними не столько спора, сколько согласия. И выступило Милюкову, не ошибку ли дал в своё время, создавая Прогрессивный блок направо, вместо Левого блока.

Был ещё пункт, имеющий частное, временное, совсем не государственное значение, но, видимо, важный для Совета депутатов, зависящего от своих солдат: не выводить из Петрограда и не разоружать воинские части, находившиеся тут в момент революции. Немного странно, конечно: что ж, для этих запасных война уже и кончилась? Конечно, тут petitio principii, можно оспаривать, но реально в данный момент с этой распущенной солдатской массой и действительно ничего нельзя поделать, так что легко этот пункт и принять, тем более что он поставлен как бы условием передачи власти. Да и самим министрам как же оказаться без гарнизона перед лицом царской контрреволюции?

Однако замыкался список пунктов — бомбой: самоуправлением армии! выборностью офицерства! И это в разгар войны! Такое сумасшедшее требование не могут выдвигать нормальные люди. Очевидно, делегаты Совета не подумали хорошо и не понимали всего значения.

Но они — настаивали непримиримо!

Вот как? Уж Милюков доказывал им, что выборного офицерства ещё не бывало никогда в мире.

А Нахамкис брался доказывать, что только та армия сильна, где офицер пользуется доверием солдат.

— Да ведь вы же сами сказали, что печатаете воззвание к солдатам! — напомнил он Гиммеру.

А тот — как не понял связи.

Керенский по-прежнему мрачно не участвовал в дискуссии, а тут — вообще ускочил.

Чхеидзе дремал в беспомощности.

Соколов как ушёл, не возвращался.

А эти два социалиста — сомкнулись на своём.

Думцы отвалились. Владимир Львов отдал всё одному взрыву, больше не взрывался. Шульгин очнулся, взбрыкнул, что от выборного офицерства всё окончательно развалится, и снова впал в прострацию.

Шёл третий час ночи. Уже никто не мог выдержать. Но Милюков знал про себя, что выдержит и пересилит. Ничего лучше он в мире не умел, чем вот это медленное перетирание собеседников. Он знал это искусство: вдруг покинуть основное место разногласий и начать перетирать, перетирать челюстями какое-нибудь побочное второважное место,— но оттуда пережёв постепенно вернётся на главное. А ещё в запасе у него было искусство находить примиряющие словесные формулы, которые дают удовлетворение оппоненту, а себе открывают свободную линию действия.

Милюков уже заметил, как плохо и повторительно составлен список Совета: пункт о гражданских правах народа, распространённый на армию, и пункт о самоуправлении армии — в разных местах и в общем друг друга повторяют. Он принялся за первый и настаивал, настаивал, пока добился переписать, что на военнослужащих политические свободы распространяются, но в пределах, допускаемых военно-техническими условиями. Тем самым и пункт о самоуправлении армии начал уже обкусываться с краёв. А если обкусывать его дальше, то и он принимал форму, уже приемлемую: при сохранении строгой воинской дисциплины в строю и при несении военной службы...

Умно спорил и Гиммер. Он не говорил, что это — они, вожди Совета, придумали и настаивают так. Но что таковы крайние требования масс: солдаты потерпят офицеров только выборных, а Совет как может умеряет и сдерживает в рациональных рамках. Но если вовсе пренебречь требованиями масс, то размах движения сметёт и все правительственные комбинации. И напоминал:

— Не забывайте: реальные силы — только у нас. Стихию можем сдержать только мы!

(Он уже заметил, что цензовые этому верят, здесь это сильный конёк, и нажимал. Они-то с Нахамкисом знали, что „Приказ № 1" уже пошёл в печать, и отступать некуда.)

Да, Милюков это уже понимал: что без Совета массами не управить. И не отразить внешней контрреволюции. Но как будто не слыша этих угроз о стихии, не продрогнув ни ухом ни глазом, а сам напоминая им об опасности генерала Иванова, он методически откусывал и откусывал с краёв. Ему говорили, что требования и так уж минимальны,— а он их откусывал.

И как только выборность офицерства откусил и, как ему казалось, об образе правления пункт выигран, он, по высшим правилам переговоров, в ту же минуту неутомимо и неожиданно пошёл и сам в наступление:

— Это — ваши требования к нам. Но: и мы имеем к вам свои.

Так, так! — подумал Гиммер про себя. Сейчас их свяжут обязательством поддерживать новое правительство — и так скуют всю инициативу Совета и загубят демократию.

Не совсем так, но в этом роде. До того напугала цензовиков солдатская анархия, что все мысли их были про солдатскую анархию. Милюков, действительно, просил о встречной декларации Совета, которая должна быть напечатана одновременно с декларацией правительства, принявшего пункты Совета, а Совет пусть подтвердит, что правительство образовалось с его согласия и должно быть законно в глазах масс.

Кажется, ещё шаг — и участие в правительстве?

Нет, прямого соучастия Совета Милюков не запрашивал, а просил: ещё заявления о доверии к офицерству. И осудить грабежи и врывания в частные квартиры.

Опять об этом? Мало того, чтоб не выбирать нового офицерства, но ещё и доверять старому? А оно — контрреволюционно? А оно — верно царскому режиму?..

Тем временем вернулся, ворвался Соколов, по-новому взволнованный. Он вот где, оказывается, пропадал: он узнал, что от Военной комиссии Думы готовится прокламация к войскам, и сейчас читал её корректуру. Так вот, там говорится: о так называемом „германском милитаризме", о „полной победе" и о „войне до конца"!.. Каково?

Это было возмутительно и коварно со стороны цензовых кругов — издавать такую прокламацию за спиною Совета! (У Соколова однако хватило ума не высказывать, какой они сами подготовили „Приказ № 1".) Это было по крайней мере непорядочно с их стороны: Совет тактично обошёл в переговорах вопрос продолжения войны — а цензовые круги лезли на рожон! Совет принёс тяжёлую жертву, поставил себя под удар европейского демократического мнения,— а что же делали думцы?!

Правда, это делал — Гучков, которого здесь не было. Милюков — сразу

и не одобрил его бестактность. Милюков — ценил то соглашение, которое они почти уже достигли среди трупов спящих.

А кстати спросили советские: кто же такие правительство, персонально? Не очень сильно это депутатов Совета интересовало, ну а всё-таки? Например, Гучков — будет? Он вызывает большое недоверие.

Даже Милюков, его известный неприятель, должен был ответить: при своих организаторских способностях, при своих обширных связях в армии, Гучков в нынешней ситуации незаменим.

Посмеялись Терещенке. Но Милюков и сам косился, через какую щель этого Терещенку затолкнули.

Тут принесли и корректуру гучковской прокламации — огромными буквами, для расклейки на улицах. Пробежав её, Гиммер про себя нашёл, что, пожалуй, она и не страшна: вполне нормальное обращение к воюющей армии во время войны. Но — нельзя было спускать. И он заявил, что если думцы её не остановят — Совет остановит своею силой.

Упрямый Милюков в этот раз как будто и не упрямился. Он возвращался всё к тому же: надо составить встречную декларацию Совета.

А между тем членам будущего правительства надо было привести в порядок и оформить проработанные пункты.

Всё это могло завтра — то есть сегодня же утром, появиться в „Известиях" Совета.

Был четвёртый час ночи. Решили — на час разойтись для редактирования и снова сойтись. Уже ни у кого не было ни сил, ни соображения, и охотно оставили бы на завтра. Но, настаивал Милюков, откладывать ни в коем случае нельзя: у населения создастся впечатление, что правительство никак не может образоваться, какая-то есть роковая помеха.

Да без такого соглашения у обеих сторон не оставалось и выхода.

299

Тщательная красная бутоньерка, как готовят её из шёлка терпеливые пальцы мастериц, даже в эти сумасшедшие дни —

цветок или розочка, совершеннее природных,—

шесть? восемь? десять лепестков? — так строго-точно симметричных, такие одинаковые лепесточки с парными отворотами,—

медленно-медленно вращается вокруг оси, как любуясь сама собою или давая полюбоваться нам.

Но совершенство нигде не длительно, и мы видим бутоньерку уже только четырёхконечную, и не столь уже тщательную, кой-где неровно прихвачены края,

и вращается она тоже не совсем ровно, то медленнее, то быстрей, как будто мешает ей что-то.

Крупнее.

= Это — красный бант двуконечный, перехваченный чуть посредине, где пришпилен случайной поспешной булавкой, а в две стороны разлаписто,

нарочито-крупный бант, какой прикалывают рядом с орденами офицеры, примкнувшие к революции, чтобы видно было за квартал.

И — сдвинулся боком, и — и сдёрнулся боком,

нет, это он начал вертеться,

и быстрее, хотя всё различаем бант.

А в самом вращении он меняется, теряет форму —

крупнее

= да это большой рваный красный лоскут, отхваченный как попало, лохматый как огонь, приколотый где пришлось,

вокруг точки прикола вращается своими углами, отрывами, лохмами.

Во весь экран

шальное кружение,

и почему-то страшное.

300

Никогда генерал Рузский не чувствовал себя таким сильным и гордым, как после растянутых вечерне-ночных переговоров с царём. Он никогда бы и вообразить не мог, что посмеет так разговаривать с монархом. Неожиданный перевес своей силы, в глубине он знал немало поражений, превосходство иных других.

А гордым — потому, что Рузскому одному досталось в несколько часов выполнить десятилетнюю задачу всего русского образованного общества, что не удалось многим сессиям Думы, сотням призывов, петиций, резолюций,— в Рузский мог теперь поразить Родзянку и весь Петроград.

Со своим ограниченным здоровьем едва вынес всю эту уже ночную растяжку, и в аппаратной штаба фронта с удовольствием погрузился в глубокое кресло.

Он так устал, что и разговор вёл из откинутого кресла, от аппарата же к нему поддерживал ленту Данилов.

Была половина третьего ночи. Можно представить, насколько же в Петрограде сейчас нет ночей.

Что там вообще творится!..

Родзянко появился на том конце, аппарат простучал об этом.

Однако и смущала Рузского отмена уже назначенного приезда Председателя — да когда он был приглашён Государем. И чтобы верней понять соотношение лиц и предметностей, Рузский сперва попросил объяснить, почему Родзянко не приехал во Псков, как обещал.

Причём генерал хотел бы, с полной откровенностью, знать причину *истинную*.

Родзянко, с *откровенностью* же: первая причина — что посланные с Северного фронта войска взбунтовались в Луге, присоединились к Государственной Думе и решили не пропускать даже царские поезда, и Родзянко озабочен теперь открыть им путь.

Лента текла — и Рузский соображал, что это — бессвязно. Волнения в Луге — местного гарнизона, не посланных войск,— и очевидно направлены в пользу Думы, они не мешали Родзянке ехать. Нет, он не подготовился к ответу, скрывает что-то.

Но лента текла, и Рузский не возражал. Недостаток аппаратного разговора — не видишь лица собеседника. Преимущество — не видят и твоего.

А вторая причина: получил Председатель сведения, что его поездка во Псков могла бы повлечь нежелательные последствия.

Вот-вот, так — какие же?.. Что-то тут было, конечно, Рузский верно почувствовал!

— Невозможность остановить разбушевавшиеся в столице народные страсти без личного присутствия, так как до сих пор верят только мне и исполняют только мои приказания.

Ну, вот это уже было вполне понятно. Равномерно стучащий юз подавал только ленту с буквами, не было приспособления услышать и самого Родзянку — но кто его хоть однажды слышал и видел, тот почти и не нуждался в повторении. Выше слов своих вырастал этот гигант, наконец-то получивший силу соответственно своим возможностям.

Воображался этот бушующий Петроград — но и толстые руки Родзянки, удерживающие бразды.

Что ж, среди указанных причин не было отказа или передума и, значит, Рузский мог доложить свою великолепную новость.

— Государь император первоначально предполагал предложить вам составить министерство, ответственное перед Его Величеством. Но затем...

Неудобно прямо говорить: в результате бесед со мной. Но это и само станет понятно...

— Отпуская меня, Его Величество выразил окончательное решение и уполномочил меня довести до вашего сведения об этом: дать министерство, ответственное перед законодательными палатами, с поручением вам образовать кабинет!

Рузский воображал по ту сторону обалдело-радостное лицо Родзянки. А между прочим, никогда не забывается и тот первый, кто приносит радостную весть. И, уже несколько кокетничая:

— Если желание Его Величества найдёт в вас отклик, то спроектирован и манифест об этом, который я сейчас вам передам.

Свершилось.

Навёртывающаяся лента дальше от Данилова частями передавалась генерал-квартирмейстеру Болдыреву, а тот, не откладывая, готовил сжатое донесение в Ставку о разговоре.

Разговор безголосно протягивался при мерном постукивании.

Но лента от Родзянки что-то не несла ответной радости.

— Очевидно, Его Величество и вы не отдаёте себе отчёта в том, что здесь происходит. Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так-то легко.

Потом — как он два с половиной года предупреждал Государя о грозе. Как теперь, в самом начале движения, стушевались министры, не приняли никаких мер...

— ...И мало-помалу наступила такая анархия, что Государственной Думе вообще, а мне в частности оставалось только попытаться стать во главе движения, чтобы не погибло государство.

Ещё раз порадовался Рузский, что теперь не отвечал за Петроград.

— К сожалению, мне это далеко не удалось, народные страсти так разгорелись, что сдержать их вряд ли будет возможно. Войска не только не слушаются, но убивают своих офицеров. Ненависть к государыне императрице дошла до крайних пределов. Вынужден был во избежание кровопролития заключить всех министров в Петропавловскую крепость.

О-о-о, картина выходила далеко за рамки воображённого. Но энергично же справлялся Родзянко!

— Очень опасаюсь, что такая же участь постигнет и меня.

Как?? Не вмещалось в черепную коробку!! — Рузский заскрёб её пальцами, и непроёмчивый Данилов тоже заволновался. Каков же размах небывалой революции, если *единственного* человека,которому верят и чьи приказания исполняют,— вот-вот готовы бросить в Петропавловскую крепость!!!

А Родзянко двигал и двигал глыбы:

— Считаю нужным вас осведомить, что предлагаемое вами уже недостаточно и *династический вопрос поставлен ребром*. Сомневаюсь, чтобы возможно было с этим справиться.

Все усилия, вся победа Рузского и гордость его — были оттолкнуты в прах!..

Изнеможение его прошло, он приподнялся, сидел в кресле ровно.

— Ваши сообщения, Михаил Владимирович, действительно... Это прежде всего отразится на исходе войны... А надо её довести до конца, соответственного великой родине...

Не забывал генерал Рузский, что эту ленту не миновать ему завтра показать Государю, да может и Алексееву послать, выражаться генерал-адъютанту следовало очень осмотрительно. Но нельзя же было игнорировать и упустить того, что происходит в Петрограде. Там им — всё понятно, нам ещё нет. Между бездной оказаться изменником и бездной оказаться реакционером — как бы это выстелить неопасно, но допытчиво:

— Не можете ли вы мне сказать, в каком виде намечается решение династического вопроса?..

Нелегко и камергеру императорского двора:

— С болью в сердце буду вам отвечать. Ещё раз повторяю: ненависть к династии дошла до крайних пределов. Но весь народ, с кем бы я ни говорил, выходя к толпам, решил твёрдо довести войну до победного конца. Все войска становятся на сторону Думы, и грозное требование отречения в пользу сына, при регентстве Михаила Александровича, становится определённым. Со страшной болью передаю вам об этом, но что же делать? В то время, как народ проливал кровь,— правительство положительно издевалось над нами.

И опять — заклятые имена, Распутин, Штюрмер, Протопопов, стеснение горячего порыва, неприятие мер, розыски несуществовавшей тогда революции... Эти все знакомые повторения Рузский пропускал в пальцах и мимо глаз, он горел понять, как стоит вопрос с династией, чтоб не ошибиться ступить самому. Единственный человек, владеющий Петроградом, говорил: до крайних пределов...

— ...Тяжкий ответ перед Богом взяла на себя государыня императрица... А ещё присылка генерала Иванова только подлила масла в огонь и приведёт к междуусобному сражению,так как сдержать войска решительно никакой возможности... Кровью обливается сердце. Прекратите присылку войск, они не будут действовать против народа...

На крайности против императрицы Рузский не смел ответить ничего в печатаемой ленте. Он — о несомненном: нужно быстрое умиротворение родины, надо, чтоб анархия не распространилась на армию. Указанные ошибки не могут повториться в будущем. Предполагается ответственное министерство, подумайте о будущем. А войска в направлении Петрограда, Рузский рад разъяснить, были посланы не им, а по директиве из Ставки, но теперь уже отзываются:

— Иванову два часа тому назад Государь император дал указание не предпринимать ничего... Равным образом Государь император изволил выразить согласие, и уже послана телеграмма два часа тому назад, вернуть на фронт всё то, что было в пути.

Два часа назад — значит, это Рузский добился, понимайте! И — снова к своему главному достижению:

— Со стороны Его Величества принимаются какие только возможно меры... И желательно, чтобы почин Государя нашёл бы отзыв в сердцах тех, кои могут остановить пожар.

Безупречная лента генерал-адъютанта и главнокомандующего фронтом. Достаточно узнав для себя (и в новой прочной позиции по отношению к императору), удержался Рузский в позиции верноподданного, не дав ни сомнительной фразы.

А ещё — передал полный текст государева манифеста.

— Я, Михаил Владимирович, сегодня сделал всё, что подсказывало мне сердце. Приближается весна, мы обязаны сосредоточиться на подготовке к активным действиям.

И прикатило оттуда:

— Вы, Николай Владимирович, истерзали вконец моё и так истерзанное сердце. По тому позднему часу, в который мы ведём разговор, вы можете себе представить, какая на мне лежит огромная работа. Но повторяю вам, я сам вишу на волоске, и власть ускользает у меня из рук.

Вот это, всё-таки, никак не поддавалось воображению: Родзянке грозила Петропавловская крепость?

— ...Анархия достигает таких размеров, что я вынужден был сегодня ночью назначить Временное Правительство.

Ах вот оно что! Какие ходуны! Приберёг на конец! Да, конечно, зачем ему тогда ответственное министерство из рук царя, если он сам уже *назначил* правительство!.. В этом отдалении от столицы постоянно отстаёшь и попадаешь не в тон.

— ...Манифест запоздал, его надо было издать после моей первой телеграммы. Время упущено, и возврата нет. Повторяю, народные страсти разгорелись в области ненависти и негодования. Надеемся, что после воззвания Временного правительства крестьяне и все жители повезут хлеб, снаряды и другие предметы снаряжения.

А запасов хватит, так как об этом заботились именно общественные организации и Особые совещания.

— Молю Бога, чтоб Он дал удержаться хотя бы в пределах теперешнего расстройства умов и чувств, но боюсь, как бы не было ещё хуже. Желаю вам спокойной ночи, если только вообще в эти времена кто-либо может спать спокойно.

Не то что спать, но отойти от аппарата трудно было спокойно. Что значит „ещё хуже"? Генерала Рузского протронуло дурное предчувствие.

— Михаил Владимирович! Но имейте в виду, что всякий насильственный переворот не может пройти бесследно! Что если анархия перекинется в армию и начальники потеряют авторитет власти — что будет тогда с родиной нашей?

Этого они и оба, и даже отдалённо представить себе не могли.

И Рузский ещё убеждал, так жалко ему было расстаться с добытым: ведь цель всё равно — правительство, ответственное перед народом. Так если вот открыт к этому нормальный путь...?

Что-то пугался генерал этого отречения, неожиданно для себя.

Но Родзянко — нисколько. Родзянко там, в революционной стихии, уже с этой мыслью сжился:

— Не забудьте, что переворот может быть добровольный и вполне безболезненный для всех. И тогда всё кончится в несколько дней! Одно могу сказать: ни кровопролития, ни ненужных жертв не будет, я этого не допущу!

Эта уверенность властного человека начала передаваться и Рузскому. Если в несколько коротких дней и безо всякого кровопролития — отчего, правда, и не...?

Не светало ещё, но было уже скорее утро, когда они кончили свой медленно текущий аппаратный разговор.

Можно было ехать будить Государя и докладывать ему, что никакого примирения не будет, Председатель Государственной Думы намеревается свергнуть его — и, может быть, остановленные войска снова послать на Петроград?

Никак. Даже мысль не повернулась — доложить такое Государю. (Да ведь он же и почивает.) Даже ни в чём не сказав Родзянке „да" — генерал-адъютант Рузский уже как бы вступил с ним в сговор. Он уже был задет и увлечён новым оборотом.

Кому нужно было немедленно обо всём донести — это Алексееву.

А там посмотрим.

Ставка и так уже волновалась, теряя приличие. Всё просили ориентировать их почаще, что будет важное.

Велел передать: распоряжением Государя манифест об ответственном министерстве должен быть опубликован.

И — конспект своего разговора с Родзянкой.

В четыре часа отправился спать.

301

И от сегодняшнего ночного разговора, как и от вчерашнего, снова был Родзянко вскрылён. Опять удача! Опять успех!

По полукружным коридорам Штаба он нёсся легко, как будто тело его громадное не весило и закручивал его лёгкий ветерок.

Двойной успех! Тройной успех!

Так верно: именно его назначал Государь, именно на него возлагал формировать ответственное министерство!

Немного поздно.

Немного поздно, но всё равно почётно, и признание заслуг. Манифест, который он нёс теперь в скрученной ленте,— не мог не польстить!

Немного поздно.

А может быть — взять да ещё и принять?

Милюкову и всем интриганам — утереть нос?

Но уже сказал: я назначил временное правительство. Значит, сам не вошёл.

Да и действительно его составляют.

Потом: Родзянко убедился, что окончательно остановлены все войска! И остановлен Иванов, под самой уже столицей!

— Это — его личная победа! В два ночных разговора Родзянко спас свободолюбивый Петроград!

Хорошо выразился Рузскому: что петроградские войска сдержать нельзя, так рвутся в бой на Иванова! (А нету — ни одной боеспособной роты.)

Вообще, кое-где он невольно преувеличил — и о крайних пределах ненависти к династии. Но хотелось ярче передать Рузскому, какая ужасная тут обстановка.

Печатать ли теперь манифест? Так и сказал под конец Рузскому:

— Я, право, не знаю, как вам ответить. Всё зависит от событий, которые летят с головокружительной быстротой.

Право, не знаю.

Немного поздно.

Ах, зачем вы так медлили, Государь?

Уже ничем таким — не насытить мятежа.

Увы, неизбежно — отречение.

Но почему-то оно и не пугает. Да легко пройдёт. Быстрая замена на регентство Михаила.

А кровопролития, а жертв, а беспорядков — Председатель не допустит. Защитник народный. Надежда народная.

Боже, помоги России!

302

Соврали думцам на переговорах, будто в Совете составлено и печатается успокоительное воззвание к солдатам. На самом деле печатается воззвание возбудительное, „Приказ № 1", и через несколько часов, свежеотпечатанный, в полмиллионе экземпляров он потечёт по столице, принесут его и сюда, в здание Думы, и тогда вся ночная работа переговоров может разрушиться. Сейчас же обстановка была благоприятна, вот остановили патриотическое воззвание Гучкова,— и надо спешить закончить и закрепить результаты переговоров. А чтоб их совсем не сорвать, придётся пойти на такую уступку: из „Приказа № 1" успеть выбросить пункт о выборности офицеров — раз уж уступили на переговорах. И Нахамкис пошёл звонить Гольденбергу.

А Гиммер уселся в проходной комнате думского крыла, в уголке, и несмотря на шатанье и разговоры тут разных штатских и военных, с листом бумаги и мусоля во рту карандаш, спешил набросать декларацию Совета, которую с них требовал Милюков. И даже уже написал что-то:

„Товарищи и граждане! (Некоторые выражались „товарищи граждане!", не определилось ещё, как правильно.) Приближается полная победа русского народа над старой властью. Но для этой победы нужны ещё громадные усилия, нужна исключительная выдержка и твёрдость. (Именно так, вероятно, нужно разговаривать с массами: сперва их приободрить, а потом тут же и подтянуть.) Нельзя допускать разъединения и анархии. Нельзя допускать бесчинств, грабежей, врывания в частные квартиры..."

Ещё несколько слов он проковылял неоточенным карандашом, но вдруг почувствовал полнейшее истощение мозга — и от пустоты желудка, и от бессонья, и от перенесенного спора,— даже его неиссякаемые силы иссякли.

А тут вошёл Керенский, уже пободрей и порадостней, и опять привязался, что вот предлагают ему портфель министра юстиции, и как же ему быть — принимать или не принимать? За своей личной министерской проблемой он совсем утерял все революционные принципы и соображения. Гиммер смотрел на него с упрёком. Да и не в рекомендации он нуждался, он явно решил пост брать, но волновался, как отнесутся товарищи по Совету депутатов.

Нет, декларацию писать Гиммер был не в силах, несмотря на всю необходимость, и сунув начатое в карман, он пошёл на советскую сторону, может быть сочинят там вместе.

В Екатерининском зале спало гораздо меньше солдат, чем в предыдущие ночи: уже не опасались спать в казармах, разошлись.

В пустом коридоре увидел Гиммер навстречу себе Гучкова в шубе — ага, шёл к своим цензовым коллегам. Гучков Гиммера не знал конечно, ни в лицо, ни по имени, но Гучкова-то знала вся Россия. Можно было молча мимо пройти, но захотелось зацепить:

— Александр Иванович! Ваше, Военной комиссии, воззвание к армии мы вынуждены были остановить. Оно наполнено такими воинственными тонами, которые не соответствуют революционной конъюнктуре.

Гучков был глубоко мрачен и сперва, кажется, даже вообще не заметил, что кто-то встречный мимо шёл. Услышал слова, остановился, отвлечённым взглядом посмотрел. То ли понял сказанное, а то ли даже и не понял, рассмотрел встречного или скорей не рассмотрел, не спросил ни кто он, ни — кто это „мы",— шевельнул губами странно, ничего не произнёс, пошёл дальше.

Разговор, увы, не состоялся. Гиммер с неприязнью проводил Гучкова в спину: вот из таких-то бар и надо дух вышибать, в этом и революция. А они — ещё к революции подцепляются.

Несмотря на 4 часа ночи неспящие находились везде. И в большой комнате Совета кто спал, а несколько человек сидели разговаривали, и рассказчиком был Караулов — в казачьей форме, одной рукой подбочась, рассказывал явно о своих подвигах, но и в жестах и в словах чувствовалось, что он нетрезв. Новый комендант Петрограда, издававший целый день грозные приказы по городу, видно перехватил спиртного и сам.

А в комнате Исполнительного Комитета Нахамкис рассказывал эсеру Зензинову и меньшевику Цейтлину-Батурскому о том, как шли переговоры с думцами. А Соколова не было, он опять куда-то задевался. И Чхеидзе как провалился, никто его больше не видел.

Рассказывать — это хорошо, и поддержка лишних двух членов — хорошо, но надо из последних сил писать декларацию Совета,— подбивал Гиммер Нахамкиса. Но и тот что-то не брался.

Вдруг вбежал молодой эсер Флеккель, потрясая ещё какими-то бумажками и с возмущением крича о новой провокации.

Что ещё такое? Это была ещё новая прокламация, уже отпечатанная и подписанная межрайонцами и несуществующим петербургским комитетом эсеров, который представлялся одним Александровичем. Уже была вчера их совместная листовка о рабочем правительстве — а теперь эта. Да её уже видели сегодня вечером на ИК, ходила по рукам, никто ничего не возразил, классово приемлема. Однако теперь, новыми глазами?..

Да-а-а, пожалуй, с этим воззванием не явишься в думскую комнату. Оно написано в пугачёвских тонах — не только против самодержавия, но против дворян, что они бесились, высасывая народную кровь, против казны, монастырей, затем и против офицеров, романовской шайки, призывая их не признавать, не доверять, гнать, только не прямо, что уничтожать.

И где ж эта листовка? Уже расходится по городу, а здесь в Таврическом — кипы их на складе большевиков. У большевиков с межрайонцами — всё время взаимная поддержка, и это осложняет дело.

Действительно неудовлетворительна — и по погромно-техническим причинам и ещё более потому, что в самый ответственный момент расстраивается контакт с думскими кругами. Они там ждут успокоительной листовки, а получат „Приказ № 1",— а ещё раньше вот эту, хуже.

Кто был, четверо-пятеро из Исполнительного Комитета, начали совещаться. Вопрос был очень сложный. Остановить листовку ещё удастся ли, ещё успеют ли, но и принципиально: это будет наложение запрета на свободное слово социалистической группы — имеют ли они на это право? (Другое дело шовинистическая листовка Гучкова.) А с другой стороны и распространение этой листовки по городу сейчас действительно взрывоопасно, ещё поддать огня такому настроению, и сам Совет полетит вверх дном, а уж нового правительства, конечно, никакого не создать. Разумеется, неприятно было им, нескольким тут, брать на себя всю ответственность и ссориться с межрайонцами и большевиками, конечно лучше бы подождать дневного заседания,— но ждать нельзя, это сейчас утром уже полетит по городу. Днём на заседании можно будет поставить во всей полноте вопрос: насколько же имеет право каждая партийная фракция действовать без ведома Совета. Но сейчас...?

Решились бы они или нет, но тут, к счастью, влетел как буря Керенский. Недавнего изнеможения и равнодушия не было в нём и следа, он просто кидался по комнате, кидался на каждого с яростью. Ярость была об этом самом

листке, он только что его прочёл, и обвинял Кротовского и Александровича в провокации, в наследовании царской охранке,— а когда ему стали возражать, что нельзя так резко о партийных товарищах, о своих же революционных демократах,— он стал нападать и на членов Исполнительного Комитета, обвиняя их в пособничестве.

— А что вы скажете сейчас на переговорах? С каким лицом придёте писать декларацию об успокоении?

Своей ругнёй Керенский поддал им мужества: рискнуть пока остановить до дневного заседания.

Да тюки-то с листовкой были сгружены тут, через комнату, совсем близко. Гиммер, как всегда самый быстрый в заскоке, отправился на разведку, посмотреть, какие там у большевиков и межрайонцев силы.

А оказалось — там оставили сидеть одного Молотова, мешковатого растяпу. На этого Гиммер смело стал наскакивать, тот сперва возражал, но потом потерялся и уступил тюки без скандала.

Флеккель с помощниками тут же их захватили и унесли под арест.

Распространилось пока мало, захватили в последний час.

Фу-у-уф, перевёл Гиммер дух от этой беды,— а спать, а есть ему никто не предлагал,— и вспомнил, что час перерыва кончается, а декларация так и не написана. Соколова всё не было. Решили с Нахамкисом идти с начатыми строчками на думскую половину и там уже кончать.

А там в коридоре встретили опять Керенского. Хотел его Гиммер порадовать, как хорошо кончилось с листовкой межрайонцев, но Керенский был ещё в новой ипостаси: не метался бешено, но уныл, ломая пальцы.

Он сообщил, что соглашение с цензовиками тем временем сорвано, всё испортил Соколов: он всё это время где-то писал и принёс Милюкову декларацию, и она призывала не то что к примирению, но была против офицеров погромная.

Гиммер с Нахамкисом рванулись выручать — Керенский схватил их обоих за руки и, опять зажигаясь, выговаривал, что так вести дела нельзя, каждый сам по себе, каждая партия сама по себе, никакого твёрдого руководства, а солдатчина отовсюду прёт — и нет сил её удержать. Вот сейчас начнётся утро — и повалят новые толпы, и депутации и делегации, неизвестно зачем, только связать руки, не давать работать. А там, по периферии, будут разливаться погромы, убийства, и придёт конец всякой революции.

Нахамкис успокаивал его, не впадать в панику, на самом деле не так страшно, и от Совета власть не вырвется. Не вырвется!

Пошли дальше без Керенского, встретили Соколова. Он шёл к ним и был смущён. Он думал обрадовать всех своей декларацией, а на самом деле перепугал. Но он так же легко отказывался, как и взялся писать.

Где-то в промежуточной комнате стали читать его декларацию и от души посмеялись. Она была полна беспощадным бичеванием офицерства — какие они мерзавцы, крепостники, реакционеры, приспешники старого режима, гасители свободы,— весьма верная социальная физиономия! А в конце коротко добавлялось, что тем не менее убивать их не надо.

Думцы, конечно, взорвались от гнева — но, если разобраться, по сути Соколов был прав: разве поймёт нас революционная армия, если мы уклонимся от квалификации социального значения офицерства?

Однако, что же всё-таки делать?

А теперь Милюков — сам пишет! — доложил Соколов.

Как? Милюков пишет декларацию Совета? Ну, это умилительно, это надо посмотреть. Пошли, у меня тоже несколько фраз есть, а больше голова не работает уже.

— Милюков тоже говорит, что уже голова не работает, скоро будет светать, отложим на завтра.

303

Гучков, хоть и в штатской меховой шубе, вошёл в думский кабинет поступью полководца. Здесь были все распростёртые или размяклые, осовелые,

самый выносливый Милюков и тот уже сильно одурел за столиком, все были без воздуха, вялые,— Гучков свежий, с мороза.

Невысокий, коренастый, остановился вскоре после двери на пустом пространстве, протёр запотевшее пенсне, осмотрел, кого здесь *нет* (из думского комитета не было, к счастью, ни вертуна Керенского, ни селёдки Чхеидзе), и спросил, довольно грозно,— всех вообще, но главным образом своего извечного врага, бодрствующего Милюкова:

— Что ж, отдаёте армию на разбой, на разлом? И сами думаете удержаться? Да полетите вверх тормашками! Сколько уже уступок вы дали по армии? Что ж это будет за правительство? — игрушка совета рабочих депутатов? Я в таком правительстве участвовать отказываюсь!

(Он и правда готов был отказаться, предпочитая стать членом регентского совета, а потом президентом России.)

Несмутимый Милюков опешил: он понял так, что Гучков говорит об их достигнутом соглашении с Советом, и поразился, откуда Гучков, ещё не раздевшись, едва вступя в Таврический, уже всё знал? Но и не мог Милюков сшибиться внезапным толчком со своей отстоенной за вечер позиции, он гордился проведенными переговорами и что держал Совет в примирительном настроении:

— Вы, Александр Иваныч, подвергаете нашу позицию — детрактации. А мы армию отдать никак не думаем. Напротив, пункты об армии сформулированы весьма удовлетворительно для нас.

Гучков (шапка в руке, а сам в шубе) схмурил брови над пенсне:

— Какие ещё пункты?

И тут выяснилось: он — о своём запрещённом воззвании к армии,— запрещённом? Чьею властью? Совета?

А Милюков и думать забыл об этом воззвании, он уступил его как малозначное, стоило ли портить отношения с Советом по второстепенному вопросу, когда достигалось такое важное общее соглашение!

Соглашение?! Где оно?

Гучков резким движением сбросил шубу на пустой стол, а сам быстро сел через стол против Милюкова. Он вёл себя энергично по-дневному, а не как в 4 часа ночи.

Как раз на тот стул он сел, где сидел перед этим Нахамкис, барственно улыбаясь на возражения кадетского лидера.

И новой оппозицией через стол Гучков представил Милюкову его достигнутый проект в новом и неприглядном свете.

Он хотел прочесть своими глазами, но это были малоразборчивые наброски Милюкова, списанные с бумажки советских, и пришлось читать Павлу Николаевичу вслух.

И когда он стал читать перед напряжённым требовательным постоянным своим противником, то даже и „военно-технические условия" уже не показались ему самому таким достижительным ограничением политических свобод военнослужащих.

Ненадёжным показалось выборное начальство милиции.

Сковывающим — невывод из Петрограда революционных частей.

И совсем непонятно, как будут солдаты неограниченно пользоваться всеми общественными правами.

А как же это представилось Гучкову? Да он еле скрывал отвращение.

Милюков ощутил себя в крайней досадности: именно вместе с Гучковым, а не с кем-нибудь, увидеть слабые стороны своего проекта.

Сколько ж они сталкивались в жизни — товарищи по университету, потом навсегда разделённые. Сколько спорили, начиная с польского вопроса в Девятьсот Пятом! И когда Витте звал их в кабинет. И когда создавали две соперничающие партии кадетов и октябристов. И состязания в третьей Думе. Вечный его соперник, вечная преграда на его пути — перед ним одним Милюков тайно робел. Когда-то уже и дуэль между ними была назначена, и Павел Николаевич в самых мрачных предчувствиях уже напевал арию Ленского — да удалось отделаться оправдательным объяснением. И диаметральные позиции вокруг деятельности и смерти Столыпина. Всегда как-то так выдвигала

и ставила их судьба — друг против друга, на виду всего русского общества, что не оставалось простора для нейтральности, для равнодушия, а всегда надо было соперничать.

И в этом соперничестве Милюков знал за собой устойчивость, терпение, методичность, прочную связь с западными симпатиями,— а Гучков накатывался и откатывался каким-то диким славянским шаром, то с думской трибуны в Монголию, то назад, мстителем за Столыпина, то позорным провалом на выборах в 4-ю Думу, то отъявленным мятежом октябристов против правительства. И в этих непредвиденных диких накатах столько было силы, что он чуть с ног не сбивал крепконогого Милюкова. Так вчера днём неудержимо вкатился он в думский Комитет несостоящим четырнадцатым членом, в формируемое правительство — военным министром, забрал в руки Военную комиссию,— и вот ворвался аннулировать соглашение. На изматывающих переговорах его не было, Милюков должен был опинаться один против трёх советских,— а сейчас Гучков ломился всё опрокинуть и развалить.

Именно так! Он повысил глухой голос, будя неразумных дремлющих, и со всею горечью недоспоренных разногласий, резкие морщины у глаз, выкладывал теперь оробевшему Милюкову, что это — чёрт знает что, а не соглашение! Если Совета так бояться, то они конечно вырастут в силу! Надо их теснить, пока не стали силой. Сколько же можно уступать им? саму армию! что ж остаётся опорой правительства?!

Да, Гучков был всегда в движении, но от этого не чувствовал себя оторванным от почвы, наоборот всюду и везде касаясь её и ощущая. А Милюков был — весь книжный, как бледно-зелёный неживой стебель.

А остальные в комнате летаргически дремали.

И соглашение — было сорвано. Во всяком случае — отложено на завтра, до следующих переговоров.

Да впрочем, те должны были ещё писать декларацию от имени Совета. Но вот принесенный проект Соколова оказался никуда не годен. Милюков, не стесняясь, взялся уже сам писать эту декларацию от имени Совета,— но благовидно было под этим отложить и переговоры на завтра.

Соколов ушёл недовольный. Других советских не было. Не возвращался Керенский, можно было по-прежнему говорить открыто,— и Гучков будил Шульгина, Шидловского и других:

— Господа! Положение ухудшается с каждой минутой. Анархия не только не успокаивается, но растёт. Можно ожидать сплошной резни офицеров! Совет распоясывается, таких соглашений заключать нельзя. А между тем на Петроград идут войска извне, которые нам нечем отражать. Нам надо немедленно, сейчас же вот тут, принять важное решение! Новое правительство нельзя основывать на песке. Надо совершить нечто крупное, что дало бы общий исход, произвело бы впечатление, спасло бы наше положение, спасло бы офицерство и — монархию!

Он сохранял перед ними, размякшими в бессонной духоте, всё преимущество бодрого, очень уверенного человека.

— Выйти из грозного положения с наименьшими потерями и даже с победой. Установить новый порядок, но без потрясений. Спасти монархию, даже утвердить её! — но ценой отречения Государя. Николаю всё равно уже не царствовать. Но очень важно, чтоб он не был свергнут насильственно, а добровольно отрёкся бы в пользу сына и брата. Именно по требованиям Совета вы видите, что надо спешить с отречением. Не дожидаться той, уже близкой, минуты, когда этот разъявленный революционный сброд сам начнёт искать выхода. Юридически — окончить революцию.

Отречение Государя! Кто об этом не думал, не шушукался. Но странно, в суматохе этих дней думский Комитет ни разу не сел обсудить это отдельно и серьёзно: смели́ прежнее правительство,— а царская власть существовала, никем ещё не отвергнутая (и почти никем уже не признаваемая). И всё не собрались — принципиально и технически этот вопрос решить! От встречи войск, от речей и приветствий члены думского Комитета уже переставали себя сознавать временными, самовыдвинутыми, а ещё и не видя подхода карающих войск, уже и менее считали нужными какие-либо переговоры с Верховной

властью. В воспалённом Таврическом новое и новое подкатывало как важное, а старая власть отодвигалась как *бывшая*. Все повторяли вокруг об опасности реакции, но уже и сами не верили в то. В головах уже поворачивалось, что власть — вся должна перейти к общественным деятелям, конечно, что Николай II должен уйти, но как-то ожидалось это подобно падению зрелого плода.

Они все, может быть, не думали, но Гучков только об этом и думал всё время. Это — забитый гвоздь был в его голове: император Николай II. Ещё сегодня днём было рано настаивать — ещё собирался Родзянко ехать за ответственным министерством. Но — не пустили, не поехал, упущено,— и вот с нынешних вечерних часов ничего не могло быть другого, как отречение, и каждый упускаемый час был невозвратен. Родзянко не поехал — и Гучков теперь требовал полномочий себе. Он — поедет!

С перевесом уверенности, энергии, он не сомневался, что сейчас получит от этих заспанных полномочие.

Милюков, смущённый разносом своего соглашения, жевал губы и не имел силы возражать.

А тут как раз возвратился от провода Родзянко, неузнаваемо весёлый. На его возврат, занятые бодрым проектом Гучкова, как-то мало обратили внимания. Его разговор с Рузским казался чем-то побочным, задерживающим. Родзянко доставал ленты разговора, хотел читать их,— не стали его слушать. Чтó узнал он новое, совсем новое от Рузского?

Манифест об ответственном министерстве!

Только фыркнули: поздно собрался царь.

Родзянко это и сам понимал. Но другая потрясающая новость: войска Иванова остановлены Государем.

А вот это — замечательно! Вот это великолепная новость!

Но! — если царь остановил карательные войска — то тем более ясно, что он слаб. И сознаёт это сам.

И значит — тем более прав Гучков, об отречении?

Родзянко сел в сторонке ещё одним слушателем.

Итак, Гучков предлагал немедленно уполномочить его ехать за отречением.

Всё-таки — жались. Всё-таки — слишком решительный шаг. Надо ли? так ли срочно? А прямые сношения с царём не опорочат ли их думский Комитет и зарождаемое правительство? Как это использует Совет рабочих депутатов?

Решительнейшие ораторы думской оппозиции, рассыпавшие в прах и пыль государственный строй,— вот не могли решиться на первопростое действие, без которого и смысла не имело всё остальное. Если правительство мы составляем вот тут сами, независимо...

Или важней казалось — кто какой портфель захватит?..

— Хорошо! — твёрдо объявил Гучков.— Если думский Комитет не имеет смелости меня уполномочить — я еду на свой страх и риск! Еду — как частное лицо. Просто — как русский человек, желающий дать Государю спасительный совет. Я — давно убеждён в необходимости этого шага, и я решил предпринять его во что бы то ни стало!

Давно — чтобы не сказать, что — раньше их всех и непреклонней их всех. И, конечно,— он был первый кандидат получить это отречение. Он — не просто делал какой-то очередной политический шаг,— он так ощущал, что приблизился к вершинному моменту своей жизни.

А это — уж совсем поворачивало дело: согласятся думцы, не согласятся,— Гучков ехал!

Да кому же и ехать? Кто же лучше связан и с армейскими генералами?

Но всё-таки: а Совет рабочих депутатов? Допустят ли они какие-либо наши переговоры с Государем? допустят ли посылку делегации? Разве Совет захочет мирного отречения, сохранения монархии?

Гучков принизил голос, по-боевому:

— Конечно — действовать только тайно. Ни в коем случае не ставить их в известность, никого не спрашивать. И Керенскому тут ни слова! Соглашением с Советом мы только свяжем себя и всё испортим. А поставим их перед совершившимся фактом! Чтобы через день Россия проснулась уже с молодым Государем! — и под этим знаменем быстро начнём собирать отпор против Совета и его банд. И пока Государь во Пскове — это недалеко, это быстро.

И псковский штаб — под сильным влиянием Думы. Это несравнимо лучше Ставки. Псков — отличное место. И пока Государь не уехал дальше. (И тайно сообщить Рузскому, чтобы задержал?..)

И видя, что всех встряхнул и Милюков тоже растерян:

— Господа, нечего больше и обсуждать. Я — еду! Кто-нибудь со мной ещё, второй?

И тут молодой Шульгин, уже давно вырванный из сна, всё более захваченный, зачарованный этим мужественным голосом, этим мужественным проектом, да ещё в обход и в обман ненавистного Совета депутатов, воскликнул звонко, восторженно ухватился:

— Господа — я поеду! Господа, разрешите! — Даже молодая просительность была в его голосе, как бы старшие не отказали. Он стоял на ногах и бодро поворачивался ко всем. Да возьмёт ли Гучков? — к нему.

Он оживился — пружинно. Он уже — нисколько не был усталым. Какое неповторимое историческое событие — присутствовать при отречении всероссийского императора, даже брать самому это отречение!

Можно бы удивиться, что вызвался такой отъявленный монархист? Но — некому удивляться, устали удивляться, устали запредельно.

Гучков не возражал: пусть так, неплохо.

Итак, им поручается? — привезти отречение? Временный Комитет Государственной Думы считает единственным выходом отречение? При наследнике регентом Михаил.

А сам текст отречения?

Ну куда ж в такую поздень, головы падают, отказывают.

Ну, составите по дороге.

А как же устроить поездку? Через Бубликова связаться с железнодорожниками.

Все — сваливались доспать. А Гучков с Шульгиным поехали на Сергиевскую к Гучкову.

Тёмные и безлюдные стояли улицы. Тот короткий предрассветный час, когда и Революция смаривалась.

304

Наступила ночь, но никто в казармах лужских кавалеристов и не думал ложиться спать.

После полуночи ротмистр Воронович решился действовать: построил свою команду и в третий раз взяв с неё обещание беспрекословно повиноваться, повёл строем по городу.

Обыватели все забились по квартирам, не высовывались. По главной улице разгуливали толпы солдат в весёло-погромном настроении. Но вид трёхсот вооружённых рослых гвардейцев в образцовом строю, взводные подсчитывали ногу и покрикивали, произвёл на гуляющих солдат огромное впечатление. Они останавливались, смотрели в расплохе. В иные окна стали высматривать обыватели.

По дороге Воронович расставлял кое-где караулы, а с двумя с половиной взводами достиг вокзала. Здесь он застал форменный содом. Буфет, залы всех трёх классов и даже никогда не открывавшиеся парадные „царские" комнаты были набиты солдатами. Большинство их были — новобранцы артиллерийского дивизиона, вооружённые винтовками, отобранными у кавалеристов. Стояли, сидели, лежали на полу, на стульях, на столах, даже на буфетной стойке. В парадных комнатах оркестр пожарной дружины, окружённый толпой, непрерывно играл марсельезу и, окончив, начинал тотчас снова.

От этих звуков по всему вокзалу разливался бессонный праздник.

Тут мотался и солдат-автомобилист в кожаной куртке, оказалось — член „военного комитета".

И ответил, может быть от себя самого:

— Мы получили вашу записку, ваше благородие, и очень благодарны.

Комитет просит вас вступить, хотя бы на время, в должность начальника гарнизона.

Он сказал, что ждётся в Лугу какой-то важный экстренный поезд из Петрограда с членами Государственной Думы, а тут такой беспорядок. Ротмистр — единственный здесь офицер, и на него надежда.

Воронович задумал, как очистить вокзал. Прежде всего он вывел на платформу оркестр пожарной дружины — и толпа солдат вся устремилась за ним. Тем самым парадные комнаты опустели, были заперты и к дверям приставили часовых.

Теперь ко всем на платформе ротмистр обратился с речью, что сейчас будут готовиться к торжественной встрече, и он просит желающих построиться в порядке, а остальных — отойти в сторону, не мешать.

Все — и оказались желающими. Но старослужащие построились быстро, а новобранцы только пытались: неумело волокли винтовку, тут же выходили из строя, присаживались на платформу, закуривали. Вместо оркестра заиграли гармоньи.

Тем временем на вокзал притягивались и обезоруженные кавалеристы, вот уже с командой Вороновича их становилось больше, чем новобранцев. И Воронович придумал: стал подавать команды, репетиции встречи, „слушай, на краул!". Вооружённые новобранцы растерялись, они не знали ни одного ружейного приёма.

Тогда он начал обучение, вызвал вперёд унтеров, затем и старослужащих солдат, показывать и выполнять приёмы.

Уставшие новобранцы охотно отдавали им свои винтовки и так оказались все разоруженными.

Теперь, когда все винтовки были у кавалеристов, Воронович предложил новобранцам идти домой и ложиться спать.

Они зашумели в протест, что теперь — свобода, и новобранцы должны пользоваться теми же правами, что и старослужащие.

Старослужащим это не понравилось, и они попросили у ротмистра дозволения погнать молодёжь в казармы.

И в сопровождении патрулей из кавалеристов новобранцы были отправлены.

Наконец, на вокзале установился порядок. Но как там караулы, оставленные в городе?

Тут выяснилось, что поезд из Петрограда отменён. Но хуже смятение: прибыл весь „военный комитет", и председатель его унтер Заплавский объявил Вороновичу, что получена телеграмма: сейчас в Лугу прибудет головной эшелон лейб-Бородинского полка, идущего на усмирение Петрограда. Так вот: как остановить бородинцев?

А в эшелоне, по сведениям, было 2000 человек и 8 пулемётов. А во всей Луге вооружённых солдат насчитается 1500, но не собрать на вокзал больше, чем их тут сейчас есть, триста-четыреста лучших. А к пулемётам нет лент. В бригаде, назначаемой во Францию, нет вообще ни одной пушки, ни винтовки, да они и к революции не присоединились, просто бродят. А в артиллерийском дивизионе все пушки учебные, ни одна для стрельбы не годится.

Одно из орудий и два бездействующих пулемёта, из озорства притащенные артиллеристами, стояли сейчас на платформе.

В эту тревожную ночь, сотрясённый переживаниями вечера, сохранял Воронович ясную голову. Задача была та же: отметно послужить революции. Голова работала. Нужна дерзость и дерзость. К военному комитету автомобилистов пристали, предложили свои услуги ещё два офицера — поручик и прапорщик. С ними и стал Воронович изобретать.

Это притащенное орудие будет их грозной артиллерией,— скорей, вручную, поставить его стволом вдоль подходящего эшелона, наискось.

Кавалеристов укрыли в вокзале и позади него.

Уже виден был ослепительный треугольник белых паровозных огней.

И всегда грозный в ночи, сейчас эшелон вступал особенно грозный, оттого что вёз сокрушительную силу.

Три офицера, разделясь по платформе и накачиваясь отвагой, пошли мимо подошедших вагонов и громким начальническим тоном кричали солдатам не выходить из вагонов, потому что поезд сейчас отправляется дальше.

Если бы бородинцы тут высыпали — то всё бы развалилось, тогда неизвестно, что делать. Но была такая глубокая ночь, к четырём часам, и никто из спящих не проявил намерения вылезать из теплушек.

Эти минуты военный комитет блокировал выход из офицерского вагона, но те тоже спали, не выходили.

Воронович с помощниками вернулись с обега поезда — и теперь уверенно пошли в офицерский вагон, за ними военный комитет.

Часовые у входа и у знамени видели, что входят офицеры, и пропустили беспрекословно.

Военный комитет забил проход. Офицеры нашли командира полка и предъявили ему ультиматум не от себя, но от Государственной Думы: весь 20-тысячный гарнизон Луги примкнул к Петрограду, и всякое сопротивление будет бесцельным кровопролитием. Здесь стоят орудия и откроют по эшелону огонь в упор. Предлагается полку сдать оружие.Оно будет возвращено полку во Псков, как только он туда вернётся.

Полковник лейб-бородинцев Седачёв возмутился.Но перед такою численностью и видимым контуром пушки согласился уступить превосходству силы.

Лужские офицеры тотчас попросили лейб-бородинских сдать револьверы — а холодное оружие можно сохранить. Эта уступка успокоила бородинских офицеров, и некоторые были готовы идти объяснять своим солдатам — сдать оружие.

(А тем временем подогнали маневренный паровоз к хвосту поезда, отцепили последний вагон с пулемётами и ручными гранатами, быстро угнали его в темноту.)

Солдаты отнеслись очень спокойно: ведь свои же офицеры пришли им объяснять. Стали сносить винтовки кучами на платформу.

Воронович вызвал своих, поставил у куч караулы.

Вот и всё. Эшелон был обезоружен.

Вот так побеждает революция! Она всегда имеет особенную хитрость против прежних установившихся правил. Воронович был горд, как это он всё сумел!

Солдаты ушли к себе в теплушки. Их паровоз поворачивали и перецепляли к хвосту.

Командиру полка предложили оставить тут малую группу сопровождения оружия на возврат, а остальным уезжать во Псков.

Вот-вот забрезжит, и увидят бородинцы единственную пушку без замка, два пулемёта без лент и никакой силы при вокзале.

ВСЯКОМУ ВОРУ — МНОГО ПРОСТОРУ

ВТОРОЕ МАРТА

ЧЕТВЕРГ

305

В начале четвёртого разбудили генерал-квартирмейстера Болдырева, вызвали в аппаратную. Всё было в табачном дыму. Рузский сидел в кресле изнеможённый, в расстёгнутом кителе. Коренастый, широколицый Данилов стоял у аппарата, сосредоточенно принимал ленту, читая вслух Главнокомандующему, или покашивался на телеграфиста, когда тот печатал с утомлённого голоса Рузского. Кивнул Болдыреву, что надо срочно составить для Ставки конспект переговора.

Болдырев взял первую часть ленты и пошёл с офицером в кабинет Данилова. Потом приносили и продолжение.

Сразу открылась историческая важность разговора, и миновала досада, что разбудили. Под погонами генерал-майора и аксельбантами генерального штаба Болдырев всею душой сочувствовал событиям, как и всякий развитой человек, и втайне хотел, чтоб они катились быстрей, грозней, неотвратимей. Его очень порадовало, что петроградские события превзошли их здешние представления, и даже ответственное министерство стало для революционного Петрограда уже ничто.

Но как ни сочувствуя, генерал-квартирмейстер постарался изложить разговор по возможности беспристрастно. Уже пришли Рузский и Данилов и при последних строчках наседали ему на пятки. Рузский захотел выкинуть всякие подробности по династическому вопросу, исправить и в главной ленте:

— Ещё подумают, что я был посредником между Родзянкой и царём.

И попросил рельефнее выразить в изложении то, что не совсем удалось в разговоре: что вот — посланные войска уже возвращаются на фронт, и желательно, чтобы почин Государя нашёл в столице отзыв у тех, кто может остановить пожар.

Острейший разговор о желательном отречении провёл Главнокомандующий так, что и ярые легитимисты не могли бы подковырнуть. Всё вполне оставалось на месте, а Петроград слишком много сразу хочет.

Застраховался.

Однако вот он вышел из разговора, отдалялся от него, и сейчас, не скованный записью на ленту, стал понимать ситуацию шире, чем час и полчаса назад.

Во вчерашней вечерней телеграмме Алексеева, где было нагорожено всех ужасов и гибелей, говорилось...

— А ну-ка, ну-ка, где этот текст?

Да, говорилось прямо об *опасности для династии*. Значит и в Ставке, независимо от Родзянки, тоже уже думали т а к? А Рузский в вечернем разговоре с Государем — как-то совсем этого не акцентировал, упустил, да просто не воспринял это реальностью. Но это — так?

— А какие ещё были ночные телеграммы о положении?

Рябоватый Болдырев с бородкой „буланже" готовно поднёс. Уже после полуночи принятую им от Клембовского: известно ли штабу Северного фронта о том, что и конвой Его Величества в полном составе прибыл в Думу и подчинился Комитету? И государыня императрица тоже как бы признаёт думский Комитет? И Кирилл Владимирович пожелал лично прибыть в Государственную Думу. И сколько арестовано министров и сановников.

Рузский внимательно прочёл, послушал ещё добавление Болдырева о Кирилле — и на его усталом болезненном лице глаза засверкали с задоринкой, и улыбка чуть тронула вялые губы.

И Болдырев охотно перенял улыбку.

В самом деле, несмотря на тяжёлую бессонную ночь какая-то веселоватая лёгкость овладевала ими.

Да что за Верховный? Разве не был для всех них троих Николай II — посредственный полковник, даже не кончавший Академии генерального штаба?

И Данилов уловил. И сказал:

— Да вот Ставка очень беспокоится о свободном движении литерных поездов.

Рузский вздохнул измученно:

— Ну, мне надо же поспать. Мне скоро на доклад к Государю.

Разошлись. Болдырев сел передавать свою сводку в Могилёв.

Затем — оговорку, что поскольку царский манифест об ответственном министерстве признан в Петрограде устарелым, а Государю о ночном разговоре будет доложено только часов в 10 утра,— было бы более осторожным не публиковать подписанного манифеста до дополнительного указания Его Величества.

И пошёл досыпать, был уже шестой час утра.

Но на первом же засыпе адъютант разбудил его. Срочно требовал приёма военный цензор.

На этот раз до того каменно не хотелось вставать, не хотелось одеваться,— так и пошёл к цензору в ночных чувяках и в шинели, накинутой прямо на бельё.

Не успел извиниться за свою одежду — стал извиняться цензор:

— Простите, ваше превосходительство! Но бывают случаи, когда и *простой солдат* вынужден потревожить генерала.

Он не без иронии это сказал. Он и военный чин имел не нижний, а в гражданской жизни был статским советником.

И от этой его шутки к Болдыреву вернулась та веселеющая лёгкость, прерванная забытьём. При таких событиях, право, грешно обижаться, что спать не дают.

А срочность цензора была та, что местная „Псковская жизнь", свежий номер был у него в руках, пользуясь отсутствием предварительной цензуры, вот напечатала все агентские телеграммы из Петрограда и все воззвания думского Комитета.

И как же теперь быть?

Этого прорыва известий, конечно, следовало ожидать: извергался рядом целый общественный вулкан — как же он мог не набросать в соседний Псков искр и пеплу? Уже и во Пскове возникли какие-то дикие слухи, что под Поганкиными палатами сидят 20 телефонистов и что-то передают, нето царю, нето Вильгельму. Но вот газета уже была отпечатана. Можно было запретить её, целиком всю. Или — всю оставить?

Но тогда революционные известия начинали победно и открыто ступать по России?

Застигла полная неопределённость. Вообще-то во Пскове все уже знали, что существует Временный Комитет Государственной Думы,— но не было официального признания его со стороны военных властей. А, вот, великий князь адмирал Кирилл — признал. И — императрица?..

Никакими предварительными распоряжениями случай не был предусмотрен. В Риге штаб 12-й армии Радко-Дмитриева своею властью запретил всякие новости из Петрограда. А как теперь штаб фронта?

Тем, что Главнокомандующий только что разговаривал с Родзянкой, думский Комитет уже как бы получил признание и Северного фронта. А так как разговор был с разрешения императора,— так и императора?.. И к тому же воспрещение печатания новостей неизбежно вызовет во Пскове общественное негодование против штаба фронта.

Болдырев сам склонялся, что несомненно надо разрешить. Но взять на себя дозволения не мог.

Оставил цензора ждать и пошёл будить Данилова.

Данилов тяжело кряхтел, мычал, никак не просыпался. Когда же сообразил остроту вопроса — и минуты не захотел рисковать сам, пошли вместе будить Рузского. Данилов тоже не одевался, окутался одеялом. И так сел на стуле подле кровати Главнокомандующего.

Рузский проснулся легко, но не поднялся из постели. Взял очки со столика, стал читать газету лёжа.

Уже вполне проснясь, перекинулись фразами, взглядами,— на выручку им подоспел уже найденный ими весёлый облегчающий тон. Небывало интересная газетка.

— От самого падения псковского веча такой не было! — сострил Болдырев.

И зачем же её давить?

И Главнокомандующий так понимал, они сходились.

— Только не надо и официального разрешения,— проурчал Данилов.— А просто как будто не знаем, не доглядели.

— Согласен,— подхватил Болдырев.— И тем не менее надо отважиться сообщить и в Ставку: не знали, но вот — узнали, и думаем... Пусть и они там в затылке почешут.

Понравилось. Данилов, знающий служака, понял это как защитную

загородку. Согласились. Рузский остался досыпать, уже наступал на него доклад у Государя.

Болдырев отпустил цензора, оделся — и пошёл помогать Данилову составлять телеграмму в Ставку. Уже и Данилов сидел за столом в кителе и в сапогах и сочинял.

Писали так, что главкосев не видит причин препятствовать распространению тех заявлений Временного Комитета Государственной Думы, которые клонятся к успокоению населения и к приливу продовольствия.

— Юрий Никифорович,— веселился Болдырев,— а к чему, например, клонится сообщение об аресте бывших министров?

— К приливу продовольствия,— гулко прохохотал Данилов, а Болдырев громче.

306

В эту перевозбуждённую короткую ночь и вовсе не спалось генералу Алексееву. Он лёг с камнем, что первый раз за всю свою воинскую службу принял самовольное решение огромной важности: остановил полки Западного фронта. Самое мучительное было в его положении даже не сложность необычных, как бы совсем не военных задач, осложнённых ознобом и смутой болезни, но то, что в такие часы он был покинут и присутствием Государя и даже телеграммами Государя — и должен был действовать самоуправно, не мог не действовать! Да всё бы он легко подсчитал, доложил и распорядился, был бы только над ним человек с решающим „да" или „нет".

Лежал он, не раздеваясь, и всё ждал, что придёт от Государя согласие на запрещённую им остановку полков Западного фронта.

Не приходило. Должно быть, лёг Государь спать.

И Иванова не нашли — а Иванов, не дай Бог, набедокурит.

И ходил Алексеев, шаркая сапогами, в аппаратную: может быть, есть телеграммы, да ему не донесли?

Нет, всё было недвижно: дежурные офицеры и телеграфисты на месте, а аппарат молчал.

Молчал и о самом главном: манифест об ответственном министерстве — подписал Государь? не подписал?

И опять ложился. И чиркал спичками из постели к своим выложенным на столик карманным часам. И было без четверти четыре — и всё не шли будить, не шли с известиями. А ведь с половины третьего Рузский разговаривал с Родзянкой — и что ж, до сих пор?

И было двадцать минут пятого — и не шли будить Алексеева.

Уж так ждал тихих шагов с легчайшим позваниванием.

И было без десяти пять — и никого. Тишина.

А потом наступила напряжённая бессвязица, и куда-то Алексеев не успевал, и шёл на карачках в отчаянии, и какие-то невиданные рожи выставлялись и говорили бессмысленные загадочные фразы, и все горько упрекали Алексеева. И наконец спасительно за плечо, за плечо — вытянул Алексеева из этого тяжёлого сна —

Лукомский. Со свечой.

Алексеев отряхнул голову, с облегчением от рож, и, ничего не спрашивая, зачем-то на свои часы.

Шесть часов ровно.

— О полках? — с надеждой спросил Алексеев.

— Всё здесь,— ответил Лукомский, протягивая скруток телеграфной ленты.

И Алексеев со сна взял его, как бы тут же в постели читать,— но пальцы, ещё неловкие, обронили скруток на одеяло солдатского сукна, хорошо что не дальше, скруток не стал далеко разворачиваться и путаться.

Спустил ноги, натянул сапоги. К столу.

Отдельно подал Лукомский телеграмму из Пскова, что Государь разрешает опубликовать манифест об ответственном министерстве.

И отдельно — совет штаба Северного фронта: воздержаться.

Читать много, Лукомский ушёл. Алексеев привычно-пригорбленно сел за стол, на плоскости которого протекала вся его жизнь, надел очки и стал терпеливо перекручивать ленту в пальцах.

Вот вкратце суть разговора Рузского и Родзянки. Эшелоны, высланные в Петроград, взбунтовались в Луге, присоединились к Государственной Думе...

Что такое? Взбунтовался не хилый лужский гарнизон? — а эшелоны? Какие?! Там мог быть только один Бородинский полк... И он — взбунтовался?? Ого-го... Тогда — на кого ж можно положиться? Ну конечно, да, эта игра с посылкой войск на свою же столицу не могла довести до доброго.

...Разбушевавшиеся народные страсти... В Петрограде верят пока только Родзянке и только его приказания исполняют...

Да, вот, посмеивались над ним, а он оказался мужественный, твёрдый человек и с властной силой над толпой, над анархией.

...Рузский передал Родзянке текст манифеста... Но в ответ: наступила одна из страшнейших революций, и даже Председателю Думы не удаётся... Ненависть к императрице дошла до крайних...

Это можно понять. Государыню императрицу и Алексеев сам терпеть не мог, кто её мог... Но что ж, общественное министерство, в таких муках добытое, отпадает, не появясь? Что же тогда?..

И лента отвечала страшно: династический вопрос поставлен ребром. Толпа и войска предъявляют требование о т р е ч е н и я!..

Похолодели руки, и опять развернулся скруток больше надобного. Пока распутал, подровнял... Затаённое в шопотах и тёмных углах, это слово прорезалось в служебную ленту Ставки! Мысль, может быть, и курилась во многих грудях,— но вот её выдуло сильным дыханием Родзянки.

...О т р е ч е н и я в пользу сына при регентстве Михаила Александровича.

А Родзянко — в гуще событий, ему видней. И при этом:

...Толпа и войска решили твёрдо войну довести до победного конца...

Так — разумная толпа. Разумные войска. Что мы обязаны спасти при всех обстоятельствах — это армию и победу.

...И требовал Родзянко: прекратить посылку войск на Петроград! И Рузский отвечал, что по Северному фронту уже сделано такое распоряжение.

Немного легче стало с собственным распоряжением Алексеева. Да! Воевать против своих тыловых городов — не достойно армии.

Но всё же хотелось бы получить подтверждение от Государя.

Лента была — вся. Подпись — Данилов, 5 часов 30 минут.

Но — та же больная смешанность расстилалась в голове. И та же тьма на улице, при лампе не видно рассвета.

И — что теперь делать? И — что решать?..

Да, военному присяжному человеку невозможно такую мысль к себе припустить. Дико-необычная, мятежная эта мысль у кого-то в грудях вылёживалась, вытепливалась,— а вот и прорвалась через Председателя Думы.

Военному человеку невозможно такую мысль... Но она и предложена не ему, а самому Государю.

Государю решать,— а что другое ему решить, если такое настроение двух столиц, и Кронштадта, и Гельсингфорса,— а Государь уже отказался от посылки войск?

Какие бы государственные сотрясения ни были нам суждены — задача в том, чтоб они произошли как можно глаже, не сотрясая фронта. Если уж изменениям неизбежно быть — то как можно глаже.

Боже, сохрани Россию!

Этот выход всегда остаётся у верующего человека, и Алексееву он очень был понятен и доступен: молиться. Он опустился на коврик перед иконой — и молился.

Просил Господа послать вразумление Государю, чтоб он принял наилучший спасительный выход. Сохранить державную силу нашей армии перед врагом. И рабу Михаилу послать облегчение, освобождение от неразрешимости.

Встал с колен — успокоенней, легче. Но — один, сам по себе, не мог он

дальше быть и думать. В прежние месяцы у него тут всегда был под рукой безответный согласный Пустовойтенко или ерошистый Борисов. Теперь разогнал их всех Гурко — да и что б ему сейчас Пустовойтенко, какая помощь. А с Лукомским хотя Алексеев и не сжился — вообще он был с новыми сотрудниками не сживчив, но в последних событиях они как будто единогласили.

Не пошёл по всему коридору к Лукомскому, пригласил его через ординарца.

А тот пришёл уже не сонный, а свежий, дневной, румяный, плотно здоровый, со своим единственным в русской армии орденом Владимира на георгиевской ленте (за мобилизацию), вид даже довольный, и даже глаза поблескивают. Как раз в здоровьи больше всего и нуждался сейчас изнеможённый Алексеев. Спросил с мучением:

— А что думаете вы, Александр Сергеич?

— Я? — уверенным плотным голосом отвечал Лукомский.— Тут, Михаил Васильевич, по-моему, и думать нечего. И никакого другого выхода быть не может. Раз так уже подошло — значит отречение!

Так прямо и сказал. И от этой его лёгкости куда легче стало и Алексееву. Передатчивая мысль! Никогда он такого не задумывал, никогда такого в себе не носил,— а вот уже эта мысль и усваивалась им. И виделась — спасительность её.

— И как можно идти на конфликт с общественными силами? — добавил Алексеев встречно.— Ведь Земгор, добровольные организации могут лишить нас всякого подвоза, всё в их руках.

— О конфликте — не может быть речи! — воскликнул Лукомский со своей комичной утвердительностью. Когда он хотел сказать особенно авторитетно, всегда получалось смешновато.— Конфликт уже отменён отзывом войск. Так и нет другого выхода, как миролюбивое соглашение. А у Государя — тем более выхода нет: ведь царская семья — в руках революционеров, что ж ему остаётся делать, ну посудите!

— А если начнётся междуусобная война,— кивнул Алексеев,— так Россия погибнет под ударами Германии.

— И погибнет династия! — воодушевлённо возглашал Лукомский.— Династию — всё равно он не спасёт. Так разумно уступить сейчас только своё место — и спасти династию!

Да. Получалось так, со всех сторон, удивительно кругло. Действительно, какой выход! — и лёгкий, и безболезненный, и быстрый, всего несколько часов, одна тихая подпись — и армия стоит, не трогается, и война продолжается как ни в чём не бывало, и Германия не выиграла ничего.

Но тогда, была следующая мысль Алексеева: что же делает Рузский? Начал ли он действовать? доложил ли Государю?

Уже нет сомнения, что и Рузский думает так же. как они. Но надо, чтоб он действовал. Надо ускорить события во Пскове. Государю тоже потребуется время привыкнуть к этой мысли.

Лукомский пошёл к аппарату — будить Данилова, будить Рузского, чтобы тот поскорее будил Государя и докладывал бы ему ночной разговор,— этикеты должны быть отброшены, нынешняя неопределённость положения хуже всего, и грозит армии анархией.

Так и передал от генерала Алексеева, что просит действовать безотлагательно. А потом, не имея такого поручения от наштаверха, но уже убеждённый в его согласии, напечатал Данилову:

— Это официально. А теперь прошу тебя доложить генералу Рузскому от меня: что по моему глубокому убеждению выбора нет, и отречение должно состояться.

А передаваясь от уст к устам, эта мысль незаметно крепла, Родзянко говорил только, что грозное требование отречения становится всё определённей, он не говорил еще, что непременно и неизбежно.

Но конечно неизбежно, передавал Лукомский: если царская семья уже в руках мятежных войск, царскосельский дворец занят ими, опасность грозит царским детям. И династия же погибнет при междуусобице.

— Мне больно это сказать, но другого выхода нет.

Подхваченная мысль Родзянки — сильнела, крепла, уже ревела.

Данилов, с той стороны, оберегал Рузского: не станет будить его, он лишь недавно лёг, и скоро ему вставать, доклад у Государя состоится в половине десятого. Да и выражал Данилов большое сомнение, можно ли такое решение вытянуть из Государя,— едва ли! Если даже ответственное министерство вытягивали до двух часов ночи. Время будет только тянуться и тянуться безнадёжно. А с другой стороны — нельзя и рассчитывать, чтобы Государь сохранился на месте.

Как всегда, к главному событию припутывались и другие. Тут же Данилов жаловался на посылку генерала Иванова, осложнившую всё положение. И сообщал, что Рузский распорядился по Северному фронту не задерживать извещений думского Комитета, которых потоки всё равно остановить нельзя,— да если они клонятся к сохранению спокойствия и приливу продовольствия.

Лукомский отправился с результатами к Алексееву.

Уже не раз замечал Лукомский за Алексеевым такую особенность: если возникало сразу несколько вопросов, то Алексеев кидался уладить сперва мелкие, он нуждался в упорядочении общей картины. Так и сейчас, прочтя ленту разговора, он ничего не добавил по дрожащему вопросу об отречении,— впрочем, от них сейчас ничего и не зависело. Но с большой тревогой и хлопотливостью отнесся к пропуску известий из Петрограда и к задержке Иванова,— впрочем, тут только и можно было действовать.

Насчет революционных известий лежала у них с ночи совсем противоположная телеграмма Эверта: весь этот поток задерживать! А Рузский теперь вот — всё пропускал. Надо было избрать линию.

В духе доброжелательности к думскому Комитету и если ожидать от Государя дальнейших уступок и даже отречения,— конечно, прав Рузский.

И велел Алексеев дать тотчас распоряжение на Западный фронт и на Юго-Западный: пропускать и разрешать к печати те заявления Комитета Государственной Думы, которые клонятся к успокоению, порядку и усилению подвоза продовольственных припасов.

А Иванов?.. Хотя Иванов подчинялся только Верховному Главнокомандующему, но по положению Полевого Управления войск начальник штаба в случае болезни Верховного управляет вооружёнными силами его именем (а в случае смерти и заступает его место). Нынешняя отлучка Верховного была как бы похожа на болезнь. И во всяком случае, если Иванов где-нибудь что-нибудь упустит или вступит в столкновение — Петроград, Дума и общество не простят этого именно Алексееву.

А Иванов — грозно исчез, без следа, не прислал ни одного донесения, неизвестно где находится — и может быть уже предпринимает непоправимое.

Но найти и остановить Иванова можно было только с помощью штаба Северного фронта. И Алексеев этим тотчас занялся, и собственноручно написал телеграмму Данилову: командировать офицера через Дно для установления связи с генералом Ивановым.

А Северный фронт не отвечал за действия Иванова — и не спешил выполнять, и даже выразил сомнение в полезности такого действия. Тогда Алексеев доедчиво распорядился послать вторичное распоряжение. Тогда Болдырев, оттягивая, запросил: а в чём должно выразиться поручение офицеру? А если он не сможет достичь генерала Иванова?

И тогда третий раз послали из Ставки: командировать офицера! и найти генерал-адъютанта Иванова. И получить от него все сведения о его намерениях и обстановке.

А ещё распорядился генерал Алексеев проверить странное сообщение Родзянки, что будто Луга захвачена отрядами посланных с фронта войск. Разве не взбунтовавшимся лужским гарнизоном?

Политические карьеры складываются не так, как жизнь ремесленника, учёного или писателя. У всех тех вид деятельности не меняется в начале и в конце жизни, идёт от

изделия к изделию, от книги к книге. Они могут быть более удачны или менее, принести своему автору деньги, славу или нет, но уже в юности видно, чем этот человек будет заниматься, как он будет называться: жестянщик, ботаник или поэт.

А вот рождение политических карьер, кроме несправедливой наследственной монархии, совершенно непредсказуемо. Не может сам мальчик заявить: „готовлюсь быть премьер-министром", ни в семье не могут сказать: „будем готовить из него депутата парламента, лидера оппозиции". Многие неведомо начинают даже совсем не с политического направления, а с какого-то смежного, постороннего,— но вдруг, загадочно, отчасти благоприятным стечением обстоятельств, а больше, конечно, личными качествами кандидата и его анутренней предназначенностью,— стёклышки судьбы калейдоскопически перекладываются — и человек почти внезапно (для других, не для себя) становится известным политическим деятелем.

Мальчик может расти в семье безудачливого архитектора; бывать свидетелем, как мать бросает в отца тарелки; вырасти безо всякой душевной связи с родителями, так что потом смерти отца почти не заметить, а с матерью не повидаться и не примириться. Школьное прозвище мальчика может быть „Кенгуру", он мало сойдётся с одноклассниками и даже будет фискалить на родного брата (с братом тоже чужд). Когда ему запрещают играть с детьми бедных соседей — он не играет, когда его сверстники лазят через забор трясти яблоневый сад — он благоразумно держится по эту сторону забора. Наш мальчик может писать в детстве стихи и охотно учиться на скрипке. На короткое время его даже может привлечь церковный обряд, и он без принуждения зачастит в церковь Иоанна Предтечи на Староконюшенном,— но, никем не поддержанный, вскоре и бросит, тем более что справку об исповеди и причастии, нужную гимназическому начальству, получить совсем легко: батюшке слушать грехи некогда, и он накроет епитрахилью в кредит. В гимназии нашего мальчика потянет классическая древность, он будет преуспевать в ней, хотя и кончит лишь с серебряною медалью. Неотразимее же всего на него подействуют ирония и сарказм Вольтера и помогут ему осмысленно-отрицательно отнестись к формальностям религии. Ещё и Спенсер увеличит его сомнения в традиционной религиозности. Жизнь интеллекта приподымет его над жизнью чувства, и юноша мало будет замечать соседствующие женские существа. На какое-то время он разделит и всеобщественное увлечение освобождением южных славян — и в турецкую войну побудет на Кавказе санитаром тылового госпиталя. Он — никак ещё не склоняется к политике, он, кажется, никак ещё не занимается политической деятельностью,— однако за речь на студенческой сходке в 22 года исключён на год из университета. Внутренне он просто рад, что при Александре III прекратилась политическая деятельность студенчества: она жестоко мешает заниматься научной работой. Усвоенная классическая и западная струя, однако, по мнению его руководителя профессора Ключевского, мешает нашему юноше проникнуться духом русской истории,— и остаться при университете по кафедре русской истории молодому человеку приходится вопреки своему учителю. За молодые годы не насыщенные сердечные волнения — так и засохли, почти не завязавшись, молодой человек женится по сходству свободолюбивых и скрипичных наклонностей, а затем в пору рождаются у него один сын и второй, мало замечаемые. При первых своих уроках в гимназии, при первых лекциях в университете молодой лектор волнуется, его лицо ещё вспыхивает густым румянцем,— потом это качество стирается. Все годы он очень много покупает книг по истории, и квартира его похожа на лавку букиниста. Ему — 35 лет, кажется навсегда установился регулятив его частного мира, и теперь всё будет варьироваться лишь в том, какие именно и насколько оригинальные исследования ему удадутся.

Но нет!

И в треть столетия мы могли не прозреть сами в себе наших политических амбиций. А стёклышки калейдоскопа ещё ведь даже не начинали складываться. Да будучи историком, как уберечься от сравнений, от оценок, от прогнозов, уже политических,— особенно перед такой политически жадной публикой, как русская интеллигенция в провинции (Нижний Новгород, выездные лекции). И начинается следствие, и только поднявши на ноги в защиту весь либеральный Петербург, удаётся получить для ссылки тихую, но губернскую Рязань,— а профессорские „Русские ведомости", самая умная и передовая газета России, теперь оценивает изгнанника, предлагает ему постоянное сотрудничество и фиксированный оклад. Мирные, счастливые два года рязанской ссылки.

А тем временем элементы судьбы цепляются друг за друга и перекладываются. Оконченное следствие угрожает годом тюрьмы, но разрешается выбрать вместо тюрьмы два года заграничной поездки. Разумеется так. А изгнание только начни (лекции в Софии, поездки по Балканам, за океан, лекции в Чикаго, в Бостоне, исследования в Англии) — и меняешься ты сам, и меняется повсюду взгляд на тебя: Соединённым Штатам ты открываешь глаза, что Россия — в кризисе, и даже назревает в ней катастрофа, что культура в ней примитивна, слабые стороны России неисчислимы, славянофильство умерло, идея национальная разложилась и не воскреснет. Также и с ан-

глийскими коллегами ты делишь этот взгляд: что русский путь только тем и отличается от европейского, что задержан.

Ты плывёшь в полюбившуюся Америку ещё раз и ещё раз, ты иногда возвращаешься и в Россию,— а здесь за время изгнания и отлучек ты, оказывается, приобрёл громкую славу политика, и уже никак тебе не стать прежним скромным профессором. Да уже и самому не замкнуться рядами коричневеющих книг, тебя уже слишком волнует общественная арена, на которую ты вышел, и ты уже ищешь себе точное название: в свободолюбивой устоявшейся Англии можно разрешить себе быть либералом — но в катастрофической России неизбежен радикализм. А ещё ты обнаруживаешь в себе качество, которым никак не владеют твои единомышленники и сподвижники: твою почти обречённость быть вождём. Где бы ты ни появлялся — почти без усилий выдвигаешься в первый ряд и на первое место, первый лектор, первый диспутант, первый организатор. Никогда не быв земцем — ты вдруг становишься идеологом революционно-преображённого земского движения. Никогда не быв революционером — заседаешь и с ними. (Да разве не революционному движению мы обязаны всеми важнейшими завоеваниями свободы?) Не кого другого, как тебя, первый съезд кадетской партии поднимает на стол с бокалом шампанского, ожидая чествования Манифеста 17 октября,— а ты выливаешь на слушателей ушат холодной воды: что не изменилось ничто, и война с правительством продолжается. И вот — ты из первых, кому Витте предлагает принять министерский пост. Ты — бессменный передовик кадетской „Речи". Ты — первый докладчик на кадетских съездах, и лишь административной уловкой лишён попасть в 1-ю Думу. Ты ещё никто в 1906 и 1907 году — а тебя снова и снова вовут на тайные переговоры о создании правительства,— и ты с превосходством объясняешь деятелям реакции: „Если я дам пятак — общество будет готово принять его за рубль. А вы предложите и рубль — его не примут за пятак."

И уже казалось: чудо — произошло! Непредвиденное — определилось! Стёклышки сами сложились если не в премьер-министра, то в министра иностранных дел! Но...

Но тем же неизъяснимым капризом истории помазок с блинным маслом, едва пройдя по губам,— исчезает, и нет ни сковородки, ни первого даже блина. Всё исчезает, и ни много ни мало — на полных десять лет.

В такие десять лет другой, случайный, непризванный, давно потеряет мужество, надежду, сойдёт с круга. Но тот, кто истинно рождён политиком, хотя б и узнал об этом в поздние годы, тот будет самыми малыми шагами, терпеливыми ногами переступать, перевязывать или перестаивать, не брезговать работою думских комиссий, скучнейшими темами речей, в соперничестве с коллегами по партии удержит и бразды лидерства в партии, и станет лидером Прогрессивного блока, и целой Думы,— и...

И снова может ничего не состояться! Уже подходит 60 лет, уже недалеко и возрастное слабение. Все твои усилия, все таланты, всё терпение,— всё может так и прогрохотать впустую, такова пучина политики. Всё может лопнуть, исчезнуть, стереться — если в роковой момент не вадунет тебе под плечи и в спину внезапный порыв благоприятного ветра.

Такой красный порыв и рванул 27 февраля — и уже к первой ночи Милюков был почти во главе Временного Комитета Думы, своим настоянием заставил его взять власть. А три минувших ночи и два минувших дня, осторожным боковым движением выходя из-под защитной спины Родзянки, только и думал, как взять всероссийскую власть.

Он с несомненностью понял, что наступили высшие дни его карьеры, венец всей жизни, теперь или никогда. А сегодняшний день, 2 марта, проступал и определялся как самый великий день жизни Милюкова. Для этого дня он и жил 58 лет!

Начавшаяся революция могла быть подавлена внешними войсками — но когда этого не случилось к концу третьего, вчерашнего дня, можно было определить, что уже и не случится. Противодействие можно было ожидать от старого правительства в самом Петрограде — но оно сдунулось, рассыпалось в первый же день. Губительный раздор мог возникнуть с революционным советским крылом — но на сегодняшних истязательных ночных переговорах, хотя и не оконченных, Милюков пробился, ощутил, что настоящего сопротивления нет.

В пятом часу утра он пал на стол, на подстеленную свою шубу,— даже его железная выдержка больше уже не брала.

После восьми он проснулся — и еще полежал, притворяясь спящим, чтобы не сразу вступить в разговоры,— а в проснувшуюся голову вошла ясность: с этой ночи, с этого утра ничто уже не мешает ему создать всероссийское пра-

вительство! Это не важно, что они не кончили переговоров: формированию самого правительства уже не мешало ничто. Все препятствия отпали. Осталось только: уладить состав министров.

Только! Это и было из самых замысловатых задач, в непрерывном перевитии кем-то тайно подуманного, кем-то открыто высказанного, кем-то предположенного, намёкнутого, допущенного,— и между всем этим надо было проскальзывать, где-то обрубать, где-то поддакивать. Да можно сказать, что все эти три дня, от начала революции, ничем другим и не была занята голова Павла Николаевича, а только: как составить правительство? как этот весь хоровод кандидатов правильно разместить и кого на какое место посадить? Внешне участвуя с думцами и в других обсуждениях, внутренне Павел Николаевич стянулся только на этом одном. И ночные переговоры с Советом он так легко пересидел именно потому, что советские не претендовали ни на один министерский пост.

Прежние проекты правительства народного доверия, проекты времён Прогрессивного блока,— были составлены к абстрактной обстановке и не могли пройти неповреждёнными через революционные дни. Все силы, по новому разбросанные, по-новому же каждый час тяготели, тянули и отталкивали,— и это каждый час меняло предполагаемый состав правительства — до того официального часа, когда оно вдруг будет объявлено и станет существовать.

И все эти непрерывные изменения и все прожигающие проекты и кандидатуры жили и двигались в голове Милюкова — и только о них он шептался эти дни, а о некоторых решал молча.

Самым несчастным наследием прежних проектов был тут, конечно, князь Львов: и потому, что уже сейчас, с его позавчерашнего приезда, было отчётливо видно, что он шляпа, и потому, что именно законное премьерское место Милюкова он занимал. Но было бы большое общественное неудобство теперь его менять: давление общественного мнения, традиция Земского союза и то парадоксальное обстоятельство, что именно Милюков-то и выдвинул его кандидатуру, вышибая Родзянку. Ну что ж, с этим следовало мудро пока смириться, всё равно решающее место в правительстве будет занимать Милюков, а через несколько месяцев он, вероятно, и совсем отодвинет Львова.

Уж во всяком случае эти дни — бывал ли тут, в Таврическом, князь Львов, мелькал отчасти,— он не имел влияния на подготовку правительства, и с ним Милюков не советовался, только из вежливости что-нибудь цедил.

Родзянко тоже отыгрывал до конца свою роль, очень небесполезную в прошедшие дни, и с каждым часом оттирался на второй план. К счастью, благодаря своему природному незлобию и неспособности к интригам, он не был Милюкову ни противником, ни препятствием.

Затем: уверенный вход Гучкова. Гучков пришёл в Таврический и входил во власть, собственно никого об этом не спрашивая, но как исторический борец против старого правительства, а также, всем известно,— в пяти минутах от несостоявшегося дворцового переворота. Извечный антагонист Милюкова и даже личный враг, Гучков обещал быть трудным компаньоном в правительстве, но может быть тут были и свои плюсы. Два сильных антагониста, как два магнитных полюса, они могли создать правительству устойчивость. Милюков — реальный политик, и когда это нужно для дела — он может изменить и свои привязанности и свои отталкивания.

А неизбежность принять вереницу Коновалов-Некрасов-Терещенко-Керенский оборачивалась и облегчением для умелого политика: теперь с глубоким огорчением он должен будет отказаться от своих дорогих товарищей по партии — не приглашать Маклакова, Винавера, Родичева. Никак нельзя было бы отказать соратникам, придя с ними вместе на гребень победы,— но если таковы непреодолимые обстоятельства?! Пока кадеты боролись против прежнего правительства — каждый такой оратор, деятель, борец был на вес золота. Но сейчас как ни обдумывал Павел Николаевич этих лиц, он почти не мог увидеть их на правильных правительственных местах, а скорее видел в них помеху своей будущей деятельности: каждый из них слишком индивидуален, со своими странностями, капризами или отклонениями, со своими

претензиями блеснуть, сверкнуть, собрать популярность (и это очень им удаётся),— но в правительственной упряжке такой разнобой популярностей может только ослабить, привести к избыточным спорам, взаимным убеждениям, на которые не останется времени. И так внутри правительства скорее создастся шаткость и разнобой. Конечно, эффектно было бы придать будущему правительству блеск введением этой плеяды, но функционирование его не выиграет. А тут — клин вышибался клином: не по капризу, а принуждённо принимая этих чужих,— приходилось потеснить своих кадетов.

Да вот даже для безотказного Шингарёва оставалось ли место? Он предполагался министром финансов — но Терещенко, все достоинства которого, кроме знания балета, сходились именно к его богатству, какой же мог занять пост, кроме министра финансов? Шингарёва отставлять было жалко, потому что изрядный работник, но с трудом ему что-то выкраивалось.

Для новосоздаваемого правительства Керенский становился даже как бы ключевой фигурой: в его лице правительство вырывало себе от революции её главаря, а само, расширившись на революционное крыло демократии, приобретало устойчивость. Тем более был необходим Керенский, что Чхеидзе отказался.

Переговоры с Керенским были самые секретные, он очень скрывался от своих товарищей по Совету. То мрачно предсказывал, что ему не позволят войти. То пылко обещал, но требовал тайны до последнего момента. И до самых последних часов вся картина зависела от окончательного решения Керенского.

Именно сегодня утром он позвал Милюкова к телефону. Он доночёвывал где-то, не дома, и теперь бодрым голосом говорил оттуда, что вот — согласен бесповоротно! Но и по-прежнему просит не говорить никому до последней минуты, пока он ещё не обезвредит своих противников.

Оставалось теперь — ещё этого подождать. Будет сигнал.

Освободилась голова от последнего расчёта — и посмотрел Милюков на себя в зеркало. Мят, небрит, рубашка несвежая, никак не подходил он к своему великому дню. Надо сходить пока домой на Бассейную, помыться, переодеться.

На улице стоял ярко солнечный, морозный, весёлый день.

308

Исполнил Алексеев все второстепенные дела — и ещё больше охватило его недоумение перед главным делом. Перед таким огромным делом — и он обречён был на одиночное руководство, на одиночные решения тут. Мало того, что он остался за Верховного Главнокомандующего — но и всю общероссийскую судьбу он должен был отомкнуть или помочь отомкнуть. Но он никогда не готовился к этому.

Да ещё больной. Может быть в здоровом состоянии он ухватил бы ясней.

Сейчас там, во Пскове, уже началось уговаривание Государя — и, конечно, будет долгое, нудное, как правильно предсказал Данилов.

И Алексеев чувствовал на себе бремя что-то предпринять, помочь делу из Ставки, помочь благополучному разрешению. Но как? Будь Государь сейчас здесь — Алексеев ходил бы к нему в дом с телеграммами, а между ними в чём-то помогал бы советами, осторожно и внушал. Но Государь уехал — как дезертировал. И оставил всё на плечах Алексеева, обязывая его на собственные действия по каждому событию.

А Алексеев, хотя каждый день делал всё, как усматривал, и не встречал возражений от Государя, а вот, оказывается, совсем один — не мог.

С кем-то нуждался он разделить эту тяжесть.

С кем же? Не с прямым подчинённым, как Лукомский и Клембовский. Да все миллионы Действующей армии были ему — подчинённые. А самостоятельны и равны наштаверху по должности — только Главнокомандующие фронтами и флотами.

Это — мысль! Да за последние дни Родзянко уже и обращался непосредственно к Главнокомандующим, он уже и втянул их в обсуждение государ-

ственных дел. Так естественно было именно с ними это обсуждение продолжить? Вот и облегчить свою задачу. Рузский — всё равно уже знает, и что ж таить от других? Мысль очень понравилась Алексееву. Она разгружала его от невыносимого давления ответственности.

Когда к Главнокомандующим апеллировал сторонний штатский советник Родзянко — это было возмутительное вмешательство в армейскую иерархию. Но если так обратятся из самой Ставки, это будет только — почёт и уважение к Главнокомандующим. Отчего, правда, и не обратиться к ним сейчас с назревшим роковым вопросом? Из Главнокомандующих получить тот синклит, тот высший совет, тот особый военный парламент, чьё соединённое мнение и поможет Государю советом в трудную минуту, и в какой-то степени обяжет его не колебаться бесконечно. А по вчерашним переговорам и выражениям Алексеев мог быть уверен, что и Брусилов, и Рузский, и Непенин смотрят на положение трезво, без избыточной верноподданнической робости.

Задумал так Алексеев — и сразу принял. Сказал Лукомскому — тот очень поддержал. И закипела у них работа: составлять циркулярное письмо Главнокомандующим. Составить и убедительное, и быстро.

Мощный голос Родзянки в задышке петроградских страхов вдохнулся в это письмо. Мысль умнейших людей столицы передала ставочным генералам провальную бесповоротность отречения. Да и как они сами до сегодняшнего утра не видели, что уже не об ответственном министерстве речь, но ребром поставлен династический вопрос? Что войну до победного конца теперь только и можно будет продолжать, если выполнить народное требование отречения.

И, смешивая свой голос с голосом Родзянки, Алексеев, незаметно для себя, теперь разъяснял, добавлял ещё и от себя, что обстановка по-видимому не допускает другого решения. Что само существование Действующей армии и работа железных дорог находятся фактически в руках петроградского временного правительства. И чтобы спасти армию и спасти независимость России — нужны дорогие уступки.

Прихмуренный, даже выздоровевший, Алексеев быстро-быстро исписывал лист,— он и писал всегда быстро и не слишком затруднялся в подборе выражений. А Лукомский облокотился рядом о стол и удачно, к месту, подкреплял его советами. И с каждой написанной фразой Алексеев не только всё больше сам уверялся, но даже и загорался этой идеей: как легко можно выйти из ужасной трудности, и не проливши ни капли крови.

И под его пером ночной взбрык Родзянки преобразовался почти в военный приказ: не благоволит ли Главнокомандующий телеграфировать весьма спешно свою верноподданническую просьбу непосредственно Его Величеству во Псков, копия наштаверху?

И ещё снова, боясь, что документ не вполне отчётлив: потеря каждой минуты может стать роковой для существования России, между высшими начальниками Действующей армии нужно установить единство мысли. Такое решение избавило бы армию от возможных случаев измены долгу, от искушения принять участие в перевороте,— который однако может безболезненно совершиться решением самого Государя.

Теперь так. Рузскому — первому готовую телеграмму, он всё знает. На Кавказский фронт и во флоты, по трудности связи,— телеграммы. А три оставшихся фронта разделить между нами тремя, чтобы не терять времени, и одновременно всем трём провести убедительный аппаратный разговор с самими главнокомандующими.

Но так устал Алексеев, что предполагаемых тяжёлых собеседников — Эверта и Сахарова, передал своим помощникам. А себе избрал лёгкого Брусилова. И Брусилов с первых слои поддержал надежду:

— Имею честь кланяться. Что прикажете?

Передавая текст, Алексеев следовал единому для всех написанному, но кое-где добавлял и от себя, как в живом разговоре. Запнулся в одном месте, изменил:

— ...Обстановка — туманная... Но, по-видимому, не допускает другого решения. И каждая минута дальнейших колебаний только может повысить притязания...

И ещё доверительно добавил, что опасается козней исчезнувшего Иванова, который может испортить весь миролюбивый замысел. Тут как раз поднесли бумажку, что Иванов возвращается в Ставку, но наштаверх не очень этому верит.

И — потекло от Брусилова в ответ, так и слышался его бодрый тонкий готовный голос:

— Совершенно с вами согласен. Колебаться нельзя. Время не терпит. Немедленно телеграфирую всеподданнейшую просьбу. Совершенно разделяю все ваши воззрения. Тут двух мнений быть не может!

— Да! — обрадовался Алексеев.— Будем действовать согласно. Только в этом возможность пережить с армией ту болезнь, которой страдает Россия, и не дать заразе прикоснуться к армии.

Лёгкий человек Брусилов!

— Да, между нами должна быть полная солидарность. И! — не забыл ввернуть тот,— считаю вас по закону Верховным Главнокомандующим, пока не будет другого распоряжения.

Ну уж, слишком дальновидно. А Алексеев не успел с утра и подумать: ведь если отречение — то как же будет с постом Верховного?.. Но всем этим действием вовсе не искал себе Алексеев поста. Даже больше: не разгибая тут спины многие месяцы, он внутренне был вполне и с тем примирён, что когда наступит полоса боевых успехов — его сменят кем-нибудь более видным и блестящим.

Когда возвышались другие — он сохранял спокойствие духа.

═══

ОЙ, ЖГИ, ГОВОРИ, ДО-ГО-ВА-РИ-ВАЙ!

═══

309

Ночь — неполная и обманно покойная. На короткие часы сон обмыкает футляром, и спится так, будто ничего дурного не происходит. Но уже при первом пробуждении грудь беззащитна, как выгрызана, как будто нет у неё передней перегородки до горла, а вся она — рваная ноющая полость. И хочется спастись, уйти назад в сон,— а он уже не принимает.

И даже, пока окончательно не проснёшься, ещё разрыиней и мучительней, чем на полном яву, с открытыми глазами, перебирая уже точными вопросами: что — в Царском? Аликс и дети в опасности. Невозможно к ним доехать. Вчера капитулировал и дал ответственное министерство. Но даже (шевелится бояливое предчувствие) ещё хорошо, если всё на этом успокоится.

Хотя ночной разговор с Рузским как будто пришёл ко всеобщему примирению, а к утру выставилась из него безнадёжность.

Подниматься ещё потому так тяжело, что день не приводит близких людей, с кем бы можно посоветоваться. Свита — пустота: нет в ней близкого человека. Как он с такой свитой жил годами?.. И от Аликс — никаких сведений. Поездкою думал соединиться, а разорвался.

Молитва. В покинутости, в безвыходности одна она укрепляет. Стоишь и чувствуешь, как она возвращает силы, растекшиеся ночью из опрокинутого тела. Сколько уже было несчастий в его жизни? К чему ещё он может быть не готов?

С утра погода ещё мутна, не определилось, будет ли солнце.

Против окна, через две платформы,— водокачка. Рядом с ней — серое каменное служебное здание. И отцепленная бочка-цистерна.

Проглотил безо вкуса кофе.

На станции, поблизости от царских поездов, всё оставалось мирно: никаких угрожающих сборищ, никакой и дополнительной охраны. Приходили поезда из Петрограда и уходили на Петроград. Только рассказывали приезжа-

ющие из столицы (свита перехватывала), что там разоружают офицеров, иногда стрельба, масса войск на улицах и многие идут к Думе.

А по другую, не станционную, сторону от царского поезда проходили длинные деловые товарные, таща свои грузы, такие всем необходимые.

А сам фронт не чувствовался во Пскове: город был далёк от двинских передовых позиций.

Хотелось бы Государю погулять по перрону, но было нелоико обращать на себя внимание. Удел его оставался: сидеть в вагоне и ждать новостей.

Уже и недолго: приехал с докладом Рузский.

Как всегда сдерживая всякое выражение, сдерживал Государь и выражение надежды, с которым встретил этого странного генерала с оловянными глазами и остро выставленной мордочкой, а вместе с тем — интеллигента по Чехову. Бушевал ли Родзянко от радости за ответственное министерство? Да не прикатит ли скоро и сам толстяк с причудным составом совета министров?

Рузский держался важно и берёг слова. Представил Государю на листах расклеенную ленту ночного разговора. (И удивиился, как царь за ночь ещё покоричневел и ещё прорезались овальные глазные подводы, как рытвины, в сером свете вагона.)

Сели. Государь стал про себя читать. Медленно, так медленно, фразы не укладывались. Простая работа грамоты — читать печатные буквы, вдруг стала ему трудна.

— Нет,— попросил.— Читайте вы, Николай Владимирович.

Рузский взялся читать — монотонно и с перерывами, как учитель, чтобы его усваивали.

Ах, так Николай и предчувствовал, так теперь и осел: его высшая жертва, ответственное министерство,— отвергнута! Опоздало...

Одна из *страшнейших* революций?!. Вообразить ли, что там творится!

И что в Царском?..

Но подкрепляя себя, что этот шут Родзянко может всё и наворачивать, по своему размаху. Такого-то ужаса может и нет, а добавляет, чтобы добавить себе потом заслуг, как он справился.

Но когда Рузский прочёл, что династический вопрос стал *ребром*,— и колко выговорил это слово,— это *ребро* кривым сверлом прошло наискось через государеву грудь. И не оставалось долго загадкой, тут же и разъяснение: отречься в пользу сына при регентстве Михаила.

Отречение??? Вдруг от него ждали — отречения?! Это никак не помещалось. При живом здоровом отце — искусственное регентство? Зачем?

Что-то стало ещё труднее вникать. Однако смысла уже и не могло добавиться,— куда же дальше?

Государь встал. (Встал и Рузский.)

Прошёлся к окну. Смотрел на бессмысленный перрон.

На водокачку. На серое здание. Одинокую цистерну.

Вдруг — как бы ознобляющая тень необъятного просторного шатра распахнулась над ним. Полное отречение? Боже, да ведь в этом есть даже святость.

Вам так хочется давно? Вам так надо? Ну, возьмите. Правьте. Если вы думаете, что это сладость. Кого так манит власть. Кто до неё так жаден.

Отречение? Взмах щедрой руки. Это — не мелкая торговля об ответственном министерстве, не сгибание монаршей шеи под хомут Думы.

Отречение — освобождение. Других — от себя. Себя — от неподымного бремени. Уж теперь-то, согласясь на ответственное министерство,— естественно и отойти?

И — отшатнулся: нет, это — искушение. Блаженное искушение. Он — помазанник, как он волен?

Что ж — Михаил? Куда Михаил? Вся его беспутная история с Брасовой, неспособность бороться со страстью. После смерти Георгия и до рождения Алексея считался наследником, но никогда серьёзно не готовился к трону. А в эти последние дни кто-то научил его вмешаться.

Георгий! Как несчастно и рано! И в грузинских горах, как и не на родине. В Абастумане, где он упал в удушьи, стоит на чёрном мраморе часовня, с золотой славянской вязью под куполом: „Блажени чистiи сердцемъ, яко тiи Бога узрятъ". Тоскливая одинокая смерть. Но и светлый удел.

Блаженны чистые сердцем...

И давно уже свыклись с его смертью, и не вспоминаем. А вот когда проступило: ах, отчего ж его нет? Он и старше был Михаила и серьёзней, и может быть ему бы удалось то, что не вышло у Николая: управлять не в ссоре с обществом.

Если бы было кому передать — разве бы Николай держался? Он бы охотно передал. Что в этой власти, кроме вечного беспокоя? Но: спасётся ли Россия от его отречения?.. Не пошатнётся ли в глазах народа трон?

— Для блага России,— выговорил он пересохше,— для блага народа я — всегда отошёл бы в сторону. Но если вдруг сейчас объявить о моём уходе — да разве народ поймёт? Разве примет?

А генерал Рузский — этого и не говорил. Он — ничего подобного не сказал — ни сейчас, ни ночью с Родзянкой. Он? Он только ленты принёс, это в лентах написано.

После вчерашнего изнурительного выматывания с ответственным министерством — Рузскому и в голову не могло вступить, что Государь согласится обсуждать ещё большее — отречение. Но если он, вот, отозвался, то... Сказать?..

Генерал Рузский может добавить, что утром телеграфировал Лукомский. И он...

Лукомский сказал — *от себя*. Но это не выглядело как „от себя". И не могло быть „от себя". И ничего бы не значило „от себя"... Тут нужен более прочный рельеф.

...И Ставка настоятельно думает именно так: отречение — неизбежно. Никто не хочет кровопролития, и все хотят спасти армию от этой анархии. Спасти для победы.

Да разве хочет кровопролития Николай?! О Боже, чтоб не допустить пролития дорогой русской крови!.. Или меньше их он хочет для России победы?

И ещё вот: новости, переданные Ставкой ночью для Его Величества. Арестованы многие бывшие министры и председатели совета министров — Горемыкин, Штюрмер, Голицын. Бедные невинные старики.

И в Москве по всему городу митинги, и генералу Мрозовскому предложено подчиниться новой власти. В Петрограде — непрерывный поток приветствующих Думу, и в том числе — великий князь Кирилл Владимирович во главе гвардейского экипажа, представился лично и отдал себя во власть думского комитета.

Государь вздрогнул. Болезненная измена. Не Кирилл — завистливый, злопамятный, всегда живший в соревновании двух ветвей династии, в обиде,— не удивительно. Но — Гвардейский экипаж! — особенно любимый. Но эти чудесные моряки, бывало сопровождавшие в императорской яхте.

Государыня императрица выразила желание иметь переговоры с председателем думского комитета.

Ах, Солнышко! Ах, родная! Как ей безвыходно! Как унизительно.

И ещё: вчера в Государственную Думу явился Собственный конвой Его Величества — и тоже принял сторону восставших. Просил арестовать своих офицеров.

Как?? И — о н и?.. И — Конвой?..

Вот этого удара Николай не ожидал и не мог скрыть. Он изменился в лице, в голосе, не устоял на ногах, сел. Всё вместе происходящее в обезумевшей столице за все дни так не потрясло его, как это маленькое довесное известие. Накануне он стойко снёс измену царскосельского гарнизона: туда неразумно были вставлены и случайные части, много запасных. Могли изменить ему хоть все великие князья (это почти и было так), всё дворянство (это было совсем не прежнее благородное дворянство, но опустившиеся корыстные люди), весь Государственный Совет, наполовину назначенный самим Государем (а Государственная Дума и вся была из врагов),— но к а к мог изменить Собственный Конвой, эти чудесные отважные и добродушные кубанцы и терцы,

которыми так гордился их Государь?! Они, жившие почти семейно с августейшей семьёй,— их каждого знали по имени, засыпали подарками их семьи, устраивали с ними общие ёлки, на Пасху с каждым христосовались,— как они могли пойти кланяться Думе? что их туда погнало? (И что же теперь с семьёй? Она в руках бунтующей черни?..)

Опало всё внутри. Стал угрюм, как оглушённый, плохо понимая.

Тут передали Рузскому привезённую из штаба телеграмму от Алексеева. Естественно, он и не мог не прочесть её Государю вслух.

Вот как? Его начальник штаба, не спросясь у него, советовал всем главнокомандующим его отречение? А почему? Кто его уполномочил?

Очень можно было удивиться, но Николай почему-то не удивился. Уже привык он за эти дни, что события катятся, его не спрашивая.

Обстановка по-видимому не допускает иного решения... Потеря каждой минуты может стать роковой для существования России...

Боже! Неужели — так?!

А может — и действительно?.. Боже, как думать тяжело. И не хочется.

Догадался спросить у Рузского:

— А что думаете — вы?

Рузский? А разве он что-нибудь подобное осмелился высказать хоть ночью, хоть сейчас? Он — ничего своего ещё не сказал до этого момента.

В неожиданности резких слов алексеевской телеграммы Рузский теперь мучительно искал такой ответ, чтобы не оступиться — но и не упустить колебаний царя, которых никак не ожидал, а вот заметил!

— Ваше Величество. Вопрос слишком важен и даже ужасен. Я прошу разрешения дать мне обдумать его.

Государь был тронут волнением генерала. Любезно предложил:

— Так останьтесь позавтракать со мной.

Но Рузский отстранёнными глазами застеклел позади очков:

— Ваше Величество, в штабе накопились доклады, телеграммы.

И Государь отпустил его думать. С тем, чтобы он приехал после завтрака. Рузский просил разрешения прийти не один, с другими генералами. Хорошо.

Раз так, раз послана Алексеевым такая телеграмма,— будем ждать ответов главнокомандующих. Это даже облегчение — думать не одному, соборно.

Остался Государь один — ещё больше заныло в душе. Даже с механическим Рузским разговаривать было легче, чем опять остаться одному.

Сердцу было важней всего: что скажет Николаша?

А что, правда, всё-таки: может — и уступить? Какое облегчение и себе и им. Ведь отречения просят — не от принципа монархии. И не за династию. Отречение — личное. Это — личный шаг.

Признать, что был царём-неудачником.

Отречение личное — это не значит парламентский строй. Просто будет другой царь. Алексей, прежде времени.

Сам Николай — легко мог посторониться. Лишь не имел он права дать короне обрушиться. Поэтому вчера было куда трудней и опасней согласиться на ответственное министерство, чем сегодня — на отречение. Вчера — всё было против совести, всё против чувства.

Да даже: если он сейчас отречётся, так вчерашняя уступка ответственного министерства — отменится сама собой? Так это хорошо!

Трудно только переступить первую допускающую мысль. А потом — сразу облегчение. Ах, как трудно вынести всё одному!

В таком решении есть светлое. Это решение по совести. Отойти от зла.

Решение по совести не может быть дурным.

310'

(по „Известиям Совета Рабочих и Солдатских Депутатов")

МОЖЕТ ЛИ ОСТАТЬСЯ ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ?

...передача всей власти в руки народа — демократическая республика, когда народ выбирает правительство... Если власть будет вручена монарху, хотя бы и конституционному,— он может заковать народ в цепи рабства... Династия Романовых ныне свержена, к ней возврата быть не должно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ — Сего 1 марта среди солдат Петроградского гарнизона распространился слух, будто бы офицеры в полках отбирают оружие у солдат... Заявляю, что будут приняты самые решительные меры к недопущению подобных действий со стороны офицеров, вплоть до расстрела виновных.

Энгельгардт

ПОМЕНЬШЕ СЛОВ, ПОБОЛЬШЕ ДЕЛА — Кричать „ура" и „браво" ещё рано. В 1905 все слишком много говорили, ждали, совещались, уверяли друг друга и себя самих, что всё идёт благополучно... И теперь правительство, его слуги и несколько тысяч диких помещиков не дремлют, а организуются вокруг Петрограда, чтобы повернуть всё вспять и прежде всего насладиться кровожадной местью.

Борьба только началась. Кое-какие первые позиции взяты одним настроением, врассыпную и почти голыми руками. Так примемся везде за дело организации пролетариата!

УЧАСТИЕ ДЕМОКРАТИИ ВО ВРЕМЕННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ.

Буржуазные партии не горят желанием довести революцию до конца. Самый любезный для них исход — возвращение к власти Николая II. Чтобы революционный путь не превратился в контрреволюционный, демократия должна войти в состав Временного Правительства, не позволяя ему остановиться на полдороге, толкая его вперёд и вперёд, пока Учредительное Собрание закрепит республиканский строй. Принять тактику абсолютного обособления было бы роковой ошибкой. Революционные Советы Рабочих Депутатов стали бы рассматриваться буржуазией как очаги социалистического переворота. Страх перед „красным призраком" заставит буржуазию мечтать о возвращении самодержавия. Вместо того чтобы толкать её вперёд, мы отбросим её далеко назад. Но, товарищи, как бы ни были велики дарования, энергия и мужество революционных элементов русской демократии — она одна ещё не в силах...

СУДЬБА ЦАРЯ НИКОЛАЯ II — По сведениям Совета Рабочих Депутатов между станциями Бологое и Дно остановлен царский поезд, позади него устроено крушение, а впереди — революционные войска. Идёт вопрос об арестовании Николая. По другим сведениям Николай отправлен во Псков. Государыня всё время в истерике, у наследника — 39°, корь.

ПРИКАЗ № 1

1 марта 1917 По гарнизону Петроградского...

Совет Рабочих и Солдатских депутатов постановил...

. . . .

НЕОБХОДИМО ОТКРЫВАТЬ МАГАЗИНЫ — Победивший народ должен иметь всё необходимое. Магазинам не грозит никакой опасности. Днём магазины могут спокойно торговать, а ночью необходимо их хорошенько охранять.

...Установлена норма для населения Петрограда на ржаной хлеб — 1 с четвертью фунта, для солдат 2 с половиной в день. Ввиду прибытия в Петроград огромного количества войск, интендантством приняты меры к усилению выпечки хлеба.

Солдаты вне частей могут становиться на хлебное довольствие в казарме любой части, примкнувшей к делу свободы. Возчики, пекаря и др. должны приступить к работам...

ТАКСЫ — Установить таксы на все предметы потребления по ценам, существовавшим до момента революции. Спекуляции немедленно должен быть положен конец!

ПЕТРОГРАДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУНДА приглашает всех членов на общее собрание...

...В первые дни нашей великой революции было роздано и разбросано много оружия и патронов. Иногда оно попадало к совершенно неподходящим элементам, например к подросткам. Не исключена даже возможность захвата его хулиганами, грабителями и тёмными приспешниками старого строя... Нельзя допускать напрасной растраты патронов: они необходимы народу для окончания борьбы с правительством.

...сгорели бумаги охранников, народ расправился с этими язвами. Уничтожать всё, что может помочь приспешникам старого режима!

СТРЕЛЬБА ХУЛИГАНОВ — Кровавое правительство всё ещё не хочет примириться с победой народа. Приспешники его, провокаторы, полицейские, жандармы

и шпионы попрятались на крышах домов, на чердаках — и расстреливают народ. Революционная армия и народ легко справляются с этими попытками тёмных сил.

С ТЕЛЕГРАФА—
В БЕРЛИНЕ 3-й ДЕНЬ ИДЁТ КРОВАВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Кронштадт во власти революционной армии

...Думает ли Временный Комитет, что крестьянство может стать на ноги без наделения землёю? Думает ли Временный Комитет, что промышленность пойдёт полным ходом без 8-часового рабочего дня? Можно ли рассчитывать, что ничтожная добыча железа пойдёт на плуги, косы, топоры, а не постройку дворцов?..

К ПОЛИЦИИ — Есть только один способ выйти из ужасного положения — это сдаться! Только таким путём городовые могут получить пощаду.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ГРАБЕЖЕЙ! — ... шайки хулиганов, которые грабят лавки и имущество обывателей... бросают тень на святое дело свободы...

311

Каждый нерв отдельно жил в капитане Ренгартене, и было такое напряжение и расщепление, что невозможно ни сосредоточиться, ни успокоиться. Минувшей ночи у него не было совсем: он еле мог забыться в 7 часов утра, а уже в половине восьмого проснулся толчком. Потом, сморенный усталостью, ещё задрёмывал позже утром — и опять на полчаса, и дремотой болезненной. Всё — перекипало в нём.

Непостижимей всего была быстрота идущих событий, за которой не могли поспеть ни поступки, ни планы, ни замыслы. Ещё два дня назад они обдумывали, как подталкивать,— куда! Пока что-нибудь задумывалось и начинало делаться — а уже оно становилось опозданным и бессмысленным.

И постоянная смена настроения, от последнего известия: то радость, то тревога, то надежда, то беспокойство.

Утром пришла телеграмма от коменданта ревельской крепости о волнениях в городе и что комендант опасается грозных осложнений, если он не объявит демонстрантам категорически: на чьей стороне он с гарнизоном.

Непенин уже так укрепился в принятой линии, что думал недолго, тотчас продиктовал ответ: „Если положение требует во что бы то ни стало — объявите, что я присоединяюсь к Временному Правительству и приказываю вам сделать то же".

И тут же просил у Родзянки помощи в успокоении Ревеля: послать и туда думских депутатов, чтоб они успокаивали население.

Утром же опять было собрание флагманов, и Непенин передавал им новости,— ужасные новости из Кронштадта, но и утешительное вмешательство Гучкова: посылаются туда депутаты Думы, один из них примет комендантство, да Кронштадт уже как будто начинает успокаиваться. Даже уверен адмирал, что порядок уже водворён.

Но если и водворён,— то совершенно невместимо, что анархия вспыхивала, это ясно тут всем! Говорят, убито 60 офицеров! Что ж это делается? — бьют подряд всех нас! какие тёмные силы взвихрены! Это — конец флота!

Но Непенин владеет и лицом, и твёрдым голосом, и положением. Не надо истерики, без эксцессов не бывает революций. Это всё произошло от закупорки корабельной, где любой дикий слух и призыв может всё взорвать. Но при широком бесстрашном разъяснении событий, при открытом объявлении обо всём происходящем — ничего подобного не произойдёт больше.

А если вспыхнет и в Гельсингфорсе? Не следует ли нам сменить линию? Может быть мы делаем хуже? Может быть надо...

Косные флотские кости! Реакционная затянутость и застылость! Непенин дышал уже другим воздухом — свободы. Но сохраняя свободолюбие в общем мировоззрении, он в эти дни как бы ожесточился в характере, разговаривал с флагманами ироническим тоном и не допуская обсуждения:

— Мы не должны вмешиваться во внутренние государственные дела. Надо признать, что действия Государственной Думы — патриотичны. И если обстоятельства потребуют, я открыто заявлю, что признаю её Комитет. И всем вам прикажу то же. Я...— чуть задержался, но не в колебании, а в поиске веса,— буду отвечать один. Я буду отвечать головой, но я решил твёрдо. Обсуждения этого вопроса здесь — не допускаю! Готов выслушать ваши мнения — но по отдельности, для чего пожалуйте ко мне в каюту.

Капитан 1-го ранга Гадд, командир „Андрея Первозванного", имел убитый вид. Контр-адмирал Небольсин успел вставить:

— Но наши матросы совсем не так простодушны: много полуобразованных, это опасный элемент. И много рабочих.

Прочие флагманы и начальники сохраняли вид сосредоточенный, мрачный, замкнутый.

Само собою распорядился Непенин дать командам очередное подробное объявление о событиях. Только полная откровенность может поддержать прочное положение офицерства.

После совещания к нему пришли и всё остальное время у него провели декабристы. Перебирали, кто из званных на совещание — в безнадёжной консервативной позиции, как Гадд. Много их. Но мы пересилим! Перебирали весь ворох режущих новостей, которые продолжали сыпаться по телеграфным проводам. Очень тяжёлое впечатление произвёл манифест ЦК социал-демократической партии с воззванием кончать войну, делить землю и устанавливать демократическую республику. Оставшись среди близких, адмирал помягчел, высказывался более открыто. Перед тем на совещании на заданный ему вопрос — не заключается ли в действиях думского Комитета уже определённое предрешение образа правления,— Непенин с той же давящей тяжестью голоса уверенно ответил, что — нет. Теперь же, между своими, и он, и все признавали, что конечно уже зашатался столп династии, если не рухается в эти самые часы.

И сердце сжималось снова и радостью и тревогой. Какая острая новизна! Какие неизведанные просторы!

А как теперь надо было им понимать свою присягу? Ведь её категоричность, однозначность не допускали вдруг перехода на сторону думского Комитета?

Но и нельзя формальные мёртвые слова присяги ставить выше интересов Родины!

Черкасский, Ренгартен восхищались твёрдостью командующего флотом. Один раз переступив, что не признáет своего смещения царём, он не проявлял движения отступить, но скорее смело шагнуть вперёд: не пора ли сместить и самого царя?

312

И откуда вчера была энергия изматывающе долго, всю ночь, сидеть на переговорах с Милюковым? А вот утром бодрость никак не возвращалась в тело после короткого позднего сна. Да и остальные члены Исполнительного Комитета хотя и собирались в своей комнате, но никто не ощущал сил не то что на окончание переговоров с цензовиками, но даже на простое совещание между своими. Утерян был ночной горячечный разгон, а теперь, приглушённые, они вяло двигались, сидели вразброс на стульях, кто брал телефонную трубку, пытался на что-то ответить или посоветоваться с кем-то, бестолково и бесплодно.

Что только всех подживило и вернуло свободу языков — это скандал в „Известиях": собственная газета Совета писала совсем не то, что вчера решил Исполнительный Комитет! — и уже полмиллиона её разошлось по всему городу, нельзя было остановить. Сплотившееся вчера левое большинство ИК постановило и провело, что в буржуазном цензовом правительстве революционная демократия участвовать не будет! Но это нигде ещё не было опубликовано, это перетрясывалось в торгах с Милюковым — а тем временем коварное соглашательское меньшинство в хитрой ловкой статье меньшевика Базарова понесло на весь Петроград и всю Россию прямо противоположное: что демократия должна вступать в буржуазное правительство. Это просто возмути-

тельный и безобразный факт! — не взяли голосованием, так берут подсовкой. И это совершенно невозможные кустарные условия работы: как же смеет редакция печатать актуальнейшую статью, не спрося позиции Исполнительного Комитета!? Каждый член редакции пишет, что хочет? И как же мы закрутились, что сами ничего не успеваем проверить!

Одни были возмущены Базаровым, Бончем и Гольденбергом, другие смущены, третьи уклонялись от подозрений, четвёртые открыто насмехались над большинством. А злорадству знающих посторонних просто не было границ! Гиммер мучительно переживал эту неудачу: он был как бы лично и публично посрамлён!

Были в „Известиях" и другие неожиданности для некоторых членов ИК: например „Приказ № 1" не все вчера видели. А сообщение о революции в Берлине?! Да тут бы просто захлебнуться, сердце бы выскочило, но уже звонил Бонч из редакции, что это — досадная опечатка.

Заседать — никакой физической возможности не было. Да со вчерашнего дня в самом ИК числился ещё десяток этих непрошенных солдат — и вот они с утра явились, не забыли, ожидая своего участия, сидели чужеродными пнями,— и как при них обсуждать, как с ними работать, как сформируется большинство? Чудовищно! Да уже скоро — в час дня или там с опозданием, должен был возобновиться тут же, за дверью, галдёж всего громоздкого Совета: если вчера в нём уже числилось под полтысячи депутатов, то сегодня можно ожидать и тысячу. И куда их впихивать?

Конечно, не на общих собраниях делается политика, все эти многолюдные пленумы не имеют практического значения. Но сегодня, не как вчера и позавчера, этот Совет нельзя оставить без внимания и руководства: предстоит через него формально протолкнуть весь вопрос о власти, и надо обеспечить, чтобы линия Исполнительного Комитета прошла безболезненно. Гиммер очень остро это чувствовал сегодня: то, что было совершенно безусловным за занавеской в 13-й комнате, среди своих понимающих социал-демократов циммервальдистов,— то становилось шатким и недоказуемым, когда большинство ИК вынесет своё решение перед дикое шумное сборище. Сама идея какого-то мирного сговора с буржуазией могла попасть под крик и бой бесшабашно-левых демагогов, вроде Шляпникова, Кротовского, Александровича, лично неразвитых, неавторитетных, в Исполнительном Комитете не влиятельных,— но перед возбуждённой тревожной солдатской массой могущих применить уличные методы борьбы, совсем неприемлемые, когда они направляются против своих же социал-демократов. Конечно, позиция левых тем сильна, что будут кричать: а что эта буржуазия делала в революцию, почему ей отдавать власть?

Надо было сегодня, не полагаясь на слабый голос и волю Чхеидзе, большинству Исполнительного Комитета самим лезть на столы и направлять необузданное собрание, чтобы левые не уклонили его.

А правое меньшинство ИК, оставшееся недовольным отказом войти в правительство, психологически не сдалось и сейчас и, если уж не постеснялись сделать подлог в „Известиях" — то конечно и перед Советом публично снова выдвинет свою линию. С самым влиятельным там бундовцем Эрлихом Гиммер сейчас спешил дотолковаться, чтоб они не сделали так. Он отвёл Эрлиха в сторону, тесно держа его за полы пиджака, и уговаривал, что если только они выступят сейчас на Совете с идеей входить в буржуазное правительство, они вызовут такой огонь слева, которого уже никому не потушить,— толпа Совета может просто штыками смести весь свой ИК, которого она тем более не выбирала. Неужели Эрлих за эти дни не почувствовал, как страшна и неуправляема толпа?..

Да, Эрлих почувствовал, и согласен, что Бунд этого вопроса не подымет. Но вот что: этой ночью заседал меньшевицкий ОК и постановил, что социал-демократия должна участвовать в правительстве. Так — если они вылезут?

Нет, не посмеют.

Но могут быть случайные, никем не управляемые ораторы?

А вот что! Многое зависело от докладчика, товарища Стеклова,— и Гиммер отсел толковать с ним. Тут оба они понимали дело одинаково: даже левое

большинство ИК может оказаться перед Советом чересчур правым. Надо просто сократить прения и не дать всем противникам высказаться. А сам Нахамкис как раз и склонен говорить длинно — так надо ещё длинней! ещё полней! надо захватить под доклад часа полтора времени! два часа времени! — а толпа нетерпелива, и стоит на ногах, тесно, душно, за это время устанет — и уже прения не развернутся. Если кто и выступит с другой идеей — уже он никого не отклонит.

Нахамкис добродушно усмехался в бороду. Согласен.

Тут — не пришёл, но внёсся в 13-ю комнату Керенский, в сопровождении своего оруженосца Зензинова. Как-то он умел опять выглядеть полным сил, да не только поспал, но успел и в парикмахерской побывать! — очень аккуратным, стоячим от висков прямоугольником подстриг свой бобрик. Но не попахивал туалетной водой и не в крахмальной сорочке был, а вовсе без белого воротничка, в стоячем вороте тёмной тужурки. Вид его был торжественно-возбуждённый: и все дни революции были великие, но, кажется, сегодня ожидал Александр Фёдорович особенно великого дня!

Он не показал, зачем пришёл, не вступил в громкие обсуждения. Он пришёл сюда по праву, как заместитель председателя Совета,— но и не для того, чтоб выполнять какие-то функции. То он резко сел (и Зензинов сел) — и смотрел на всех. То резко встал (и Зензинов встал) — и прошёлся нервно. Потом стал по одному отзывать в угол самых влиятельных.

Гиммер — догадался, о чём это он: конечно, опять советуется о министерстве юстиции.

Ах, как хотелось ему быть министром!

Да, так и есть, дошла очередь и до Гиммера. Конфиденциально, чуть-чуть смущённо спрашивал Керенский, есть ли какая-нибудь возможность на сегодняшнем заседании Совета получить одобрение ему войти в правительство.

Гиммер заложил руки за спину. Всесильный и вездесущий Керенский тут попадал довольно в глупое положение. Но ведь знает же Александр Фёдорович, что голосованием 13 к 7 Исполнительный Комитет решил в правительство не вступать. Значит, если Александр Фёдорович захотел бы вступить в правительство лично (а против этого, собственно, и возражений нет),— ему пришлось бы сложить с себя звание заместителя председателя Совета и даже члена ИК. Но поднимать этот вопрос на Совете? Это именно опасно, и Гиммер предупреждает Александра Фёдоровича от такого шага. Т а к о г о — советский митинг может и не переварить. Тут же в ответ выскочит какой-нибудь большевик или межрайонец и потребует, чтобы народ брал в с ю власть в свои руки. Мы потеряем все достигнутые комбинации! Нет, это невозможно! А пусть Керенский действует как частное лицо — и тогда ничего не надо обсуждать на Совете.

Нет, не нравилось так ему! И резко взглянув, закинув узкую длинную голову, он сам стал обвинять при подошедшем по знаку его Зензинове, что Исполнительный Комитет не туда направляет внимание: что он мелочно трясётся, как бы не появилось ни одного социалистического министра, а между тем вчера в переговорах совершенно сдали Милюкову саму республику! В этой горячейшей точке оставили недоразумение — и Милюкову допущено вести себя так, что остаётся монархия!?

Керенский был молненно быстр, но и Гиммер тоже. Он мгновенно заметил меткость и язвость этого упрёка — но и мгновенно решил не признавать:

— Да хоть и пусть! — отразил он.— Да хоть и пусть Михаил становится регентом. Это скорей дело цензовых кругов. Это нисколько не стеснит свободного хода революции. Но в тысячу и в миллион раз важней — собственное поведение революционной демократии! Лишь бы м ы не связали своих революционных рук буржуазными путами. Реальная власть захвачена нами, а не ими, и теперь вопрос, как ею пользоваться. А пришлёпка конституционной монархии нам пока нисколько не опасна.

Он сощурился: Николай, Михаил, династия, не династия,— так это было уже обречённо и мелко перед размашистой поступью Великой Революции!

Керенский нахмурился — и ветром унёсся с Зензиновым.

313

* * *

На рассвете 2-го марта шёл дачный поезд из Царского Села в Петроград. В 1-й класс набились солдаты, курили, плевали на пол. На вопрос кондуктора о билетах отвечали матом.

Не доезжая двух вёрст до Петрограда поезд был остановлен. Другие солдаты, подошедшие снаружи, стали у дверей каждого вагона, никого не выпускали. Совсем пьяный прапорщик с унтером и десятком солдат вошли в вагон, приставляли браунинг ко лбу каждого пассажира по очереди, а унтер вёл допрос: кто? и по какому делу едет в Петроград?

* * *

День в Петрограде начинался сероватым, но растянулся в легкоморозный с ярким солнцем. А оттого что не тянулись на город фабричные дымы — воздух стоял небывало, празднично чист. И не слышно фабричных гудков, и трамваи не идут — праздник! И стрельбы стало мало, почти тихо.

Повсюду висят красные флаги — на жилых домах, на присутственных, на Мариинском дворце, а на Таврическом несколько. Российские национальные флаги исчезли, нигде ни одного.

* * *

На стенах, на заборах — „Приказ № 1" Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. И по казармам, в большом множестве, читают вслух.

Но офицерам на улицах — безопаснее, чем в те дни.

Хотя кое-где висит и другая листовка, полусорванная: „Солдаты! до сих пор вы не слышали, будет ли отнята земля у помещиков... Паны дворяне с жиру бесились, высасывая народную кровь..."

* * *

Бешено мчащихся автомобилей стало тоже куда меньше (может быть попортились?). А людей на главных улицах, кажется, ещё больше! И на малых улицах — кучки народа. Но красные ленты и банты на всех примелькались, уже не кажутся чем-то необыкновенным.

Около хлебных лавок — прежние хвосты. Магазины — закрыты, заколочены, кой-какие робко открываются.

А дворники небрегут, во многих местах не счищен снег с тротуаров, бугры да ямки. Спотыкаются люди.

Накатанные снежные мостовые буреют и грязнятся.

* * *

На Казанской улице — дотлевающие остатки бумажного костра, протопившего снег до мостовой. Когда потянет ветерок — обгоревшие бумажки с шелестом сбиваются в вихорки и переносятся по улице.

Это: ночью сожгли делопроизводство мирового судьи.

* * *

На узкой улице — разбитый автомобиль. Колёса его искорёжены, стёкла прямоугольной кареты разбиты.

Любопытные стоят, подолгу смотрят.

* * *

Матросы провели арестованного городового. Девочка у подъезда, стоящая вместо швейцара, сказала:

— Ой, как я не люблю фараонов!

* * *

На уличных постах — неумелые милиционеры: юнкера, даже старшие гимназисты, скауты по 10—15 лет, с белыми повязками на рукаве. С улыбкой — слушаются их.

* * *

Кто бы ни просил — получает плакат: „Этот дом находится под охраной милиции". И многие дома украсились им.

Но это мало кого останавливает. По всему городу вооружённые солдаты продолжают обыскивать и грабить частные квартиры. И учреждения тоже.

* * *

Ликующая толпа! Необузданная радость: если так легко пал несокрушимый строй, то как же дальше пойдёт легко и счастливо! Долой старых безумных бессловесных правителей, да заменят их люди энергичные, мудрые, честные! Общее восторженное состояние, все беспричинно надеются только на одно хорошее. Валят по мостовым, а из окон им машут платками.

З. Гиппиус: ангелы поют на небесах.

П. Врангель: дикое веселье рабов, утративших страх.

* * *

На Сампсоньевском проспекте, против фабрики Ландрина, выстроены две роты инженерных войск, уже немолодые солдаты. Подошёл командир части и несколько офицеров:

— Поздравляю вас, братцы, с великим счастьем! Ненавистное всем правительство свергнуто. Образован для власти Временный Комитет во главе с уважаемым всеми Председателем Думы Родзянкой. Теперь нам осталось достойно победить врага внешнего. Новое правительство просит вас по-прежнему подчиняться господам офицерам. Прошу по местам в казармы.

Ответили солдаты: „Рады стараться!"

Но рядом из зевак вылез юркий шпень с дураковатым лицом (большевик Каюров). Втесался звонко:

— А позвольте мне слово, господин командир!

Тот не ожидал, смутился. Разрешил.

Каюров шагнул вперёд петушком да уверенно (уже весь Московский батальон обработали):

— Товарищи солдаты! Вы слышали? вернуться в казармы и опять подчиняться офицерам? Ждать указаний от помещика Родзянки? Товарищи! Да разве лилась в Петрограде кровь три дня для этого? Да разве для этого гибли тысячи пролетарских борцов? Нет! Пролетариат Петрограда не пойдёт на заводы, пока не отвоюет у помещиков землю. Товарищи офицеры! Присоединяйтесь и вы к нам, если желаете счастья народу! Нет, молчат, видите. Значит, у них другая цель. Так я предлагаю, товарищи, их арестовать и избрать вам новый командный состав!..

* * *

Торговец умоляет:

— Господа граждане! Хоть вы и граждане, да что ж это такое? Порядок надо соблюдать!

В некоторых лавках кучки горластых, угрожая, вынуждают торговцев продавать по немыслимо низким ценам.

* * *

Любого трубочиста могут заподозрить на улице, что он — переодетый городовой. Одного бритого задержали, он божился, что — рабочий.

— А какого завода?.. А ну, скажи, кто у вас там управляющий? А кто старший мастер?

Сказал. Но ещё не отпускали.

* * *

По Невскому — с какими широкими жестами радости самая состоятельная публика, и чиновники, и дамы — читают „Известия Совета Рабочих Депутатов" и „Известия" петроградских журналистов, — и обсуждают, ликуют.

Длинный хвост всех званий за свежей газетой.

* * *

В „Известиях СРД" в части тиража кто-то, видимо опасаясь выдать военную тайну, из сообщения о кровавой революции изъял слово Кронштадт. А кто-то в пустое место набрал — Берлин. (Получилось: в Берлине — революция, убит адмирал Вирен.)

И понёсся по городу упоительный взмывающий слух: в Берлине — тоже революция!! Везде революция!!! Конец войне!!! Гремят сияющие небеса.

А навстречу — другой слух: наследник Алексей умер от скарлатины!

* * *

По Шпалерной — очереди частей, пришедших приветствовать Думу. Солдаты в ожидании рассыпались из строя, составили ружья в козлы.

Перед самим дворцом — давка как в церкви, во время большого праздника. Все беснуются — попасть бы внутрь, посмотреть. А на крыльце требуют пропуска́.

* * *

В Таврический кто только не добивается! Мать хочет найти там своих детей. Делегат тюремного надзора сгоревшего Литовского замка пришёл со списком своих надзирателей, легализировать их проживание. Кто-то просит поставить охрану к его ценной коллекции. Пришёл извозчик: лошадь угнали. Пришёл солдат: куда отвести лошадь, пойманную на улице? Пришёл лакей, прося разрешения гулять с барскими собаками в саду Таврического дворца. (Отказано: это было бы бестактно в дни Великой Революции!)

Господин пришёл, жалуется: вломились в квартиру солдаты якобы с поиском оружия, вот тут рядом, Шпалерная, 44, а в квартире одна больная женщина. Украли массивные золотые часы, серебряные ложки. Его поправляют: это — хулиганы, одетые в солдатскую форму, революционные солдаты не могут воровать.

* * *

Начальник Генерального Штаба генерал Занкевич вчера и сегодня всё сидел у себя в Главном штабе. Ждал подхода войск Иванова, не идут. Сегодня с верхушкой своего штаба пришёл представиться в Таврический. Посидели в Военной комиссии, поговорили, пошутили.

А адмирала Коврина в главном морском штабе в Адмиралтействе матросы сочли немцем и хотели убить. Он упросил караульного начальника арестовать его и отправить в Думу. Тут получил пропуск на выезд из Петрограда.

* * *

Кое-где солдаты прогуливаются по городу строем, с музыкой, добродушно улыбаются. Несут плакат: „Привет товарищам в окопах". После трёх дней революции кто подисциплинированней — вернулись в казармы. А по улицам шатаются самые сбитые с толку, распущенные, озлобленные. И спросить с них удостоверения нельзя — уличная толпа везде за них. И уже кричат: „Что смотришь? Коли его!"

* * *

Мама взяла маленькую дочь за голову (запомнилось):
— Ты будешь счастливая! Счаст-ли-вая!
Водила дочку на манифестации.

314

Фортификатор и геометр, поручик Станкевич занялся теперь военной администрацией, вот как.

Он был мал в чине, но голос уверенности придавало ему: в батальоне — его постоянное общение с Думой, в Думе — его служебное состояние в батальоне. Сапёры помещались на Кирочной, это было совсем близко от Таврического, и Станкевич не раз в день успевал туда и сюда.

Несколько смелых офицеров батальона были убиты в первые минуты мятежа. Остальные совсем потерялись в новой обстановке, перед массой солдат, убившей тех первых,— ни по лицам, и ни по глазам не отличишь, подозреваешь убийцу в каждом. Офицеры теперь передвигались робко, не смели голос подать или иметь суждение о батальонных делах. Солдатский мятеж — всё более громко, официально и обязательно для офицеров полагалось теперь называть великим подвигом освобождения. (А если это так, и само офицерство это повторяет,— то почему ж не оно и вывело солдат на улицу, ведь ему это было сделать проще?.. А теперь после подвига они присоединились — но можно ли им верить?..) Что офицерам оставалось делать? Они рады были бы вообще сгинуть с этой петроградской земли — но вынуждены были передвигаться именно по ней на основании выданного удостоверения: если от общественного градоначальника — что предъявитель сего не подлежит обыску, задержанию, и ему разрешается проживание в этом городе в течение месяца марта; если от коменданта Собрания Армии и Флота — то что ему разрешается даже ношение при себе оружия. Все офицеры батальона стали молчальниками и только взирали с надеждой на проворного Станкевича. Говорили ему, что только при нём чувствуют себя в батальоне спокойными.

Когда же Станкевич приходил в Таврический, то, поскольку прочно состоял в своей части, здесь казался овеян пороховым дымом, и на него была надежда. И он сам вознадеялся, как прежде, объединить думское и советское крылья, либералов и социалистов. Но в думском крыле Станкевич встречал совсем не то радостное разлитие и христосование, как на улицах. Он встречал тревожные глаза: во что дальше этот великий подвиг освобождения выльется, и как дальше солдат унять и направить? Все обязаны были вслух радоваться и приветствовать, приветствовать приходящие делегации, но уже начинали опасаться, не слишком ли сильно этот поток их несёт, и куда? Даже грузный Родзянко, произносивший речи с таким достоинством и одушевлением, возвращался после речей с выражением страдания и отчаяния. И его, могучего, несло как щепку куда-то.

Сам про себя Станкевич раскаивался, что тогда 27-го на Кирочной он замялся, послушался предостережения унтера и со всех ног не кинулся к своему батальону, не попытался подчинить его вовремя и повести к Думе, как просил Керенский.

Керенский, кажется, один во всей Думе ничего не боялся, не трепетал перед революционным грозным потоком, смело в него входил и поощрял Станкевича. Вероятно потому, что сам ещё не понимал, во что вступает.

Прежний командир сапёрного батальона был убит в первую минуту восстания — когда во главе учебной команды вышел навстречу восставшим. Заменили его старшим в чине — но этот не понравился солдатам, начался бурлёж. Станкевич был избран помощником командира батальона, и ему приходилось сменить командира — на бессловесного прапорщика, который не должен был вызвать возражений.

Всё это Станкевич и проделал сегодня с утра, уже с большой уверенностью и очень звонко. Чуть-чуть меньше было бы в нём уверенности — и ничего б не вышло. Весь батальон он вывел во двор в полном строевом порядке. Здесь стал говорить от имени Государственной Думы, всё примиряя, никого не обвиняя,— представил нового командира — и не услышал гула возмущения.

И для закрепленья предложил тут же, с уже пристроенным оркестром, пройтись к Таврическому дворцу. Это солдатам нравилось! Идти было слишком даже близко, они бы охотно и покрутили лишние кварталы. И офицеры покорно пристроились на своих местах. А перед ротами неслись красные флаги.

Очень торжественно, с громом оркестра подошли к дворцу — вышел Чхеидзе на крыльцо, пал на колени и целовал красное знамя первой роты. Потом дребезжащим неразборчивым голосом говорил восторженные фразы о победившей революции — и чтоб не верили новой провокации ещё не разгромленной охранки, которая вчера от имени двух социалистических партий выпустила гнусную прокламацию, призывающую солдат не подчиняться офицерам. Но вот он, Чхеидзе, депутат Государственной Думы и председатель

Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, горячо призывает солдат доверять своим офицерам, приветствовать их как граждан, присоединившихся к революционному знамени, и оставаться братьями во имя великой революции и русской свободы.

И Чхеидзе понесли на руках.

Всё сошло внешне отлично. (Хотя Станкевич и понял, что листовки — от самих социалистов. И мрак застлал душу: мы сами всё погубим.) В казармы вернулись уже не так отлично, многие солдаты по пути отбились гулять, пошли по городу. Но во всяком случае бессловесный прапорщик был утверждён.

Через час Станкевич опять был в Таврическом. Уже один, внутри. Та же содомная теснота и пар от людских испарений. Барышни, студенты, интеллигентные штатские, офицеры, думцы, солдаты под руку с сёстрами милосердия, другие лежат на полу между тюками, ведут арестованного сановника.

Встретил Керенского, в этот раз озабоченного, не в костюме, в тёмной рабочей куртке. Тот отвёл Станкевича в угол комнаты и конфиденциально спросил:

— Знаете ли, мне предлагают портфель министра юстиции. Как вы думаете — брать или не брать? Демократические партии участвовать не хотят, а я не хочу идти против воли товарищей. А с другой стороны...

По лицу-то видно было, что ему хотелось слышать „да", он только сдерживал свою радость.

И вдруг Станкевич ответил ему безнадёжней, чем сам от себя ожидал:

— Всё равно, Александр Фёдорыч. Возьмёте ли, нет ли,— всё пропало.

— Как? — изумился, отпрянул Керенский, теряя налёт томности. Вот уж от кого не ждал! — Всё, напротив, идёт превосходно, что вы!

Да, знакомство с математикой требовало выражаться поточней:

— Всё идёт — инерцией старого порядка, а не новым. Всё, что мы видим, что ещё держится,— это от старого. Но надолго ли этой инерции хватит? Я теперь — военный и невольно рассматриваю только: как отразится на военных операциях? И нашёл я такую формулу: через десять лет всё будет хорошо, но через неделю немцы будут в Петрограде.

— Да что вы! да что вы! — женственно всплеснул руками Керенский. Даже и спорить не стал. А: брать ли портфель юстиции?

— Ну, что ж,— согласился Станкевич.— Может быть, вы ещё спасёте. Конечно, брать.

Они были накоротке, и Станкевич поцеловал Керенского.

Тот умчался, очень довольный. Счастливое исключение.

Всё больше видел Станкевич тревожных глаз.

Но друг перед другом люди не признавались.

315

Подошёл к Пешехонову один из его помощников, студент, и сообщил такую новость: что 1-й пулемётный полк, вчера поставленный на стоянку в Народный Дом,— обставил его со всех сторон пулемётами, выставил часовых и никого не подпускает. Но администратор звонил в отчаянии, что ещё вчера с вечера вышла из строя канализация. Она рассчитана была на 2—3 тысячи человек, а ввалилось сразу 10. По сегодняшнему времени некого вызвать на ремонт, да солдаты их и не пустят, да пока они здесь остаются — ничего и не исправишь.

И из дома эмира Бухарского приходил архитектор с опасениями, что балки не выдержат нагрузки от стольких гостей. Да и канализация тоже.

Так бросать надо было комиссариатские заботы и ехать передворять кудато пулемётный полк.

С этим же студентом и поехали в Народный дом.

Действительно, и пулемёты стояли полукругом, и патрули, солдаты опасались нападения. Не доверяли, проверяли, докладывали — с трудом пропустили комиссара внутрь.

А что делалось внутри! Знавал Народный дом переполнения на больших празднествах, особенно в Пасхальную ночь, когда там служили всенародную

утреню,— но не бывало такой густоты на лестницах, в проходах, галереях, да всюду одни солдаты, без винтовок (где-то скинув их у стен), без подобия организации,— и следа петроградской радости не было на их лицах. Кто шапку снял — постриженные, немытые, негородские, нетёсанные. Гудел, гудел огромный перетревоженный улей, и трудно было вообразить, где ж такое множество размещалось тут ночью, лёжа.

Пешехонов, народник до последней косточки, ещё раньше, чем искать начальство, заговаривал с самими солдатами: как они понимают, как их полку быть. Сам народ и должен знать себе добро.

Но хотя наружность его была самая простецкая, только что не в шинели,— отвечали ему недоброжелательно, резко и как барину:

— Усе дворцы позаймаем!

— Да мы как со своими пулемётами пойдём — всех вас расчистим!

Пешехонов почти леденел. И правда ведь: в полку пулемётов триста штук, и все на ходу! И если эта лавина двинется по Петрограду искать себе помещения...

Но узнал от солдат, что при полку ещё есть и офицеры, новоизбранные. Выбранный есть и полковой командир, капитан. Стали его искать.

Все офицеры, облечённые солдатским доверием, оказались, по сути, под арестом: им отведена была единственная маленькая комната, они набивали её битком, а дверь этой комнаты солдаты не позволяли затворять даже и ночью, опасаясь от офицеров какого-нибудь подвоха.

Офицеры были изнеможены своим положением: взрыв ораниенбаумского бунта, пощадившего их головы, но с бессмысленным решением, потащившим и их — идти в Петроград. И здесь они не имели никакого влияния, их не пускали к телефону, они только правили службу караулов. И их капитан ничего не мог решить, а посоветовал только — идти в полковой комитет.

Толкались, искали — нашли комитет. В комнате сидело за столом человек пятнадцать солдат и один прапорщик и возбуждённо толковали. Никакого внимания они не обратили на вошедших. Такой полновластный на всей Петербургской стороне, стоял народник Пешехонов близ двери и своим непритязательным голосом несколько раз пытался вмешаться — но ни паузы не было, куда вставить речь, и не слушали его.

Тут нашёлся студент и сильно крикнул:

— Да вы что? Да вы знаете — кто с вами говорит? Ведь это — т о в а р и щ П е ш е х о н о в!

Произвело впечатление!

— А-а! — закричали, повскакали.— Товарищ Пешехонов?! Ура! Ура! Качать его!

И чуть не начали качать, хотя, понимал Пешехонов, его фамилию они слышали первый раз.

Зато теперь он мог говорить, и слушали его.

Он стал им объяснять, какие трудности с отведенными обоими домами. А просторней — и тем более найти нельзя. Что самое будет лучшее, если полк воротится в свои казармы в Ораниенбаум. Перестали и слушать, закричали:

— Для других есть — а для нас нет?

— Значит, другие в Питере будут прохлаждаться — а мы в Ораниенбауме сиди?

— А вы — дворец нам отведите!

— Зимний дворец давайте!

Пешехонов стал объяснять, что дворцами он не распоряжается, что в Зимнем было бы им ещё и хуже, там уборные и вовсе не приспособлены. А на Петербургской стороне никаких других больших помещений нет.

В один голос твердили:

— Не может быть!

А глаза горели — больно хотелось им во дворце хоть денёк пожить, посмотреть, каково это живут.

Хорошо, Пешехонов предложил им назначить квартирьеров, и сейчас с ним вместе ехать осматривать Петербургскую сторону, убедиться, что таких больших домов нет.

Согласились поехать, но только завтра. Сейчас надо было им о чём-то другом дотолковаться, да видно хотелось и здесь ещё побыть.

Ладно. Ещё раз с опаской и сочувствием оглядывая все эти кучки, столпления и вереницы обескураженных, потерянных храбрящихся солдат, Пешехонов со студентом вышли сквозь пулемётные посты и уехали.

В комиссариате была всё та же толкучка и забота, но через час послышался шум особенный, крики. Часовые пытались задержать, а кто-то прорывался. Пешехонов поспешил навстречу. То была грозная двадцатка — две дюжины солдат, частью растерявших оружие, частью вооружённых, а во главе их — как тот недавно рыжий безумный гимназист, такой же безумный студент, маленького роста, с отвагой человека, решившегося брать Бастилию, и солдаты с доверием плотились к нему, и даже нескольких его вооружённых было достаточно, чтобы здесь всё разметать. А студент требовал вооружить остальных.

А сегодня утром комиссариатское оружие наверху как раз ещё пополнилось гранатами и бомбами, и всё это в свалке лежало на балконе.

Но как было объясняться с целой толпой? Они кричали в двадцать глоток, требовали оружия — и сейчас могли начать подымать комиссариатских на штыки, потасовка свободных граждан.

Пешехонов предложил, чтобы для переговоров студент и трое солдат зашли сюда, за перегородку, преграждавшую вход.

Сначала ни за что не хотели отделяться. Потом вошли, все солдаты вооружённые. Но — ни шагу дальше! Тут, в густоте публики, у входа, предстояло и объясняться.

Пешехонов боялся этого безумного студента, и хотел ослабить его напряжение, разговаривать поласковей. Он стал мягко объяснять, что комиссариат не этим занимается, что вооружаться может только признанная милиция,— и отечески положил студенту руку на плечо.

Но студент дёрнулся, как от электричества, откинулся и истошно завопил:

— Товарищи! Ко мне! Хотят арестовать!

И металлически грозно защёлкали взводы ружей, взводы револьверов — и дюжина дул была сразу направлена в голову Пешехонова — тут рядом и через перегородку.

И довольно было выпалить только одному.

Пешехонов потерялся и замолк.

Но тут выступил сбоку товарищ Шах, рассудительный помощник комиссара, начальник отдела публикаций. У него был такой вкрадчиво-убеждающий мягкий голос, он сразу ослабил напряжение, заставил к себе повернуться. Он говорил, что и комиссариат и пришедшие делают единое общее великое революционное дело — и зачем же им ссориться?

Стволы стали опускаться, руки ослабевать.

А Пешехонов стал пятиться, пятиться и больше не пытался объясниться.

Он только через несколько минут вполне понял, какую опасность пережил.

А если б они ломились дальше и нашли бомбы? Пожалуй и комиссариат бы разнесло и всю публику.

Но товарищ Шах убедил неистового студента поискать оружия в другом месте.

316

На женских сельскохозяйственных курсах княгини Голицыной курсистки ещё позавчера стали шумно обсуждать: продолжать ли занятия или прервать их и кинуться в события. Разумеется, не спрашивали мнения профессоров, ни даже директора курсов, всеми любимого профессора Прянишникова, а только друг друга. И множественные и самые громкие голоса были: прервать и кинуться!

И — кинулись.

Ксенья Томчак колебалась. Она охотно и продолжала бы занятия, она любила их и успевала по всем предметам отлично. Но не имела строгости поднять голос против большинства. Да и что ж, кинуться так кинуться! — в этом было своё веселье, а московской жизни у неё и оставался всего кусочек 4-го курса да 5-й — и утопиться в кубанской степи навсегда.

И так со вторника высыпали они со своих курсов, разнеслись стайками по Москве и носились то в солнечном морозце, то в косовато-ветренном снежке. Сперва свои, потом соединялись и иначе, со знакомыми курсистками Герье и Медицинского, то потом со студентами, а в какой-то час — даже со старшими гимназистами, где-то разокравшими оружейный склад и всем курсисткам предлагавшими пистолеты — вооружиться на случай контрреволюции. (Но ни одна не взяла, а только смеялись.)

На улицах незнакомые люди даже обнимались, как самые близкие. Все были опьянены этим небывалым праздником. Только поспевать, с думских ступенек выкрикивали что-то ораторы, не доносимое в глубину толпы, но всеми принимаемое одобрительно. Там, врезаясь в густоту, дефилировали целые батальоны со знамёнами и под музыку. Валили по мостовым одни люди — без трамваев, без извозчиков, без карет, без ломовиков,— и заполняли улицы, так что пройти нельзя. Такие толпы, говорят, не собирались ни на коронационные торжества, ни на похороны Муромцева. В центре города нет такой улицы, где не чернело бы море. Может быть пол-Москвы, а то миллион,— целый день идут, стоят, смотрят, машут, кричат „ура". (Первое движение появилось — грузовые сани, подрабатывали, и кому надо было спешить — садились и в шубках дорогих, свесив ножки.) С постов городовые исчезли всюду — а появились студенты-„милиционеры" с повязками (и даже скауты со своими посохами),— и весело брались разбирать толпу: „Сознательные граждане! Не накопляйтесь тут, вы мешаете движению!"

„Сознательные граждане" — это стало вдруг любимое публичное обращение, как бы взаимный комплимент друг другу. Все лица светились, а на шапках, на грудях, на рукавах у всех — красное, как будто кусочки разорванных красных флагов.

Всё-таки революция, как она рисуется из истории, всегда связана с какими-то баррикадами, стрельбой, убитыми. А в Москве — ничего этого не было, случайно убитых трое солдат, да, говорят, на Яузском мосту какой-то старик звал толпу к порядку — и его утопили в проруби. Вся революция прошла на одной радости, улыбках, сиянии, и даже непонятно становилось людям: что ж они думали до сих пор? почему ждали, жили иначе? что им мешало и прежде жить хорошо? Кажется, ни у кого сожаления к старому, ни даже мысли, что оно может возвратиться. В среду стягивались городовые и жандармы в Каретном ряду — но сдались толпе. И многих городовых вели в городскую думу, но не враждебно, как бы лишь полуарестованными, а из толпы посвистывали им вслед. Как будто не сразу присоединилось Александровское военное училище? — но на их дверях Ксенья прочла объявление: „Граждание! Дайте возможность юнкерам спокойно продолжать свою работу во славу России!"

Чего не видели люди сами — передавали слухи, один другого трогательней. Что Кишкин во время речи в городской думе расплакался, не мог продолжать. Что московское купечество пожертвовало 100 тысяч рублей для беднейшего населения. Или что древний генерал-севастополец, весь в орденах прошлого века, произнёс на Воскресенской площади: „Благодарю Тебя, Создатель, что ты не дал погибнуть моей родине!" Что совет университета уже ходатайствовал о возвращении профессоров, уволенных в годы реакции.

Но самый трогательный слух ходил по Москве — о честных хитрованцах, то есть отборных жуликах и ворах до сегодняшнего дня: как на Хитровом рынке полицейские обещали ворам водку, чтобы помогли скрыться; а хитрованцы, хотя водку и взяли, но привели полицейских в городскую думу: „Поверьте, господа, что и мы, хитрованцы, не нарушим порядка в такие святые дни." И будто на Хитровом рынке, действительно, поразительный порядок, все углы пестрят красными флагами, и некоторые бродяги гордо расхаживают с эмблемой революции на своих лохмотьях.

За эти дни побывала Ксенья и на сходке Высших женских курсов, в их зале-фойе со стеклянным потолком, а там стали говорить, что надо быть не зрителями, не бегать-смотреть по городу — а деятельно помогать революции. И вместе с Эдичкой Файвишевич вчера отправились в целой группе студентов

и курсисток в столовую медиков на Девичьем поле. Там чистили овощи, варили щи и макароны в невероятных количествах, а студенты развозили эту еду в грузовых машинах по Москве, кормили войска и толпу. Сперва было весело — но час за часом, час за часом чистили картошку (чего Ксенья ни дома, ни у своих квартирных хозяек никогда не делала), — и такая революция показалась ей уже и скучной. Но упустила время уйти, стало поздно, и она только успела позвонить хозяйкам, что не придёт ночевать (тоже скандал небывалый!).

А молодёжь очень веселилась, пели наперебой, кто во что горазд, революционные песни — откуда-то знали их или на ходу учились? Ксенья пыталась подпевать, но больше из вежливости. Слова этих песен были грубые, и мотивы грубые,— и ей стало унизительно и тоскливо, как будто она играет навязанную роль. Так естественно было со всеми вместе уйти с занятий, со всеми вместе бегать по городу,— а вдруг защемило-защемило в душе, и так одиноко. Но неудобно было показать это кому-нибудь, надо было сохранять весёлый вид.

А в соседнем помещении размножали на стеклографе листовки, приносили их, мокроватые и неприятно пахнущие, читать для пробы, потом отвозили куда-то расклеивать или разбрасывать. В большом зале столовой так и ложились спать — на стульях, на сдвинутых по двое столах, и Ксенья с Эдичкой легли так, придерживая друг друга, чтоб не скатиться. Света не тушили, но все лампочки обернули красной материей — и чтоб не так в глаза, и в знак революции.

Но от этого создалось совсем уже жуткое, кровяное освещение — и спать было жёстко, а под головой ничего,— и так тоскливо внутри — куда, в какое-то не своё попала Ксенья.

И — зачем?..

Сегодня утром она не осталась больше чистить картошку — а пешком через весь город, до Соляного двора, пошла домой.

И вошла виновато, как будто сделала что-то дурное или против своих хозяек.

Она и вообще-то их побаивалась. Это были две сестры, старые девы, обедневшие дворянки, очень строгие в жизненных правилах — так что даже вечеринки Ксенья не могла у себя собрать, и не любили они, когда она возвращалась поздно, тем более были шокированы, что сегодня не ночевала. А вот они рассказали Ксенье, что вчера вечером вместе с кучкой политических из Бутырской тюрьмы вырвалось две тысячи уголовников — и теперь они растеклись по Москве, уже грабят дома и на улицах,— теперь дверь должна быть на засовах, и подпёрта, и вечером не открывать даже на цепочку.

Об этом побеге предупреждение и в сегодняшних газетах (со вчера появились газеты). И с такой же степенью опасности печаталось рядом, что арестованы члены московской монархической организации, но их черносотенные документы не захвачены, они успели вывезти их из Москвы в первые дни волнений.

И сёстры негодовали такому сравнению. Только за то они прощали эту революцию, что, не как в Пятом году, не пресеклось ни электричество, ни водопровод. И надо ж было случиться, что единственная за все эти дни в Москве стрельба — как раз и произошла рядом, на Большом Каменном мосте, ещё более напугав и отвратив хозяек.

В первый год жизни на этой квартире Ксенья тяготилась их строгостью — для этого ли она ехала в Москву, чтоб и тут приволья не было? Но как-то привыкла. Она не хотела снимать квартиру в Петровско-Разумовском, предпочитала на курсы далеко ездить, зато жить в центре города, близко ко всему, хорошо возвращаться из театров и с балетной группы. Да на самом деле она и любила над собой строгость — ведь и у Харитоновых было то же. Так — и учиться лучше, и чище себя чувствуешь. А танцевать ей не мешали.

А сейчас, наглотавшись этой революционной весны, так приятно: в неурочное время принять душ, да прикорнуть на кушетке с томиком Стриндберга.

317″

(из первых газет)

ОБЪЯВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПЕТРОГРАДСКОГО ГАРНИЗОНА

...будто бы офицеры в полках отбирают оружие у солдат... заявляю... к недопущению подобных действий со стороны офицеров, вплоть до расстрела виновных.

Энгельгардт

ВОЗЗВАНИЕ ОФИЦЕРОВ К СОЛДАТАМ

Боевые наши товарищи солдаты! Пробил час народного освобождения. И мы, ваши сотоварищи на передовых позициях... смешивали кровь с вашею на поле сражения... Верьте же, что свобода родины нам дороже всего. Старый самодержавный строй, который за два года войны не сумел дать окончательную победу, пусть сгинет навсегда. Мы вместе с вами предаём старый строй проклятию. Товарищи солдаты! Не бросайте ружей. Возвращайтесь в свои части для дружной работы вместе с нами...

Ваши товарищи офицеры. Государственная Дума.

ПАЛА РУССКАЯ БАСТИЛИЯ — Грозный шквал Великой Революции докатился до стен Петропавловской крепости...

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРОНШТАДТСКОЙ КРЕПОСТИ — Восставшим гарнизоном была взята местная цитадель, убит стоявший за старый порядок военный губернатор Вирен... В Кронштадт командированы депутаты Государственной Думы Пепеляев и Таскин. Перед фронтом выстроившихся войск они произнесли горячие речи, принятые восторженно. Временным комендантом кронштадтской крепости назначен Пепеляев.

По сведениям Комитета Государственной Думы ни в Петрограде, ни в окрестностях столицы НЕТ НИ ОДНОЙ ВОЕННОЙ ЧАСТИ, КОТОРАЯ СОХРАНЯЛА БЫ ВЕРНОСТЬ ПАВШЕЙ ВЛАСТИ.

ПРИКАЗ ПО ВОЕННЫМ УЧИЛИЩАМ — Владимирскому, Павловскому, Топографическому... Производить все обычные занятия. Обращаться кому-либо к начальству училища с требованием о выдаче оружия и боевых припасов — воспрещается под строжайшей ответственностью перед Временным Комитетом Государственной Думы.

...Власть Комитета Государственной Думы абсолютна, ибо нет возражающих против неё. Её веления — закон, она — благодетельна, она — популярна. ... Государственная Дума — вот наш национальный вождь в великой борьбе, всколыхнувшей всю страну...

БОЙТЕСЬ ПРОВОКАЦИЙ — Расползлось чёрное отродье вчерашних тиранов, холопы сражённой власти, и призывают празднично настроенную толпу к погромам магазинов, выкрикивают дикие лозунги опасного бунтарства. Появились какие-то тёмные личности, закишели шептуны. Но замыслы слуг тьмы и позора разбиваются о чистую совесть просветлённого народа.

ТЕЛЕГРАММА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО КАВКАЗСКОЙ АРМИЕЙ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА на имя М. В. Родзянки.
...обратился к Государю Императору с верноподданнической мольбой ради спасения России и победоносного окончания войны принять решение, признаваемое вами единственно правильным выходом...

АРЕСТ Н. МАКЛАКОВА

АРЕСТ МИНИСТРА ТОРГОВЛИ

...Общее собрание членов всероссийского общества редакторов ежедневных газет... Свобода слова, неизменно составляющая руководящий принцип общества... Глубокое убеждение, что полное ограждение этой свободы необходимо и в настоящий момент... Подчёркивают, что новая власть является истинной выразительницей народа и только она может способствовать расцвету страны...

...Также доставлена в Таврический дворец небезызвестная графиня Клейнмихель...

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОЮЗНЫХ СТРАН В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. ПРИЗНАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННЫМИ ДЕРЖАВАМИ. — ...Были приняты военные агенты и дипломатические представители Англии, Франции и Италии, заявившие... При приходе итальянской делегации огромные массы народа, с утра переполнявшие Екатерининский зал, восторженно приветствовали: „Да здравствует Италия!"

...Мы не будем предателями по отношению к французам. И мы до конца выполним слово, данное Англии...

НАКАНУНЕ АМНИСТИИ — Под председательством комиссаров Государственной Думы в министерстве юстиции вырабатывается указ о полной амнистии по политическим делам. На совещании выяснилось, что тюремное управление, ввиду его разгрома, не будет функционировать ещё длительное время.

В МИНИСТЕРСТВЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ — После арестования министра принят ряд мер к поддержанию и усилению... Комиссар А. А. Бубликов обратился... Упразднены некоторые коллегиальные органы... Энергичные меры приняты к уничтожению канцелярской волокиты.

ГДЕ МАРКОВ И ЗАМЫСЛОВСКИЙ?..

ГЕНЕРАЛ Н. И. ИВАНОВ — 1 марта в Петрограде циркулировали слухи, будто генерал Иванов во главе корпуса правительственных войск идёт на Петроград. По проверке слухи эти оказались ни на чём не основанными.

Комиссар по военному министерству А. И. ГУЧКОВ объезжал 1-го марта все казармы и отдавал распоряжения.

ТЕЛЕГРАММА ПЕТРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ КРОПОТКИНУ в Лондон от Бурцева: „В этот исторический момент ваше присутствие необходимо".

ТЕЛЕГРАММА ПЛЕХАНОВУ...

Г Р А Ж Д А Н Е! Власть, сильная доверием населения и армии, может исходить только от Государственной Думы. Мы приглашаем всех граждан, соблюдая непрерывность производительного труда, предоставить все силы в распоряжение Государственной Думы. Не время для распрей, споров, лишь в единении спасение Родины. Германия не дремлет.

РАЗГРОМ КВАРТИРЫ ДЕПУТАТА Л. А. ВЕЛИХОВА — Вчера в его квартиру нагрянули неизвестные, переодетые в солдатские шинели, и под видом обыска произвели полный разгром квартиры. Похищены все драгоценности и носильное платье, захвачено до 300 штук визитных карточек депутата. Велихов просит предупредить публику от самозванцев.

Подобные случаи были и во многих других квартирах, где появлялись неизвестные люди, обыскивали, уносили деньги и вещи.

ПОТОК ПРИВЕТСТВИЙ — Со всех концов России... телеграммы от населения, городских дум, земских собраний... В восторженных выражениях приветствуется решение Комитета Государственной Думы стать во главе народного движения... Масса трогательных телеграмм от отдельных лиц, стоящих во главе крупных предприятий... Представитель нижегородских мукомолов предлагает бесплатно предоставить все свои мельницы для нужд родины...

СОВЕТ СЪЕЗДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ собрался впервые после низвержения старого правительства... Преклоняясь перед подвигом, явленным стране Государственной Думой... он вольёт в страну свежие силы для полного отражения неприятельского нашествия...

ВОЗЗВАНИЕ ОБЩЕСТВА ОТЦОВ ДЬЯКОНОВ г. ПЕТРОГРАДА

Аз есмь с вами до скончания века. Аминь... Православное духовенство Петрограда и всей России призывается к единению с народом. Промедление угрожает православию гневом народа.

В М о с к в е — Большой и Малый театры заняты войсками, которые спят в фойе и на сценах...

В Ц а р и ц ы н е — ...Волна радости и энтузиазма. „Дума — спасительница России" — раздаётся повсюду. Арест тёмных сил произвёл колоссальное впечатление, взрыв восторга. Посланы приветственные телеграммы народным избранникам, ставшим во главе власти в страшный момент.

ПОДРОБНОСТИ ВЗЯТИЯ БАГДАДА английскими войсками...

НА ФРАНЦУЗСКОМ ФРОНТЕ...

НА БАЛКАНСКОМ ФРОНТЕ...

318

Хотя Военная комиссия была создана, чтобы руководить военными событиями, но самое большее, что ей удавалось,— это компетентно следить, как события сами происходят, и умно комментировать их внутри себя. Уже имела она под рукой пишущие машинки и отличных писарей, уже и караул преображенцев отражал её от натиска пустых посетителей; по её полномочию сидели офицеры в Таврическом дворце и в Доме Армии и Флота, выписывали тысячи удостоверений офицерам на право быть, на право жить, на право выехать или носить оружие. (Офицеров из частей приводили только что не убитыми — и уж как они рады были получить охранную революционную бумажку!) И обороною самого дворца Комиссия несомненно руководила: эвакуацией той массы взрывчатых веществ, натащенных сюда в первые дни революции, и особенно пироксилина, опасного для перевозки в холодное время (его утопляли в колодце).

Если что происходило серьёзное, благоприятное или неблагоприятное, то Военная комиссия могла только узнать и удивиться. Так удивлялись они сегодня событию на станции Луга: каким образом нестроевому, невооружённому, неопытному разбродному гарнизону удалось бескровно обезоружить такую отличную боевую часть как Бородинский полк?

А если издавался в Петрограде военный приказ — то оказывалось, что он исходил не из Военной комиссии. Вчерашний приказ Энгельгардта о том, что офицеров будут расстреливать за попытку навести порядок с оружием, Военная комиссия к себе не относила, как и самого шпака Энгельгардта, лишь по недоразумению окончившего Академию, да он уже и председателем Комиссии не был. (Председателем был неизвестно кто: Гучков — всё время в разъездах, а помощником председателя лез эпилептик генерал Потапов, его не признавал тут никто.)

И неудержимый казак Караулов всё более размахивался в приказах. Вечером он издавал приказы по всему Петрограду — как комендант Таврического дворца. Сегодня он не был комендант, но всего лишь как член Временного Комитета Думы опять издавал по всему Петрограду уже Приказ № 3, везде распубликованный и развешенный, самым решительным языком (впрочем, это и Половцов подписал бы: воров и грабителей задерживать и даже расстреливать). Смеялись (да и не смеялись), что Караулов примеряется выскочить в диктаторы.

Новый комендант Таврического, ещё один шпак, случайно с полковничьими погонами, либерально-сентиментальный журналист Перетц, пока сегодня ограничивался только удостоверениями на право проживания да пропусками на вход и выход из Таврического, но определённо тянулся тоже издавать громовые приказы, как бы не по всему Петроградскому округу.

А вот, гонясь ли тщетно за Карауловым, спохватился писать военные приказы и Совет рабочих депутатов! Ещё сегодня ночью, когда генштабисты разошлись и приютились спать кое-где, будто какие-то солдаты от Совета ломились в Военную комиссию, что желают читать приказ, ответили им, что до утра,— а утром они уже отпечатали газетами и листовками, раздавали и расклеивали повсюду, чуть не миллион экземпляров своего „Приказа № 1", ни много ни мало — по Петроградскому гарнизону.

Уже после утреннего кофе генштабисты читали его. Приказ № 1 грубо-претенциозно пародировал военные приказы по округу, а по сути — нёс всякий вздор, отражая то, что в городе уже творилось: выборы солдатских комитетов, недопуск офицеров, а во многих батальонах Петрограда шли и выборы офицеров, без того никто не смел командовать. Даже ещё удивляться оставалось, что приказ призывал солдат — соблюдать в строю и на службе строгую дисциплину. Если бы хоть так-то! — была бы польза и от этого приказа.

А особый язвительный пункт был направлен именно против Военной комиссии: не исполнять её приказов без Совета депутатов! Так ещё меньше оставалось у Военной комиссии власти и возможностей.

Запасные батальоны жили сами по себе, в каком как придётся, вот развози-

ли туда Приказ № 1. Ездили, напротив, депутаты Думы уговаривать, но в более спокойные батальоны, а поехать, например, в Московский было невозможно.

Главный штаб крутился сам по себе, руководимый Занкевичем.

Академия генерального штаба, по ту сторону Таврического парка, привыкала к новой власти. Генерал, её начальник, пришёл жаловаться, что у него отобрали автомобиль, Половцов трунил над ним:

— Ваше превосходительство, благодарите Бога, что вы сохранили голову.

Наступление внешних войск прекратилось полностью. Единственный доставленный полк подавления — Тарутинский, неподвижно стоял невдали от Царского Села. Бородинский был повёрнут назад. Остальные, кажется, и не должны были появиться.

Но опасность грозила не оттуда. Среди генштабистов комиссии появилось такое mot: если мы устоим против революционных властей, то мы революцию спасём.

Не говоря уже об Энгельгардте, Потапове, Караулове, Перетце — кто ещё командовал под их началом и в их окружении? Энгельгардт поручил „гвардии поручику" Корни де Бат две роты „для защиты населения" и сделал его комендантом городской думы — и он там энергично распоряжался,— а оказался он рядовой Корней Батов, не имеющий других целей как грабёж, чем и занялись его наряды. И арестован. А при питании арестованных сановников в министерском павильоне пристроился некто Бáрон, потом объявил, что выбран войсковым атаманом на Кубань,— и исчез раньше, чем его разоблачили.

А хаос в запасных частях распространялся уже из Петрограда и на все его окрестности.

И не было единой сильной руки надо всем этим. Во главе Петроградского военного округа — не было же теперь, после ареста Хабалова, после недоезда Иванова,— вообще никого!

Не может так существовать армия.

Из бесед генштабистов всё более выяснялось, что надо искать и предложить сильного и очень популярного генерала, не связанного с троном,— в командующего округом. Ни один из них, полковников, стать на этот пост не мог по своему чину. (Половцов про себя уверен был, что в революционной обстановке этот пост — как раз для него, в этом был бы и весь смысл его приходда сюда. Но небрежением Ставки или самого Государя — он так и не успел получить генерал-майора.)

И придумали кандидатуру — генерала Корнилова. Воин. Вся Россия знает и любит его за побег из австрийского плена. Никогда не бывал в любимчиках трона — и общество будет его приветствовать.

Хотели получить согласие Гучкова — но он весь день не появлялся. Решили доложить прямо Родзянке.

319

Утро государыни начиналось только в 11 часов. Но ещё задолго до того граф Бенкендорф собрал много вестей, и все неприятные.

Первый и ранний слух был — что готовится нападение на дворец.

Затем даже — что 30 тысяч солдат с пулемётами движутся к Царскому Селу.

Но этого ничего не случилось, никто снаружи не шёл на штурм дворца. Однако, хотя казачья наружная охрана с белыми повязками ещё оставалась, дворец как бы охранялся снаружи уже против самого себя — солдатами мятежных частей, то есть взят в осаду, и значит могли проверять входящих, только женщины проходили свободно; граф Апраксин, сняв придворный мундир, пробрался в штатском.

Ещё пришло известие, что рота Собственного железнодорожного полка, охранявшая царский павильон — отдельную станцию для царских приездов-отъездов, ночью взбунтовалась, убила двух своих офицеров и ушла.

А потом оказалось, что ночью из подвалов самого дворца, не сказавшись, ушли охранявшие его две роты гвардейского экипажа,— ушли почти без

офицеров, и без знамени, но подчиняясь приказу своего начальника великого князя Кирилла Владимировича.

Охрана дворца таяла.

Все известия были тяжелы, но знал граф Бенкендорф, что уход гвардейского экипажа всего тяжелей поразит государыню: их слишком любила царская чета, как своих.

Но была и одна хорошая новость: графу Бенкендорфу доложили ночную телеграмму, присланную генералу Иванову через дворцовый телеграф: Государь нашёлся! Он был во Пскове и намеревался скоро приехать. (До сих пор все телеграммы, разосланные государыней в разные города наугад,— возвращались с пометкою синим карандашом царскосельского телеграфа: «местопребывание адресата неизвестно».)

Со всеми этими новостями обергофмейстер Бенкендорф и ждал, когда пробудившаяся государыня позовёт его, чтобы доложить ей и всё горько необходимое, и единственное утешающее.

Хорошо привыкнув к государыне, он мог видеть сегодня по её вялости, подведенным кругам глаз, по тону голоса, что эту ночь она спала совсем мало. Она приняла его лёжа на диване. Но едва услышав, что Государь во Пскове и шлёт успокоительную телеграмму Иванову, и скоро намерен быть сюда сам,— так резко и радостно поднялась на локте — граф побоялся, что она повредит себе, изогнётся как-нибудь не так.

— Слава Богу! Слава Богу! — перекрестилась государыня, полусидя.— Значит, он не задержан никем! Он опять со своими войсками! Всё спасено! Он явится сюда в силе!

Усмехнулась своей слабости:

— А я, граф, лежу и удивляюсь: снаружи радостное солнце сегодня, и почему же может быть так всё плохо? Но солнце не обмануло.

Она позвонила и велела камеристке отдёрнуть тонкие шторы, забиравшие часть света.

Однако неизбежно было докладывать дальше. И почтительно домашний Бенкендорф сказал об ухóде рот экипажа по вызову великого князя Кирилла.

Сперва — исторгся раненый стон из груди государыни. Она взялась рукой у лба. Снова опустилась на подушки. И так держа руку козырьком от слишком яркого света, произносила изредка:

— Трусы. Бежали. Какой-то микроб сидит во всех. Ничего не понимают. Мои моряки! Мои собственные моряки! Я не могу поверить.— И с новой силой извилась, вскричала: — И все офицеры?

— Нет, некоторые остались, Ваше Величество, и ждут вашего приёма.

Остальных новостей государыня уже не восприняла. Уже и не могла она лежать несколько часов, набираясь сил, надо было вставать, все ждали её.

И так, не собравши ясного сознания, она двинулась в новый безумный день.

Что может более подкосить, чем цепь измен? Все изменяли! Хотя Конвой никак не изменил — но горько было, что вся Россия теперь переполаскивает его измену... (А они — ни в чём не виновны. Из петроградской полусотни приехал конвоец: а у них уже слух, что Александровский дворец разрушен, и под развалинами погибла вся царская семья.)

Даже раньше обхода больных детей приняла в розовом будуаре верных офицеров экипажа.

Рослые морские офицеры стояли со слезами в глазах от позора. Одно удалось им — сохранить знамя экипажа. Теперь они все просили, чтоб дозволено было остаться им при императрице. Они ставили это выше подчинения своему командиру и переступали его приказ.

Государыня была тронута их преданностью, и сохранением знамени, и тем отчасти простила экипажу.

— Боже мой, что скажет император, когда услышит об этом!..

И тут вскоре поднесли ей прямую телеграмму от самого императора — первую за двое суток!

Из Пскова, сегодня же в полночь. Радость прямых обращённых слов, нежность, невыразимая через чужое перестукивание телеграфных ключей.

А новости — никакой, даже нет намерения скоро приехать в Царское, как выражено было Иванову.

Но лишь немного шагов она совершила, держа драгоценную телеграмму в руке, как генерал Гротен доложил ей несколько новых шоковых новостей.

Что в Луге — революция, и разоружён верный Бородинский полк, шедший сюда на выручку в распоряжение генерала Иванова. (Сразу кольнуло: Луга — на прямой линии из Пскова, как же проедет Ники?)

Что сам генерал Иванов со своим эшелоном ночью отбыл в сторону Вырицы. (Очевидно поехал выручать Государя!)

Что в Царском Селе возобновились беспорядки, грабёж, пьянство.

А телефоны дворца перестали работать с Петроградом. Несколько раз пытались вызывать — наконец телефонист прошептал в трубку: „Я не могу вас соединять. Телефон не в наших руках. Я прошу вас не говорить. Я позвоню вам сам, когда это будет возможно".

Ещё сохранялся прямой провод с Зимним дворцом, но там ничего не происходило, и прислуга ничего не могла сообщить.

И с такими новостями по тяжёлой лестнице государыня поднялась к больным детям на 2-й этаж в их тёмные комнаты. Температура у всех, кроме ещё здоровой Марии, была между 37 и 38, но осложнения не проявлялись, только у Тани начало болеть ухо. Все очень слабы, но Алексей даже и весел.

Уже вчера мать стала им кое-что рассказывать из происходящего,— мучительно притворяться дальше. А сегодня стала говорить почти всё как есть. Две старших дочери уже имели большой опыт работы в госпиталях, в комитетах по раненым и беженцам, научились наблюдать людей и их лица, сильно развились духовно через понимаемое ими страдание семьи, и так уже знали последние месяцы, черезо что семья проходит. У них уже была и вдумчивость, и душевное чувство. Пусть знают всё. Даже об экипаже.

И приняли — молодцами. Мари — потому ли, что ещё здорова — особенно гневно возмущалась уходом экипажа. У старших было — примирение с Божьим Промыслом.

Ещё один урок познания людей.

Теперь, поднявшись нв 2-й этаж, государыня оставалась уже тут. Опять сильно болело её сердце, обычное расширение, когда не помогают и капли. Приходится выносить больше, чем сердце может вынести.

Государыня испытывала изнеможение, но держалась силою, чтобы не подумали, будто упала духом. Курила, чтоб утишить боль сердца. Сейчас надо было найти в себе силы идти на ту сторону дворца проведывать Аню. И очень трогалась Александра Фёдоровна, что Лили Ден уже четвёртый день не хочет покинуть царскую семью, не едет к своему сыну в город.

Государыня чувствовала, что ей надо что-то сообразить и сделать, что-то ускользает от её соображения,— но её то и дело тормошили — то Апраксин, то командир Сводного полка Ресин, то самые приближённые,— она терпеть не могла, когда отрывают и всё теряешь линию.

Да, вот что! Отчего не послать во Псков аэроплан с письмом Государю? Самое простое решение. Послала узнать в лётную команду, есть ли такая возможность.

Всё смешалось в голове, какие-то вихри, нельзя уложить верное соотношение вещей. Чем кончится? Как это решится? Что предпринять?

Что он делает во Пскове? Действительно ли это был вольный выбор ехать туда? А если вынужденный? Хотят не дать ему увидеться с его верной жёнушкой — и может быть подсовывают какую-нибудь гадкую бумагу?

Полковник доложил: аэроплан исправный есть, но исчезли все лётчики.

Все изменяли! Все исчезали!

Как же послать письмо? Как же дать ему знать? Как прорвать этот заговор? Разрывается сердце, что и он в одиночестве, и мы, и ничего не знаем друг о друге.

Одно средство — гонец. Верный офицер. Пусть едет. Пусть едет поездом через мятежную Лугу и тайно везёт письмо. Дожили! — письма царской четы должны проходить тайно.

Тут генерал Гротен подал пакет от Павла.

Павел сообщал, что вчерашнему проекту своего „манифеста" он не мог дать лежать без движения. И поскольку государыня его не подписала, а имя Государя должно быть укреплено и поддержано в нынешней обстановке,— он счёл за благо собрать подписи кого мог из великих князей, вот их троих, с Кириллом и Михаилом (что одновременно разрушало и вредные возникшие слухи о регентстве Михаила — как бы гарантия, даваемая от династии). И этот манифест вчера поздно доставлен в Думу и сдан Милюкову, который его одобрил.

И снова прилагался тот вчерашний текст на машинке, отброшенный государыней.

Женский глаз не мог тотчас не заметить первое: что объединило этих трёх великих князей — что все трое они были морганатические отступники от династии. Манифест морганатиков! — невиданное дело!

И теперь эти трое, не имевшие власти над самими собой, над своими страстями и слабостями,— предлагали своему Государю, в какой форме ему лучше всего уступить государственную власть! Только и додумались!

И презренный Милюков — о д о б р и л! Ну конечно! И великий князь Павел писал об этом с гордостью.

О Боже, до чего мы пали.

Но на Павла почему-то не было сердитости.

А т е, Милюковы? Всё рвались к власти — ну пусть водворяют порядок, ну пусть покажут, на что они годятся! Пожар они зажгли большой — как будут его теперь тушить?

Ещё мало было в это утро ударов — принесли ещё один. Но принёс мужественный Гротен, который своей выдержкой и чистотой как бы очищал от этих измен. Он принёс — розданную начальникам всех царскосельских частей записку Кирилла — „контр-адмирала Кирилла",— что со своим гвардейским экипажем он вполне присоединился к новому правительству и надеется, что все остальные части сделают то же!..

Морганатик! Рядом с „манифестом". Мало, что изменял сам,— убеждал и других изменять.

О Боже, о где же граница измен?

Всё было — отвратительно! Но государыня заставляла себя верить, что всё ещё будет — хорошо!

320

Насчёт революционных разлагающих телеграмм, которые Эверт так энергично воспретил,— ответила Ставка в десятом часу утра изощрённо: что генерал-адъютант Рузский уже разрешил пропускать те, которые клонятся к успокоению, порядку и подвозу. (Будто!..) И генерал-адъютант Алексеев, признавая необходимым одинаковое решение по всем фронтам...

Замечательно! Но если — одинаковое, то почему не решение Эверта, он отдал его раньше Рузского: в с е телеграммы задерживать и воспрещать как идущие от мятежного центра и непризнанного правительства! И Ставка оповещена была ночью. И могла бы принять за образец именно законное командирское военное решение Эверта.

От мятежников — заявления к успокоению и порядку? Или будут они подвозить продовольственные запасы армии? Да погонят к себе, в анархический Петроград.

Что ж это такое? Тёр Эверт свой большой непроёмный лоб: Рузский и Алексеев что ж? — становились на сторону бунта? Но тогда хотел бы Эверт иметь прямой приказ от Государя.

Однако Государь был в отрыве, в молчании. И может быть в капкане у Рузского.

Эверт в волнении крупно ходил один по своему кабинету. Что он мог поделать? Не подчиниться прямому начальству? Но то был бы новый бунт! Всякое действие предполагает, что имеется ясный приказ сверху. Как и подчинённые выполняют дальше приказы Эверта. Сила — только в единстве подчинения.

Но что делать, если подчинение распалось выше Эверта? Он так начинал подозревать, ибо не мог таких приказов приписать Государю. Да Алексеев и не ссылался на государеву волю.

И остановку полков Западного фронта Алексеев тоже скомандовал явно от себя. И вот — полки стояли, мялись, ни туда, ни сюда.

Но как можно решиться выпасть из армейской структуры и действовать по собственному убеждению? На такой случай не было у него ни сознания, ни советчика.

Так Эверт провёл тяжёлый час. Всё бурлило в нём, а ни в какое действие вырваться не могло.

Но и от жданья ничего не произойдёт. Приказ есть приказ. Надо собирать губернскую и городскую верхушку (и очевидно земгоровскую?) — и внушать им, как чтобы телеграммы не разрушили порядка.

Под окнами штаба площадь и улицы жили ещё мирно. Но подобные телеграммы могут за несколько часов наэлектризовать город до смятения.

То есть, конечно, Минск уже много знал — от проезжих и по слухам, но пока этого нет в газетах — это как бы не существует, плотина держит.

Тут постучался Квецинский, вошёл походкой селезня, с подпухшими вялыми глазами, виевыми бровями, и доложил:

— Алексей Ермолаич! Вас Ставка к прямому проводу.

Ну, наконец объяснимся! Ну, это уже объяснение! Ну, хотелось бы Алексеева самого, и покрепче с ним!

Почти кинулся Эверт в аппаратную, подымая вихри.

Но у того конца был не только не Алексеев, даже и не Лукомский, а всего лишь Владислав Наполеонович Клембовский.

Он желал Алексею Ермолаевичу здравия. И вот что передавал по поручению наштаверха. Его Величество находится во Пскове, где изъявил согласие навстречу народному желанию учредить ответственное перед палатами министерство...

Ну, если Государь так соизволит. Но почему во Пскове?

...поручив кабинет председателю Государственной Думы...

Этому мерзавцу. Так.

...Однако по сообщении этого решения главкосевом председателю Думы сегодня ночью, последний ответил, что такой акт является запоздалым...

Ну, не берёт, и гнать его в шею!

...ныне наступила одна из страшнейших революций, сдерживать народные страсти трудно, и династический вопрос поставлен ребром...

Династический?! Да Боже мой! Да в чём же?

...и победоносный конец войны возможен лишь при отречении от престола в пользу сына при регентстве Михаила Александровича...

Медленная лента струилась слишком быстро! Быстрее, чем голова Эверта могла всё понять, связать, переварить! Как бомба с потолка грохнуло — отречение??? И накатывало новое, накатывало дальше:

...Обстановка по-видимому н е д о п у с к а е т и н о г о р е ш е н и я, и каждая минута дальнейших колебаний...

Совсем ошелоумел Эверт и плохо понимал ленту дальше. Контужен был Эверт, щупал свою лбину и не удивился бы, если бы кровь потекла из-под пальцев. И странно, что все предметы в комнате стояли и висели по-прежнему, и штукатурка не осыпалась.

Не только — мысль об отречении, но и — не допускает иного решения?.. И даже все колебания — уже кем-то пройдены, позади?

А лента доносила:

...спасти Действующую армию от развала... спасти независимость России... поставить на первом плане судьбу династии...

Это вообще не охватывалось, не понималось даже — о чём? Спасать Россию — ценой династии? То есть погубить её? Всё перепластывалось, переворачивалось, неухватно куда-то катилось...

...Если вы разделяете этот взгляд, то не благоволите ли телеграфировать весьма спешно... Его Величеству через главкосева, известив наштаверха?..

Так — ещё не решено? Так зависит от Эверта, что ли? И надо телеграфировать весьма спешно — а что же думает Его Величество? Самого главного тут и нет! — что же решил Государь?

...Потеря каждой минуты может стать роковой для существования России...— угрожала лента,— ...между высшими начальниками установить единство мыслей и целей... и спасти армию от возможных случаев измены долгу...

Да остановись, проклятая, никакой головы не хватит!

...переворот, который более безболезненно совершится при решении сверху...

Переворот — но сверху? что за белиберда? И — не допустить *измены долгу?* И — не допускает иного решения?..

— Вот и всё,— заканчивал Клембовский.— И если вы имеете задать вопрос, то я в вашем распоряжении.

— Безболезненно для армии — если только сверху?..— бормотал Эверт, а телеграфист так понял, что это ответ, и выстукивал.

Взять себя в руки! В той же растерянности, непонятливости, но твёрже:

— Найдутся элементы враждебные... а может быть и желающие ловить рыбу в мутной воде...?

Это он — скорее думал, чем говорил, а чёртова машина урывала, уносила слова. Нет, так сразу отвечать нельзя.

— А запрошены ли остальные Главнокомандующие?

— Всем Главнокомандующим сообщено одно и то же.

Ну да, потому что они все заодно: Алексеев. И Рузский. И конечно Брусилов. И конечно Непенин? Их — большинство, и они уже решили? А мы — разрознены? Или я один?

Мелькнуло спасительное: как они запрашивают, так и мне бы дальше? До корпусных?

— Есть ли время сговориться с командующими армиями?

Но уже настолько не было времени, но уже настолько некогда думать:

— Время не терпит. Дорога каждая минута. И иного исхода нет. Государь колеблется, единогласные мнения Главнокомандующих могут побудить его принять решение, единственно возможное для спасения России и династии.

Иного исхода нет!? Решение — единственно возможное!? И — ни минуты для решения! Пот прошибал под кителем и в волоса. И — ещё гнали, хуже:

— ...При задержке решения Родзянко не ручается, всё может кончиться гибельной анархией. Надо также иметь в виду, что царскосельский дворец и августейшая семья охраняются восставшими войсками...

Об армейских командующих — не ответила Ставка.

Но — и от Эверта не могла она требовать рявкнуть „так точно"!

— Больше ничего не имею,— отрезал Эверт.

— Имею честь кланяться,— невидимо улыбался Клембовский.

И остался Эверт — с непроглоченной тушей вопроса,— большею тушей, чем был сам.

И — на самое короткое время.

А — повернуть сейчас несколько дивизий и идти из Минска на Могилёв?.. Тут совсем недалеко, завтра можно взять Могилёв.

Но — дальше? Но бунт — в Москве. Но если бы в Могилёве был Государь и сказал бы одобрение,— а как же всё одному? Против — всех?

Спрашивать трёх командующих? Горбатовский, Смирнов, Леш?.. Разве что время оттянуть, а что они скажут?

А ответ — немедленно!

И ведь как: для сохранения армии. Для победы над немцами. Для спасения России! для спасения династии!

Однако Государь колеблется?

Кто это может проверить, вырвать из стеклоглазого Рузского?

Но и: царская семья — в руках мятежников!

Никогда ещё Эверт не бывал обязан такое трудное — решить так быстро. Такое высокое, обширное и в общем не военное — простой армейской головой.

Нет! Позвал Квецинского:

— Запросите Ставку, пусть сообщат, как ответили Рузский и Брусилов.

Совсем ничего не ответить? Но запрос был — как бы от Государя? (Этого не проверить.) А на запрос Государя как сметь не ответить?

Но — и что ж он напишет?

Не о своём же смятении. Не о своей же беспомощности, Да, спасение России от порабощения Германией — это на первом месте, так. И спасение династии — да, это понятно. Эверт и принимает все меры, чтоб оберечь армию от всяких сведений о положении в столицах. Но там-то что творится! А на Балтийском море! Это ужас! И это — анархическая банда, не регулярный порядочный противник, против него нет боевого опыта. Эверт не имеет такого опыта. А если — начнёт заражаться и армия?..

Да как можно самостоятельно решиться на военные действия?.. Надо поступать как все. Как остальные.

А в дверях вот он и Квецинский:

— Отвечают: и Рузский, и Брусилов — оба согласны с предложенным. Наштаверх просит поспешить с решением.

Опять поспешить, о Боже, куда ещё быстрей!

Поддержать ходатайство, если согласен... А если — не согласен?..

Там, на юге, Сахаров и Колчак, может быть, думают и иначе, но не перепрыгнуть через Брусилова, не послать связного птицей.

Так что, может быть... ? Может быть и правда?.. Чем-то же надо прекратить беспорядки?

При создавшейся обстановке... не находя иного исхода... измученным умом... *исхода*, который невозможно вымолвить или написать пером, но вы, Ваше Величество, знаете... понимаете... Безгранично преданный Вашему Величеству верноподданный может только умолять... Во имя спасения родины и династии... Если этот исход — единственный?.. И может спасти Россию от анархии?..

И если так ответить — то Его Величество поймёт!

И насколько сразу легче самому! Заодно с остальными.

Да ведь и царские дети в руках мятежников, как же быть?..

Вот так мы попадаем иногда... Сила солому ломит...

Написал ли бы Эверт это всё или не написал бы, но пока он мучился и набрасывал,— пришло из Ставки подтверждение ночному своеволию Алексеева:

„Государь император приказал вернуть войска, направленные к Петрограду с Западного фронта, и отменить посылку войск с Юго-Западного".

Вот как! Вот урок! Государь — отнюдь не колебался, значит!

Он сам — вот прекращал борьбу.

Он — знал, что делал.

И Эверту оставалось только...

И насколько легче!..

321

Мгновенный брусиловский ответ положил хорошее начало консилиуму главнокомандующих.

Но дальше — замялось, никто не спешил ответить. Генерал Алексеев волновался. Начавши такой опрос — уже нельзя было растягивать. Если никто больше не ответит — запрос падёт пятном на Алексеева. Единолично — он не смел бы выступить за отречение.

Почему молчал великий князь Николай Николаевич? От него можно было ждать ответа и быстрого и приветливого.

Прошло больше часа — Лукомский послал на Кавказ подгонную телеграмму.

Отозвался Янушкевич: ответ — скоро. И будет в духе пожеланий генерала Алексеева.

Хорошо!! Не подвёл великий князь.

Для запроса флотам Алексеев вызвал к себе адмирала Русина, начальника морского штаба при Верховном. Алексеев положил перед ним телеграмму — и увидел, что адмиральский взгляд похолодел.

— Какой ужас! — выстонал адмирал.— Какое великое несчастье!..

Да, это было так. Да, пожалуй это было так. Но с тех пор как Алексеев взялся за разумный консилиум главнокомандующих — он уже был в действии и уже отрешился от этой первичной робости. Вопрос стоял о спасении России и династии, и не время предаваться сантиментам.

Поручил дежурному проверить, как скоро будут отправлены телеграммы во флоты.

Эверт тянул. Хотел узнать мнения других главнокомандующих.

Задумался Алексеев над мыслью Эверта: запросить ещё и мнение командующих армиями. Логика тут была. Но ввязывать ещё двенадцать человек? И громоздко, и долго, и что выйдет? И зачем? Командующим обстановка внутри империи мало известна, поэтому запрашивать их мнение — лишнее.

Но хитрее всех вывернулся Сахаров: вообще прервал связь Румынского фронта, отключился!

Лукомский кричал в аппаратной, требовал немедленно восстановить связь с Яссами.

Придумали: попросить Юго-Западный связаться с Яссами как бы от себя.

Тут как раз пришло из Пскова высочайшее соизволение воротить на места полки Западного фронта и не посылать с Юго-Западного.

Как Алексеев жёгся, ждал этой телеграммы прошлой ночью! И сколько же изменилось за 12 часов, что она была уже почти и не нужна, разумелась сама собой.

Но — спадал с Алексеева последний стыд перед обществом за эти посланные на Петроград войска! И — добрый знак: Государь настроен благоразумно. Так, вероятно, будет сговорчив и с отречением.

Поручил послать отбойные телеграммы Эверту и Брусилову.

Наконец — вырвали согласие и от Эверта.

Восстановили связь с Сахаровым — теперь просил он ответы остальных главнокомандующих. Каждый оглядывался, боялся проиграть.

Телеграфировали ему, что все уже ответили положительно. И торопили.

Три ответа пришло, и, просматривая их, Алексеев решил составить из них сводную телеграмму Государю. И — скорее, успеть, пока там всё решается.

Но надо было думать и дальше: откуда Государь возьмёт самый текст отречного манифеста? И он должен быть торжественный, выразительный, сохраняя традицию русского престола. Надо составить его в Ставке, тут.

Лукомский брался составлять, но Алексеев подыскивал более опытные перья. А для чего же состоял при Ставке начальник дипломатической части вице-камергер Базили, протеже Сазонова? И ещё нашли в помощь военного юриста. И ещё одного бойкого ставочного подполковника Барановскго. И они уединились сочинять.

А Алексеев снова горбился над своим столом и снова гнал телеграмму, обширную.

...Всеподданнейше представляю Вашему Императорскому Величеству полученные мною телеграммы...

И первую — конечно от Николая Николаевича: и потому, что великий князь. И потому, что очень уж выразительная.

Затем — от Брусилова, по несомненной её категоричности.

Затем — от Эверта, в конце концов неплохо получилось.

А Рузский — сам там.

От Сахарова ещё не было. От Непенина не было. И не было от Колчака.

Четыре есть, трёх нет. Восьмое мнение должен был доложить сам Алексеев.

Но после трёх уже включённых телеграмм, где страшное для Государя решение уже было названо прямыми словами,— Алексееву без нужды было лишний раз травить государеву рану.

Ему стало жалко Государя. Так и видел он перед собой его добрый, светлый ласковый взгляд, как ни у кого.

И Алексеев — избежал назвать прямо страшное слово „отречение" или о чём идёт речь.

А только: что умоляет Государя принять решение, которое внушит Господь

Бог. Его Императорское Величество горячо любит родину — и примет то решение, какое даст мирный благополучный исход.

322

Как бываем мы несоразмерны ходу времени, то сгорая в минуты, то продремливая месяцы,— так и ко многим событиям бывает неготово наше непослушное тело: они застигают нас в несоответственном состоянии. Должно в нас само что-то осесть, переместиться, и только тогда мы вполне отчётисто примем любой удар, неожиданность, горе или даже радость.

Так и теперь в киевском поезде, с отрезанными возможностями что-либо сделать, без опасности куда-либо опоздать, Воротынцев отдался этой внутренней укладке.

После сильных мятелей здесь до сих пор не всё, не везде было расчищено, поезд тянулся, тянулся мимо сугробов и баб с деревянными лопатами. Подолгу стоял на станциях, забыв расписание. И в этой удолженной растянувшейся поездке, бездействии, тесноте купе и молчании, к счастью сосед всё время спал,— Воротынцев стал приходить в себя как от обморока.

Постыдность! постыдство за прожитую неделю! Нельзя было провести такую неделю — бессмысленней и одураченней. Провалялся по дамским постелям — не очнулся, не догадался, что попал в самую гущу невероятных событий. Всю жизнь мечтал оказаться на самом нужном месте, на своём Аркольском мосту,— и вот может быть посылалось ему где-то действие несравненное — а он проволочился тряпкой, поражённый внутренним недугом,— всё пропустил. Если б ему когда предсказали — не поверил бы.

А вчера был ещё по-особенному потерянный день, ибо открыт для движения, открыты глаза — а ничего не придумал. А сегодня? Неизвестные, неуловимые, неостановимые события происходили где-то всякий час — а Воротынцев только дальше отъезжал от них, в незнании и в бездействии.

Но — Государь?! Но — что же он? Да не для этого ли самого момента он 22 года носил сияющую корону? принимал овации народных толп?

А он — поехал к жене и деткам?..

Но. Но запутаться, вот, оказалось легко. Но семейная слабость — о-о! — она всякого может взять.

Нет, Георгий сейчас не имел прежней сердитости и безжалости к Государю. Даже сам не заметил, когда и как это стало. Со вчерашнего дня, когда узнал, что царь задержан? Или от ольдиных уговоров, ещё в октябре, и сейчас? Прошлой осенью изводило и мутило Воротынцева, что трон губит армию в ненужной войне, в государевой воле он видел препятствие к разумному выходу из войны. А сейчас грохнуло так — что только бы, только бы не рухнул фронт.

Трон — только тронь, говорила Ольда. Но и фронт — только тронь.

Теперь угнетала не та прежняя угроза измотать солдатские силы — но всё полетело кувырком за спиной Действующей армии. Это — куда хуже того, что рвался Воротынцев предупредить.

И таким жалким показался ему теперь его осенний перебродливый поиск.

А — что ж было правильно?..

Имея дело с такими историческими массами — нельзя нервничать и дёргаться. Прав был Свечин?

Но где же Государь?? Пока он не признал петроградских мятежников — они никто, и в стране ещё ничего не произошло. Он — в их руках? Или вырвался?

Или — вообще он не был задержан, то только слух?

Ах, теперь прояснилось, не додумал, ошибся: вчера с Николаевского вокзала всё-таки надо было гнать вослед государеву поезду — найти — и может быть оказаться полезным?

Кончился поездной покой — занозило, хоть поворачивай.

А куда теперь! — смешно. Как-то там уже развязалось.

Киевский поезд — тащился, подальше ото всех событий. И стоял в глухоте, томился.

Воротынцев выходил помататься по короткому заснеженному перрону — может быть узнать какие новости? Да где там! Для здешних события остановились на вчерашнем и позавчерашнем. Напротив, это местные обыватели окружали пассажиров с расспросами, даже вскакивали в вагоны, и просили газет, газет, каких-нибудь вестей! — что там творится, в столицах?

Россия лежала в глухоте, и никакой революции не знала.

323

Как пошёл Шингарёв 28-го февраля в Продовольственную комиссию, так и сидел там третьи сутки, мало отвлекшись на сон и на еду. За всё это время он не участвовал в политических страстях, интригах, замыслах, надеждах, даже не следил за ними, как будто и не в Таврическом дворце находился (а одну ночь и ночевал тут). В Продовольственной комиссии совсем не краснокрыло ощущался полёт революции, но — перекидкой косточек счётов, накладными, нарядами, колонками цифр. Но и, пожалуй, единственное это было место, где не уверенный в себе думский Комитет и наглеющий Совет рабочих депутатов не соперничали, не подозревали друг друга, но сотрудничали.

Хотя Шингарёв никак там председателем не стал, но всё же Громан и какой-то Франкорусский не препятствовали ему работать. Да без Совета рабочих депутатов и трудно было сейчас продвигаться с каким-либо делом в петроградском хаосе. (Громан и свой хаос добавлял в качестве революционного эксперимента: на сливочное масло, которого было полно, объявил *таксу* — и оно исчезло из лавок.)

Шингарёва всегда тянуло к живому делу. А живей и важней продовольствия вряд ли и было что сейчас в Петрограде. Есть хотелось всем по-прежнему и в революцию, и у хлебных лавок с утра собирались хвосты.

Да муки-то в Петрограде было совсем и не мало! — как теперь с удивлением обнаруживал Шингарёв по стекавшимся документам,— ещё же и военные запасы. Вся опасность оказалась сильно преувеличенной. А поскольку мятели кончились — на Николаевский вокзал как ни в чём не бывало продолжали прибывать новые вагоны с мукой. Но именно благодаря революции они не разгружались. Новые многие тысячи пудов! — и надо было срочно разгружать их, перевозить, снова складывать, отпускать пекарям, выпекать — а ни у кого настроения не было. Надо было уговаривать грузчиков и пекарей, призвать к их сознанию как граждан.

Ввачале Продовольственной комиссии казалось только-то и всего: возобновить продажу печёного хлеба, упразднить хвосты. Но поле деятельности разворачивалось само собою. А — охранять продовольственные склады, оставленные теперь безо всяких часовых? А — охранять развоз муки по хлебопекарням? (Нападений на муку и хлеб ещё не было, значит не голодны, но по общему беспорядку в любую минуту могли быть.) Перевозка по городу оживилась бы, если б можно было пустить грузовые трамваи,— но все трамваи были остановлены властью революции. А — кто-то же должен был теперь кормить и солдат, в защите дела свободы отбившихся от своих казарм? И целые лишние полки, нахлынувшие из окрестностей в Петроград? очевидно — надо было выделить подкомиссию по фуражу, и что-то решать с петроградскими извозчичьими лошадьми, которые лопали хлеб, из-за того что нет фуража.

Чего никогда не посмела бы отмершая старая власть — могла сделать нынешняя Продовольственная комиссия: обратиться к чести и достоинству каждого гражданина, получившего теперь свободу,— прося его ограничить себя в потреблении продуктов первой необходимости и делать закупки только по действительной потребности, а не в запас.

Но с другой стороны нельзя было и пренебрегать введением карточек на хлеб. Как ни обидно, но приходилось начать революционную эпоху с установления хлебных карточек. Обывателю установить норму полтора фунта в день, нет, даже фунт с четвертью,— а солдатам, считаясь с их буйным революционным духом, придётся два с половиной.

И ещё вся организация карточной системы в Петрограде требовала многочисленных собраний по районам, подрайонам, попечительствам, кому-то печатать карточки, кому-то составлять списки, кому-то приглашать владельцев булочных на заседания в городскую думу.

Но Шингарёв, со своим уже государственным опытом, видел, что дело никак не ограничится одними петроградскими хлебными заботами: перед глазами вставала вся страна. По своему положению кто ж, как не Петроград, обязан был продолжать бесперебойное снабжение Финляндии, Балтийского флота да и Северного фронта? А по той

революционной роли, в которой Петроград уже объявил себя России,— очевидно он, а не кто другой, должен был обеспечивать хлебом и всю Действующую армию и все города Империи. И все эти заботы, пока не существовало нового правительства,— кому ж было брать сейчас, как не Продовольственной комиссии? И Шингарёв убеждал своих случайных революционных коллег: революционная власть должна жить и завтра, и послезавтра,— и поэтому забота быть должна не только о том хлебе, который уже в Петрограде, но о том, который всюду по России, и надо, чтоб захотели везти его в Петроград и другие места.

А надежда Шингарёва была — на добрую волю, на доброе сознание самого народа! Наш народ веками был лишён драгоценного дара свободы. А теперь, когда революция предоставит ему свободу во всей широте,— он сам, наш Святой и Великий Страдалец, нащупает верные пути. До сих пор потому недостаточно поступал хлеб, что крестьяне не доверяли старой власти. А если теперь открыто призвать крестьянство к бескорыстной сдаче хлеба,— то оно тотчас широкодушным святым движением, вереницею подвод потянется навстречу новой революционной власти. Итак, не обойтись без воззвания ко всей стране, первого воззвания революционной власти к России, и будет оно — о хлебе. Как-нибудь так: „Граждане! Совершилось великое дело: старая власть, губившая Россию, распалась! Главная задача теперь — обеспечение продовольствием... Запасов хлеба от старой власти осталось очень мало, и надо спешить заготовлять..."

Но кто такая анонимная Продовольственная петроградская комиссия, чтобы взывать к России?

А кто теперь вообще мог, имел право взывать к России? Одно такое несомненное имя было: Родзянко. Надо убедить Михаила Владимировича подписать. Да он несомненно подпишет.

Но прежде надо составить эти сильные слова, этот звучный призыв к русским сердцам.

И Шингарёв — искал их, мучаясь, что всё приходят не те, не самые лучшие, сидел за углом случайного стола и набрасывал это воззвание, сам до того волнуясь, что должен был скрывать от соседей наплытие слёз:

„Граждане России! Земледельцы, землевладельцы, торговые служащие, железнодорожные рабочие! — помогите родине! Все как один человек — протяните руку помощи в эти грозные дни! — пусть ни одна рука не опустится!"

Когда Андрей Иванович думал о народе — о народе в целом и обо всех благородных сердцах, его составляющих,— он всегда был слаб на эту слёзную поволоку в глазах и в голосе, он всегда выражал лицом и голосом больше, чем неподатливой речью устной или письменной:

„Скорее продавайте хлеб уполномоченным! Отдавайте всё, что можете! Скорее везите к железным дорогам и пристаням! Скорее грузите!.. Время не ждёт! Граждане! Придите на помощь родине хлебом и трудом!"

Удалось написать. И удалось переломить сопротивление сухих социалистов Громана и Франкорусского, не верящих в сердечные воззвания, а только в экономические законы. И без труда размахнулся широченной подписью Родзянко. И это попало в газетные листки, запорхало!

Но уже через несколько часов социалисты прижали Шингарёва в реванш: землевладельцы — разные, и у которых большие запашки — хлеб надо реквизировать, а не взывать к добровольной сдаче. Революционная власть — обязана так.

После душевной сласти воззвания Шингарёву это было как нож. Посопротивлялся он им, сколько мог, но сила и напор были за ними. И сегодня Продовольственная комиссия разослала во все концы России такую телеграмму (по телеграфной скорости она должна была воззвание где нагнать, где обогнать): у всех земельных собственников с запашкою больше 50 десятин (а это — совсем не большое владение!) реквизировать (без понижения цены,— только и добился Шингарёв) хлебные запасы. И — запасы торговых предприятий и банков. (Банки Шингарёв не только не защищал, он давно предлагал Думе надзор за банками, но его окорачивали.)

Никакой Россией не выбранная, России не известная, петроградская анонимная комиссия телеграфировала такую команду.

И в этих волнениях и борениях, честное слово, забыл Шингарёв, что в какой-то другой комнате создаётся же правительство, и он вот-вот перейдёт туда министром финансов.

Вдруг пригласили его зайти к Милюкову.

Андрей Иванович пошёл. Уже ни в каком коридоре, и в думском крыле, не пройти без сутолоки совсем чужих людей.

И в той комнате, где Милюков сидел, тоже теснились лишние люди, и не только доверенные. Присел к нему поближе, разговаривали вполголоса.

Черты Павла Николаевича за эти сутки обострились: брови стали как будто ребёрчато-угловатые, а усы даже на вид пожелтели до проволочных. Напряжён был — а вместе с тем как будто и рассеян; разговаривал с Андреем Ивановичем, а думал как будто и о другом.

Да разговор-то недлинный: лидер кадетской партии сообщал своему сочлену и заместителю по фракции, что в новом правительстве он получает портфель.

Ну да, кивал Шингарёв.

Однако — так и не так, выразил Павел Николаевич озабоченность, и с выражением неприятности, жёсткости. Тут — некоторая более сложная комбинация, выходящая за внутрипартийные расчёты. Андрею Ивановичу придётся стать министром — земледелия и землеустройства.

Что называется — глаза на лоб полезли у Шингарёва: как? что? с чего? почему? Да ведь... да ведь не сам он, но вся кадетская фракция, но вся Дума привыкла и прочила его в министры финансов!

Не то чтоб он был финансист, или специалист по финансам, такого образования он не имел, но кадетская фракция была настолько иссушающе юридична и гуманитарна, настолько никто не владел никаким практическим делом и даже считать никто не умел; а кому-то надо было заняться финансами,— вот и взялся Шингарёв. И — годами сидел над сметами, и учился у финансовых чиновников, и изучал методы — и, кажется, довольно блистательно оппонировал Коковцову. Столько труда, изучения, анализа — зачем же?..

Открытый лоб Шингарёва не умел скрыть чувства. Милюков бы не мог притвориться, что не замечает. Но Павел Николаевич ни с кем никогда за всю наверно жизнь не бывал ни открыт нараспашку, ни душевно мягок,— сентиментальности и участия не ждал от него и близкий товарищ по партии. Однако, имел право Шингарёв на человеческое объяснение, что и Милюкову это больно, обидно, но так получилось?

Нет, слишком ли напряжённый событиями или по своей непереступаемой холодности, Милюков даже не захотел изобразить подходящего к делу сожаления. Хотя именно этим словом ответил, как диктуя:

— К сожалению, это совершенно неизбежно. Это не подлежит дискуссии. Этого нельзя было устроить никак иначе.

Очевидно, он многое знал такое, чего не мог сказать. Да Шингарёв привык видеть в Милюкове крупномасштабного политика, не сравнимого с собой. Он верил ему, он шёл за ним, он готов был и согласиться и дать себя уговорить,— но всё же хоть что-то объяснить? Уж как обидно! — труд, направление стольких лет работы вдруг вывалить из рук.

И тогда омрачённому Шингарёву Павел Николаевич тихим голосом объяснил:

— Да что, Андрей Иваныч. Мы-то с вами знаем, что вы никакой не финансист. Знания ваши по финансам — популярного лектора, из народного университета. Так можно вас посчитать и специалистом по военно-морскому делу, раз вы в комиссии председательствовали. В конце концов, разве вы углубились до производительных сил государства, как направить экономику? Ваши заботы были — о справедливости прямых и косвенных налогов, они диктовались вашим прекрасным народолюбием. Так в этом смысле вам ещё больший простор будет на продовольствии. Последние месяцы вы им и занимались, удачно оппонировали Риттиху,— вот и займите его место.

И во всём этом — да, была какая-то правда. Павел Николаевич умел говорить убедительно. Однако, всё же, столько лет труда, усилий — и... ? Но положение было вообще — не возражательное. В такие дни на какой бы пост

ни назначила партия, надо брать. Шингарёв и раньше всегда привык: брать всякое новое дело, тянуть, и на этом учиться. И на военно-морском деле он не такой уж был несведущий, да. И о продовольствии — тоже уже подумал немало, верно, да.

Почему это всё переместилось — Шингарёв не настаивал знать. Но настолько он был обескуражен и так обидно, что не догадался даже спросить: к т о же будет министром финансов.

Уже уйдя, подумал: а почему же всё-таки не обсудили раньше, а так — за глаза, без спросу? Как странно и неколлегиально создавалось такое желанное министерство общественного доверия!..

А для Шингарёва это был выбор жизненного пути на всю теперь революцию.

А уж в земледелии — он был знаток совсем никакой, разве только от критики столыпинской реформы.

Но возвратясь в Продовольственную комиссию (и ничего не сказав социалистам), перечитал своё вчерашнее воззвание — и снова проникся чистотой и трогательностью чувства. А вот рядились цифры, цифры,— не всё ли равно какого министерства, в рублях или пудах,— за ними стояли красавцы-колосья и колебалась сама народная жизнь, которую и надо поднять из разорения к расцвету.

Ощутил Андрей Иваныч за час, за два, что он уже простил обиду. И смирился.

И даже уже ему нравилось стать министром земледелия.

Это возрождающее, возобновляющее, восстающее чувство гнездилось в самой сути его души: из-под любого обвала, пожарища, пепла — сколько раз оно само, и быстро, вновь поднимало его к устойчивости и свету.

324

Эти дни Шляпников не мог ни на чём успокоиться, и не знал верного места, где ему быть.

Как член Исполнительного Комитета Совета он, вроде, должен был сидеть на их бесконечных заседаниях. Но тошно было ему там, среди меньшевиков, оборонцев и полуоборонцев, оказавшихся в засилии. На словах тут не мало было интернационалистов, но сколотить их невозможно: боялись раскола, тянулись как все. Досадно было на Совет и удивительно: как получилось, что большевиков здесь так затиснули, мало их, и не имеют они главного голоса. В подпольи он бы и сравнивать себя не унизился с этими, просидевшими тихо войну. А тут — они все налезли, забили и захватили сразу. Шляпников просто страдал, как они, так быстро теперь осмелев, уже как будто и не считаются с большевиками.

Годами он прилагал усилия против главного врага — самодержавия, там усилия, где они были нужны, где не подавалось. И никак не ждал, что чуть полегчает,— эти все обскачут сбоку — и первые!

Поналезло теоретических болтунов вроде Гиммера и что ж доказывали? — что надо отдать власть буржуазии! — дикость какая! Вся реальная власть сейчас в руках масс — и отдать её буржуазии? А сами они, засевши в Совете, не хотели брать власть! Так зачем и засели, только мешали на дороге?! (А может — они притворяются, что не хотят? Хотят захватить, да только без нас?)

Нет, сидя в Исполнительном Комитете, Шляпников самое большее, что делал,— только укреплял меньшевиков. Это невозможно перенести!

А время — вихрилось, каждый час уносил какую-то неиспользованную, неповторимую возможность. И не хватало ума — сообразить, поймать и сделать!

Да тут же вот, рядом упускалось — в Екатерининском зале и на ступеньках Таврического: то и дело подходили тысячи солдат, слушать ораторов,— а ораторы кто ж эти и были, как не кадеты, да опять же меньшевики-теоретики! Надо было своего, большевицкого, ярого, задористого! — да не интеллигента, а простого, чтоб массы ему верили,— где такого взять? Сам Шляпников никак не мог, у каждого в жизни своя роль, он подпольщик, молчун, он даже

в малой компании отмалчивается. Вчера тут среди солдат заговорил против войны — не дали ему, заткнули. Но и среди всех большевиков в Питере сейчас ни одного такого бойкого нет, он не знал. Кого ж найти? Бродил-бродил по Таврическому, заговаривал, присматривался — и нашёл такого солдата Лашевича, с крепкой челюстью и носом-хряпом, а языкатого и взглядов: всё долой!

И научил его: как что — лезть на возвышение и речь держать против войны, против буржуев, землю делить, фабрики брать и за простой народ. А оборонцев — отталкивать, забивать.

Этот — всех растолкает. Удачно вышло. Штатскому не будет столько доверия, как своему солдату. Вот это — революционная находка.

Вчера к вечеру из Таврического кинулся на Кронверкский: там на бирже труда служит наш Елинсон-Политикус, теперь захватил верхний этаж биржи, и восстанавливает Петербургский комитет. Выползали из нор, ещё ничего они не значили, не имели силы ни вверх, ни вниз, а БЦК почти не признавали, как навязанное из Швейцарии.

Нет, нуждался Шляпников шире. Оттуда кинулся на Выборгскую, там в Сампсоньевском братстве собрали собрание — но опять хорошо не подготовленное, ни лозунги, ни ораторы, а набилось много неразумников, вообще беспартийных, а то опять меньшевиков. И что боевое предлагала большевицкая верхушка — дальнейшее восстание! низложить Комитет Государственной Думы! Временное революционное правительство! расширять победу до всероссийской! перестроить армию на свободных началах! — расплылось или провалили. По-настоящему, тогда б и голосовать только членам нашей партии.

Вот и не знаешь, с какого конца взяться.

Сегодня утром метнулся Шляпников в Таврический — но даже не было заседания Исполкома, а сидели, вялые, в общей комнате и передавали сплетни о вчерашних переговорах с думцами — как они власть уступали, пентюхи! Эти переговоры нельзя было считать иначе, как предательством. Они в переговорах умолчали и о войне, и о земле, и 8-часовом дне,— соглашательство и капитулянство! А Нахамкис не слушал Шляпникова серьёзно и угрожал (и Красиков туда же, свой) — рассказать Ленину о немарксистском поведении Шляпникова, что он забыл, кто должен выполнять задачи буржуазной революции.

Да Ленин с вами, ликвидаторами, ещё и разговаривать не станет!

А ещё брюзжали на Исполкоме против листовки Кротовского-Александровича, даже эсеры все против, отгораживаются. А Чхеидзе даже в Екатерининском зале вслух назвал прокламацию провокационной.

А хорошая листовка! — трезво призывала бороться с офицерством до конца! Не дать загаснуть классовой борьбе в армии — верно! Крепко бранил Шляпников Молотова, что тот сдрейфил и тюки такой хорошей листовки сдал без боя оборонцам, слюнтяй.

Ну, ничего, кое-что всё же вырвалось: Бонч мешок-мешок, а быстро выпустил большевицкий Манифест (меньшевики только рот разинули — и кинулись свой сочинять). А за ним — Приказ № 1. А подпись Исполнительного Комитета — и не денешься?

Что Шляпников вовремя сообразил и сделал — уже восстанавливал „Правду''. Захватили на Мойке большое здание, прекрасную типографию „Сельского вестника'', новенькие ротационные машины. Теперь сколачивали редакцию — а писунов опять нет? И туда — Молотова сажать?

Затхло было в Таврическом! Хотелось действия! — и резкого! сильного! для всех обжигающего!

Да ещё ж был он комиссар Выборгского района. Комиссариат его занял больничную кассу завода Парвиайнена (там своих много). Там — и надо ему присутствовать, там и было настоящее дело: создавать свою крепкую местную власть и вооружённую милицию из рабочих, уже набирали оружия и патронов. Реальная сила только и есть — рабочие кварталы.

А всё ж — там провинция, оттуда центра не поворотишь.

А сегодня с трёх часов тут, в Таврическом, собирался большой пленум Совета. И надо было — им овладевать! Надо было — на нём выступать и бросать лозунги.

Но — какие?.. Социалистическое правительство? Не дать создаться буржуазному?..

А ведь так уже был освоен Шляпников с питерским подпольем! И казалось ему, что он полносильно может управлять рабочими массами столицы, как прошлой осенью,— ставить ли их на работу или снимать на забастовку. Но вот всё вырвалось наружу, разлилось по улицам — и перестало управляться. И, очевидно, только правильные лозунги могли бы быть новыми вожжами. Но как эти лозунги найти? Не хватало головы. Где-то рядом этот лозунг носился или лежал, его можно было составить из самых простых слов,— но слова, дери их... не складывались. Надо было советоваться, брать коллективной головой.

Пока, до начала Совета, решил махнуть к своим на Выборгскую, хорошо автомобиль к услугам.

В комнате разбитого полицейского участка на Большом Сампсоньевском теперь пребывал Выборгский райком. Тут познакомился с долговязым матросом Ульянцевым — из тех матросов, кого сам и отстоял под судом в октябре. Этот — только что из Шлиссельбурга и одно хотел: громить гадов! Вот такие-то нам и нужны. А послать его в Кронштадт.

Ребята в райкоме хоть необразованные, но ершистые. Объяснил им Шляпников: не можем мы, ребята, так сидеть-терпеть. Надо начинать борьбу! Ведь революционное правительство мы возглашали? Возглашали. Ну! А чего смотрим?

Да ребята — вполне согласны. Да ребята уже готовят большие такие плакаты.: „Конфисковать помещичьи земли!" „8-часовой рабочий день!" „Демократическая республика!" Но плакатов крупных — много не сделаешь, а мелкие незаметны.

А как же — революционное правительство? А куда ж Совет Рабочих Депутатов? Ум хорошо, а несколько — лучше. Тут сразу прояснилось: так вот он, Совет, и пусть будет правительство. Пусть власть берёт!

А как же это продвинуть? Да новую листовку накатать:

„Граждане, солдаты и рабочие!"

Есть такой большевицкий испытанный приём:

„Митинги солдат и рабочих, собирающиеся в Петрограде, принимают следующие резолюции..."

Таких резолюций ни на каких митингах ещё не принимали, мы их только сейчас сочиним, напечатаем, разошлём — и вот тогда будут и митинги, будут и резолюции.

„...Вся власть — в руки Совета Рабочих и Солдатских Депутатов как единственного революционного правительства! Армия и население должны выполнять распоряжения только Совета Депутатов, а распоряжения Комитета Государственной Думы считать недействительными! Государственная Дума была опора царского режима..."

Война Родзянке и Милюкову!!! Поломать козни цензовиков с отдельным их правительством!

„...Всё офицерство и чиновничество, служившее старому режиму, должно быть обезврежено и устранено от управления..."

Немного как будто чересчур радикально? Зато правильный революционный тон! Посвежели ребята, особенно Васька Каюров.

Теперь — раскатать на ротаторе и...

325

Только страсть повидать и узнать совсем небывалое могла согнать столько солдат в эту неразданную комнату и на часы сплотила в такой тесноте, что невмоготу руку снизу вытянуть, нос почесать, а курить — только счастливчикам. Винтовок уже никто больше сюда не вносил, друг друга не поцарапать. И рабочих набилось с красными приколками, но не столько.

Стула уже ни одного не осталось в этой комнате, какие переломали, какие вынесли, а только большой стол затоптанный, и на этот стол с самого начала повзлезали иные те, кто хотели поиметь слово или руководство, они заране тут в задней комнате сидели, оттуда.

А первый и главный из них был уже стариковатый, плешивый, роста низенького, в пиджаке обрыжевшем, притёртом, с бородкой мочалистой, и говорил малоразборно, булькало иногда заместо слов, а то как заскрёбывал, да видно, что и пристал, бедняга. Говорил он, что вот теперь Совет не одних Рабочих, но и Солдатских Депутатов, и берёт он в свои могучие руки своё светлое будущее. Что такое время теперь наступило, какое всем отроду грезилось, и народ сам покажет свою власть. И солдат покажет, что он ещё лучше армейские дела понимает, чем иные офицеры. Однако не все ещё враги разбиты, ещё остались тёмные силы — и нужна порядливая власть, и никак не обойтись без *елементов*. И толковали вчера с этими елементами, они берутся вытянуть, а условия самые лучшие для нас с вами. И сейчас наш и ваш товарищ с Исполнительного Комитета это всё подробно доложит на ваше суждение.

И тогда рядом с ним, плечом выше головы того первого, стал говорить этот рыжебородый, дядя-размахнись, хоть чурбаки колоть. А говорил приветливо, успокоительно, как хороший товар предлагая, да так-то ручьисто,— очень приглядно было его слушать, заслушались,— да кто ж с нами, низкими, так-то раньше беседовал?

Много он чего говорил, очень много, всего в голове не удержишь. А всё — про свободу. Теперь свобода будет нараспашку. И кто в темнице нудился — тем всем свобода. И вольным всем — ещё больше свобода. А уж солдатам — наибольше их всех. Солдаты теперь по всем ротам, батальонам должны избирать комитеты, и вся власть теперь будет комитетская, а не офицерская. Офицерово дело теперь — ежели строй, скажем, построился — так направо, налево, к ноге, впрочем это и унтер может. А если какие офицеры будут комитетам воспрепятствовать, так сейчас их новая власть к ответу приберёт. А как только из строя ступнул солдат — так он свободнейший уважаемый гражданин теперь, и все права ему дадены. А и по улице пойдёт — полиции теперь не будет, никто не остановит, ничего не запретит. Будет свой лёгкий надсмотр из студентов и тоже-ть там все выбранные. А главное: никто солдата на войну не погонит, но после великого революционного подвига будет теперь весь гарнизон в Петрограде состоять как на отдыхе и на случай защиты Петрограда от тёмных сил.

И так сладкая речь его лилась, наслушаться нельзя. До чего ж хороший человек и до чего ж теперь жизнь благая наступила! — и скажи, всего только раз дерзнули из казарм выйти, и теперь выходи сколь хошь. Уже всю эту новую сладость солдаты как бы и сами прочуяли — но дорого ещё раз её от хорошего человека послушать. Внимчиво слушали, долго слушали, правда уже стало и бока теснить, уже б и размяться, что ли.

Ну, кончилась речь этого рыжебородого, и уж похлопали ему от души, не жалея,— кто спроворился руки между боков вытянуть.

Тут между главными на столе вышла заминка.

Ещё не всё утихло — опять тот потёртый старик руками замахал, что будет говорить.

Но на другом конце стола начал кто-то быстро взлезать, цепляясь за соседей и раскачивая. Проворно этак взлез, всех растолкал, выпередился,— узнали его: тот узкоголовый, кто живее всех по дворцу метался, только и знал бегал.

И пока старик смурной своё — а этот своё, да звонко, да уверенно, да голос юнецкий:

— Товарищи! Я должен вам сделать сообщение чрезвычайной важности!

Забористо сказал — чрезвычайной важности! — стали поворачиваться боле к нему.

А бледен-то как! — белей полотна. А проняло сердечного — шатается, не стоит. И голос — совсем вдруг потерял. И только — от сочувствия, дыханье и своё переняв, услашала его толпа:

— Товарищи! Доверяете ли вы мне?

Спросил — как приговорённый. Вот довели! Наш-то ведь вожак, за нас он, фамилии его так не знали, но видали, как он без устали маячил. Пожалели, закричали со всех сторон:

— Доверяем! Ну!.. А чо? Конечно, доверяем!

А он — с тягостью, а он — с передыхами, а он — с переминами:

— Я говорю, товарищи, от всей глубины моего сердца! И я готов умереть, если это будет нужно!

Да что ж за злодеи такие? Да кто ж это его довёл?

— Ну, ну! Живи! — подбадривали его и поддавали в ладоши. Ажник вчуже проняло за него болезного, хилого, бледного,— весь исстарался, и видать на нашу пользу.

И чуть с силками собравшись, отдышивался:

— Товарищи! В настоящий момент образовалось новое правительство. И мне предложили в нём пост министра юстиции. И я должен был дать ответ в течении пяти минут. И поэтому я не имел времени получить от вас мандат. И рискнул взять на себя, принять это предложение — ещё до вашего окончательного решения!

Ну-к, что ж, ну-к, что ж. Знать, так сошлось человеку.

— По воле! — крикнули ему.

Ещё похлопали.

А он — подхватился весь, как на „смирно" вытянулся да глазки закатил. И поведал:

— Товарищи! В моих руках, под моим замком, содержатся представители гнусной старой власти — и я не решился выпустить их из своих рук. Если б я не принял сделанного мне предложения — я должен был бы тут же отдать ключи. И вот — я решился войти в состав нового правительства как министр юстиции!

Ну, и правильно! Коли нельзя выпускать! Ещё ему покричали, похлопали.

А он тогда — подстегнулся, и бодрей, веселей:

— Товарищи! Первым моим шагом как министра было распоряжение немедленно освободить всех политических заключённых! И с особым почётом препроводить из Сибири сюда наших товарищей депутатов социал-демократической фракции!

Каких-то тоже, значит, бедолаг. Всем свобода, так всем, правильно.

— Но ввиду того, что я рискнул взять на себя обязанность министра юстиции раньше, чем я получил на это от вас формальное полномочие,— и закинул голову отречённую, и шейка натянулась,— я сейчас перед вами слагаю с себя обязанности товарища председателя Совета Рабочих и Солдатских Депутатов!

Не поняли, чего эт' он слагает — уезжает что ль куда.

— Да держись, паря! Пустое! — кричали ему.

И тогда он прометнул очами подвижными и ещё подхлестнулся, краска в лицо вернулась:

— Но я готов вновь принять от вас это звание, если вы признаете это нужным!

— Просим! Просим! — закричали ему, захлопали. Да чего, да пусть, этот — не вредный.

И тогда он засиялся и поклонился, в разные стороны кланялся и ручки белые к груди прикладывал. И вопно так возвзвал:

— Товарищи! Войдя в состав нового Временного Правительства, я остался тем же, кем я был,— я остался республиканцем!

Ну-ну.

— Я заявил Временному Правительству, что я являюсь представителем демократии! И Временное Правительство должно смотреть на меня как на выразителя требований демократии! И должно особенно считаться с теми мнениями, которые я буду отстаивать в качестве представителя демократии! Усилиями которой, демократии, и была свергнута старая нестерпимая власть!

Чего это он — непонимчиво было, но — свежой! Без занудства говорил, а — к сердцу. Одобряли его. Кто-то чего-то противу вякнул — приструнили тех, нишкни, нам — довлеет!

А он-то, сердечный, совсем как струнка дрожит, вытянулся во всю свою тонину:

— Товарищи! Время не ждёт! Дорога каждая минута! И я призываю вас к организации! К дисциплине! К оказанию поддержки нам, вашим представителям! — и готовым у м е р е т ь для народа! — и отдавшим в с ю с в о ю ж и з н ь народу!

Слушали — сильно одобряли, но как второй раз про смерть помянул — так проняло, аж чуву нет.

— Да живи же! — кричат ему. Да передние руки к нему протянули, схватили, стянули, лёгкого,— и стали из рук в руки дальше к двери переколыхивать.

А весь зал кричит:

— Ура-а-а!

Передавали его не так ладно, где нога сорвётся, не подхваченная, но уж близ двери взяли прочно, так уже идти мочно, и понесли его на вынос через двери, а весь зал вослед еще долго гудел:

— Ура-а-а! Ура-а-а!

ПРОКАТИСЯ, ГРОШ, РЕБРОМ! ПОКАЖИСЬ РУБЛЁМ!

326

Думали рано выехать — и близко не получилось. Во-первых, спать легли чуть не в 5 утра — и так окаменело, что хоть вся Россия пропади, а встать невозможно. А когда встали уже не рано, и накачали себя кофеем — тут надо было несколько раз позвонить по телефону, уже не хотел Гучков появляться в Думе сегодня, там должны были давать сведение, что он ездит по казармам. Но и в первые же звонки, через Ободовского, узналась просьба вице-адмирала Непенина из Гельсингфорса: помочь навести порядок в Кронштадте, и кого назначить новым комендантом крепости вместо убитого. Ещё не объявленный военным министром, Гучков уже единодушно подразумевался таковым. Итак, надо было распорядиться, срочно, что сделать для Кронштадта, немалое по важности место, да и самого Непенина надо было поддержать.

А тем временем умоляли Александра Иваныча подождать дома, принесут на подпись воззвание Центрального военно-промышленного комитета: призыв ко всем гражданам и учреждениям России сохранять непрерывность производительного труда. Ещё никому не передав комитета, тоже и этого он не мог покинуть.

А тем временем он звонил сестре Мити Вяземского и в Кауфманскую общину. Надо было ехать ещё попрощаться, но Дмитрий был уже без памяти. С вечера он всё спрашивал у профессора, какой орган у него задет,— и профессор честно ответил, что — никакой. А — оказался в куски у него разнесен крестец, и тазовая кость. И много крови потерял, и жить он не мог.

Между двумя телефонными звонками Гучкова и умер.

Ещё вчера самый близкий сотрудник, самый необходимый человек — вот уже выбыл, вот уже дальше.

А тут и Марья Ильинична, вопреки всеобщей радости, была чрезвычайно мрачна, разговаривала нехотя, а надо было убедить её в важности отъезда и чтоб она по телефону отвечала правильно.

Скорей же из дому! Мрачный, Гучков вырвался и ехал с Шульгиным на Варшавский вокзал.

Натекало уже к двум часам дня, и за это время Совет рабочих депутатов десять раз мог узнать об их отъезде и помешать.

Но нет! Несмотря на то, что открыто телеграфировали Рузскому о поездке, и звонили начальнику Варшавского вокзала,— такова была всеобщая суматоха, что до Совета, видимо, не дошло,— иначе не могли б они допустить какую-то частную тайную поездку к царю. Ещё вчера предназначенный для Родзянки особый вагон из салона и спален всё стоял и дожидался депутатов, и имелся к нему паровоз в запасе, теперь прицепляемый.

А последнее, что ещё Гучков сообразил вовремя и надо было сделать до выезда,— это взять в руки генерала Иванова. Хотя всё движенье его на Петроград, как уже видно, не представляло никакой серьёзной опасности, в Царском Селе Иванов побывал лишь с одним георгиевским батальоном, да и то ретировался, и по старому знакомству знал Гучков, что это мешок, а не боевой генерал, да и трусливо-прислушлив к общественному мнению,— но по всему этому тем более надо было полностью взять его в руки и образумить. С Варшавского вокзала ещё не выехав, удобнее всего было послать ему телеграмму через Царскосельский, по путейской линии Виндавской дороги: приехать на встречу в Гатчину, получалось — часам к четырём дня. Либо пусть едет во Псков. Не сомневался Гучков, что Иванов рад будет подчиниться и выскользнуть из своего сложного положения.

Ну, наконец и поехали, в три часа дня. Не задержал Совет! Не открыли.

Машинист получил приказ двигаться с предельной скоростью. Два инженера путей сообщения от Бубликова сели в их вагон — устранять возможные в пути помехи.

С утра было ярко, сейчас посерело. Не светило солнце по снежным полям.

Были купе, можно и полежать, но и думать об этом не думалось, такое волнение. Молодой Шульгин, бледный от усталости, всегда с лучистыми глазами, сейчас как-то особенно, болезненно сиял.

Сидели в салоне рядом — а почти не разговаривали.

Невыспанная голова Гучкова была наполнена тревожным, но и радостным гудом.

Давно ли царь запрещал ему выезды в штабы фронтов? А вот, он ехал именно в штаб фронта, и зачем? — вырывать отречение!

Какая была ему необходимость ехать? У него была неустроенная Военная комиссия, в ужасном состоянии петроградские полки, через несколько часов предстояло принять военное министерство,— не хватало дня и ночи, чтобы в Петрограде всё сделать и успеть,— а он гнал во Псков, путь не одночасный.

Но: революция, которой хотели избежать,— совершилась, и сделана руками черни. И власть, и всякий порядок уплывают из рук образованного класса, призванных к управленью людей. И в этом мутном, быстром, всё уносящем потоке оставалось несколько часов, оплошных для самого потока, когда можно было по нему нагнать уплывающий трон и успеть вытянуть его на твёрдый берег.

И — не кто другой, а именно Гучков должен был ехать. Это была — его личная, издавняя судьба. Это были — его счёты с царём. Гучков ехал — выполнить государственное дело. Но и...

Было ощущение — венчающей минуты жизни (не разделённой со спутником, ни с женой, ни с друзьями, не высказанной никому).

Это был и реванш за неудавшийся государственный переворот, как бы восполнение того, что ему не удалось. (Пусть так считается, так красиво и трагически войдёт в историю: заговор состоялся бы непременно, но революция опередила его на две недели.) Оправдаться — самому перед собой. Он почти ещё успевал настигнуть и исправить!

Это, может быть, был и шаг в будущую Россию более веский, чем стать военным министром. Сейчас — Гучков ехал получить отречение в пользу наследника с регентом Михаилом и подтверждение Львова премьер-министром. Сейчас пока, в этой буре,— и спасти трон как таковой, и твёрдо поставить правительство.

Но при свободном широком развитии России в дальнейшем — очень может быть, что монархия станет ей узка, Россия рассвободится в республику. И тогда нужен будет президент. Первый президент России.

И тогда — не совсем безразлично, на кого падёт отблеск сегодняшнего отречения. Как бы — тень наследства.

А Россия — любит Александра Гучкова! Это показала его прошлогодняя болезнь: кто другой ещё так популярен?

Уже — руки его были так протянуты. И — место в душе запасено для этого действия. Не удаться? Это никак уже не могло. Это — неотвратимо наказывалось. Чтоб это не удалось — он даже не разбирал такого варианта.

А вот что: в его прежнем плане было положить перед Государем готовый текст отречения. Кажется, самая простая часть задачи — подготовить текст. А — никогда не было сделано. Всё казалось — успеют, легче всего.

Но с прошлой ночи, как решилась поездка,— не составляется, и в голову не лезет. И вот уже едут реально, а текста нет. И мозги — совершенно отказывают, да ещё при поездной тряске на вагонном столике. Не собрать мыслей, не стянуть фраз.

— Василий Витальич? А что же — текст? Нет у нас... Может — вы попробуете набросать пока?

С лунатическим видом Шульгин, отвлекаясь:

— А? Да. Верно! Попробую...

Вытащил перо и тут же вскоре начал.

А ведь — и не всё ясно, только сейчас пришло:

— А что, Василий Витальич, не знаете: существует ли какая-нибудь определённая форма отречения?

С рассеянной милой улыбкой от своих отдельных мыслей Шульгин:

— Понятия не имею, Александр Иваныч. Никогда не задумывался. Думаю, что — нет, потому что... Кажется, никто никогда у нас не отрекался? Ни из Романовых, ни из Рюриков.

— Неужели никто? Подождите... А... а-а... Пётр III?

— Ну, разве что Пётр III. Но случай вполне авантюристический и не может быть нам основанием.

— Но есть об этом какое-нибудь законодательство? Какие-нибудь династические правила?

Странно, что Гучков, обсуждая заговор, никогда не задумался об этом раньше.

Голубые глаза Шульгина сияли неземно:

— Ох, не знаю, Александр Иваныч.

327

Всё-таки поездная теснота донимала, совсем никак не разомнёшься. Захотелось выйти из вагона. И перед завтраком Николай вышел погулять по перрону.

Мимо этой кирпичной водокачки с намёрзлым хребтом льда. Этой отдельной цистерны. Врежутся на всю жизнь как ни один пейзаж в России.

И денёк был серенький, с мутниной. Не холодный.

Свитские гуляли кто следом, кто в стороне. Редкая здешняя публика — как-то по-новому: не стояла с разинутыми ртами, но проходила мимо.

Так Государь попал, что не имел ни своего пространства, ни власти. Уже вчера вечером выяснилось: передать телеграмму куда-нибудь, даже домой,— только через Рузского. (Но и на посланную, где Псков указан, всё нет ответа. Боже, что с Аликс?) Получить что-нибудь, узнать что-нибудь — только через Рузского. А попросить мотор для прогулки — даже неудобно. Да имеет ли он и право куда-нибудь ехать?

Странное состояние, можно сказать — приговорённости. Держатель великой империи, он как будто свободно думал, решал, выбирал, а на самом деле...

Как-то повернулось за двое суток, что вся власть — будто утекла от него. Только числился он императором и Верховным Главнокомандующим, а приказать — было некому. А — соглашаться на всякую бумагу, которую поднесут. Все эти дни, пока он ездил, где-то связывались аппараты, текли аппаратные разговоры — но всё мимо него, подходили, отвечали кто-то другие, а ему несли лишь готовые результаты.

Как-то незаметно остаток власти утёк от него к Алексееву. И тот вот уже сам спрашивает об отречении?

Что же ответят главнокомандующие?..

Даже нелюбимую им власть смеет ли он отдать,— перед предками? Всегда мучила Николая боязнь — оказаться не на высоте своего призвания. И особенно оказаться недостойным отца и прадеда Николая, которые так смело, так уверенно вели.

Что же ответят главнокомандующие?

Да — хочет ли сама вся Россия, чтоб он отрёкся? Если хочет, то — да, конечно, немедленно! Если царь стал помехой национальному единению — так он уйдёт. Да он будет Бога благодарить, если Россия наконец станет счастлива, без него.

Но — как узнать истинную волю России?

Царствование — это крест. Это — обязанность трудноподъёмная. Царь принимает на себя всю тяготу государственных решений, всю суету и мелкость управления,— чтоб освободить от этой мути души подданных, чтоб они непринуждёнными взрастали к Богу.

Всегда все добиваются с докладами, мненьями, одни хотят одного, другие противоположного, всё надо выслушивать, прочитывать, подписывать. Но как ни реши — всегда общество свистит, улюлюкает, недовольно.

А как хорошо бы, правда, всё это бросить да поехать доживать век в Ливадию! Какой растворительный воздух! Какое успокоительное место,— есть ли в мире что равное южному крымскому берегу! Высоко над морем сидеть за мраморным столиком на мраморной скамье — смотреть на солнечный морской переблеск или на сказочный лунный. Царскою тропой пройти до Ореанды. Верхом ездить на виноградники. Так и прожить бы остаток жизни своею семьёй, ничего лучшего не надо, воспитывать сына. И Алексею очень благотворен Крым.

Да! ведь ему надо будет царствовать!..

Завтракали без приглашённых.

Догадывалась ли свита, какой встал вопрос? слышали что? волновались? — на обряде принятия еды это не отразилось.

А сразу после завтрака Государь, одетый в любимый тёмно-серый кавказский бешмет с погонами пластунского батальона и своими полковничьими звёздами, перепоясанный тонким тёмным ремешком с серебряною пряжкой и кинжалом в серебряных ножнах, в костюме воинственном, а с душою опавшей, принял в зелёном вагонном сáлоне, где стояло пианино, трёх генералов,— трёх даже не по старшинству на Северном фронте, третьим зачем-то привели начальника снабжения.

Государь пригласил их сидеть и курить. Рузский сел, закурил, а те двое остались стоять, настораживая. Рузский механически-размеренным голосом доложил некоторые дневные сведения, о ходе отзыва войск, посылавшихся на Петроград. А потом положил перед Государем расклеенную ленту от Алексеева.

Государь принял с волнением, жарко стало в предлокотьях.

...Всеподданнейше представляю вашему императорскому...

А дальше сразу — ответ Николаши.

В этот раз — всё доходило до сознания, всё остро впитывалось.

...Алексеев сообщил... небывало роковую обстановку... и просит поддержать его мнение.... принятие *сверхмеры*...

Поддержать его мнение...

И — *как верноподданный, по долгу присяги, по духу присяги* Николаша коленопреклонённо молил: спасти Россию! Осенив себя крестным знамением, передать трон наследнику. Как никогда в жизни и с особо горячею молитвою...

Нет, отчего же „как никогда"? Один раз уже это было, в октябре Пятого.

И — потерял Николай всё волнение. И даже — потерял интерес читать.

Он уже понял.

Так же и Брусилова всеподданнейшая просьба была основана на преданности царскому престолу: отказаться от него в пользу наследника, без чего Россия пропадёт. *Другого исхода нет*, и необходимо спешить, дабы не повлечь неисчислимые катастрофические последствия.

Ещё — Эверт. В общем то же. Средств прекратить революцию в столицах — нет никаких. Не находя иного исхода и безгранично преданный Вашему Величеству, умолял во спасение родины и династии принять предложение династии...

И как быстро пришли все телеграммы. И как они единогласны.

И ведь все трое они были главнокомандующие, и все трое — генерал-адъютанты, то есть из генералов самые приближенные, обласканные, сердечно доверенные, с императорскими вензелями на погонах.

И — все говорили согласно.

Это единство их всех — потрясло Государя.

Значит: Божья воля.

И только добрый Алексеев так тепло прибавил от себя. Не настаивал, не указывал, что именно делать. А — принять решение, которое внушит Господь, к мирному благополучному исходу. По-христиански.

Этот мягкий конец Алексеева примирял с жестоким генеральским документом.

А перед лицом был — вот, Рузский. Утроенный для убедительности широколицым Даниловым-чёрным, с сильной проседью, с безмысло упёртым взглядом, и генералом по снабжению Савичем.

И все трое, один за другим, они отрапортовали своё жестокое: обстановка по-видимому не допускает иного решения... Потеря каждой минуты может стать роковой для существования России...

И не могли же они все-все-все ошибаться, а только Государь один думать верно?

Армия, своя Армия — ведь не может оказаться против своей власти! Если вот вся Армия — отступалась, уходила из-под рук — значит...

Что значило теперь — отказаться, упереться? Это значило вызвать кровавую междуусобицу, да в разгар внешней войны. Разве он хотел ещё такой беды своему народу?

Нет, только не гражданская война!

И вообще удержать армию подальше от политики. Довольно уже, что втянули главнокомандующих.

Для блага России... Для удержания армии в спокойствии... Для конечной победы.

Вот и Родзянко говорит: ненависть к династии дошла до крайних пределов — но весь народ полон решимости довести войну до конца.

Они — этого хотят. Все хотят — именно этого. И только для этого — нужно внутреннее умиротворение.

Так эта цель — стоила того? Благу России — с каким же сердцем противостоять? Да ведь он и царь — народный, для блага благопослушного народа. Того чудесного народа, стоявшего коленно на Дворцовой площади в открытье войны. Или ликовавшему в Новгороде при приезде императрицы.

Для того народа — как не уступить?

— Но кто знает,— в раздумьи всё же возразил Николай.— Действительно ли хочет моего отречения вся Россия? Как это узнать?

Рузский — уже не хрупкий утренний, а покрепчавший, много куря, отвечал, что теперь — не до анкет. События несутся со слишком ужасающей быстротой, и всякое промедление грозит бедствием. Вот — и генералы так думают.

Три генерала. Не с обнажёнными саблями, не заговорщики ворвавшиеся, но со всеподданнейшим убеждением: как отречение сразу спасёт Россию и от смуты и от военного позора.

Государь утомлённо стряхивал пепел с папиросы. И смотрел на говорящих печально, печально.

Заточён каждый в клетке своего характера. Невозможно — вскочить, крикнуть, выгнать. Но, сидя, курить, вкуриваться, вслушиваться. Несчастное свойство: всегда волочиться за доводами собеседников и находить их убедительными, и не иметь силы отсечь.

Вот этих уговоров обступных — больше всего не выдерживал Государь, не выдерживал он этих уговоров! Если и мог быть отстоен отказ, то — выигрышем времени и через то — укрепленьем души. Если бы Аликс!.. Если бы кто-нибудь вернул ему веру в себя самого!..

Однако времени, вот говорили, не оставалось. Так попал Государь (разглаживая усы большим и средним пальцами, большим и средним), что, видимо, неизбежно было уступить. Генералы эти были — его подчинённые, но вместе с тем он как бы попал в их власть.

В каком неожиданном виде может обернуться перед нами — общее благо.

Как трудно человеческому уму разбираться в положениях предметов. Как можно быть уверенным, что ты понимаешь обстоятельства лучше других?

А может быть и правда новое правительство будет править успешнее? Ведь вот никак не находил Государь в целой России хороших министров,— а они найдут? И России будет благо.

Что ж, если общество так хочет само управляться,— пусть?

Что ж, подписать им отречение?..

Но тогда придётся перестать быть и Верховным? Больней всего.

Что ж, объехать все армии, проститься с солдатами?

И пусть генерал-адъютанты делают, что хотят.

(Но сперва — вырваться в Царское Село! Подписать им отречение — и вырваться.)

Опускалось — спокойствие неизбежности. Очевидно, это предначертано. А если так, то тем и легче.

Да династия-то сохранялась: сын, брат.

Встал. Истово перекрестился на образ в верхнем углу.

— Что ж. Я готов, господа. Отречься.

Согласно форме перекрестились и генералы.

Согласно форме надо было поблагодарить их за службу и особенно Рузского, ведь они же не врагами тут сошлись. Согласно форме при такой благодарности полагалось и поцеловать.

Хотя сердце изворотилось при целовании этого зверька с оловянными очками.

Государь вышел вон, походкою с задержкой, как бы с трудом отрывая ноги от пола. Как бы раздумавшись: не уходить.

Рузский не открылся генералам, но не находил в себе слов от изумления: неужели так легко? Неужели принесёт? Не верил.

Государь вернулся — с теми же подрезанными глазами, с обмякшими плечами. И подал Рузскому два бланка с телеграммами.

Одна — в Ставку. Другая:

„Председателю Государственной Думы.

Нет той жертвы, которую Я не принёс бы во имя действительного блага и для спасения родимой матушки-России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына с тем, чтобы он остался при нас до совершеннолетия, при регентстве брата моего великого князя Михаила Александровича.

Николай".

Было три часа пять минут пополудни.

Рузский ничего не выразил внешне. Сложил пополам оба бланка вместе и сунул в карман как самую простую бумагу.

328

Итак, вся констелляция сложилась для создания и объявления правительства! А раз уже *можно* было его создать, то и *нужно* было создать, потому что каждый час весь поток событий требовал над собой кабинета министров. Что Николай ещё не отрёкся — не казалось Милюкову помехой нисколько, отречение царя было уже вопросом механическим и нескольких часов. Гучков, правда, задержался с выездом, но всё равно сегодня отречение будет у него в руках: бывшему царю больше ничего не остаётся.

Уже все министерские посты были согласованы, оставалось ждать только самого последнего знака от Керенского. Какую-то санкцию он намеревался получить от Совета — и уже всё будет открыто. Керенский убегал, прибегал, бровями показывал, что ещё не всё.

Ещё, правда, не закончилось и соглашение с Советом по поводу условий. Не окончили ночью, а утром ни у кого не нашлось сил продолжать. Но может быть в этом было даже и нечто выгодное: революционным же *явочным* порядком объявить готовое правительство! — и Совету придётся считаться с фактом, это усилит позицию в переговорах. Главное выяснение уже вчера: войти в состав министров они не претендуют.

Павла Николаевича в ожидании даже познабливало — не помнил он уже много лет, когда бы испытывал такое воодушевлённое волнение. Он был сегодня больше чем именинник, больше чем юбиляр. Он уже почти не вмещал в себе этой тайны,— и должен был поскорее объявить её, выплеснуть — и иметь право публично называться министром.

Сами-то назначаемые министры знали тайну, но даже и думцы вокруг не знали или не всё знали, не обсуждалось правительство вслух и на думском Комитете с Родзянкой, а только кулуарным шёпотом, все знали, что — готовится, но не знали точно, какой же состав. И вот всё это теперь предстояло громогласно объявить, в утоление жажды,— и этого права объявить Милюков, конечно, не отдаст Львову и никому другому. (Повезло и то, что уехал Гучков.)

Однако — г д е объявить? Хорошо было советским, у них было где объявлять, на Совете. Но где и кому объявить Милюкову состав своего нового правительства? Собирать для этого подобие Думы, кичиться и возиться с остатками её — уже неразумно. Созданная совсем для других обстоятельств, в нынешних революционных Государственная Дума стала бы только неуклюжей помехой действиям нового правительства, и незачем думский авторитет теперь искусственно воссоздавать.

Подождать публикации состава правительства в газетах? Но это — потеря ещё суток, да и уничтожит самый исторический м о м е н т объявления.

А был простой выход: зачем думать, куда выйти к народу, если народ сам сюда пришёл и в густоте толкался в Екатерининском зале также и сегодня? Просто — выйти в зал, взлезть на стол и объявить всем, кто тут окажется. И тем самым совершится первый официозный акт, который доставит новой власти общественную инвеституру.

Ждал Павел Николаевич, ждал, не теряя воодушевления, молча похаживая по думским комнатам, поблескивая котовыми очками на окружающих,— вдруг из коридора послышался радостный шум и сильный топот. Выглянули — это несли на руках и спускали на пол Керенского.

Празднично-измятый, как артист после триумфа, изнеможно-счастливый, он подошёл летящими шагами вплотную к Милюкову и даже не сказал, а прошептал на последнем счастливом выдохе:

— Можете объявлять!..

И этим слабым выдохом передал Милюкову избыток своего счастья — и теперь распирающий избыток счастья образовался у Милюкова. Он — переполнился, и уже не в силах был стоять, откладывать, ещё чего-то ждать,— но, как от биллиардного шара биллиардный шар получив толчок,— твёрдо покатился вон из двери, по коридору и в Екатерининский зал, никого не взяв с собою в окружение,— в эту великую минуту никто не достоин был его окружать, разделить его исторический пик. (Только ранее распорядился, чтобы были в зале стенографистки.) Даже не как биллиардный, но как воздушный шар, он вкатился в Екатерининский зал — и как-то без труда продвигался через густоту — туда, к возвышенной лестничной площадке.

Ощущая чувство истории — посмотрел на часы. Было без пяти минут три.

Что оказалось неожиданно: тут и до него шёл митинг, и кажется весьма левый, какие-то остатки фраз вошли ему в уши. Да, тут же и непрерывно тянулись всякие митинги.

Но вальяжную фигуру Милюкова заметили, его пропустили по первым ступенькам лестницы,— а предыдущий оратор то ли кончил, то ли уступил, но никто не мешал рядом,— и все толпящиеся тут вблизи с интересом смотрели теперь. Ждали.

И Павел Николаевич тоже имел минуту осмотреться сверху. Ближайшие глядели со всех сторон на него, а дальше направленье голов расстраивалось, они смотрели во все стороны, кто и разговаривал, кто вдали и вовсе спиною, а там опять сюда смотрели. Много было папах, волынские бескозырки, матросские шапочки с лентами, и меховые пирожковые шапки солидных обывателей, а кто вовсе без шапок, тут было тепло, где-то группа курсисток, где-то дам, где-то простого звания, у дальних колонн стояли намного выше других, очевидно

на диванчиках,— всё это было пестро, разнообразно, неорганизованно — но именно такое, каким и должен быть н а р о д.

И по привычке к общественным выступлениям и легко беря объём зала, Павел Николаевич, и не прокашливаясь, заговорил громкозвучно:

— Мы,— начал он, никак не обращаясь, потому что никак не объединялся этот зал, „господа" как будто не подходили, „товарищей" он произнести не мог,— мы присутствуем при великой исторической минуте!

И замолк на секунду с закинутой головой, потому что эта секунда пронзила его.

— Ещё три дня назад мы были в скромной оппозиции, а русское правительство казалось всесильным. Теперь это правительство — рухнуло в грязь,— и торжествующе подумал, и добавил: — с которой оно давно сроднилось. А мы,— тут важно для силы добавить: — и наши друзья слева, выдвинуты революцией! армией! и народом! — на почётное место членов первого русского общественного кабинета!

Эти все последние слова он пропечатал, каждое выделяя отдельно,— и затем дал паузу для аплодисментов.

И как в толпе это поняли — так аплодисменты и отозвались. Публика сюда для того и пришла — слушать и аплодировать. Она и пришла наблюдать, разиня, за чудесами революции,— и вот величайшее чудо как раз и показывали ей сейчас.

Слова приходили легко, сами нанизывались:

— Как могло случиться это событие, казавшееся ещё так недавно невероятным? Как произошло, что русская революция, низвергнувшая навсегда старый режим,— в этом уже Павел Николаевич не сомневался,— оказалась чуть ли не самой короткой и самой бескровной изо всех революций, которые знает история? — (Это-то уже видели все.)

Чего не досказал за годы в соседнем официальном зале, теперь он мог сполна влепить старому врагу:

— Это произошло потому, что история не знает и другого правительства, столь глупого! столь бесчестного! столь трусливого и изменнического, как это! — Всё сильней отдавался залу его голос, всё больше оборачивались к нему и слушали.— Низвергнутое ныне правительство, покрывшее себя позором, лишило себя всяких корней симпатии и уважения, которые связывают всякое сколько-нибудь сильное правительство с народом!

Ах, как невиданно хорошо говорилось — не чикагским учителям на летних вакациях, которые слушают как экзотику, а к осени забудут, говорилось в своей завоёванной столице,— и летел Милюков над народом, над этими двумя, тремя тысячами голов, и удивлялся своему вдруг металлизированному голосу:

— Правительство — мы свергли легко и просто. Но это ещё не всё, что нужно сделать. Остаётся ещё половина дела — и самая большая. Остаётся удержать в руках эту победу, которая нам так легко досталась. А для этого прежде всего сохранить то единство воли и мысли, которое привело нас к победе! Между нами, членами *теперешнего кабинета,*— уже выговорено, как горячо пролилось по сердцу! — было много старых и важных споров и разногласий.— Он больше имел в виду Гучкова, отчасти социалистов.— Быть может, скоро эти разногласия станут важными и серьёзными, но сегодня они бледнеют и стушёвываются перед той общей и важной задачей — создать новую народную власть на место старой, упавшей! Будьте же и вы едины в устранении политических споров, могущих ещё и сегодня вырвать из наших рук плоды победы!

Очень хорошо он говорил, превосходно слушали, аудитория оказалась подготовлена свыше ожиданий.

— Будьте едины и вы... Докажите, что первую общественную власть, выдвинутую народом, не так-то легко будет низвергнуть!

Он говорил это с верой в толпу, и толпа ответила ему верой, шумными рукоплесканиями. Ах, как хорошо летелось над толпой, над Россией, над Историей!

— Я знаю, отношения в старой армии зачастую основывались на крепостном начале. Но теперь даже офицерство слишком хорошо понимает, что надо уважать в нижнем чине чувство человеческого достоинства. А одержавшие победу солдаты так же хорошо знают, что только сохраняя связь со своим офицерством...

Кажется, это место знали не так хорошо, даже некоторые были совсем не согласны. И в то время как одни продолжали похлопывать в каждой паузе,— другие стали кричать, и даже враждебно. А кто-то на весь зал отчётливо крикнул, несвоевременно и бестактно:

— А к т о в а с в ы б р а л?

Павел Николаевич ещё не перешёл к составу правительства, Павел Николаевич думал бы ещё поговорить об обязательствах толпы перед свободой,— но этот бестактный выкрик сбивал его речь. И нельзя было притвориться, что не слышишь его,— так громок, это был не слушатель немудрёный, но митинговый завсегдатай, кузнечные лёгкие. Милюков быстро перебрался мыслями и без всякого смущения изменил речь:

— Я слышу, меня спрашивают: кто вас выбрал? — Он мог бы спрятаться за Думу. Но это уже стесняло его.— Нас никто не выбирал, ибо если бы мы стали дожидаться народного избрания, мы не могли бы вырвать власти из рук врага! Пока мы спорили бы о том, кого выбирать,— враг успел бы организоваться и победить и вас и нас! — Кажется, это он сильно и определительно сказал. И добавил эффектно: — Нас выбрала русская революция!

И — вздрогнул, как это внезапно и сильно у него сказалось, хоть поставляй в хрестоматию. Он искренно не вспомнил в эту минуту, что цель его всегда была избежать революции,— сейчас именно из революции он естественно возник и поднялся сюда.

Снова зашумели аплодисменты, а тот горлохват не нашёлся. Да и кому не закроет рот исторический процесс?

— Так посчастливилось,— (им, массе посчастливилось),— что в минуту, когда жить было нельзя, нашлась такая кучка людей, которая была достаточно известна народу своим политическим прошлым и против которой не могло быть и тени тех возражений, под ударами которой пала старая власть.

Сантиментальные нотки всегда нравятся всякой толпе:

— Поверьте, господа, власть берётся нами в эти дни не из слабости к власти. Это — не награда, не удовольствие, а заслуга и жертва! И как только нам скажут, что жертвы эти больше не нужны народу, мы уйдём с благодарностью за данную нам возможность.— Почти расплакаться мог другой оратор, но не в характере Павла Николаевича. Напротив, твёрже: — Но мы не отдадим этой власти теперь, когда она нужна, чтобы закрепить победу народа, и когда, упавшая из наших рук, она может достаться только врагу.

Опять охотно хлопали, но и раздались выкрики:

— А кто министры?

Эти выкрики рвали инициативу, не давали Павлу Николаевичу строить речь, заставляли отвечать не по плану:

— Для народа — не может быть тайн! Эту тайну вся Россия узнает через несколько часов. И, конечно, не для того мы стали министрами, чтобы скрыть в тайне свои имена. Я вам скажу их сейчас. Во главе нашего министерства мы поставили человека, имя которого,— (что-нибудь надо же сказать),— означает организованную русскую общественность.

— Цензовую! — перебил громкий же развязный голос, но другой.

Плохо. Здесь оказывалось слишком много левых и не *друзей слева,* но левых непримиримых. Надо было удерживать штурвал речи:

— ...общественность, так непримиримо преследовавшуюся старым правительством. Князь Георгий Евгеньевич Львов, глава русского земства...

— Цензового! цензового! — кричали опять.

Очень трудно становилось говорить. Да, народная обстановка тревожна:

— ...будет нашим премьером и министром внутренних дел, и заместит своего гонителя. Вы говорите: цензовая общественность? Да, но единственная организованная! И она даст потом организоваться другим слоям.

И — скорей, не задерживаясь слишком на Львове, который того и не стоил,— к самой выигрышной фигуре (а получилось диспропорционально, будто бы вторая в правительстве):

— Но, господа, я счастлив сказать вам, что и общественность нецензовая тоже имеет своего представителя в нашем министерстве! Я только что получил согласие,— (проговорился, что он и есть фактический премьер),— моего товарища Александра Фёдоровича Керенского занять пост в первом русском общественном кабинете!

И вот тут раздались рукоплескания — бурные, каких ещё не было с начала речи. Вот кто был действительно популярен! И присоединяя свой полёт к полёту этих крылатых хлопаний, Милюков невольно выразился горячее, чем чувствовал:

— Мы бесконечно рады были отдать в верные руки этого общественного деятеля то министерство, в котором он воздаст справедливое возмездие прислужникам старого режима, всем этим Штюрмерам! и Сухомлиновым!

Самое безошибочное место для ударов. По этим сколько ни бей — разногласий не будет.

— Трусливые герои дней, прошедших навеки, по воле судьбы окажутся во власти не щегловитовской юстиции, а министерства юстиции Александра Фёдоровича Керенского!

И опять захлопали бурно, ураганно, и кричали, но тоже одобрительно, и во всём этом одобрении Милюков снова укреплялся.

Но что-то ещё кричали:

— А — вы?.. А — кто?..

— Вы хотите знать другие имена? — скромнее и не так громко отозвался Павел Николаевич.— Мне,— мне мои товарищи поручили взять руководство внешней русской политикой.

Хорошо хлопали, хорошо, со всех сторон, и Павел Николаевич тоже раскланивался, раскланивался во все стороны. За эти минуты он простил толпе предыдущие дерзости. Ради этих минут он и поднимался на этот помост. И не захотелось испортить их спорами о Дарданеллах или войне до конца. Но хотелось ещё усилить взаимочувствие с толпою, и голос дрогнул:

— Быть может, на этом посту я окажусь и слабым министром... Но я могу обещать вам, что при м н е тайны русского народа не попадут в руки наших врагов!

Но нельзя было оставаться всё на себе, и Милюков двинулся дальше:

— Теперь я назову вам имя, которое, я знаю, возбудит здесь возражения.— И подождал. С тяжёлым чувством приступал Милюков к этой неизбежной рекомендации.— Александр Иванович Гучков был моим политическим врагом...

— Другом! — крикнул какой-то классовый аналист, за цензовой ненавистью не желая рассмотреть индивидуальность позиций.

— ...врагом в течении всей жизни Государственной Думы. Но, господа, мы теперь политические друзья. Да и... и к врагу надо быть справедливым.— (Снова выигрышный момент, всегда производит хорошее впечатление добрый отзыв о враге).— Гучков положил первый камень той победе, с которой наша обновлённая армия... Мы с Гучковым — люди разного типа. Я — старый профессор, привыкший читать лекции (вы понимаете, конечно, что это — эллипсис),— а Гучков — человек действий. И теперь, когда я в этой зале говорю с вами, Гучков на улицах столицы организует победу!

Это сказалось — не совсем легко, пришлось даже прямо солгать. Час назад Гучков звонил с Варшавского вокзала, он должен был вот-вот отъехать. Но удивительным образом Совет до сих пор не встрепенулся, и надо прикрыть от них тайную миссию, чтоб его по пути не арестовали, а то и наши головы на карте. Теперь ещё один, самый смутный риф:

— Далее мы дали два места представителям той либеральной группы русской буржуазии, кто первые в России попытались организовать организованное представительство рабочего класса...

Резкий голос:

— А где оно?

Милюков отвёл: так вот, рабочую группу посадило опять-таки старое правительство, а Коновалов помог... а Терещенко помог...

— Кто? кто?..— закричали.— Терещенко — кто такой?

— Да, господа,— скорбел Милюков.— Это имя громко звучит на юге России. Россия велика, и трудно везде знать всех наших лучших людей...

Неразумение чувствовалось в толпе. Не спросили, какие посты они займут,— и Милюков не объявил. Напротив, выкрикнули о земледелии — и пришлось помянуть честного трудолюбивого Шингарёва, который... Выкрикнули о путях сообщения, выгодно:

— Некрасов особенно любим нашими левыми товарищами...

Хлопали посильней. Об остальных министрах не спрашивали, и Милюков не вспоминал.

Но во всех этих выкриках, игнорировать которые нельзя было, потерял Павел Николаевич строй и план своей речи, внутренне несколько обескуражился — и даже вопрос о программе правительства ему тоже выкрикнули.

— Я очень жалею, что в ответ на этот вопрос не могу прочесть вам бумажки, на которой изложена эта программа. Но дело в том, что единственный экземпляр программы, обсуждённый вчера в ночном совещании с представителями Совета Рабочих Депутатов,— (тут он хорошо прикрывался Советом),— находится сейчас на окончательном рассмотрении их,— (не говоря уже, что ими и составлен).— Надеюсь, что через несколько часов вы об этой программе узнаете. Но, конечно, я могу и сейчас вам сказать важнейшие пункты...

Вся аудитория для Милюкова слилась. Он не успевал себе выделить ни хороших сочувственников, ни крикливых обидчиков, а только головы, головы, вздрагивал от каждого нового выкрика, и начинал думать с тоской, как это всё кончить и выбраться. Абстрактно глядя в эту серо-чёрную муть, он ещё мог бы сосредоточиться, мысленно восстановить ту мятую, неровную, плохо записанную бумажку Стеклова, вспомнить все её 8 пунктов — если б снова его не перебивали:

— А династия?!

И тут, измученный этими выкриками и не готовый ещё к новому, Милюков сплошал. Он вдруг не вспомнил, как это всё хорошо было славировано на Учредительное Собрание, а депутаты ИК уступили ему в деликатном пункте о непредрешении образа правления, и надо было это ценить, и об этом сейчас смолчать,— но досаднейше сбиваемый и вырываемый этими выкриками, Милюков вдруг потерял осторожность, взвешенность, все качества политического бойца. И ответил недопустимо откровенно:

— Вы спрашиваете о династии. Я знаю наперёд, что мой ответ не всех вас удовлетворит. Но я его скажу. Старый деспот, доведший Россию до границы гибели, добровольно откажется от престола или будет низложен!

Хлопали. Всё — так. И тут бы Павлу Николаевичу ещё можно бы остановиться, перейти на что-нибудь другое, ведь он почти ответил! — но какая-то окаменелость мысли лишила его лёгкости перескока, и он опрометчиво прямолинейно продолжал:

— Власть перейдёт к регенту, великому князю Михаилу Александровичу...

Та часть толпы, которая радостно хлопала каждому объявлению, продолжала хлопать,— но и нарос грозный шум, особенно тут близко, с одной стороны, от остатков прежнего левого митинга. А Милюков не очнулся, не сообразил, но продолжал своё:

— Наследником будет Алексей...

— Это — старая династия! — кричали ему.

А он не повертел головой, не повёл ухом, но как заколоженный, вперёд в одну колонну, упрямо:

— Да, господа, это старая династия, которой может быть не любите вы, а может не люблю и я. Но дело сейчас не в том, кто кого любит. Мы не можем оставить без ответа и без решения вопрос о форме государственного строя. Мы представляем его себе как парламентскую конституционную монархию. Быть может, другие представляют себе иначе, но теперь, если мы будем об этом спорить, вместо того чтобы сразу решить,— Россия очутится в состоянии гражданской войны и возродится только что разрушенный режим.

Он не успевал сообразить всех настроений тут, но он — так думал, и нельзя

же легко уступать в убеждениях. И так думал Прогрессивный блок на всех своих заседаниях уже второй год: для того чтоб укрепилась конституция в России — зачем разрушать монархию? Это никогда не предусматривалось. И не понимая, почему уж так его сейчас не понимают, сам с растущим недоумением, Милюков оговаривался:

— Это не значит, что мы решили вопрос бесконтрольно. Как только пройдёт опасность и возродится прочный порядок, мы приступим к подготовке созыва Учредительного Собрания. Свободно избранное народное представительство решит, кто вернее выразит общее мнение России: мы или наши противники.

Уже тут „противники" получились — не низверженное старое гнусное правительство,— но как бы не те, кто в зале тут кричали против Милюкова?

Резко требовали:

— Опубликуйте программу!

Тут к Милюкову вернулась догадливость:

— Это решить — зависит от Совета Рабочих Депутатов, в руках которого — распоряжение типографскими рабочими. Свободная Россия не может обойтись без самого широкого оглашения... Я надеюсь, завтра же удастся восстановить правильный выход прессы, отныне свободной.

Недовольный гул против династии продолжался. Но теперь Павел Николаевич уже просто воззвал к милосердию:

— Господа! Я — охрип! Мне трудно говорить дальше. Господа, позвольте мне на этих объяснениях пока остановить свою речь...

Уж как-нибудь, только кончить.

Противники зло гудели, но нашлось достаточно забавников и энтузиастов, кто подхватили Милюкова на руки и пронесли до края зала.

Так он почти триумфально выбрался.

Но был потрясён. И как будто измаран. Гадкое чувство.

329

Замечательно предусмотрительно действовал диктатор, отступив среди ночи из Царского Села на юг, да не на одну станцию, а на несколько, на 40 вёрст, до Вырицы. И потом по путейской линии узнал, что на царскосельскую станцию через 15 минут после их отбытия ворвалась толпа и даже готовила пулемёты. (А пулемёты, как Иудовичу разъяснили Доманевский и Тилли, в нынешней петроградской ситуации проявили себя наиболее опасно, соединяясь с броневыми или даже просто с грузовыми автомобилями, захваченными солдатами, или даже просто в руках частных штатских лиц.)

А так — они прибыли в Вырицу к 4 часам утра, и все были целы, и батальон спокойно спал в эшелоне. И диктатор бы спал — в своём привычном удобном любимом вагоне, в котором сломал он столько походов на Юго-Западном. Но — не мог он спать, пока неспокойна оставалась душа, пока не решил он, дать ли знать тотчас в Ставку о своём новом пребывании или польготить себя несколькими часами безвестного покоя. Однако кому он не мог не сообщить о своём местоположении — это подчинённому Тарутинскому полку на станцию Александровскую, по тот бок Царского Села. И сразу затем, в 5 часов утра, оттуда соединился железнодорожными телефонами командир Тарутинского полка и доложил, что получен приказ генерала Рузского: сажать полк в эшелон и возвращаться в распоряжение своей армии. Тилли всё это выслушал — и принес Николаю Иудовичу.

О-о-о! Так превосходно! Так великолепно! За этим отдельным приказом сразу проступил Иудовичу единственновозможный смысл: Северный фронт возвращает все свои войска! Иначе не мог быть отдан такой отдельный приказ самому выдвинутому полку: это было бы тогда отступление.

А если так — то тем более не хотел бы Иудович чиниться перед Рузским, выставлять свои права диктатора и требовать приказов только через себя. Если так — то и Бог с ними, пусть убираются восвояси. Послал Тилли скорей, пока линия соединена, ответить: пусть едут с Богом!

Конечно, нет уверенности, что отзывались *все* войска и *всех* фронтов,— но

уже прозревал Иудович духовным оком такой благоисходный поворот. Слава Богу!

И теперь он твёрдо решил, что честнее будет послать в Ставку телеграмму о своём местопребывании. И не доверяя ни Ставке, ни телеграфу все свои намерения и тревоги, написал одну фразу: „Ночь на 2 марта ночую в Вырице". Отправили тотчас.

И завалился спать.

Уже в половине шестого утра завалился — и проснулся только в десять. Эшелон тихо стоял на запасном пути, никем не тронутый, всё в порядке, и цел был вверенный диктатору георгиевский батальон.

После крепкого сна и хорошего завтрака — легче соображаются последующие действия. Вчерашние колебания — не поехать ли на автомобиле к Тарутинскому полку (вчера это была поездка опасная), теперь отпали. Но хотя Государь милостивой ночной телеграммой и освободил Иудовича от всяких действий до высочайшего прибытия, однако совесть генерала требовала какого-то действия, и особенно в Царском Селе. Тогда со своими советниками он почёл разумным встретиться и поговорить с командирами запасных батальонов, расквартированых в Царском. И велел телеграфировать им так: что либо приглашает их к себе в Вырицу, либо готов приехать в Царское лично, без батальона, чтобы не вызывать подозрений.

Связь была долгая, пока соединялись с одним, другим, но ответ был единодушен: и сами приехать не могут, ибо это вызовет подозрение в полках, и советуют генерал-адъютанту тоже отказаться от поездки,— она могла бы вызвать опасные последствия и даже взрыв.

Хорошо. Тогда он послал туда вместо себя Тилли, на паровозе, чтобы там разрядить нехорошую атмосферу недоверия к генералу Иванову.

Много времени прошло. А с проходящими из Петрограда переполненными поездами мог наблюдать генерал-адъютант такую картину: георгиевский батальон возбуждённо выбегал, окружал вагоны, расспрашивал. И боевой дух его несомненно падал.

И так в размышлениях и сомнениях пребывал Николай Иудович без решительный движений, пока уже далеко за полдень принесли ему с телеграфа депешу. И от кого! от кого не ждёшь! — от Гучкова! Что тот едет во Псков и ждал бы по пути или во Пскове непременно повидаться с генералом Ивановым. И дано распоряжение о пропуске его в этом направлении.

Вот это была удача! Гучков-то и владел, конечно, петроградским положением, да и всем новым правительством, наверно. Недаром пишет, что пропустит! А еще с японской войны отношения между ними были хорошие. (А ещё, чего никто не знал, глубокая тайна, это именно Николай Иудович в 1912 году выдал Гучкову тайный документ Сухомлинова, из-за которого был потом скандал, а думали на Поливанова.)

А — допустимо ли ехать по вызову Гучкова? Да ведь не обязался генерал Иванов перед Ставкою находиться в Вырице безвыездно и дальше. Надо действовать по обстановке, а она сильно переменчива. В некотором смысле свидание с Гучковым сейчас важнее любого приказа из Ставки. Только конечно не во Пскове встречаться, где и Государь.

И с поспешностью ответил Иудович Гучкову, что — рад повидаться! Что находится в Вырице, но немедленно выезжает на гатчинскую линию. А до Гатчины-Варшавской тут было всего вёрст 25, по соединительной ветке. Конечно, забирать с собою весь батальон и ехать немедленно.

Так и распорядился. И поехали. Но, от возраста ли, от волнений,— что-то ослабел Николай Иудович, прилёг и уснул.

А проснулся с ощущением, что спал — долго. Поезд стоял. Но не в Гатчине. Выглянул в окно и увидел выразительную вывеску: С У С А Н И Н О.

Так это что ж, позвольте, это разбой! это рядом с Вырицей! Никуда не уехали? Случилось с поездом? с дорогой?

Генерал очень разволновался, потому что, пропустя Гучкова, всё дело могло покатиться под откос. Послал офицера — узнать, приказать!

Тот вернулся: есть приказ — никуда не пускать. Мешаем поездам. Поставлены в тупик.

Так и захолонуло в животе. Но всё ж таки тут ошибка! Гучков дал распоряжение пропускать!

А ещё принёс офицер косвенную депешу, подхваченную стороной, от наштасева Данилова командующему Пятой армией Драгомирову: что Государь император разрешил главкосеву вступить в сношения с председателем Государственной Думы, и соизволил вернуть в Двинский район направлявшиеся на Петроград войска.

Как светом озарило сумрачную окрестность! Светом миролюбия, которое и предвидел Иудович. Всё развивалось точно по его прогнозу, и он ни в чём не преступил и оказывался чист перед его пославшими. Слава Богу!

Только растеплился Иудович, а тут прибежали из телеграфной и принесли такую депешу изобразительную, что в ледяную прорубь с головой:

„Вырица. Генералу Иванову. Мне стало известно, что вы арестовываете и терроризируете служащих железных дорог, находящихся в моём ведении. По поручению Временного Комитета Государственной Думы предупреждаю вас, что вы навлечёте на себя этим тяжёлую ответственность. Советую вам не двигаться из Вырицы, ибо, по имеющимся у меня сведениям, народными войсками ваш полк был обстрелян артиллерийским огнём. Комиссар Бубликов".

Опять — Бубликов! Да что ж это за чин такой — Комиссар? Да кто ж это обнёс, оклеветал? Да как Бог свят, вот крест на шее — ничего такого не было! Никого не терроризировал, а если приарестовал, так вчера начальника станции, за задержку со стрелками, чтоб обеспечить безопасность отважного батальона,— но отпустил же вскоре. А вот — разнеслась хула, и теперь не миновать ответственности перед Временным Комитетом. Могут и судить, простое дело.

Вся сила переключается к ним, это видно.

Устоял, не шатнулся генерал Иванов перед Государем императором, перед Ставкой, перед воинским долгом,— а вот не расчёл, опорочился перед новыми властями.

И — что теперь нагрянет на голову старого воина?

Дрогнул диктатор. Надо было всенепременно попасть к Гучкову, пока тот не проехал, через Гучкова добыть и всю милость! — а уже и так опаздывал, и вот преградил путь грозный Бубликов, Комиссар!

Сробел Иудович и не смел больше ни о чём просить, чтобы хуже не стало. Сидел в вагоне.

И батальон по вагонам.

И высматривали в окно новоявленный Минин с пришедшим Пожарским — и ничего другого не видели, как табличку „Сусанино" да железнодорожников, туда-сюда расхаживающих по платформам и по путям, между рельсами снег промазученный.

И отправления поезду не давали.

Встреча с Гучковым терялась. Ныло сердце-вещун, что добром это не кончится.

А ещё же в Гатчине — 20 тысяч гарнизону, и к новым властям не примкнули, а значит — подчиняются командующему округом, ему,— и этих никуда не отзовёшь назад, и что ещё с ними делать? Ещё и за них ответ. Чего б не набедокурили.

И вдруг принесли новую депешу от Бубликова, слава Богу любезную в этот раз:

„Ваше настойчивое желание ехать дальше ставит непреодолимое препятствие для выполнения желания его величества следовать Царское Село. Убедительно прошу остаться Сусанино или вернуться Вырицу. Комиссар Бубликов".

Ах, как полегчало! Совсем тон другой. И вот же, всё ж таки, и Комиссар Бубликов не пренебрег интересами Его Величества. Так может, они все понемногу и сговорятся, минуя старого генерала?

А лучше всего, пока пускают — воротиться в Вырицу. Наступление не удалось.

А оттуда всё ж донести в Ставку об этих железнодорожных безобразиях.

ДОКУМЕНТЫ — 10

Генерал Сахаров — генералу Алексееву
Яссы, 2 марта

...преступный и возмутительный ответ председателя Государственной Думы на высокомилостивое решение Государя Императора даровать стране ответственное министерство... Горячая любовь моя к Его Величеству не допускает душе моей мириться с возможностью осуществления гнусного предложения, переданного Вам председателем Думы. Я уверен, что не русский народ, никогда не касавшийся Царя своего, задумал это злодейство, а разбойная кучка людей, именуемая Государственной Думой, предательски воспользовалась удобной минутой для проведения своих преступных целей. Я уверен, что армии фронта непоколебимо стали бы за своего Державного Вождя, если бы не были призваны к защите Родины от врага внешнего и если бы не были в руках тех же государственных преступников, захвативших в свои руки источники жизни армии... Рыдая, вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее безболезненным выходом для страны и для сохранения возможности биться с внешним врагом... пойти навстречу уже высказанным условиям, дабы промедление не дало пищи к предъявлению дальнейших, еще гнуснейших притязаний.

330

И город являл одни опасности и расстройства, но и у сестёр отсиживаться было унизительно, бессмысленно. Жалел Кутепов, что приехал в отпуск не ко времени так. Ехал он в Петербург — мечталось с хорошей женщиной встретиться,— но какая теперь тут к чёрту хорошая женщина! Сейчас в Петербурге и ничем он больше помочь не мог, и для себя жить не мог,— а ехать раньше срока в полк.

До середины дня ещё подумал — и отправился на Миллионную заявить о своём отъезде на фронт. Несмотря на всю чрезвычайность обстоятельств, бестактно было бы уехать, не попрощавшись в собрании, уж как бы эти офицеры себя ни вели.

Ехать по городу было всё так же не на чем, отправился с Васильевского пешком. Но хотя народу было очень много, как в праздничное гулянье, и все с красными этими клочками, по-обезьяньи, однако спало как-то озлобление против офицеров,— уже можно было усвоить ненапряжённую походку, смотреть свободно во все стороны и принимать честь ото многих солдат (не ото всех).

До Миллионной дошёл благополучно. Но тут увидел против преображенских казарм солдатскую цепь с винтовками. Они стояли вразрядку. Кутепов уверенно пошёл между двумя к подъезду собрания.

Соседний солдат смущённо остановил полковника и тихо доложил, что приказано никого в собрание не пропускать.

Правильно было сразу идти, не останавливаясь, но и теперь правильно было остановиться, признавая дисциплину выше полковничьего звания.

Кутепов остался на месте, уже несколько пройдя цепь, и велел вызвать к себе караульного начальника.

Солдат исполнил. Чернобородый Кутепов ждал как каменный, ничего не выражая смотрящим на него солдатам.

Из подъезда собрания вышел крайне развязной походкой низкорослый плохо-строевой ефрейтор с большой офицерской шашкой, с большим револьвером, всё не по уставу, а как захватывали в эти дни. Неуставно болтая руками, он подошёл и, не беря руки под козырёк, спросил полковника наглым тоном:

— Что вам надо?

Надо было — дать ему десять суток гауптвахты. Но приходилось, указав рукой на цепь, спросить:

— Что всё это значит, ефрейтор?

Прозвучало хорошим басом, и ефрейтор не отказался ответить: что все солдаты ушли в казармы на Кирочную выбирать нового командира батальона. А все офицеры — арестованы здесь, в собрании, потому оцепление. И опять развязно:

— А кто — вы будете?

Кутепов не мог не улыбнуться этому шпыню:

— Я имею честь служить в лейб-гвардии Преображенском полку.

На ефрейторе выписалась изумлённая храбрость:

— А-а! В таком случае я должен и вас арестовать.

Тогда Кутепов метнул ему молнию и отбрил командно:

— Вот когда повоюешь в рядах нашего полка столько, сколько я, и будешь знать в лицо всех господ офицеров,— вот тогда мы с тобой поговорим!

Ефрейтор опешил, не нашёлся.

Итак, вот, они все здесь сидели арестованные — полковые товарищи и случайно прибитые к преображенцам, истые строевики или либеральные мечтатели, так звавшие эту розовую зарю,— и Макшеев, и Приклонский, и Скрипицын. Хотел бы, хотел бы Кутепов на них сейчас посмотреть и послушать, что они думают. Но соотношение сил не позволяло ему отдать полковой долг вежливости, это уже была бы бравада.

И он повернулся, и рассчитанно-медленно, в себе уверенно, пошёл назад в сторону Зимнего. Про себя думал: если сейчас ефрейтор попробует задержать — снести ему мерзкую голову шашкой, и всё.

Но — не окликнули и не гнались.

А идя теперь так медленно через Дворцовую площадь, Кутепов увидел издали, что у подъезда штаба̀ Округа стоит на посту часовой-преображенец. Кутепов свернул туда, и вошёл в подъезд. Там караульным начальником обнаружил штабс-капитана Квашнина-Самарина, и узнал, что караул уже двое суток без смены, не знает Квашнин, что делать дальше, но и не очень спешит в батальон: что там творится.

Полковник вошёл в караульное помещение, поздоровался с построенным караулом, поблагодарил за хорошее несение службы и объявил, что, по третьему дню, переводит их из состояния караула в положение команды, из часовых — в дневальных, разрешает на постах сидеть. Вызвал заведующего зданием и приказал при себе накормить людей получше. Проворно принесли солдатам ворох ситного хлеба, колбасы, чаю, сахару.

За это время узнал Кутепов, что и в Зимнем так же бессменно стоит караул преображенцев. Надо было и его подкрепить, батальонные выборы и аресты могли затянуться надолго.

Пошёл в Зимний. Поручик и унтер-офицер рассказали ему, что караул уже несколько раз не допускал во двор Зимнего каких-то матросов, каких-то рабочих, к часовым всё время подходят подозрительные типы и стараются их распропагандировать бросать посты и громить дворец.

Караул построили. Полковник звучно поблагодарил его, ответили звучно. Так же разрешил им считаться впредь командой, некоторые наружные посты снять, у ворот поставить парных дневальных. Снизу телефоном нашёл помощника заведующего дворцом и просил его выдавать караулу побольше сахара, хлеба, обставить караул как можно лучше. С удивлением услышал в ответ, что просьбу будет исполнить трудно, так как выдача сахара уже увеличена сверх закона на четверть золотника человеку.

Ни черта эти крысы тыловые, да ещё придворные, не понимали, что творится и что с ними самими может быть через пять минут! После такого ответа Кутепов прекратил разговор с этим господином и стал телефонировать в Гвардейский экипаж, где, по слухам, ещё сохранялся порядок. Спросил, не могут ли выслать караул в Зимний. Дежурный по экипажу ответил, что и думать не приходится.

Тогда позвонил в лейб-гвардии Павловский, где, кажется, уже *выбрали* нового командира батальона. К телефону и подошёл этот новый, какой-то штабс-капитан. Печальным голосом он подтвердил, что к несчастью да, он выбран командиром батальона, но не знает ни где находятся его люди, ни — сколько у них винтовок, сомневается, исполнят ли хоть одно его приказание,— и уж конечно караула выслать не может.

А ещё же и в Адмиралтействе стоял преображенский караул. К нему Кутепов уже не пошёл, а направился домой.

Так уже ненапряжённо стало ходить по улицам, что можно было отвлечься и задуматься. Задумался, как несмотря на революцию он свободно действовал и передвигался все эти дни по Петрограду. Что сделал он немного, но если бы из тысяч офицеров, находящихся тут, ещё хотя бы сто сделали по столько же, то и никакая революция бы не произошла.

А преображенцы запасного батальона вели себя совсем не плохо. Отлично действовали на Литейном. Роты, построенные на Дворцовой площади, не присоединились к восставшим, и только Хабалов виноват, что не использовал их. И вот — караулы стоят бессменно во всех главных зданиях. И веди себя иначе преображенские капитаны — они бы и не были арестованы, а солдаты не пошли бы на выборы.

Так задумался, что у Николаевского моста даже не сам увидел, а его увидели младшая сестра и младший брат, стояли предупредить: за эти часы, как нет его дома, три раза приходили матросы арестовать его.

Всё-таки донюхались, кто действовал на Литейном.

Брат и сестра хотели, чтоб он не возвращался домой, а сразу на вокзал.

Но отчего ж не собрали саквояж? Нет, такое бегство было не в нутре Кутепова, он потом долго будет вспоминать это унижение и не простит себе. Хорошо, уезжаю, но пошли соберём и простимся.

Есть и особенный вкус — испытывать опасность. С холодком проходить тесно-тесно близ неё.

Пошли. Не доходя, послали сестру на разведку: не ждут ли на квартире сейчас.

Нет. Вошли в дом. Умоляли сёстры — скорей. Но торопиться — тоже было унижение. Выслушал плач старой прислуги Захаровны:

— Одни рожи ихние чего стоят! Отца родного убьют. Уезжай, батюшка! Пока тебя сторожили — у меня сахар забрали, пятнадцать фунтов, чтоб им подавиться!.. Чтоб он им отрыгнулся на том свете!

Уложился. Присели все помолчать. Простился. И с братом пошли на Виндавский вокзал, опять пешком. Ещё конец изрядный, но благополучно.

Сам же вокзал оказался весь запружен солдатами — правда, никто не протягивал руки обезоружить. (Но и наган был в этот раз в саквояже, не соблазнять.) Оказалось, что поезда через Могилёв не ходят, и не известно, когда пойдут.

Тогда что ж? Ехать на Киев кружно — через Москву, Воронеж.

Пошли на Николаевский вокзал. Уже и темнело.

Отсюда на Москву поезда ходили, как будто никакой революции нет.

331

В половине третьего отправил Алексеев Государю во Псков сводку пожеланий главнокомандующих.

И началось томящее ожидание. Если б не отправляли, если б ничего этого не зачинали, то не было бы и напруженности этой. А теперь уже хотелось, чтобы скорей покатилось. Уже и выхода не осталось другого.

Так чувствовал Алексеев, что они уже не могли встретиться с Государем по-старому.

И уже не мог он быть оставлен при нём прежним начальником штаба.

Как будто лишь дали добрый совет: отречение — самый лёгкий и быстрый выход прийти ко всеобщему спокойствию и согласию. А — что-то перешли непоправимое. Чем дальше от посланной телеграммы, тем это глубже чувствовалось.

От Непенина пришла телеграмма не ответная, утренняя и косвенная,— но он ещё раз решительно подтверждал, что присоединяет Балтийский флот к думскому Комитету. Так что в его позиции сомнения не было.

К трём часам, наконец, вырвали телеграмму и от Сахарова. Как ни оговаривался, но согласился. Дослали во Псков.

Смолчал один Колчак. Но им одним уже ничто не решалось. А зато Николай Николаевич всем авторитетом и решительностью ответил за двоих.

Так тревожное напряжение в Ставке всё осталось, а решение перекатилось во Псков.

Во Псков? И Государь решал? Нет! — с трёх же часов вдруг откуда-то возник слух, что литерные поезда из Пскова ушли!

Так и сжало сердце верностью известия: вот это был наш царь! вот это — он! Уклониться, скрыться, бежать от решения! Это — он.

И — куда же? Куда он помчал? Не сюда ли?

Срочно запросили штаб Северного: в данную минуту — где находятся литерные поезда? Во Пскове или ушли? И — по какому маршруту?

Там запросили коменданта вокзала,— стоят на месте.

Но слух не утихал.

Послал Алексеев Лукомского самого протелеграфировать: во Пскове литерные поезда или куда отправились?

На месте.

Тогда Клембовский распорядился в штаб Северного так: если бы получилось сведение, что литерные поезда ушли или даже только отдано такое распоряжение,— немедленно сообщить в Ставку!

Будет исполнено.

(А что, Алексеев решался задержать?? Нет, не так прямо... Но и...)

Успокоились, но не надолго. Пришло сведение, что эксплоатационный отдел Северо-западных железных дорог уже распорядился об отправлении литерных поездов к Двинску!

То есть, к линии фронта. К штабу Пятой армии, к Драгомирову. Что это?

Снова кинулись запрашивать штасев. А там никого не добьёшься знающих, все куда-то разбрелись. Наконец добились: литерные поезда — на месте, ни о каком таком распоряжении не слышали. Знают другое: из Петрограда выехал экстренным поездом Гучков. Его ждут во Пскове после семи часов вечера.

Гучков? Новость!

И неплохая. Алексееву стало пободрей: Гучков со своим напором — добьётся.

И ещё объяснял штаб Северного, что дальше с посланными передовыми полками: Тарутинский остался лояльным, но будет возвращён кружным путём через Эстляндию, чтоб только не через мятежную Лугу, избежать конфликта. А Бородинскому лужане возвращают отобранное оружие, и уже поворачивает он назад.

Так позвольте, значит Бородинский не переходил на сторону мятежников, как извещалось?

Нет-нет, не переходил. Но подробности потом, по телефону стесняются.

С каким же трудом уточняются самые простые вещи. Весь день, по сотрясательному слуху, считала Ставка, что бородинцы взбунтовались, и эта ненадёжность войск особенно торопила шаги с отречением,— а они, оказывается, и не бунтовались.

И проклятая неопределённость оставалась с Ивановым. Хотя в полдень и пришла от него телеграмма, что он ночевал в Вырице,— но что же дальше? что он там делает? Он так близко к мятежным частям, что столкновение может возникнуть самопроизвольно! Надо удержать его от всяких активных действий.

И снова, и снова переговаривались со штасевом: почему не посылают офицера генерального штаба для личного объяснения Иванову всех событий? А штасев явно не хотел посылать, и отговаривались, что не понимают задание. И снова Лукомский слал прямой приказ генкварсеву Болдыреву.

Из Ставки беспокоились об Иванове, а у Петрограда — свои заботы. И из главного морского штаба рисовали ужасную балтийскую ситуацию, и мятеж в Ораниенбауме, и морской министр распорядился действовать в согласии с думским Комитетом. А из Главного штаба генерал Занкевич по приказанию Родзянки запрашивал Лукомского *со всею срочностью* о положении на фронтах,— ждёт ответа у аппарата.

Очевидно и у них были слухи, и не иначе как о прорыве нашего фронта немцами.

Передали им от Лукомского, что на фронтах затишье.

В эти тягучие часы у всех уже напряглись нервы до последней струны, и у Алексеева тоже. Казалось уже всё меньше возможным ждать в незнании. Все жаждали решения скорей!

Если так не ведали в Ставке, то уж совсем ничего не понимали в штабах фронтов и в крупных прифронтовых городах. (Особенно нервничал, ждал Янушкевич с Кавказского.) Оживил их Лукомский ориентировочной телеграммой, что ожидается опубликование высочайшего акта, который успокоит население и предотвратит ужасы революции. И — ориентировать об этом главных начальников округов.

Хотя военные округа как будто молчали и не спрашивали, но уже несколько часов очень нервничала Одесса. Начальник округа оттуда докладывал, что тревога населения растёт и будет расти. Сперва — отсутствие телеграмм из Петрограда, затем наплыв их делает положение с каждым часом опаснее, с трудом удерживается порядок. Когда же наконец последует обещанный высочайший акт?

Клембовский объяснил в Одессу, что речь идёт об *отречении*, и по-видимому оно неизбежно, хотя решение ещё не принято. А в Петрограде спокойствие восстанавливается. А в Москве и не нарушалось, только трамваи перестали ходить.

Ведущие генералы Ставки не находили себе места от волнения, как в большом бою. Тем временем действительный статский советник Базили со своими помощниками продолжал улучшать стиль манифеста об отречении, Лукомский нахаживал туда и торопил: не должно же дело застрять из-за неготовности манифеста!

Наконец, в 16.50 ожидаемое прорезалось, но пока в облике туманном: пришла телеграмма от Данилова, хотя и не об отречении, однако же! Уклончивый, упорчивый, нерешительный Государь выразился в длительной беседе с генералами, что нет такой жертвы, которой Его Величество не принёс бы для истинного блага родины. О чём Данилов и сообщал.

Конечно, под тем могло скрываться не так уж многое. Но ожидаются к вечеру Гучков с Шульгиным.

Намёк о *жертве* давал право Ставке теперь разлить успокоение шире. Почти тотчас разослали телеграммы прямо по военным округам, даже Иркутскому и Приамурскому, и казачеству войска Донского: ожидается опубликование высочайшего акта, долженствующего успокоить население. Наштаверх выражает уверенность, что войска округа останутся спокойны.

Впрочем, кроме Одесского округа, никто о беспокойстве не доложил.

Но сердечно сочувствуя Государю, как ему сейчас стеснено и тяжело, Алексеев перенёс мысль и к матери его: что должна думать она в ливне этих телеграмм и слухов? И распорядился Брусилову, чтобы Юго-Западный ориентировал вдовствующую императрицу в Киеве по обстановке, что будет знать сам.

А ещё раз спросить у Пскова: на месте ли литерные поезда?

На месте.

Да ведь все эти уговоры Государя через его несомненную муку, только и предпринимались, чтобы спасти армию от анархии! И вот ещё несколько тревожных часов, последние часы,— и Россия будет спасена от развала, армия — спасена для весеннего наступления!

На пути к спасению России стояло одно лишь упрямое сердце монарха.

332

После того как позавчера уводили Игоря, обысков в квартире Кривошеина больше не было,— сумели установить в парадном какое-то подобие охраны.

Но такой общеизвестной и в эти дни совсем не одиозной фигурой вырастал Кривошеин, что к нему приходили укрываться, спасаться или за советом и другие видные лица, члены Государственного Совета,— ведь уже весь Петроград знал, что бывших сановников арестовывают. А вчера к вечеру пришёл сильно напуганный Александр Трепов. И не избежать было оставить его ночевать, к их семейству у Кривошеина был долг чести.

Вся семья Треповых — и отец Фёдор, градоначальник Петербурга, которо-

го убивала Засулич, потом генерал-полицеймейстер Царства Польского, и все четверо его сыновей играли видную роль в управлении Россией, можно сказать незаслуженно по способностям. Сын Дмитрий, генерал-губернатором Петербурга, предотвратил революцию и кровопролитие в столице в 1905 (его прочестили: „патронов не жалеть"), и он же покровительствовал Кривошеину и продвигал его записки ко вниманию царя; и он же пал духом на следующий год, искал соглашения с кадетами и панически боялся разгона Первой Думы. Владимир был известный оппонент Столыпина в Государственном Совете, сенатор и шталмейстер, последние годы успокоенный выгодными концессиями в Сибири. Фёдор-сын — генерал-губернатор, начальник Юго-Западного края. Александр вошёл в правительство в те же дни, когда Кривошеин ушёл, год был министром путей сообщения, с большой энергией вёл, и особенно Мурманскую дорогу, в ноябре же взлетела его звезда в премьер-министры, и он внезапно пытался сменить консервативный курс на полу-либеральный (проявляя, что ни тот ни другой не были сродны ему), искал популярности у Думы, не нашёл, потерял и доверие трона, к Новому году слетел. Был он жёсткий, властный, скрытный, но и опытный, и удачливый в государственном управлении, хотя может быть движим лишь карьерой. Отставили его зря. Как раз он — мог бы защитить трон в эти дни. Им пожертвовали из-за его несоединимости с Протопоповым и Распутиным.

Известно было в обществе, что Трепов не терпел Распутина и все два месяца своего премьерства тщетно пытался уволить Протопопова, итак вряд ли ему что серьёзное грозило сейчас в Таврическом дворце, но он был погружён в испуг, столь неожиданный при его сильной натуре, скрывался, просил защиты. Столько он высказывался прежде о крутых, решительных мерах, как же мгновенно может сотрясаться наше положение в обществе и наш характер!

Невысокий, плотный, редковолосый с прирыжью, с напряжённым взглядом и красноватым лицом, он как будто повторял брата Дмитрия, перед смертью оплетшего дом электросигнализацией от террористов.

А всё же — решился этот человек взять тот пост, которого Кривошеин никогда не решался.

Второй раз за эти дни посылался ему гость-ночёвщик, с которым сама судьба направляла вести правительственные разговоры — о тайнах совета министров, о судьбах российского теперь управления.

Совершенно не ясного. Потому что нарушился закономерный ход службы сразу у всех. Сдвинулись сразу все пласты, все сложности — невозвратимо. А в обществе — нет государственных привычек.

Трепов и сегодня был уверен, что если б его в ноябре освободили от Протопопова — он спас бы и это правительство и трон.

Однако сейчас Трепов производил впечатление конченного деятеля, отыгравшего. Себя же Кривошеин видел иначе: рушилось мимо него, а он — стоял и только укреплялся. И в России не было сейчас более опытного и вместе с тем никак не запятнанного перед обществом государственного деятеля. Всякому незамутнённому взгляду должно быть ясно, что пригласить новым премьером разумно только Кривошеина,— и это всё спасёт.

И в этой безумной, закруженной, исстрелявшейся столице Александр Васильевич в эти бессонные ночи — всё более решался на власть. На что не решался столько лет, упустил руль, когда он тыкался в руки сам.

А сейчас — решался.

И час за часом, про себя, затаённо, ждал гонца из Думы.

Но гонца не слали.

Хотя и правительство же всё никак не составлялось.

Переночевал Трепов благополучно — но что же было ему делать дальше? У него была такая мысль: добраться до министерства путей сообщения. Там уцелела его бывшая казённая и не занятая Кригером квартира, и там распоряжается от думского Комитета свой путейский инженер Бубликов. Либо там же приютят, либо дадут какое-нибудь охранное свидетельство, во всяком случае от них там можно начать переговоры.

Кривошеину и легче, Трепов его тяготил.

Но — как ему туда добраться?

Теперь — только пешком, иного транспорта нет. И под охраной не сына же, офицера,— только старый Кривошеин и мог при случае защитить, сам собой.

— Ну что ж, пойдёмте, Александр Фёдорович.

Путь не близок. И не знаешь как лучше — через центр или вдоль Фонтанки. Вот настало время: тяготили собственные шубы, покажутся богатыми, а бедней ничего на плечи нет.

Решили идти по Садовой, в её обычно суетливой разнообразной торговой толкотне. И меньше будет солдатских грузовиков. Пожалуй и правильно.

Прошли, не попав под обстрел и не задержанные.

Кривошеин озирался с удивлением. Как будто изменился воздух. Поражали красные лоскуты, распущенные курящие солдаты, кое-где разгромленные лавки, многие закрыты — и в Гостином, и в Апраксином. Однако многие и торговали. Жизнь была надломленная, но не сломленная.

Одно время пожалели, что не догадались сами нацепить красные банты, легче бы идти. Но обошлось.

На Фонтанке перед министерством стояла солдатская охрана. Послали записку комиссару Бубликову,— и через десять минут были приняты и проведены к нему наверх — в собственный же недавний треповский кабинет, с окнами в юсуповский сад. До сегодняшнего утра тут помещался задержанный Кригер, сейчас его увезли в Думу.

Бубликов не ходил, а бегал по кабинету очень возбуждённый, подёргливый, утеряв свой обычный ощипанно-опрятный вид, но и очень уверенный. Уже через несколько фраз посетители поняли из обмолвок, что он становится новым министром путей сообщения.

(Уже так конкретно намечались и отдельные министры?)

А пока — радушно принимал, как равных. Узнал цель визита — обещал и охранное свидетельство, и конечно можно ночевать в министерской квартире.

А пока — велел подать чай с печеньем, и сидели пили вчетвером (при Бубликове — ещё другой член Думы, тоже комиссар) в просторном кабинете, где всё сохранялось по-прежнему. И Трепову странно было, и приятно было, что он в своём же кабинете. На небе просветлилось — и через сад слева направо полило предзакатное солнце, придавая и кабинету красноватое освещение.

Пили чай, обсуждали российские судьбы. Раз Бубликов предполагался в члены нового правительства — тем лучше, их визит приобретал характер разведки. Кривошеин знал за собой умение шармировать собеседников, и не хотел сдерживать его.

— Да неужели же Россия не заслужила наконец иметь сильное правительство из талантливых людей?

Все были согласны.

— Однако, чтобы стать правительством, вам надо сперва навести порядок хоть у себя в Таврическом. Потом — в городе.

Рассказал, как арестовывали и водили сына.

Да гораздо больше Кривошеин знал, чем успевал тут высказать. Он знал этот обширный и медленный ход статистических обследований, сводных результатов, из которых рождаются первые мнения, потом проектов, контрпроектов, аргументированных докладных отточенным языком, затем высочайших рассмотрений, работ назначенных комиссий, новых докладов на совете министров, прений, высочайших утверждений,— десятилетиями он жил в этой плавной деятельности, и нельзя было поверить, чтобы что-нибудь подобное родилось из сегодняшнего хаоса. (И без него.)

— Да-а-а,— пошучивал он.— Вы нас изводили своими безумными резолюциями, а теперь мы поменяемся с вами местами. Вы теперь пойдёте в министры, а мы — будем работать в общественных организациях и вас отчаянно критиковать. Только у нас есть долгий опыт государственной работы, а у ваших министров — никакого.

И в это самое время зазвонил телефон. Бубликов схватил трубку — радостно вскричал:

— Состав правительства? —

и стал принимать и всем присутствующим повторять вслух: князь Львов... (И для Кривошеина всё было кончено.) — Милюков — Гучков — Шингарёв... Он весело это повторял, но с трудом скрывая волнение; как близилось к путям сообщения, лицо его разгоралось.

Всего-то! — ловил Кривошеин. Только и могли они придумать — Львов, Милюков... безнадёжные кадеты. Всего-то? И не понимают они, что ещё в начале зимы такой кабинет мог бы вытянуть,— но протряся через революцию? Государственного опыта — нет, это главное. А без него — кто вы?

Hundert funfzig Professoren...
Vaterland, du bist verloren! *

Запнуться Бубликова и изумиться всех заставил Терещенко: что-о? кто-о? Этот юноша по балетной части, лакированный денди — министр финансов???

Но тут дошёл до еле скрываемого надрыва голос Бубликова:

— ...Путей сообщения...— Не-красов??? —

Ещё произнёс, по инерции,— и голос оборвался, лицо потемнело, и больше он вслух не передавал, опустил трубку. И в кресло вплюхнулся.

Царский министр Трепов, достигший безопасности, давал волю своему постороннему удивлению:

— Да Некрасов никогда на путях сообщения не работал. Лектор по статике сооружений без единого научного труда. Последнее, что у него может быть, это студенческие конспекты 15-летней давности. Да материалы к нескольким думским речам. Никакой практики.

— Да вообще ничтожество!

Но разве этим выражалось всё оскорбление? весь удар в сердце?! весь разлом мира?! Разве этим??

Свинцово вскипело и нуждалось выбрызнуть,— а Бубликов должен был ещё не давать лицу измениться, ещё делать вид — и не сразу вскочить и бежать в другую комнату, к другому телефону — звонить им туда! и выплеснуть!

Но — кому? Он даже не мог оплеснуть коварного Родзянку, раздутого, крупного, громкого, потому что тот за трое суток уже опал тряпичным мешком. Ах, так и случилось! Сам виноват, что здесь сидел, ушёл из Думы, захватывал им железные дороги — *на кого* работал?! Подталкивал хлебные эшелоны. Торопил уголь из Донбасса. Звал деповских усилить ремонт. Заместил убитого Валуева.

А теперь?..

Бешено кричал в трубку, чтобы только освободиться, не задушило бы:

— С этими хамами я служить не буду!.. Разве он эксплоатационник? Разве он может вести министерство?.. Если мои заслуги ничего никому не значат... Проходимцы, хамы! Губят Россию!.. Чистейшая демагогия, наглое издевательство!.. Да они не продержатся и двух месяцев, их выгонят с позором!.. Да такого позорного кумовства и при Распутине не было!..

Ломоносов, с перекатным котлом головы и метучим взглядом,— был в этой комнате. Всё слышал, всё понял, гневно кивал. Бубликов — прогорел. Но Ломоносов — ещё мог сманеврировать и получить хорошее место. Он согнуто охотился над железнодорожной картой:

— ...Так-ак... Поезд с депутатами прибыл в Лугу... Скоро во Пскове... Та-ак... Царь пойман — и начинается новая эра русской истории!..

333

Как ни хорошо знал Гиммер, что все эти многолюдные собрания никакой политики не решают, политика делается несколькими человеками, в задних комнатах,— но коварный манёвр Керенского поразил его, научил его и показал другие возможности.

Пока Нахамкис своим усыпительным неторопливым голосом и разливанной речью забивал время собрания и объяснял массе, что вчера ночью одержана большая победа над буржуазными элементами, а наши уступки

* Сто пятьдесят профессоров... Отечество, ты погибло!

незначительны и мы не дали буржуазии никаких серьёзных обязательств,— Керенский пришёл опять со своим оруженосцем Зензиновым в 13-ю комнату, нервно подёргивался там, вяло поспаривал с большевиком — и ни словом, ни взглядом не открыл, что готовится к прыжку. И был, в общем, в состоянии вполне нормальном. Но как только из раскрытых дверей 12-й комнаты аплодисменты отметили окончание речи Нахамкиса — Керенский рванулся туда неудержимо — и уже через минуту начинал свою речь в состоянии экзальтации, падал на мистический шёпот и все объявлял, что готов к смерти. Это были неизвестные нашей неподготовленной толпе приёмы французских ораторов с сильным „аффрапирующим" действием,— он рассчитанно спекулировал на неподготовленности и стадных инстинктах аудитоии. И какую чушь он там ни нёс — что министерство решалось в 5 минут, что в ещё несформированном правительстве он отдал распоряжение освободить политических заключённых (а это в старом министерстве распорядились посланные комиссарами Маклаков и Аджемов), и в каком полуобморочном состоянии ни произносил полубессвязных фраз,— а очень демагогично и стройно. А одержавши триумф и вынесенный на руках, он тотчас же вернулся в нормальное состояние и стал оживлённо разговаривать с английскими офицерами.

Сам по себе манёвр Керенского был поучителен и ослепителен, но он противоречил междупартийной этике — и это возмутило членов ИК: Керенский просто игнорировал и весь Исполнительный Комитет и всё его постановление, он не пожелал ни руководствоваться им, ни добиваться его пересмотра, а как некий бонапартёнок всё перевернул своей выходкой — да даже и не дождался формального одобрения Совета, так и ушёл.

Большинство Исполкома во время речи, стоя тут же, за спинами, от дверей 13-й комнаты — негодовало, но бессильно было помешать: при таком успехе Керенского рискованно было начинать с ним публичный диспут.

А бундовцы Рафес и Эрлих, сторонники коалиции с буржуазией, внешне возмущаясь, внутренне, кажется, сожалели, что Керенский не ввёл их в свой план раньше — не сговорил, и не назвал ещё, может быть, кого-то с собою вместе кандидатами в правительство. Они всё ещё отстаивали право честной партийной дискуссии, и вчера остались в меньшинстве ИК, но никак не принимали, что решение не входить уже окончательное, они надеялись возобновить дискуссию сегодня,— и меньшевики тоже надеялись сегодня обсуждать свой вход в правительство,— и все были ошеломлены, что ночью Гиммер, Нахамкис и Соколов, никем не уполномоченные, уже ото всего ИК заявили буржуазии решение! А теперь: каково было спорить с этим решением на общем собрании, когда угрожали резкие выступления большевиков и межрайонцев.

И левые, действительно, полезли на столы с речами,— как ни длинна была речь Нахамкиса, но прений она не съела, прения ещё потянулись на три часа, и нашлось 15 ораторов. Никто, правда, больше не обещал немедленно умереть, но требовали большевики немедленного окончания войны, немедленно ввести 8-часовой рабочий день, немедленно раздавать помещичью землю, а для того — никакого контакта с думским Комитетом, не дать образоваться буржуазному правительству, а создать революционное. Шляпников, Кротовский, Шутко, Красиков лезли с этим один за другим, громко кричали против буржуазного правительства, слуг реакции,— и как всякому громкому крику толпа радостно и громко им отзывалась.

— Что же получилось? — кричали большевики.— Ходили на улицу, текла кровь, а что преподносят сегодня? Царскую контрреволюцию! Гучков, Родзянко, фабриканты, Коновалов посмеются над народом. Крестьянам вместо земли дадут камень!

В такой обстановке Рафес и Эрлих не посмели предложить вхождение в правительство. Однако Канторович, а за ним Заславский и Ерманский отважились: что коалиционное правительство необходимо для объединения всего народа; что неучастие Совета в правительстве изолирует его от народа. И отговаривали от отдельного революционного правительства, а дождаться Учредительного Собрания.

Но разве это стадо понимало слово „коалиция"? Или — „Учредительное

Собрание"? Или вообще понимало что-нибудь из того, что тут говорилось? Для массы только сочетание „Исполнительный Комитет" звучало властно.

Наконец, к 6 часам вечера, уже темнота за окнами,— сморенные, распаренные, сдавленные, с затеклыми ногами и даже руками,— члены Совета были готовы к голосованию.

И толпа Совета — как будто сама себя не помнила, не осознала, не заметила, что она одобрила вхождение Керенского, что она одобрила большевиков против всякого вхождения,— теперь всею мощью в 400-500 голосов, не считано, ещё и в коридоре поднимали, против полутора десятка большевиков,— взмахнула руками за решение таинственного Исполнительного Комитета: в буржуазное правительство ни в коем случае не входить! Но — поддерживать его.

И — поправки, охотно. Чтобы правительство не отсрочивало реформ, ссылаясь на военные затруднения,— проголосовали. И чтоб Родзянко тоже подписался под обещательным манифестом — проголосовали. И чтоб действовал наблюдательный за правительством комитет Совета — проголосовали. И ещё, такую малость забыл вчера Нахамкис прочесть,— самоопределение всех наций. Проголосовали.

И если б ещё кто высунулся с какой поправкой,— создать второе революционное правительство,— тоже бы проголосовали. Солдаты — пусть, но как будто и рабочие, ведь ученые же, а ничего не понимали.

Но это историческое заседание-застояние Совета в комнате бюджетной комиссии должно было стать последним: уже невмоготу было тут стаивать и сдушиваться, а ведь завтра ещё подвалит депутатов, уже небось до тысячи?

Надо захватывать большой Белый думский зал.

Сборище уже окончательно разлагалось, кто-то выкрикивал дополнительные сообщения, внеочередные заявления,— как влез на стол опять Ерманский и, потрясая бумажкой, объявил, что — да, подтверждается: в Берлине второй день идёт революция, и Вильгельм уже свергнут!!!

И все, ещё остававшиеся тут, Вильгельма-то знали все,— стали топать, и хлопать, и гаркать „ура".

А Чхеидзе на председательском посту — что с ним сделалось? ведь совсем кунял,— стал подпрыгивать на столе, вращая глазами, круговращая руками, в небывалом кавказском танце,— и тоже рычать „ура" из последних старческих сил.

334

Всё наличествовало у Гиммера — огромный теоретический багаж, острый политический нюх, неутомимость в дискуссиях, и заслуживал он, кажется, самого большого места в революционном движении,— но препятствовал ему маленький рост, худоба и невнушительная физиономия, а от сознания этих пороков проявилась у него и ораторская робость. Всё что угодно он мог сказать нескольким человекам в комнате, но толпе? Нахамкис поднимался спокойно и беседовал с толпой как со своими знакомыми, кажется мог при этом в затылке почесать или сунуть руку в карман. Керенский взлетал как ракета, и кричал ли, шептал, рыдал или падал,— всё производило на толпу магнетическое впечатление.

Но сегодняшний нахальный концерт Керенского на Совете уже окончательно вывел Гиммера из себя. И он решил самопровериться и тоже выступить оратором. Только через это он мог стать полноценным социалистическим вождём.

Он не томился, конечно, всё время в зале Совета, а часто выходил и проверял события в правом крыле, в левом крыле, в Екатерининском зале. Жаль, он пропустил выступление Милюкова,— было бы очень уместно вот тут ему и оппонировать публично. Вообще это выступление было не согласовано с Советом, преждевременно и конфликтно.

Так шёл Гиммер в пиджаке, проталкивался по коридору — и тут ему сказали, что пришла какая-то новая делегация ко дворцу, надо выступить члену Исполнительного Комитета, а никого близко нет.

И — сердце забилось: минута пришла! Гиммер знал, что уже решился! И он — пошёл к выходу.

Ему сказали: надо бы одеться. Но он подумал, что в шубке своей будет выглядеть совсем невзрачно, да кажется мороз небольшой. Так и вышел.

И сразу увидел с в о ю толпу — и напугался. Головы и лица, головы и лица, занявшие весь сквер и все обращённые уже сюда, уже терпеливо ожидающие оратора,— да кажется и за решёткой, на улице, стояли и смотрели сюда?

И острым углом сжался в Гиммере, вверху живота, испуг: кажется, такой толпы, такой толпы он не видел никогда в жизни.

А толпа как стояла, так и стояла, движения по ней не прошло, она не поняла, что это и вышел оратор.

А между тем морозец схватил голову, не всю покрытую нашлёпкой волос, холодно.

Кто-то рядом насадил на него большую папаху — налезла на уши, на брови, но стало голове тепло. Защитным движением Гиммер поднял борта и воротник пиджачка.

Но — как начать говорить? Но — как обратить на себя внимание? Сопровождающие — все были выше него, и, кажется, от кого-то из них ожидали речи.

Кто-то крикнул сильно:

— Товарищи! Сейчас с вами будет говорить член Исполнительного Комитета Совета рабочих и...

А у Гиммера — ни звука не шло из горла.

Но близких два солдата уже поняли, что он будет говорить,— и подбросили его к себе на плечи, легко взбросили, одно бедро одному на погон, другое другому.

— Товарищи!

Слабо. Сильней:

— Товарищи!

Что такое? Голос оказался совсем слабый. Он уже вот во всю силу говорил — но это был не его голос, что такое?!

Ещё сильней! Во всю силу!

Опять слабо.

Надо же было прожить целую жизнь и не знать, что у тебя совсем нет голоса! А вот тут, на чужих плечах, над толпой, в первый раз узнать.

Ну, сколько есть. Стал Гиммер говорить. Сами мысли, их последовательность не отказывали ему нисколько: о происшедшем освобождении народа, о революционных лозунгах, о необходимости формирования власти, о переговорах Совета и думского Комитета. Он нисколько не забыл и прослеживал свою мысль, по линии наибольшего сопротивления для масс: что не надо брать власти самим, но передать её цензовикам и даже обязать их минимальной программой. Доводы — не изменили ему, он кажется это всё говорил и не хуже обычного.

Но по выходу голоса он чувствовал, что толпа дальше шестого-восьмого ряда его не слышит. Ещё удивительно терпеливая толпа — никаких признаков раздражения. Так стояли и смотрели все серьёзно.

Но почему так тихо и молча? Как будто столпились рыбы в аквариуме, и звуки оттуда не доносились.

Или — это он был для них как рыба из аквариума?..

Первые ряды, хоть и слышали,— но что они слышали? Доходили до них доводы? убеждали? Только когда, перечисляя министров, он назвал Керенского,— толпа раскрыла рты, стала кричать и аплодировать.

И можно было подумать, что аплодируют Гиммеру.

А ещё покричали ему, будет ли монархия, будет ли династия?

А он и сам к этому не был готов. Он до последнего часа мало задумывался о судьбе династии, второстепенный вопрос.

Но и так ответить было неполитично — и он показал толпе на своё горло, пощупал кадык.

Кое-как слез с плеч и ушёл во дворец, удручённый.

С отвращением от толпы. Этой бессмысленной солдатской толпы. И всякой вообще.

Нет, выступать — не его дело.

335

Приехал!!

И — звал. Опять записка.

Со страхом брала (а вдруг что-нибудь не то?). Но — звал.

Как снова стало светло!

Как благодарить его, что он делает ей так хорошо! Если б не он, её душа так всегда и оставалась бы пустая.

Наизусть уже знала и эту вторую.

Он весь — большое сильное движение. Говорят, какие-то волжские пароходы, степные скакуны, и что-то в Сибири. И сам в сапогах, но не по-военному, а по-походному. Носится по всей России!

В петербургский притеатральный мирок вошёл как из лучших молодых героев Островского, до того действительный, как нельзя воспроизвести на сцене.

Куда входить поклонником ему совсем и не свойственно. А что он здесь предчувствует — это она, маленькая, могла б ему всё и дать.

Пушинкой бы прицепиться к его одежде — и носиться с ним по всем его ветрам! Невесомой, и под его защитой.

Она уже не надеялась — встретить.

Хочется объяснить ему, почему до сих пор у неё была не жизнь.

Тянет к нему раньше срока, ноги с силой отрывая от пола.

Через несколько часов... Нельзя представить себе этой встречи...

336

Итак, по разным властным причинам Председатель Государственной Думы не мог принять государева поручения сформировать и возглавить новое правительство. Да даже и войти в создаваемый кабинет хотя бы членом.

Но от этого Родзянко вовсе не остался без дел и обязанностей. Напротив, если подумать, то его особое положение ещё более возвысилось.

Ибо: кто же будет источником власти этого самого правительства? Кто же передаст ему полномочия народного представительства, если не возглавляемый Родзянко Временный Комитет Государственной Думы? А по сути — Верховный Комитет, так что его Председатель фактически действует как Глава Государства Российского.

Широким чувством своим обнявши все обстоятельства, Родзянко понял, что он и с а м никак не мог бы пойти в правительство, как бы его туда ни звали. Как же так: перейти бы ему в правительство — а кто же будет руководить Государственной Думой? Распущенной на перерыв, лишённой регулярности, с депутатами в рассеяньи, как никогда особенно беззащитной и нуждающейся в руководстве,— кто же будет ею руководить? Как же мог бы Председатель в такую тяжёлую минуту — и покинуть свою Думу? Не этих интриганов, здесь нескольких, а тех остальных — доверчивых и беззащитных? Покинуть само дело свободы?..

И кто же будет наблюдать за новым правительством, для того и *ответственным*, чтоб ему отчитываться перед Думой?

Родзянко — сросся со своей Думой. И с каждым часом ему становилось ясней и ясней: это была вообще ошибочная мысль — переходить на правительство. Он — не мог бы принять правительства.

Он — ни о чём не жалел.

И в этот переходный период, пока правительство не создалось, к кому же обращались и все крупные военачальники, и все, у кого был важный вопрос? Великий князь Николай Николаевич давал телеграммы из Тифлиса — ему. Вице-адмирал Непенин просил послать в Ревель — кого же, как не депутатов Государственной Думы: успокоить население, чтобы жители перестали возбуждать матросов. Бывший морской министр Григорович, не арестованный, прислал из главного морского штаба контр-адмирала Капниста с советами, как удержать порядок во флоте и восстановить его в Кронштадте.

И к Председателю же прибегали за разъяснениями, как понимать изданный рабочим Советом „приказ № 1". И Родзянко всем объявлял: считать недействительным и незаконным.

И — к кому же, как не Председателю Думы, лились телеграммы поддержки, восторга и одобрения от различных уже и провинциальных, не всегда известных и даже неизвестных собраний, учреждений, обществ и ассоциаций? — весьма подбодрительное чтение. Великая страна не знала никакого правительства, никакого совета рабочих депутатов,— а только свою надежду Государственную Думу, у которой вся сила.

И кто должен был быстро найтись, когда по столице пронёсся страшный слух, что немцы крупными силами прорвали Западный фронт? (Поручил Занкевичу проверить у Ставки, к счастью ничего подобного.)

Затем: кто же была та главная фигура, обязанная приветствовать приходящие к Думе воинские части, если не Председатель Думы. Сегодня ко дворцу подошли юнкера Павловского училища (где в прошлые дни были колебания и волнения, за что арестован генерал, а сегодня у них был обыск) и училища Военно-Топографического. Но никого не укоряя за замедление явки, Родзянко горячо призывал продолжать учебные занятия, набираться военных знаний для разгрома ненавистной Германии.

Так весь день провёл Председатель в заботах, делах и обременениях,— некогда было дохнуть. И уже меньше всего был занят составом нового правительства.

Приходили к нему, и несколько раз, полковники из Военной комиссии, докладывая, что хаос в гарнизоне растёт, а твёрдого военного управления нет,— нужна *фигура* во главе.

Что ж, назначить командующего округом — для Председателя самая поплечная задача. Это предложение вдохновляющее: дать взбудораженной столице твёрдую военную власть! Кого? Они высказали, что нужен известный герой, а вот — Корнилов?!

Корнилов? Неплохо. Гучкова ждать не будем, время не терпит.

Генерал Корнилов находится на фронте и командует корпусом. Таким образом, он подчиняется Ставке. Но Верховный Главнокомандующий... стоит теперь перед отречением. А Родзянко в эти часы фактически — Глава Государства.

Итак: просто послать на Юго-Западный фронт приказ Председателя Государственной Думы: доблестному генерал-лейтенанту Корнилову как можно быстрее, в часах, передать 25-й корпус и выехать в столицу для занятия высокого поста.

Но так как телеграмма пойдёт всё равно через Ставку, то надо как-то вежливо сообщить и в Ставку. Тоже не обижать Алексеева зря. Даже можно придать форму как бы Совета со Ставкой или просьбы.

А Государя — обойти фигурой почтительного умолчания.

На всё это потребовалось много ума и тонкости.

Зато уж по самой столице, спеша порадовать жителей, мог Председатель первый объявить о назначении Корнилова и в форме собственного Приказа.

Тут — полковники из Военной комиссии даже не могли ему помочь. Это не были строки рядового сухого воинского приказа, но надо было столько пережить и перечувствовать, сколько помещалось в широкой груди Родзянко.

„Тяжёлое переходное время кончилось. Народ совершил свой гражданский подвиг и свергнул старую власть. Неизбежное замешательство приходит к концу. Граждане страны! А в первую очередь граждане взволнованной столицы!.. Вернуться к спокойной трудовой жизни. Временный Комитет Государственной Думы назначает Главнокомандующим войсками Петрограда и его окрестностей..."

Всё так, всё очень хорошо. Но не хватало какого-то последнего торжественного аккорда. И, потолкавшись по тесным комнатам, Родзянко понял и приписал:

„4 марта назначить парад войскам Петроградского гарнизона..."

Несколько огорчало Председателя, что союзные послы искали сношений не с ним, но с рождаемым правительством. Однако у Родзянко оставалась важнейшая связь — с великим князем Михаилом, которому с часу на час предстояло принять в свои руки Россию. С того вечера, как виделись, великий князь застрял в Петрограде и скрывался на тайной квартире. В решающие часы он нуждался в духовной поддержке!

Сколько мог в тесноте, Родзянко отъединился, чтоб не заглядывали ему в бумагу, и написал его императорскому высочеству для передачи с верным человеком.

... Теперь всё запоздало...

(Как и назначение самого Родзянко, которое ещё месяц назад могло спасти страну.)

... Успокоит страну только отречение от престола в пользу наследника — при вашем регентстве. Прошу вас повлиять, чтоб это совершилось добровольно, и тогда сразу всё успокоится.

Родзянко не очень полагался на Гучкова: Гучков вспыльчив, и враждебен Государю, и может только напортить. Это была плохая мысль — посылать во Псков Гучкова. А у великого князя, конечно, нет сейчас прямой связи с державным братом, но быть может сумеет телеграфировать ему как-то косвенно? или послать записку с оказией? А — утверждался Родзянко окончательно: никакого другого выхода для России как отречение Государя, нет. Расходились волны народные!.. (Да если угрожали растерзать самого Председателя!..)

... Я лично сам вишу на волоске и могу быть каждую минуту арестован и повешен. Не делайте никаких шагов и не показывайтесь нигде!..

Упаси Боже, не растерзали б и великого князя.

... И знайте: вам — не избежать регентства.

Эта тайная близость со вступающим монархом душевно укрепляла Родзянко.

337

Государь отдал своё отречение в чужие руки. Им первым, трём случайным генералам, он открыл и отдал своё намерение, не посоветовавшись ни с единой живой душой.

А душа требовала — поговорить с кем-то же своим. Подкрепиться.

А *своего* — никого, никого не было вокруг.

Да истинно-то своих у него было два-три человека, семья. Но он был от них отрезан.

Нет, тёплый и преданный был один человек — Фредерикс, о котором Аликс уже не один год сердилась, что он выжил из ума и опасно не соответствует своему месту. Но Николай не любил увольнять старых верных слуг и чувствовал к Фредериксу нежность.

Теперь он его позвал. Согбенный древний старик со слезящимся взглядом пришёл тотчас. Да ведь у Федерикса было своё горе: пришло известие из Петрограда, что дом его сожжён, а о семье ничего не известно.

И первое, что Государь спросил: ничего ли нового о семье?

Фредерикс печально покачал преклонной головой.

Ему было разрешено в присутствии Государя сразу садиться — и он сел.

И Государь медленными фразами, с перерывами, ещё сам как о новом и может быть даже не свершившемся? — стал ему объяснять.

Что — вот так... Что — если армия тоже за это... Все — отступились. Другого выхода не было.

Жёлто-седой старик с усами, всё ещё расторченными, следил потухшим взглядом — и вдруг глаза присветились, голова затряслась сильней, губы зашевелились, и вышел хрип:

— Я не верю, Ваше Величество.

Николай растерялся:

— Но это так, граф, увы.

Голова Фредерикса тряслась в виде отказа, как бы он отрицал:

— Нет. Не ожидал. Что доживу до такого ужасного конца...

Николай почувствовал как обвал в груди: что он, правда, наделал?!

А голова Фредерикса тряслась теперь утвердительно:

— Зачем я ещё жив? Вот что значит пережить самого себя.

А ещё же теперь судьба наследника, совсем уже непонятная. Николай почувствовал слёзы в глазах и не мог говорить.

Неужели Господь покинул... ? Тогда нечего и сопротивляться. А отдаться воле Божьей.

Но тут доложили, что генерал Рузский снова просит его принять. И Государь привёл глаза в порядок.

Что такое?

Тот же нервно-механический генерал вошёл, со своим ровным четырёхугольным бобриком седо-белых волос и проволочными очками.

Вот какая новость: пришла телеграмма из Петрограда, что во Псков к Его Величеству выезжают делегатами члены Государственной Думы Гучков и Шульгин. (Гучков — не член был Думы, но сейчас никто не заметил этой разницы, естественно он был из той компании.)

Так вот Рузский вернулся из своего вагона. Он ещё не успел отправить царские телеграммы — и отправлять ли теперь в Петроград, если оттуда едут?

Сердце Государя крупно забилось радостью. Он снова поднимался из колодца: лишь сейчас почувствовал, сколько он уже успел отдать! Едут? Ехать могут — только на переговоры. Значит, какие-то изменения в Петрограде к лучшему. Ещё может быть и не придётся столько уступать!

(И даже то, что едет именно Гучков, не легло в эту минуту камнем. Гучков, разгласивший в газету интимные высказывания Государя, Гучков, которому Государь через Поливанова передавал, что он — подлец, которого *не узнал* на прощальном приёме 3-й Думы,— сейчас, едущий с доброй вестью, как-то смягчался и отчасти прощался.)

— Совершенно верно рассудили, Николай Владимирович,— обрадованно отвечал Государь.— Теперь зачем же посылать? Подождём.— И, хотя это было вполне естественно и законное право его, а сказал со стеснительностью: — Тогда пожалуйста... телеграммы мои верните...

Рузский полез в тот же боковой карман кителя, куда он положил телеграммы, вынул — и вернул.

Но! — это была одна только телеграмма. Государь развернул: в Ставку. А второй, к Родзянке, не было.

Но они же были вместе у него в одном кармане, и даже кажется, в одном сгибе,— а теперь второй не было?

— Вы... ошиблись, Николай Владимирович. Мне нужно и вторую, пожалуйста...— Но тут подумал, что это могло быть не случайностью, и голос его опал в застенчивость. Государь всегда терзался, когда бывало похоже, что собеседник может совершить бестактность. Неужели Рузский нарочно разложил по двум карманам, чтобы не ошибиться, вытягивая?

Но чтобы разговаривать с думцами, Государю нужно было именно родзянковскую назад.

Рузский вскинулся твердовато, выставил кругляшки очков:

— Ваше Величество, я чувствую — вы мне не доверяете!

Государь пришёл в ещё большее смущение.

Да главным образом — за Рузского:

— Нет, почему же... Что вы... Вполне доверяю... Но просто...

Начать перекоряться со своим генералом — была бы потеря достоинства.

— Вы можете быть спокойны,— твёрдо чеканил Рузский.— Я не отошлю её до приезда депутатов.

И — не шевелился. Не отдавал второй.

Они оба стояли, а беззвучный и быть может ничего не понимающий Фредерикс сидел на стуле.

Из-за страшной неловкости, которая создалась, настаивать было неудобно.

И даже когда Рузский сказал с монотонной несомненностью:

— Если вы разрешите, Ваше Величество, я приму депутатов первый и подготовлю их к беседе? — Государь тоже не сообразил, не возразил.

Рузский откозырял и ушёл в свой вагон.

И уже в спину ему Государь думал: а зачем же ему принимать депутатов первому?

Царапало, что вторая телеграмма так и осталась у Рузского. Залогом.

Ну, впрочем: какая разница, у кого осталась. Важно, что не отправлена.

Назначили Гучкова нарочно? — чтоб оскорбить, напомнить?

А с другой стороны — с ним Шульгин, давний и лояльный монархист. Это хороший знак.

Значит, ждать.

Отпустил Фредерикса.

Потекло время.

Решиться на сдачу — принесло большое облегчение в тот первый момент.

Но теперь жить с этой сдачей — была тяжесть.

Впрочем, может быть, и не придётся отрекаться.

Тем временем от Фредерикса вся свита уже узнала — и пришёл, с белоснежными флигель-адъютантскими аксельбантами, очень взволнованный Воейков, выкатив глаза:

— Ваше Величество! Неужели верно то, что говорит граф??

И напористо, по-военному, стал доказывать — от своего имени и, как сказал, ото всей встревоженной свиты: что Государь не имеет права отказываться от престола только по желанию думского комитета да главнокомандующих фронтами. Просто вот так — в вагоне, на случайной станции, отречься — перед кем? почему?!

— Но что же мне оставалось делать? — упавшим, ослабленным голосом ответил Государь, всё более подозревая у себя тяжкий промах.— Когда все оказались заодно? Если так хотят все главнокомандующие — значит, армия... А иначе будет междуусобица.

С обычным жарким напором и сильным голосом Воейков доказывал, что как раз наоборот: именно отречение и вызовет междуусобицу, может погубить войну и Россию. Форма правления страны может меняться при законном всеобщем обсуждении, а не так!

Зацарапало сердце всё сильней: ах, он прав! Упустил? Ошибся? Сделал не то?.. Ай-ай-ай... но во всяком случае:

— Вот, приедут представители Думы и обсудим...

— Но вы у него оставили какую-то телеграмму? документ? Как это можно?! — сердился Воейков, белки его глаз сверкали.

— Ну что ж такого,— слабо возражал Государь.— Ведь он не отправит.

Тёмный, гневный, едва не взрываясь, Воейков ушёл.

Очень тягостно было одиночество в вагоне, и решительно ничем не заняться. Уж скорей бы приезжали депутаты, что ж не едут?

Тут притащился Фредерикс и слабым больным голосом передал ото всей свиты, что все волнуются и просят Государя отобрать у Рузского телеграмму: это какая-то интрига, он её пошлёт и совершит отречение обманом.

Да нет, теперь неудобно просить. Да нет, не пошлёт. Да вот — и представители скоро приедут.

Но когда вышел Государь в столовую к пятичасовому чаю — и присутствовала вся свита сразу, и только она, никого чужого, и Государь ловил небывало тревожные взгляды,— никто из них не смел, однако, вслух задать вопрос или посоветовать. Прорвать традиционное молчание мог только Государь — и все сердца ждали этого. Но — так это было необычно, неприлично,— да и что они могли бы посоветовать? что они знали больше Государя?

Да ведь и лакеи ходили кругом, нося от буфетной чай.

И стараясь держаться как можно обычнее, Государь произносил всякие пустяки. И ему отвечали тем же. И потом тянулись долгие беспридумные паузы.

И чай кончился — а депутаты всё не ехали. Сообщилось, что они опаздывают.

Уже близко было к сумеркам — Государь решил ещё погулять по платформе. И позвал с собою врача, профессора Фёдорова.

Расхаживал Государь мерно, сдержанно, как если бы ничто не изменилось, иногда улыбался или кивал, кого ещё не видел сегодня.

Была оттепель, и с крыш станционных построек капало.

Так как теперь всё ложилось на плечи Алексея, то росла забота Государя: как же мальчик справится с этим? И он позвал профессора Фёдорова на беседу — как ни странно, первую откровенную между ними. Всегда почему-то не называлась полностью вся опасность и не задавался вопрос до конца: и — страшно узнать, и — зачем узнавать, когда было предсказание Григория, что в 14 лет мальчик перестанет страдать, а 14 лет исполнялось летом 1918, уже близко.

— В другое время, доктор, я не задал бы вам подобного вопроса, но наступил очень серьёзный момент, и я прошу вас ответить с полной откровенностью. Будет ли мой сын жить, как все живут? И сможет ли он царствовать?

И Фёдоров ответил напрямоту:

— Ваше Императорское Величество! Я должен вам признаться: по науке, Его Императорское Высочество не должен дожить и до 16 лет.

Холодными клещами схватило государево сердце. Приговор был — без уклона и без пощады. Как? Значит все эти долгие бережения, надежды, 13 лет вытягивания наследника к престолу,— и всё было в пустоту?

— Но медицина может ошибаться!

— Конечно может, Ваше Величество. И пошли Бог. Доживают и до более высокого возраста, но предостерегаясь от самых незначительных случайностей. Однако: излечение наследника было бы чудом. Продлить его жизнь можно только крайней предосторожностью.

Но если несчастному мальчику осталось жить так мало — то: зачем переносить ему эту горечь короны? И чтобы вот так же от него потом отступились?..

Слова Фёдорова во всяком случае подтверждали государево решение: хотя и наследуя корону, мальчик должен остаться при родителях. Тем более что *их* замысел может как раз и состоять в том, чтобы оторвать Алексея от матери. Но на это не согласятся ни мать, ни отец! И диагноз Фёдорова как раз и давал право не отпускать мальчика от себя.

Но когда он высказал Фёдорову это решение — тот изумился:

— Неужели, Ваше Величество, вы полагаете, что Алексея Николаевича оставят подле вас и после отречения?

— А отчего же нет? Он — ребёнок, и пока не станет взрослым... Пока регентом будет Михаил Александрович...

— Нет, Ваше Величество. Это никогда не будет возможно. И надеяться вам на это совершенно нельзя.

— Но именно при таком состоянии здоровья — как же я могу его отпустить? Раз так — вот я и буду иметь право оставить его при себе!

И врач должен был объяснять монарху!

— Монархические соображения как раз и не допустят этого. Чтобы на волю наследника не было влияний... Скорей согласятся поместить его в семье регента...

В незаконной семье? У авантюристки Брасовой? Аликс никогда этого не допустит!

— Но родителям нигде не воспрещают заботиться о детях!

— А как вы предполагаете, Ваше Величество, где вы сами будете жить?

— Ну, например в Крыму.

— Я — не уверен, что вам разрешат остаться жить в России.

— Как? Даже в качестве простого обывателя? Неужели я буду интриговать? Буду жить около Алексея — и его воспитывать!

Совсем удивительно! В этом-то Государь никак не сомневался!

— А если и в России не разрешат — то тем более, как же можно расстаться с сыном? Тем более: если он не может быть полезен для отечества — мы имеем право оставить его у себя!

Расстаться с сыном — было ещё куда тяжелей, чем отказаться от власти. Расстаться с Алексеем — это свыше сил! Этого — никто не может требовать от отца! И как же можно отдать его игрушкой в руки этих безнравственных политиков? Какими извращёнными понятиями они будут его напитывать! Как можно отдать не только его, но его душу!

Да ведь и в телеграмме как написано: с тем, чтобы остался при нас до совершеннолетия. А иначе — и не действительно!

Государь вернулся с прогулки обескураженный. Он никак не предвидел такого оборота. Он совсем теперь не понимал, что делать.

Ещё и так подумать: заберут Алексея — и его именем будут проводить свою гнусную всю политику?

Противно.

Совсем не отдавать им трона?

Тогда уж лучше не отдавать!

Снова пришёл Воейков от свиты, очень твёрд: все настаивают — забрать у Рузского телеграмму!

А что, и правда, она теперь потеряла смысл. Её нельзя осуществлять. Её надо забрать.

Согласился Государь: пойдите и заберите.

Но Воейкову — нельзя, уже ругались с Рузским и ещё поругаются.

Тогда пойдёт граф Нарышкин.

И что же теперь оставалось делать с троном?

Если не Алексею — тогда брату Михаилу?..

Конечно, Миша к нему совсем не готов. Но ведь если регентом — не то ли самое?

Да три дня назад по телеграфу брался же он давать государственные советы.

Нарышкин сходил — и вернулся ни с чем: Рузский — не отдал и свитскому генералу! Ответил, что даст личные объяснения Государю.

Но вот — не шёл никак объяснять.

И вся власть Государя вдруг оказалась пресеченной: он и не мог заставить!

Ну, да всё равно, та телеграмма уже теперь не имела значения. При депутатах можно будет изменить.

А они всё не ехали.

Пришёл из Петрограда пассажирский поезд, но не их. Свитские говорили: ужасный вид. На шинелях даже офицеров и юнкеров нацеплены красные банты. И все без оружия. В Петрограде — офицеров избивают, оружие отнимают.

338

Много, много было расстройств за эту зиму. То — слух, что Швейцария на днях втянется в войну, жутковато, и быстрые расчёты: самим остаться в полосе немецкой оккупации, а Инесса пусть едет в Женеву, её там захватит Франция — и так мы улучшим связь с Россией. То отлегло: не будет войны. То Надя болела — бронхит, жар, бегал за врачом, и в библиотеку не попадёшь.

Однако, не складывать же бездеятельно руки. А что если прямо самим, безо всяких швейцарцев,— да взбунтовать швейцарскую армию? И вырос такой замысел: написать листовку („разожжём революционную пропаганду в армии! превратим опостылевший гражданский мир в революционные классовые действия!"),— но в абсолютной скрытости (за это можно сильно пострадать, из Швейцарии выпрут),— а подписаться „швейцарская группа циммервальдских левых" (пусть думают на кого из них, хоть на Платтена) — и распространять стороной, как бы не от себя. Инесса быстро переведёт на французский. Только абсолютно секретно, сжигая черняки. (А почта писем не проверяет, убедились.)

Стали делать. Но отсюда новый замысел: а не составить ли опять-таки нам самим, а подписать от других, такую листовку: поднять в е с ь е в р о п е й с к и й п р о л е т а р и а т на всеобщую стачку 1 мая? Отчего бы нет? Неужели пролетариат не отзовётся? А в разгар войны — какая это была бы

силища! Какая демонстрация! А от стачки, смотришь, сами собой начнутся и массовые революционные действия?! Одна хорошая листовка — и поднята вся Европа, а?! Только надо спешить, до 1 мая не так много времени,— скорей переводить на французский, скорей издавать, скорей рассылать. (И — совершенно конспиративно!)

Но не успела всеевропейская стачка хорошо обдуматься, только ещё готовили переводы листовки,— пришло внезапное письмо от Коллонтайши, вернувшейся из Америки в Скандинавию. И к пороху — новый огонь: оказывается — р а с к о л на съезде шведской партии!

Какая внезапная удача! Да как же было забыть своих верных циммервальдских соратников? И какие же там у шведов в головах сейчас, наверно, разброд и путаница дьявольские!

Как же бы повлиять? Как помочь? Осветилось: так вот она где задача ожидаемая, самая важная и благородная: не в Швейцарии надо революцию делать, а в Швеции! О т т у д а начинать!

Дальше писала Коллонтай: решили шведские молодые собрать 12 мая съезд для основания *новой* партии „на циммервальдских принципах". Ах, юнцы-птенцы, искренние и неопытные, да кто ж вам разъяснит: п р е д а н ы принципы Циммервальда-Кинталя! преданы, в болоте потоплены почти всеми партиями Европы! у м е р Циммервальд, умер и обанкрутился! Но вы — искренни и чисты, и во что бы то ни стало ещё д о съезда нужно вам помочь разобраться в пошлости каутскианства, в гнусности циммервальдского большинства. (Ах, что ж н не с вами там?!..) Пришла пора обрезать когти Брантингу! Надо немедленно послать вам на помощь мои тезисы! Морально и политически мы все ответственны за вас. Решительный момент в скандинавском рабочем движении!

И весь тот временный пессимизм и ту опущенность рук, какие овладели после неудач с дрянными бесхарактерными безнадёжными швейцарскими левыми,— перехлестнуло теперь радостным нетерпением п о д ж е ч ь Е в р о п у с с е в е р а!!! А сроки остались короткие, а дел — уйма, а переписка через Германию идёт с затруднениями. Но — энергичная, деятельная, осмысленная борьба! Возродилась жизнь! Новым смыслом осветились сумрачные своды цюрихских церковных читальных залов, газетные кипы и шершавые брошюрки в Централылтелле: к 1 мая — листовку! к 12 мая — тезисы и спеться! Все силы — на европейскую стачку и на шведский раскол! Только над молодёжью и стоит работать! *Нам* уже никогда ничего не сделать и не увидеть. Но им ещё взойдёт багровое солнце революции!

2-го марта кончал дома обедать, вдруг стук. Бронский. Что-то не вовремя. (В этой неудаче с левыми так много было на Бронского ставлено, и эти выборы-невыборы, что видеть Бронского сейчас было мало приятно. А к новым проектам его ещё не приспособили.) Вошёл — и не садясь, в своей вялой манере, как он всегда, меланхолически немножко:

— Вы ничего не знаете?

— А что?

— Да в России — революция... будто бы... Пишут...

Ещё манера у него — никогда голоса не повысить, растяжка эта, как от неуверенности,— поднял Ильич глаза от тарелки с варёной говядиной, суп уже доел, посмотрел на тихого Бронского — не больше было впечатления, чем сказал бы он, что килограмм мяса подешевел на 5 раппенов. В России? революция?

— Чушь какая. Откуда это известно?

Ел дальше, резал кусок поперёк, чтоб и мясо и жир. Откуда, ни с того ни с сего? Такое ляпнут. Макал куски в горчицу на отвале тарелки. Ещё неприятно, когда сбивают еду, не дадут спокойно.

А Бронский стоял, не снимая пальто, и шляпу мокроватую фетровую, которую очень берёг,— мял. Это для него уже было большое волнение.

И Надя, по бокам своего серо-клетчатого платья провела руками, как вытирая:

— Что это? В каких газетах? Где вы читали?

— Телеграммы. Из немецких.

— Ну! Немецкие да про Россию! Врут.

Доедал спокойно.

О России в европейских газетах писали скудно и всегда переврано. Не имея своих верных сведений, с трудом надо было оттуда истину отделять. А письма из России почти не приходили. Вот промелькнуло двое свежих русских, бежавших из немецкого плена,— бегал на них посмотреть, поговорить, интересно. Приходилось Россию поминать в докладах, но не больше, чем Парижскую Коммуну, которой давно уже не было на свете.

— И как же именно там сказано?

Бронский пытался повторить. И по обычному свойству большинства людей — а профессиональному революционеру стыдно! — не мог повторить не только точных выражений, но и точного смысла.

— В Петербурге — народные волнения... толпы... полиция... Революция... победила...

— А в чём именно победа?

— ...Министры... в отставку ушли, не помню...

— Да вы ж сами читали? А — царь?

— Про царя — ничего...

— Про царя — ничего? А в чём же победа?

Чушь какая. Может, Бронский и не виноват, а само сообщение такое неопределённое.

Надя перебирала в рубчики на груди заношенное платье, ещё заношенней от малого света в комнате — на улице моросил дождь с утра:

— А всё-таки — что-то есть, Володя? Откуда?

Откуда! Обычная буржуазная газетная утка, раздувание малейшего неуспеха у противника, сколько раз за эту войну всё вот так раздувалось.

— Разве о революциях — так узнают? Вспомни Женеву, Луначарских.

Шли январским вечером с Надей по улице — навстречу Луначарские, радостные, сияющие: „Вчера, девятого, в Петербурге стреляли в толпу! Много убитых!!" Как забыть его, ликующий вечер русской эмиграции! — помчались в русский ресторан, все собирались туда, сидели возбуждённые, пели, сколько сил добавилось, как все сразу оживились... Длинный Троцкий, ещё вытянув руки, носился с тостами, всех поздравлял, говорил, что едет немедленно. (И поехал.)

— Ладно, чаю давай.

Или — не пить?

Идти опять в читальню и продолжать регулярную работу — кажется, тоже не получится: что-то всё-таки зацепилось, мешает. Надо бы выяснить. Какая-то помеха всем планам.

Но газеты с сегодняшними телеграммами будут в читальнях только завтра. А на Бель-Вю в окне „Neue Zürcher Zeitung" вывешиваются экстренные.

Ладно, сходим.

Надя ещё мало выходила после февральского недавнего бронхита и осталась дома. А Ильич натянул тяжёлое старое подчиненное пальто, насадил старый котелок как на болванку,— пошли.

„Здесь жил поэт Георг Бюхнер..." — на соседнем доме. Сырым узким переулком, где рыхлый намоклый снег ещё не вытаивал у стен,— быстро пошли под гору. Сокращая переулками и туда ближе к Бель-Вю.

По швейцарской манере все ходили с зонтиками, еле разминаясь в переулках, чуть не выкалывая друг другу глаза. Но Ленин не любил его таскать: когда пригодится, а когда нет. Да и старое всё на себе, не жалко. Шёл и Бронский так.

В витринах нашлось примерно, как говорил Бронский. Только министры будто бы арестованы. Арестованы?.. И ещё: у власти — члены Думы. А — царь? Ни слова о царе. Так ясно тогда, что царь — на свободе, с войсками, и сейчас задаст им баню.

Если вообще это всё не брехня.

Да нет, такое невозможно в сегодняшней России.

И у витрины не толпились, кроме них двоих и не было никого.

Мелкий дождь моросил на площадь, на озеро. Равномерно было заволочено

всё над озером, и в молочно-сизой пелене Ютлиберг по ту сторону. Ехали извозчики с тёмными верхами, равномерно шли зонтики тёмные. Какая там революция!..

А всё-таки бы выяснить до конца.

Пошли на Хайм-плац в газетный киоск, может быть что-нибудь попадётся. Газет Ленин никогда не покупал, но для такого случая можно было, из партийной кассы.

Однако простодушный киоскёр признался, что ни в одной ничего такого нет,— и ни одной не купили.

Оборвать этот вздор, идти в читальню и работать. А Бронский расслабился, потерялся и готов был, кажется, теперь не отставать, таскаться по улицам или ждать под дождём у витрины следующих телеграмм,— размывчивость людей без направления. Отчитал его — и расстался. И опять, опять, тысячу раз пройденными переулками, не замечая ни домов, ни витрин, ни людей,— пошёл к кантональной читальне.

Но перед самыми стрельчатыми окнами — замялся.

Что-то не пускало. Как будто должен был в двери застрять. Как будто разбухло что-то внутри за эти полчаса — и не пускало.

Между тем дождь прекратился.

Постоял, сердясь. Конечно, мог себя заставить, и мог бы до вечера высидеть, а... Прямая ясная работа звала — для шведов, а... Отвлекало вот, некстати. И выписки — „марксизм о государстве"... А не шлось.

Напротив, вывернулась чужая, несвойственная, даже преступная мысль: пойти в русскую читальню. Гнездо эсеров, анархистов, меньшевиков и всякого просто русского сброда. Как гнездо змей, старался его миновать всегда, не ходить на Кульманштрассе, не дышать этим воздухом, никого не встречать, не видеть. А сейчас подумал: ведь там, наверно, собрались, собираются... Знают, не знают, а — говорят, поговорят. Что-то можно услышать. Своего не сказать, а — что-то выведать.

И — нарушая все свои правила, но потягиваемый в это отвратительное место — пошёл.

Кульманштрассе была совсем не рядом, надо было заметно взять вверх по горе. Пошёл.

Действительно, в небольшую натопленную комнату набилось уже человек двадцать с холодной сырости и в сырой одежде, кто сидел, кто и не думал присесть,— но никто не молчал, все сразу говорили, гудели, галдели, и общий рокот как волнами бил по комнате. Ну, ещё бы! — российская любовь излить душу.

Только в одном ошибся: думал — на него вскинутся, удивятся, встретят враждебно,— нет. Кто заметил его приход, кто не заметил, но все восприняли так естественно, будто он был здесь привычный гость.

Ленин ответил кому-то (так, что и не ответил). Прямо ни у кого ничего не спросил. Сел на край скамьи в углу комнаты, снял котелок. И сидел слушал, как он один умел: то подозреваемое выбирая, чего другие и не слышали.

Оказывается, никто не знал больше всё тех же телеграмм, только вот: „после трёх дней борьбы" победила, после трёх дней,— кто-то принёс. В этом был какой-то признак достоверности, да,— и ахали, и уж совсем не сомневались. Не счёл Ленин нужным вслух возразить: что ж тогда эти три дня ничего не сообщали? В общем, никто не знал больше телеграмм, но множеством слов заливали всё возможное пространство вокруг этих сведений.

Один (никогда его не видел), с оттянутым сбитым галстуком, подбегал к тому, к другому, хлопал руками как петух крыльями, и не договорив и неразборчиво — дальше. А одна, высокая, только знала-нюхала букетик снежных колокольчиков: кто что ей ни скажет — а она только качалась изумлённо и нюхала.

Презрение ощущал Ленин к этим разглагольствованиям будто бы революционеров, как они звонко рассуждали о *свободе и революции*, нисколько не охватывая всех шахматных возможностей, при каких эти события умеют идти, и какие враги и как ловко умеют их перехватывать на ходу и даже при начале. Рассуждали как о всеобщем празднике, будто уже всё произошло и случилось

(а ч т о случилось? а что н а д о, чтобы случилось? — кто из них понимал?). Но что делает царь? и какая контрреволюционная армия идёт на Петербург? и как уже наверно трусит Дума и спешит сговориться с реакцией? и как ещё слабы и не организованы пролетарские силы? — об этом не думали, этих ответов и не искали. А вдруг все, как будто помирясь и забывши межпартийные разногласия, эти оживлённые дамы с лентами вокруг шляпок, несли друг другу какую-то радостную околесицу, и вот, за час-за два уже перестав ощущать себя вынужденными жителями Швейцарии, но — „едино русскими", строили едино российские и беспочвенно российские догадки, как теперь всем вместе добираться скорей в Россию.

Н-ну!..

С этими амикошонскими ухватками и маниловскими проектами совались и к Ленину, подсаживались, одни — зная, кто он, другие — не зная, тут была и не политическая публика. Смотрел он сощурясь на этих рукомахальщиков, пьяных без вина, на этих дам щебечущих,— никому не ответил резко, но и ничего не ответил.

Они вот что придумывали: всем эмигрантам теперь объединиться без различия партий (мелкобуржуазные головы, набитые трухой!) и создать общешвейцарский русский эмигрантский комитет для возвращения на родину. И... и... и как-то возвращаться, но к а к — никто не знал, а предлагали всякое. И даже сегодня на вечер уже созывали подготовительную комиссию!

Возвращаться, когда неизвестно, что там делается. Может быть, уже у всех стен расстреливают революционеров.

Снаружи добавлялось ещё людей, но — не идей. И все друг у друга опять проверяли новости — и опять же никто не знал больше ни слова. И от пустопорожней их болтовни Ленин вышел так же малозаметно, как и вошёл.

На улице не только не было дождя, но посветлело, облака сильно поредели. Подсыхало, а холодно — так же.

Пошли ноги быстро вниз, в сторону библиотеки и домой.

Правильно было — пойти бы домой.

Вообще теперь неизвестно, куда было идти.

Остановился.

Лишь два часа назад, к обеду, так было всё ясно: раскалывать шведскую партию и что для этого надо читать, писать и делать. Но вот пришло со стороны недостоверное, невероятное и ненужное событие и как будто даже не задело, не столкнуло,— а вот уже сталкивало. Уже отвлекало силы и ломало распорядок.

И вернуться в библиотеку — оказалось нельзя.

И домой не хотелось. Как-то стало с Надей за последний год скучно всё обговаривать: растяжно и важно она произносит в ответ уж такое ясное, что и произносить не надо. Никаким откликом свежим, оригинальным, не мог он себя на ней поправить.

А потягивали ноги на то, чтобы походить.

Но — и не по улицам, надоели, видеть невозможно. А не подняться ли на Цюрихберг, уж вот рядом?

Чуть ветер поддувал — холодный, но не сильный. Дождя не только не будет, но ещё светлело, вот-вот и разорвёт.

В пальто, почти просохшем в читальне, Ленин пошёл теперь круто вверх. В горах и ноги разряжаются и мысли устанавливаются, что-то можно понять.

Чем круче, короче переулок — тем быстрее туда, наверх. Ноги были сильны, как молодые. Спешили мальчишки туда же, с заспинными ранцами, с послеобеденных занятий,— Ильич от них не отставал. И задышки не было, и сердце выстукивало здорóво.

Всё бы так. Но — голова... Но голову носил Ленин как драгоценное и больное. Аппарат для мгновенного принятия безошибочных решений, для нахождения разительных аргументов,— аппарат этот низкой мстительностью природы был болезненно и как-то, как будто, разветвлённо поражён, всё в новых местах отзываясь. Вероятно, как прорастает плесень в массивном куске живого — хлеба, мяса, гриба,— налётом зеленоватой плёнки и ниточками, уходящими в глубину: как будто и всё ещё цело и всё уже затронуто, невыскребаемо, и когда болит голова, то не всю ощущаешь её больную, но такими отдельными поверхностями и ниточками. Можно думать так: болит, как у всех, выпить порошок, боль пройдёт. Но если подумаешь иногда иначе — что болит особенным образом, невозвратимо, что порошок — только обман на несколько часов, а *там* прорастает глубже ниточками, то стискивает ужас: вырваться невозможно! От этой головы отделаться — некуда. Всё в мире ждёт твоих оценок и решений! всё в мире можно направить твоею волей! — а сам ты уже стиснут, и вырваться — невозможно!

Здоровое сердце, лёгкие, печень, желудок, руки, ноги, зубы, глаза, уши,— перечисляй и гордись. Но перед природой, как перед неумолимым зорким экзаменатором, ты что-то пропустил в перечислении, да всего не перечислить,— а болезнь уже заметила пропуск и тайными лазейками разрушения поползла, поползла. А достаточно всего одной червоточины, чтобы развалить всю статую здоровья.

И этим ослаблялось сожаление об их размолвках, недоумениях — всё почему-то непоправимей, когда усиливаешься сблизить. За год — можно и отвыкнуть. Она — нужна была ему. Нужна. Но — так ли нужен ей он?

Из такой близи не приехать за год!?

Да, конечно. С кем-то...

Но полумёртвым примирением окутывало.

От кантонального госпиталя он поднимался нагорной частью, витыми подъёмами, где швейцарские бюргеры побогаче, карабкаясь над городом, ближе к лесу и небу, с обзором на озёрные дали, выстраивали себе особняки, маленькие дворцы буржуа. Каждый придумывал, как украситься,— кто фигурной кладкой, кто изразцовыми плитами, кто шпилем, кто воротами, верандой, каретной, фонтаном или назвать „Горной розой", „Гордевией", „Нисеттой". И подымались дымки из труб — конечно, камины топили для уюта.

Это устроение своей красоты и удобств, отгороженное заборами, решётками, нотариальными актами и удобными швейцарскими законами, повыше, отделясь от массы,— отдавалось в груди взбурливающим раздражением. О, как бы лихо привалить сюда снизу толпой, да погромить эти калитки, окна, двери, цветники — камнями, палками, каблуками, прикладами винтовок,— что может быть веселей? Неужели настолько погрязла, опустилась масса обездоленных, что уже никогда не поднимется на бунт? не вспомнит пылающих слов Марата: *человек имеет право вырвать у другого не только излишек, но необходимое. Чтоб не погибать самому, он имеет право зарезать другого и пожрать его трепещущее тело!*

Вот это славное якобинское мироощущение никак не проснется в пролетариате лакейской республики, потому что падают куски со стола господ, подкармливают. И паутиной опутывают его гриммовские оппортунисты.

А — в Швеции?

А — что теперь в России?..

В России многое могло бы быть, да некому направить. Уж наверно сегодня там и проиграно всё, и топят в крови — но из телеграмм узнается только послезавтра.

Не потому, что на гору выше, а потому что прояснивалось — становилось всё светлей. Под ногами уже сухи были чистые, никогда не в пыли, не в грязи гладкие вбитые камешки тротуаров и мостовых. От колеса проехавшего экипажа если и брызнет из лужи, то — чистой водой. На улицах горного склона — много деревьев, а выше — гуще, а выше — лес.

Тут уже и просто гуляли, не по делу шли. Одна, другая прошла буржуазная чинная медленная пара, с собранными зонтиками и с собачками на ремешках. Потом — две старых дамы, самодовольно-громко разговаривая. Еще кто-то. Наслаждались своими кварталами. Тут — разрежение было от прохожих и разрежение ото всей жизни.

Уже под самым лесом одна улица шла ровно по горе, не спускаясь, не подымаясь. Она выходила на смотровую площадку, огороженную решёткой, и отсюда положено было, впрочем через ветки деревьев изнизу, любоваться дальним видом озёрной губы и всем городом в сизой дымке низины — шпиля-

ми, трубами, синими двойными трамваями, когда они переходили мосты. И сюда же всплывал от однообразно серых церквей опять этот механический металлический холодный звон.

И — бульварчик тут был, под большими деревьями, гравийный, со скамейками, а всего-то в десять шагов, всего и ведший к одной единственной могиле, для неё и устроенный. Когда бывали с Надей на большом овальном Цюрихберге, то поднимались с других улиц и в другие места, а сюда не забраживали. Подошёл теперь к этой могиле на высоком обзорном месте.

Высотой от земли по грудь стояло надгробье из неровного, корявого серого камня, а на вделанной в камень металлической гладкой плите было выбито: „Георг Бюхнер. Умер в Цюрихе с неоконченной поэмой *Смерть Дантона...*"

Даже не сразу понялось: откуда-то известное имя это, Георг Бюхнер?.. Но все известные ему были — социал-демократы, политические деятели. А — поэт?..

Кольнуло: да — *сосед.* Жил — Шпигельгассе, 12, рядом, стена к стене, три шага от двери до двери. Эмигрант. Жил — по соседству. И умер. С неоконченной „Смертью Дантона".

Чертовщина какая-то. Дантон — оппортунист, Дантон — не Марат, Дантона не жалко, но не в нём и дело, а вот — сосед лежит. Тоже, наверно, рвался вернуться из этой проклятой сжатой узкой страны. А умер — в Цюрихе. В кантон-шпитале, а может быть — и на Шпигельгассе. Не написано, отчего умер, может быть вот так же болела голова, болела...

Что, правда, делать с головой? Со сном? с нервами?

И что вообще будет дальше? Не может одного человека хватить на борьбу против всех, на исправление, на направление — всех.

Скребущая какая-то встреча.

Весь Цюрих, наверно четверть миллиона людей, здешних и изо всей Европы, там внизу густились, работали, заключали сделки, меняли валюту, продавали, покупали, ели в ресторанах, заседали на собраниях, шли и ехали по улицам,— и всё в разные стороны, у всех несобранные, ненаправленные мысли. А он — тут стоял на горе и знал, как умел бы он их всех направить, объединить их волю.

Но власти такой не было у него. Он мог тут стоять над Цюрихом или лежать тут в могиле,— изменить Цюриха он не мог. Второй год он тут жил, и все усилия зря, ничего не сделано.

Три недели назад ликовал этот город на своём дурацком карнавале: пёрли оркестры в шутовских одеждах, отряды усердных барабанщиков, пронзительных трубачей, то фигуры на ходулях, то с паклевыми волосами в метр, горбоносые ведьмы и бедуины на верблюдах, катили на колёсах карусели, магазины, мёртвых великанов, пушки, те стреляли гарью, трубы выплёвывали конфетти,— сколько засидевшихся бездельников к тому готовились, шили костюмы, репетировали, сколько сытых сил не пожалели, освобождённых от войны! — половину бы тех сил да двинуть на всеобщую забастовку!

А через месяц, уже после Пасхи, будет праздник прощания с зимой, тут праздников не пересчитать,— ещё одно шествие уже без масок и грима, парад ремесленного Цюриха, как и в прошлом был году: преувеличенные мешки с преувеличенным зерном, преувеличенные верстаки, переплётные станки, точильные круги, утюги, на тележке кузня под черепичной крышей, и на ходу раздувают горн и куют; молотки, топоры, вилы, цепа (неприятное воспоминание, как когда-то в Алакаевке заставляла мама стать сельским хозяином, отвращение от этих вил и цепов); вёсла через плечо, рыбы на палках, сапоги на знамёнах, дети с печёными хлебами и кренделями,— да можно б и похвастаться этим всем трудом, если б это не выродилось в буржуазность и не заявляло б так настойчиво о своём консерватизме, если б это не было цепляние за прошлое, которое надо начисто разрушать. Если б за ремесленниками в кожаных фартуках не ехали бы всадники в красных, белых, голубых и серебряных камзолах, в лиловых фраках и всех цветов треуголках, не шагали бы какие-то колонны стариков — в старинных сюртуках и с красными зонтиками, учёные судьи с преувеличенными золотыми медалями, наконец и маркизы-графини в бархатных платьях да белых париках,— не хватило на них

гильотины Великой Французской! И опять сотни трубачей и десятки оркестров, и духовые верхом, всадники в шлемах и кольчугах, алебардисты и пехота наполеоновского времени, их последней войны,— до чего ж резвы они играть в войну, когда не надо шагать на убойную, а предатели социал-патриоты не зовут их обернуться и начать гражданскую!

Да и что за рабочий класс у них? Бернская квартирная хозяйка, гладильщица, пролетарка, узнала, что они мать в крематории сожгли, не хоронили, не христиане,— выгнала с квартиры. Другая только за то, что они днём электричество зажгли, Шкловским показать, как ярко горит,— тоже выгнала.

Нет, их не поднять.

Что ж может сделать пяток иностранцев с самыми верными мыслями?..

Обернулся с бульвара и пошёл круто вверх, в лес.

Облака редели даже до нежных светло-жёлтых, можно было угадать, где сейчас вечернее солнце.

Вот и в лесу. Неразделанный, а где и с аллейками. Вперемежку с елями — какие-то сизо-беловатые стволы, не берёз и не осин. Мокрая земля густо застелена старой листвой. Тут и грязно и поскользнёшься, но в альпийских ботинках, нелепых на городском тротуаре, здесь как раз хорошо.

Круто поднимался, с напряжением ног. Был один. В сырости и по грязи аккуратные пары не гуляли.

Останавливался отдышаться.

На голых деревьях черно мокрели ещё пустые скворечники.

Нет подъёма трудней, чем от нелегальности к легальности. Ведь не случайное слово *подполье*: себя не показывая, всё анонимно, и вдруг выйти на возвышение и сказать: да, это я! берите оружие, я вас поведу! Почему так и трудно дался Пятый год, а Троцкий с Парвусом захватили всю российскую революцию. Как это важно — придти на революцию вовремя! Опоздаешь на неделю — и потеряешь всё.

Что сейчас Парвус будет делать? Ах, надо было подружественней ответить ему.

Так — ехать? Если всё подтвердится — ехать?

Вот так сразу? Всё — бросить. И — по воздуху перелететь?

За первым хребтом горы местность уваливалась в сырой тёмный ельник, и там на дороге совсем было грязно, размешано. А можно было без тропинки идти по самому хребту — он сух, в траве и под редкими соснами.

Вот, ещё на пригорок.

Отсюда опять открывался вид, ещё обзорнее. Большим куском было видно безмятежное оловянное озеро, и весь Цюрих под котловиной воздуха, никогда не разорванного артиллерийскими разрывами, не прорезанного криками революционной толпы. А солнце — вот уже и заходило, но не внизу, а почти на уровне глаз — за пологую Ютлиберг.

Как будто после лечебного забытия выныриуло опять, что загнало его в неурочное время, в рабочий день, в эту сырость на гору: неудобство, волнение, испытанное в русской читальне, этот единый бараний рёв о том, что началась революция. До чего ж легковерны эти все профессиональные революционеры, какою баснею их ни помани.

Теперь-то и нужно проявить величайшее недоверие и осторожность.

Так и пошёл бездорожным сухим хребтом, по бурой траве, по сухим веткам. Тут, на горе, часто лазают белки, а иногда и молоденькие косули, величиной с собаку и больше, вдали перемелькивают, дорогу перебегают.

На высоте и в тишине, в чистом воздухе — откладывало от головы, снимало давящий обруч. Все раздражения, все раздражающие люди — отпадали, забывались, внизу остались.

Тяжёлая была последняя зима, сильно измотала. С таким напряжением жить нельзя, поберечь бы себя.

А — для чего беречь? Если ничего не делать — к чему и беречься?

Но — и так долго не проживёшь. Неважно с головой. Плохо.

Хребтик, по которому он шёл, обрывался к поперечной гравийной дороге. А, знакомое место, обелиск. Тропинка спускала туда. Это был памятник о двух

сражениях 1799 года за Цюрих между революционными французами и австро-русской реакцией.

Против обелиска Ленин присел на сырую скамью, устал.

Да, правда, стреляли и здесь. Страшно подумать: и здесь были русские войска! и сюда дотянулась царская лапа!

Ровный цокот копыт по твёрдому донёсся сверху, из-за горба дороги. И тут же из тёмного леса, в послезакатной уже неполноте света, показалась женская шляпа, притянутая лентой,— затем сама женщина в красном — и светло-рыжая лошадь. Лошадь шла шагом, женщина сидела струнно,— и что-то в её манере держаться и голову держать...— Инесса?!.

Вздрогнул, увидел, поверил! — хотя никак было не возможно.

Ближе — нет конечно, а чем-то похожа. Как себя сознаёт и держит — сокровищем.

Из тёмной чащи выехала — красная, и ехала в сыром, чистом, беззвучном вечере.

Да тут главной красавицей сознавала себя лошадь — из светло-рыжей даже жёлтая, лощёная, уборно зауздана, переборчиво ставила стаканчики копыт.

А всадница сидела невозмутимо или печально, смотрела только перед собой под уклон дороги, не покосилась ни на обелиск, ни на дурно одетого, внизу к скамейке придавленного, в чёрном котелке гриба.

И он просидел, не шевельнувшись, разглядывал её лицо, чёрное крыло волос из-под шляпы.

Если вдруг освободить мысли от всех необходимых и правильных задач — ведь красиво! Красивая женщина!

Покачивалась плечами или в талии не сама она, а лишь сколько качала её лошадь и стременем приподнимала носки сапожков.

Она проехала вниз, там дорога завернула — и только ещё копытный перебор доносился немного.

Проехала, ещё что-то отобрала — и увезла.

339

Не наизумиться, как вчера и сегодня проскользнул, пробалансировал блистательный удачник Керенский — между двух скал, между двух берегов, между двух расходящихся льдин — одной ногой там, другой здесь, точно вовремя прыгал, точно вовремя спрыгивал,— и вот цел-невредим, и триумфатор, и вознесен надо всей Россией!

Всю прошлую бессонную накалённую ночь надо было не столько участвовать в событиях, сколько исчезать и отсутствовать: велись роковые переговоры между Советом и цензовыми, и в присутствии обеих сторон Керенский был наиболее уязвим: как революционный демократ он должен был поддерживать своих советских компаньонов и вместе с ними изображать неуступчивость к буржуазии и презрение к их правительству. А на-самом деле его как пилами пилили в клочья наглые и бессмысленные требования Нахамкиса и Гиммера, и чтоб не поддерживать их — но и молчать всё время нельзя! — он вскакивал куда-нибудь по делам.

А дел — у его стремительности было выше головы, дело можно было найти в любом уголке кипящего Таврического, а главное — уже третьи сутки был в его подчинении павильон с арестованными сановниками. И гениальная догадка открылась ему, что этот павильон и есть его площадка для взлёта!

В вихре исторических событий в нас и рождаются молниями гениальные комбинации! Ситуация, когда действуешь даже не расчётом, даже не разумом, а — почти инстинктом, почти каким-то магнитным влечением сквозь туман! И выходишь точно к своей лесенке, ведущей наверх!

Очень упорное и опасное было сопротивление в Исполнительном Комитете — но разве, по сравнению с Керенским, был у них масштаб государственных деятелей! — ошеломительным ударом он опрокинул их всех! Когда его несли на руках из Совета — видел в задних рядах их лица, дышащие местью, но они не посмели и рта раскрыть.

А на всякий случай, если б через Совет не вышло, Керенский устроил себе и партийную страховку: поручил Зензинову и ещё хорошему другу, эсеру Сомову, собрать сегодня сколько можно эсеров, человек 7—8, в Петрограде их и не набиралось, приличных, без Александровича конечно,— и назвать их петроградской городской конференцией эсеров, и принять решение: о поддержке нового правительства, о вступлении в него Керенского как форме контроля за правительством со стороны трудящихся масс, как защитника интересов народа.

Но — не понадобился запасной вариант, все рифы и так пройдены одним крылатым порывом! — в три часа правительство уже объявлено Милюковым. От мига объявления ещё новые крылья выросли за спиной, Керенский почти реял над толпой, со всех сторон принимая восхищённые взгляды и слыша восхищённый говор.

Александр Керенский — министр!!! Ждала ли этого, могла ли думать исстрадавшаяся Россия?.. Пытками, истязаниями, невиданными преследованиями измученная,— вот, она вырывалась к свободе — в нём, первом народном министре юстиции!

О, какую свободу он сейчас разольёт по лику России! О, как распахнёт её горизонты! И — о, трепещите, враги!!

И какой же простор для его деятельности! Но и сколько же энергии он ощущал в себе! Он забывал, он забыл прошлогоднюю болезнь, операцию,— о, как он был молод, как быстр, как умён, как исключителен! Три прошлых дня его связывала неопределённость с правительством, эти закулисные манёвры,— но теперь его энергия раскована, и он покажет себя России!

Однако: все ли поняли, все ли слышали милюковское объявление? Могли не все, тут публика меняется. Надо повторить ещё раз. И могли не все знать Александра Фёдоровича в лицо — надо показаться толпе.

Прошло два часа, как слез с площадки Милюков,— и Керенский с помощью крыльев взлетел выше, выше, на балкончик хор — да в новом демократическом виде, в глухой чёрной куртке со стоячим воротником, как он оделся для этого великого дня, для единения с народом,— и только вдохновенное лицо его белело.

И некоторые заметили, поднимали головы со дна Екатерининского зала, а другие не видели, толкались там внизу и гудели,— и Керенский воскликнул на весь зал юношеским голосом:

— Товарищи! Солдаты! И граждане! Я — член Государственной Думы Александр Фёдорович Керенский — ваш новый министр юстиции!!!

О, какая взметнулась буря аплодисментов! О, как раскатывалось „ура" под лепным сводом старого зала! О, этим восторгам не было конца! — и пусть не будет, и пусть не будет...

Перестоял молодой стройный министр весь штурм восторга, и продолжал так же звонко, отчётливо до самых дальних углов:

— Объявляю вам, что новое Временное Правительство вступило в исполнение своих обязанностей — по соглашению с Советом Рабочих и Солдатских депутатов!

То, что Милюков, сам добившись, упустил объявить. То, что выигрышно было и одновременно укрепляло Керенского против ИК:

— Соглашение, заключённое Комитетом Государственной Думы и Советом Рабочих и Солдатских Депутатов,— (как великие клятвы звучали эти слова!) — одобрено Советом Рабочих и Солдатских Депутатов сотнями голосов против пятнадцати! — торжествовал Керенский свою победу над ИК.

Взмывом голоса, толчком голоса он выразил толпе, что здесь ожидаются бурные аплодисменты! — и они обрушились к стопам его тонкого чёрного монумента встречным девятым валом! А по белым их гребешкам ещё хлопали крыльями чайки: „браво! браво!"

И когда схлынуло — юношеский монумент стоял всё так же неповреждённый. О, что может быть выше этого удовлетворения! — метать слова о свободе освобождённому народу!

— Временным Правительством будет немедленно опубликован акт полной амнистии! Наши товарищи-депутаты Второй и Четвёртой Государственных

Дум, беззаконно сосланные в тундры Сибири,— он весь трепетал от наступившей справедливости, он словно сам освобождался сейчас из сибирских тундр,— будут немедленно освобождены и препровождены с особым почётом!!

Здесь он опять ждал бури аплодисментов, но недостаточно подтолкнул, она не возникла.

— Товарищи! — прореял он к другому, и опять выигрышному.— В моём распоряжении находятся в с е представители советов министров прежнего режима! И в с е министры старого правительства! Они ответят, товарищи, за в с е преступления перед народом! Согласно закону.

(Пока ещё не созданному.)

Аплодировали. Вместо чаек летели чёрные птицы возмездия: „Без пощады!"

Но прирождённый, оказывается, легко плавать в этой народной буре, отважный пловец не дал себя смыть, но красиво набирал своё направление:

— Товарищи! Свободная Россия не будет прибегать к тем позорным средствам борьбы, к которым прибегала старая власть. Без суда — никто не будет подвергнут наказанию. Всех будет судить гласный народный суд. За-ко-но-по-ло-же-ни-я, принятые новым правительством, будут опубликованы!

И вот — он магнетически владел толпой! Он мог вызвать бурю в ней, а мог — благородно успокоить. И, выходя за пределы юстиции, он мог помочь и другим своим коллегам по правительству, у кого не хватало смелости вот так обращаться:

— Солдаты! Прошу вас, окажите нам содействие! Не слушайтесь призывов, исходящих от агентов старой власти! — слушайтесь ваших офицеров! Свободная Россия родилась — и никому не удастся вырвать свободу из рук народа!

О, какое „ура"! Какая новая буря аплодисментов! И — раскланиваясь, раскланиваясь — на этот раз по её волнам Керенский уплыл в рабочие комнаты правительственного крыла.

Он — и представился. И увлёк. И направил.

Всё трепетало в нём, но не только восторгом от этого поклонения, но и жаждой дальнейших действий! Министр юстиции не мог ожидать и прозябать ещё целые часы, пока неуклюжее новое правительство соберётся функционировать.

Ревель? Он взял аппарат в мятежный Ревель и вмиг успокоил город.

Можно было тотчас рвануться в здание министерства юстиции — и бурно приняться за реформу министерства. Однако там сейчас сидели два комиссара Думы (просчёт Маклакова: надо было ему присутствовать здесь, а не там). Они уже там выработали острейшие популярные реформы — всеобщую амнистию и зачисление всех вреев-юристов в сословие присяжных поверенных. Так надо опередить! Надо сейчас же отсюда, из Таврического, телеграфом во все концы России — от имени нового кипучего министра!

Итак, первый шаг: немедленно освободить всех политических заключённых и подследственных изо всех русских тюрем — и всем прокурорам судебных палат доложить о том министру телеграфно! А особо: немедленно освободить всех членов Государственной Думы, пятерых большевиков. И возложить на енисейского губернатора, под его личную ответственность: обеспечить самое почётное их возвращение в Петроград.

Второй шаг: приём в адвокатуру всех евреев, помощников присяжных поверенных. (О, какая возникнет сразу популярность и прочность!)

Затем: немедленно прекратить политический сыск и дознания по всей Российской империи!

Пока, для завтрашних газет,— довольно.

А ещё — у него оставались любимые узники в министерском павильоне. И самый, лично излюбленный из них, министр Макаров. Без Керенского его бы не схватили, он бы ушёл: во вторник его задержали, привели, но освободили: враг Распутина и не освобождал Сухомлинова. Но память людская забыла, что Макаров противостоял восходящей звезде Керенского в деле о Ленском расстреле, мог не дать ему взлететь в решающие месяцы перед выборами в 4-ю Думу. Но когда Макарова освободили — был поздний вечер, он побоялся возвращаться по революционным улицам и нашёл пристанище в частной квартире на антресолях дворца. А Керенскому — к счастью шепнули! И он прихватил двух вооружённых солдат, бегом по лестницам наверх, сам ворвался в квартиру и сам снова арестовал Макарова!

Однако и много уже их, арестованных сановников, набралось в павильоне, битком. А самым опасным и зловредным здесь не место. Решил Керенский: сегодня же ночью, когда не будет публики, под строго надёжным конвоем перебросить их в Петропавловскую крепость.

Это будет — и народный эффект!

А что ожидало теперь самого Александра Фёдоровича — наполняло его ещё новым освобождением! В первые же сутки революции тут, на кушетке, сообразил он, что эти невиданные обстоятельства освобождают его от скучного домашнего плена: стало естественно теперь, что он никак не сможет ходить ночевать домой — ещё долго, долго! В понедельник утром ускочив из дому, он больше туда не ступил ногой.

А дальше... рисовалась упоительная вереница встреч... В миг успеха всегда находятся женщины, готовые радостно нас принять. Как будто, притаясь, они все ждали этого момента,— а тут все сразу объявляются, улыбаются, зовут облегчить историческое бремя.

А пока — эти ночи прокорчились тут на таврических диванах, столах и стульях, да и ночей не было. Но надо было устроить свой быт на холостую ногу в министерстве юстиции: взять себе кабинет министра, ещё пару комнат — а остальную казённую квартиру оставить жене арестованного Добровольского. На нужду исторической личности сразу появляются и нужные помощники: перед Керенским вырос граф Орлов-Давыдов (Керенский был шафером на его второй свадьбе, с актрисой Пуаре), и всем усердием готовый услужать и помогать: для кормления Александра Фёдоровича приставить своего графского повара, и всюду сопровождать, и вообще выполнить любое интимное поручение. Сам граф, правда, очень пострадал в общественной репутации после скандалв разводного процесса с Пуаре (для неё разводился, а она дурачила его ложной беременностью, мнимыми родами, и только случайно граф догадался, и сколько позора). Но всё равно — граф! и какая старинная звонкая фамилия! и богат!

340

* * *

В Москве морозец — градуса три. Улицы переполнены ещё больше вчерашнего. Всеобщее торжество. Раздаются, теснятся, чтобы пропустить вооружённые автомобили. Кое-где военные оркестры. Во главе военных отрядов уже не только прапорщики, но — подполковники и полковники.

Около городской думы два английских офицера с восторгом говорят публике: „Мы знали, что Россия — великая страна, но не знали, что у вас такая прекрасная дисциплина. Наконец настоящая Россия нашла себя! Мы передадим в Англии, что мы видели".

Со ступенек думы объявляют: в Луге создался отряд, который арестует царя.

В самой думе стало так тесно, что сегодня днём подполковник Грузинов реквизировал кинематограф „Художественный" на Арбатской площади и перевёл туда свой *штаб восстания*. Сам он объезжал город на автомобиле и везде держал речи.

* * *

Весь день в разных местах Петрограда — митинги, политические речи: какая будет власть? что будет с царём?

Какой-то в затёртом пальтишке:

— Товарищи! Да разве Родзянко и Милюков могут нам дать землю и волю?

Студент:

— Товарищи! Это говорит провокатор!

А тот:
— Вас хотят усыпить, чтобы вы подчинились и больше ничего не требовали!
Вылезает господин в чёрной мягкой шляпе и держит речь о честности Родзянки:
— Он много лет защищал народные интересы!
В толпе на лицах — страдание нерешённости: кому верить?

* * *

„Россия! Ты больше не раба!" — под красными флагами, с красными бантами по Невскому оживлённая, плотная смешанная демонстрация: рабочие в чёрных пальто, работницы, студенты — и с ними вместе, вперемешку, упитанные белокожие обыватели, хорошо одетые, в дорогих шубах, в котелках. Все вместе поют:

Долго в цепях нас держали!
Долго нас голод томил!...

* * *

14-летняя Леночка Таубе записала в дневник: „С Кронштадтом телефонная связь прервалась, а телеграфная сохранилась. И нам пришла телеграмма, неизвестно от кого: 'Барин жив и здоров арестован'. Мама то в слезах, то в обмороке."

* * *

В квартиру звонок. Два безусых солдата, на папахах красные лохмотья:
— Дозвольте посмотреть.
В зубах папиросы. Уходя, на пол их, гасят и сплёвывают.
— ...Всё обыскивают, всё обшаривают... При старом режиме так не бывало.

* * *

Несколько сибирских скопцов, по торговым делам приехавших в Петроград, были взяты при обыске меблированных комнат на углу Невского и Пушкинской. От вида ли их, с женскими лицами, но вдруг заподозрили, что они — от охранки. И повели. А толпа на улице, глядя на необычные старые физиономии, вдруг решила почему-то, что это ведут придворных лакеев,— и с ненавистью стала кричать, теснить конвоиров. Недалеко было, что скопцов тут же и разорвут.
Но всё-таки довели до нового участка милиции, там студент быстро разобрался, вышел, убедил толпу,— и перепуганных старичков отпустили.

* * *

Нападали на ломовиков, везущих продовольствие: „Куда везёте? Здесь раздавайте!" И растаскивали.

* * *

Два драматических артиста арестовали директора императорских театров Теляковского и с патрулём доставили в Думу. Там ответили: „Пока не подлежит аресту." Отпустили.

* * *

Армейский капитан, до 27 февраля сидевший в „Крестах", дважды судившийся за подлоги, при освобождении объявил себя комендантом тюрьмы. Побыл так. Потом пошёл на патронный завод, арестовал начальника завода и объявил начальником себя. Собрал рабочих, говорил им речь — и тут заподозрили, что он безумен. Отвезли его в Таврический дворец, а оттуда в госпиталь.

* * *

В штабе новой милиции, в городской думе, так обременены работой, в одной руке телефонная трубка, в другой — печать городской управы, что

некогда поговорить друг с другом. Кто-то приходит, садится рядом, начинает работать, получает поручения, выполняет их — потом начальник опоминается: „А кто его назначил? Вы?" — „Нет".— „Так и я не назначал".

* * *

В Петропавловской крепости набралось много лишних офицеров — ни в какой не охране, не гарнизонные, а слоняются, обсуждают события, играют в биллиард. Прячутся.

* * *

Перед вечером с грузового автомобиля читают толпе свежие „Известия", состав нового правительства.
Удивляются: „А что ж Родзянко? Не вошёл?"
Толпа перекачивается по Невскому, радуется.

* * *

И другие ещё листовки, розовые, на стенах, не на Невском: „Не верьте Временному правительству! Рабочие должны взять власть в свои руки."
Люди читают с недоумением.

* * *

В цирке Чинизелли вечером — солдатское собрание, всё полно. Гудят, что Милюков обещал царя возворотить. Это что же значит? — нас наказывать будут?.. Хотят обмануть??.
В Доме Армии и Флота, в зале, где вчера собирались офицеры, сегодня вечером — пленарное собрание ротных и батальонных комитетов. Среди докладчиков — депутат Государственной Думы Родичев, в пенсне и с сильным красивым голосом,— благодарит солдат за совершённые подвиги, восторгается их мужеством, но напоминает о родине и дисциплине.

* * *

А депутат Думы Шидловский поехал по вызову в Измайловский батальон. Солдаты рассказали, что незадолго перед тем были какие-то двое, назвались членами Совета рабочих депутатов, звали солдат к окончанию войны и убеждали не повиноваться офицерам. Солдаты сами усумнились, потребовали от агитаторов полномочий, их не оказалось. Вытолкали их вон. Теперь просили члена Думы разъяснить „приказ № 1": нужно ли подчиняться офицерам? Шидловский стал уверять (он сам так слышал, Чхеидзе отрекался), что Совет рабочих депутатов относится к „приказу" отрицательно.
Тогда спрашивали: „А что ж смотрит военный министр Гучков, почему не запретил?"

* * *

За дни революции во дворце великой княгини Марии Павловны разграбили и перебили винный погреб на полмиллиона рублей.

* * *

На ночь опять в домах огней не зажигают или укрывают. Беспокойно.

* * *

Вечером возник слух, что на Васильевском острове толпа громит университет.
Что какие-то чёрные автомобили разъезжают по городу и расстреливают мирных жителей.
У костров на улицах — военные и штатские патрули, новые милиционеры и добровольцы с винтовками, револьверами. Останавливают проносящиеся иногда автомобили, требуют пропуска.
Кое-где в темноте чернеют застрявшие в снегу грузовые и легковые автомобили.
К ночи пошёл крупный редкий картинный снег.

341

По линии разнёсся слух, что едут важные члены Государственной Думы, сам Гучков,— и на станциях собирались кучки или толпишки — железнодорожники, рабочие, отдельные солдаты, случайные люди или пассажиры, и требовали речь, как в эти дни все приучились требовать, как очередную еду. Гучков с тамбурной площадки своего вагона или с какого-нибудь ящика на платформе, сняв пенсне и щурясь, держал к ним речь, уж он наизусть её сам знал: слушаться офицеров, поддерживать новую власть, да здравствует революция и победа над немцами.

В Гатчине была большая толпа, и он говорил дольше, но то же самое.

После Гатчины ему уже стало казаться, что проворачивается вхолостую мельница, опустошая его, а без пользы.

Задержались в Гатчине с полчаса лишних, ожидая подъезда генерала Иванова по соединительной ветке. Но не было его. А день — уже к концу, поездка затянулась, миссия не выполнялась, нельзя было ждать. Поехали. (Уже потом, в пути, нагнала телеграмма Иванова, что он в Вырице и рад повидаться. Другого Гучков и не ждал. Назначил ему опять в Гатчине, но уже на обратном.)

В Гатчине 20-тысячный гарнизон был спокоен. А о таком же лужском гарнизоне ещё с вечера знал Гучков, что там восстание и убивают офицеров. И сегодня с утра по его поручению поехали туда член Государственной Думы Лебедев и полковник генерального штаба Лебедев — уладить и успокоить: слишком важное место занимала Луга на линии Петроград-Псков. Хотя именно этим мятежом она и сослужила революции, обезоружив бородинцев. Но и — достаточно, дальше это уже начинало мешать.

Гучкову много раз приходилось выезжать на фронты, правда всегда по делам Красного Креста, но в этих выездах он чувствовал в себе хорошую военную подвижность, была у него и полувоенная одежда, куртка, сапоги, его часто так фотографировали и помещали в обозрениях. И сегодня поездка была вполне фронтовая, вот предстояло в Луге окунуться в это солдатское море, может быть возмущённое и опасное, а Гучков и любил опасность, и только не хватало ему сейчас для лёгкости той своей военной одежды. Но он всё же ехал к Государю — и на нём был хороший костюм, крахмальный воротничок, галстук, а сверху — городская, тяжеловатая шуба с дорогим меховым воротником и шапка меховая.

Вид лужского вокзала был необычен от множества солдат — но не в командах и не в строю, а бродящих, смотрящих, бездельных,— впрочем, петроградский глаз это уже не могло удивить. Среди этих бездельников сразу возникло движение к приехавшему поезду всего из одного вагона — и стали сталпливаться, кто безобидно, кто дерзко. Дерзость в солдатах особенно била в глаза.

Оба Лебедева тотчас вошли в вагон, хотели докладывать — но толпа густилась и надо было разрядить её речью. Гучков это понял, вышел и повторил всё то же от имени святой Государственной Думы и священной войны против германцев.

Помогло. Послушали, покричали „ура",— разредились, расходились. Лебедевы извинялись, что им не удалось устроить встречу с почётным караулом, оркестром и дефилированием под „марсельезу", как их самих встречал здешний ротмистр. Но за последние часы здесь сильно всё смешалось. Лебедевы застали тут военный комитет, составленный из одной автомобильной роты, без других частей,— и определённо уже снесшийся, да тут недалеко, с петроградским Советом рабочих депутатов: те же повадки и те же лозунги, и недоверие к Думе. А в городе тем временем идут грабежи и самосуды. Лебедев-полковник действовал решительным образом: составил новый, другой, военный комитет, который бы принял полноту власти в Луге и подчинился бы думскому Комитету. Но полдня прошло, чтобы собрать выборных делегатов ото всех частей, по одному офицеру и одному солдату от каждой роты и батареи. Зато дальше он сам на свой глаз назначил кандидатов из собравшихся — 6 офицеров и 6 солдат,— а кто вообще знал, как выбираются комитеты? это не известно никому,— затем предложил поднимать руки и, не считая их, объявил всех своих кандидатов выбранными. Таким образом нужный комитет был избран, но ещё не овладел гарнизоном Луги и не известно, будут ли его приказы исполнять. Пока там сейчас ездят по частям и говорят речи — а здесь, на вокзале, в царских комнатах, утвердился тот первый комитет, из революционных автомобилистов, он не признавал второго комитета, а час назад ему привезли кучу воззваний от петроградского Совета,— и вот с этим комитетом Гучкову не миновать было иметь дело сейчас.

Шульгин остался в вагоне писать проект отречения, Гучков пошёл в здание вокзала на переговоры с комитетом. Держа марку, комитет не прислал своих представителей приветствовать его приезд.

Конечно, никто из них не знал, что в эти самые часы Гучков становился военным министром. Но как прославленный деятель России мог бы он ожидать от рядовых сограждан более почтительного приёма. И когда в комнату вошёл — навстречу ему никто не поднялся, а указали, где ему сесть за одним столом с ними в дымах махорки. Все курили и сплёвывали на пол, курили и плевали. Перед его приходом тут кипели, что генерал артбригады Беляев приказал сжечь часть привезенных из Петрограда воззваний,— и теперь вызвали генерала на заседание своего комитета и готовились с ним рассчитаться.

Сразу Гучков погрузился в эту гущу. Меньше всего он мог сейчас тратить время и усилия на Лугу, а надо было. Изо всего нового правительства самый противный Совету рабочих депутатов,— здесь, признавая силу обстановки, он должен был лгать им, что в Петрограде между думским Комитетом и Советом депутатов противоречий нет. Всё нутро переворачивало от их хамства, но Гучков не должен был вскочить, скомандовать им или уйти сам, а должен был сидеть и убеждать навести порядок,— да более того, такой порядок, чтобы сегодня же ночью на Лугу мог беспрепятственно пройти царский поезд, направляясь в Царское Село.

Гучков ехал выполнить миссию всей своей жизни, сделать исторический шаг за всю Россию,— а должен был преть здесь с этой неподчиняемой массой, высматривать её ускользающую душу. Он ехал на историческую встречу с Государем — а должен был потеть, измять и изгрязнить крахмальный воротник в этой духоте и махорке. Он ехал ставить ультиматум главе государства — но сам оказывался в унтер-офицерских клещах. Был момент такого подозрения: он не был уверен, что его самого-то отпустят ехать дальше.

Сколько же спорили об этом Народе! — обездоленные добродетельные труженики, кого урядники и жандармы не допускают к добру, а интеллигенция могла бы вывести к свету,— или счастливая религиозная масса, всегда готовая принести себя в жертву на алтарь Отечества. Но оказаться с этим Народом на равных, в продымленной заплёванной комнате, на одной скамье — пришлось очень неуютно. И — ни одно из лиц автомобильного комитета не напоминало благообразного народного Лика,— все до одного были неожиданные, неподступистые, неуговорные.

Гучкова не хватали за плечи, не наставляли на него штыков,— но с тоской и озлоблением ощутил он всю тёмную силу этой стихии, которой, увы, дали вырваться. Чего он и опасался всегда.

Тем временем приехал этот самый ротмистр Воронович, высокий ражий кавалерист, очень подобранный, отличная выправка. Смоляные приглаженные волосы, холёные пушистые усики — а лицо совсем закрытое. Оказался не рубака, а отличный дипломат. Присел к их общему разговору, и Гучков поражён был, как свободно среди мятежных солдат и тотчас после убийства своих однополчан-офицеров этот ротмистр себя чувствовал, с какой (осторожной, однако) свободой и (осторожной) уверенностью он рассуждал, находя ещё и тонкие способы дать понять Гучкову, что он его поддерживает, конечно.

Сколько видел Гучков армейских офицеров — а никогда не замечал, не выделял среди них этого типа, который так легко поскользит по волнам революции.

С приходом ротмистра обсужденье пошло всё благополучней, уже не было тени, что Гучкова задержат или имеют право задержать, или подозревают,

зачем это он едет к царю (а запросто бы могли! и вот, Совет депутатов дотянулся бы, да с каким скандалом!). А про царский поезд Гучков не стал выяснять, было бы опасно. Он понимал, что царь только и рвётся к своей супруге, и за отречение он имеет право получить такую плату,— ну что ж, проедет вкруговую, опять через Дно.

Переговоры — неизвестно о чём,— об общем положении, о победе над старым режимом, о верности боевым знамёнам и петроградским властям,— кончились, и Гучков пошёл к своему поезду.

Но не узнал его.

Паровоз по своей круглой чёрной груди был накрест перевит красными лентами, и красный флаг торчал на будке машиниста, ещё, где можно, воткнуты были еловые ветки. А ещё прицепили другой вагон, пассажирский пригородный, в котором своя топилась печка, искры из трубы, и туда село несколько солдат и несколько вооружённых штатских, все с красными бантами.

Гучков не имел власти и воли разрушать это революционное великолепие, или отцеплять второй вагон, уж он был рад, что самого-то отпускали беспрепятственно.

Напугали бы они царя и свиту на псковском вокзале, да уже и сейчас было темно.

342

Государыня придумала: послать не одного офицера, а двух, и каждому дать по письму, и притом на маленьких бумажках, так, чтоб их можно было сложить в вершок, спрятать в сапоге, а в случае чего и сжечь. Кто-нибудь из двоих офицеров доберётся!

И всё, что теснилось и бурлило в ней,— она в эти часы пыталась, в промежутке между делами, вписывать то в одно письмо, то в другое.

А часы были ужасные. Добралась из Петрограда молодая фрейлина, по возрасту подруга дочерей,— и что, она рассказывала, творится там — это не вмещалось в голове. Посланный к Родзянке генерал-адъютант Линевич так и не вернулся, ни вчера, ни сегодня. Саблин из Петрограда прислал с верным человеком тайную записку, что рвётся сюда, но никак не может поехать, потому что все такие видные, как он,— *на учёте*. Генерала Гротена послали в царскосельскую ратушу на переговоры с мятежниками — и он что-то не возвращался.

Первоначальная утренняя радость, что Государь нашёлся во Пскове, постепенно затемнялась встающими чёрными клубами тревоги. Добровольно ли он поехал туда и остаётся там? Не пойман ли он в западню?

Величайшая низость и подлость, не слыханная в истории,— задержать своего Государя! Как унизительно ощущать Государя в плену! Какой ужас для союзников! Какая радость врагам!

Ах, жалела она теперь, что не сказала дедушке Иванову — действовать самым решительным образом по освобождению Государя! А он, по доброте, может проявить мягкость.

И — зачем бы захватили царя? Ясно: не допустить его увидеться с царицей. И — для чего же? Заставить его подписать какое-нибудь невыносимое ответственное министерство. Но это было бы гибелью России. И как бы ни был Государь обманут и отделён от своих верных войск — не может он изменить своей коронационной клятве! Не может он разрешить короне стать придаточным украшением, а власть отдать самоответственному правительству из самозваных лиц!

Или — вынуждают его назначить каких-нибудь невыносимых министров?

А что, правда, делать? Нельзя залить столицу кровью, да ещё во время войны. И тем более во время войны нельзя оставить мятеж пылать. Если не удастся торжественный вход Иванова в Петроград — какие-то уступки, может быть, и неизбежны, только вопрос: кому? до каких пор? и в какой форме?

Там, во псковской немоте, происходил, быть может, великий духовный поединок: её супруг своею некрепкой душой отстаивал священный принцип — а она не могла в эти часы приложить ему свои силы и твёрдость! И — ни весточки получить от него! И — как дослать свою по воздуху?

О, мой святой страдалец! Какое невыразимое унижение я испытываю за тебя! Как разрывающе больно за тебя — и ничего не могу тебе посоветовать. Только не дай насиловать твою волю! Бог должен услышать наши мольбы и послать нам наконец какой-нибудь успех. Это — вершина несчастий, и мы пройдём её! Вера моя безгранична, и это поддерживает меня. Бог не покинет тебя и нашу любимую страну. Сейчас хотела вложить тебе и образок в письмо — но тогда нельзя скомкать бумажку. Вот ты стесняешься носить крест Григория — а насколько тебе было бы спокойнее!

А моё настроение — бодрое, боевое, знай!

А если тебе, не имея за собой никакой армии, придётся покориться обстоятельствам, то Бог потом поможет и освободиться от них. Если тебя принудят к уступкам, то ты потом ни в коем случае не обязан их выполнять, потому что они добыты недостойным образом. Если ты и подпишешь обещание — оно не будет иметь никакой силы, когда власть снова окажется в твоих руках. Но всемогущий Бог — выше всего, он — любит своего помазанника, и спасёт тебя, и восстановит в твоих правах. Бог поможет, поможет, и твоя слава вернётся!

Два течения, две змеи — Дума и революционеры,— может быть, они отгрызут друг другу головы — и так спасут положение? Я чувствую, что Бог что-нибудь сделает!

А может быть ты покажешься войскам во Пскове и соберёшь их вокруг себя? Когда войска узнают, что тебя не выпускали,— войска придут в неистовство и восстанут против всех!!!

...Пришёл генерал Ресин и доложил: генерала Гротена революционеры в ратуше арестовали.

343

В Ростове-на-Дону уже третий день накоплялся общественный взрыв. Ростовчане привыкли к полной свободе всякой речи, также и гневной,— на улице, в трамвае, в университетском коридоре и на базаре. А тут — от Ростова что-то скрывали! Третий день не приходило никаких агентских телеграмм из Петрограда — хотя провода были целы, потому что приходили частные телеграммы. И из этих частных улавливались намёки на какие-то важные события в столице. Кидались день и кидались другой к редакциям „Приазовского края" и „Ростовской речи" — но и там не знали больше, чем простые обыватели. Непроходимые тупицы правящей власти наступили где-то сапогом на поток известий и придушили его. Но слухами, слухами — прорывало запрет неудержимо!

Какие уж там учебные занятия! Вчера ещё только перебегающая тревога, а сегодня и в университете и на высших женских курсах лекции шли кое-как, многих не было на месте, и уж конечно Сони Архангородской. Вместе с несколькими подругами по юридическому факультету они бродили по городу, и к газетным редакциям, и просто вдоль Садовой, и звонили по телефонам — чтоб узнать, узнать скорее и раньше! — а сердце-то уже догадывалось: наступил несравненный миг жизни!

А ещё же дышала весна! Днями сильно таяло, по всем улицам, буровя снег, неслись коричневые ручьи, показывая наклоны всех улиц, такие резкие в Ростове. К вечеру подстывало — по оголённым тротуарам тонкой льдистой коркой, в месиве дорожного снега коричневыми лужками. Но сохранялся, как всегда бывает в Ростове в мартовские вечера,— уже весенний воздух, откуда-то прилетевший таинственно-радостный воздух весны.

Конечно, больше мог знать папа, Соня дважды забегала домой узнать что-нибудь — но и Зоя Львовна полдня не могла с ним соединиться, а потом узнала, что он вызван на срочное заседание военно-промышленного комитета. После университета вернулся Володя, он отсидел все лекции,— тут Соня увлекла его тоже идти к „Приазовскому краю".

И там толпились ещё два часа, потому что обещали из редакции, что какие-

то новости вот-вот будут, вот-вот, да будет специальный бюллетень,— и наконец уже к самому вечеру выскочили газетчики с пачками бюллетеня — сперва с отчаянными криками, а потом и кричать перестали,— только успевали медяки принимать и кидать в карманы, а пачки на руках утончались и чуть не мгновенно исчезали.

И какие же новости!! — никто в толпе не жалел, что постоял. С весной природы соединилась буйная весна газетная! Чёрными типографскими буквами подтверждалось больше, чем даже слухи перед тем: не просто петроградские волнения — но в с я власть в России перешла к народному представительству!!!

Какие ликующие минуты! Какой жгучий момент! Теперь неизбежным казалось, что и тиран падёт! Восстанет из смрадного гроба Россия! Долой монархию! Долой сословия!

Уже — вся Садовая праздновала, и ясно, что на несколько дней! Густо высыпали толпами — по обоим тротуарам не пробиться, только течь в медленном потоке. Все радовались, незнакомые (хотя мало таких в Ростове) обсуждали друг с другом, там и здесь начинали запевать революционные песни. А уж свыше меры были переполнены кофейни „Ампир" и „Чашка чая": там читали вслух новости, произносили речи, потребовали от оркестра исполнить марсельезу, все встали, а офицеры взяли под козырёк. Кто-то кричал „да здравствует Франция!" — и высказывали, что надо пойти манифестацией к французскому консульству.

А полицейские?! — стояли на постах — но безучастно! — но как будто ничего-ничего не замечая! Так это значит: им велено так!?

Но если Новочеркасск бросит на Ростов казаков? Это будет мясорубка!

А самая главная манифестация, мешая и трамваям идти на вокзал, трамваям непоместительно стало в городе,— сгущалась как раз против квартиры Архангородских на углу Почтового: потому что vis-a-vis, по ту сторону Садовой высились ребристые колонны переехавшего теперь в Ростов Варшавского (в этих днях вот-вот ожидалось, что правительство учредит его Донским) университета. Толпа собралась тысячная, заливая всё вокруг университетского входа под навесом громадного балкона, и мостовую Садовой, и Почтовый переулок.

Очень ждали конца университетской сходки: что она решит? — хотя как будто не от неё зависел ход дел в России. Уже было темно, когда из двузеркальных дверей университета и студенты стали выливаться сюда, в толпу. Оказалось: избрали студенческий Революционный комитет, хотя была оппозиция студенческого „Прогрессивного блока" (и Володя в нём), а некоторые филологи беспринципно заявляли, что „считают себя вообще некомпетентными в таких вопросах".

Что за ужимки? Да курсистки завтра же изберут и своих депутатов к вам!

Хотя горели обычные уличные газовые фонари вразрядку и светились окна домов — молодёжь притащила с десяток факелов, оставшихся от какого-то карнавала, и их тревожные смоляные огни запылали в нескольких местах над толпой.

Два-три факела поднялись и на обширный балкон университета, куда вышли члены Революционного комитета и профессора со своего совета — они, кажется, не совсем охотно. Недовольными выглядели и ректор Вехов, и славяновед Яцемирский, а маленький густоусый математик Мордухай-Болтовской — так просто сердитым. Зато рядом с ним сиял профессор физики Колли.

И зазвенела с балкона смелая речь юношеским горлом к толпе, невозможная ещё сегодня утром:

— Бастилию берут не разумом, а порывом! Победоносный народ сбил цепи своей неволи! Злостное пренебрежение *старого режима* к священным интересам родины... Режим был весь пропитан прусскими идеалами... Но кучка негодяев, управлявшая Россией против России,— упала! Все живые силы страны присоединяются к революции! Начинается долгожданное обновление России!..

А власти — ничему не мешали! А полиции — как не было никакой, забилась куда-то в тёмный угол.

Из толпы, оборачиваясь, видела Соня через сплетение голых ветвей, как на балкончике их угловом, надев шубы, стояли папа с мамой и смотрели сюда.

А папа — что-то же ещё знает, что-то расскажет!

Сказочный вечер! Нехотя расходились.

Соня бегом по лестнице, влетела в столовую,— верхнего света нет, ужин не накрывается, а мама при настольной лампе горячо разговаривает по телефону. А есть как хочется! Пошли с Володей в папин кабинет. Илья Исакович за большим письменным столом, лампа в белом матовом абажуре.

— Папа! Папа! Ну скажи сперва в трёх словах! А потом подробно.

Илья Исакович смотрел как бы с виноватым видом, за очками его, кажется, можно было увидеть по слезе:

— Слова отстают от чувств.

— Ну, а подробно??

— А что мы говорили, папа, а что? — ликовала Соня.— Николашка мечется в поезде! Ясно, что дни его сочтены. Теперь ясно, что в Пятом году царизму был нанесен смертельный удар, и эти 12 лет — только агония!

— Да дай же папе,— останавливал Володя.

Со своей обычной умеренностью в движениях, не потерянной и в такой великий день, ещё немного довернувшись к ним в своём поворотном кресле, держа пальцы в переплёте у брюшка, Илья Исакович вместо ликования сказал негромко:

— Теперь... теперь, дети... Надо напрячь всю волю, чтобы только не закружилась от радости голова. Теперь-то и начинается самое опасное.

— Что?? Почему? Да ты может быть не всё знаешь, папа? Ты бюллетень-то читал? Вот мы принесли...— Рванула бежать в коридор к пальто.

— Садись уж, садись,— усмехнулся Илья Исакович.— Я за четыре часа до вашего бюллетеня знал.

Сестра и брат сели на стулья, поближе.

Оказалось, что Илья Исакович уже с полудня заседал в военно-промышленном комитете. Председателя их, известного Парамонова, тучного, но подвижного промышленного туза, вызвали вместе с ростовским и нахичеванским городскими головами и с Зеелером от дона-кубанского Земгора — к градоначальнику генерал-майору Мейеру. Тем более военно-промышленный комитет продолжал заседать и обсуждать гадаемое. Часа через два вернулся к ним и громогласный Парамонов с новостями, кипучими решениями и таким видом, что приписывал себе чуть не всю ростовскую революцию и четвёртую часть петроградской.

Градоначальник Мейер, и прежде очень сочувственный к общественности, теперь открылся ей более чем благожелательно. Объявил, что это он сейчас добился от атамана Граббе разрешения на публикацию агентских телеграмм безо всяких изъятий. Уже с решительностью уверенный в бесповоротности событий (он только что вернулся из Петрограда и застал там начало волнений), он заверял, что и ни атаман, и ни начальник ростовского гарнизона не посмеют поддержать старую власть оружием. И признался буквально так:

— Тем и был тяжёл прежний государственный строй, что всякий работник на ниве общественности не мог выступать и действовать открыто, не надевая маски так называемой лояльности перед правительством. Маска была условием работы. И я рад теперь её снять. Я и прежде делал всё, что мог, для облегчения участи борцов за народные интересы, вы помните.

Четверо деятелей в ответ попросили посовещаться полчаса без Мейера. И затем выставили ему условия. Освободить заключённых по политическим и религиозным мотивам. (Тотчас же. Их оказалось трое.) Свободные собрания без контроля властей. (Разрешил.) Согласны принять на себя тяжёлую и ответственную задачу сформирования Гражданского комитета в Ростове, но только если местная власть будет беспрекословно выполнять все постановления комитета. (Градоначальник принял.) Таким образом почта, телеграф, телефон и железные дороги перейдут под контроль Гражданского комитета. (Согласен.) А не помешает ли охранное отделение? (Нет, ротмистр Пожога — в тифу и в бреду.) Немедленно закрыть или хотя бы взять под строгую цензуру черносотенный „Ростовский листок", чтоб не допустить агитацию за прежний

строй. (Гражданской цензуры у нас не существует, но для этого случая — согласен.) А как отнесутся власти к возможному уличному выступлению черносотенцев? поможет ли власть обезвредить их выступления против нового строя? Мейер обещал, что не допустит манифестаций с царскими портретами и прочих провокационных. И тут же при них распорядился полицеймейстеру: не препятствовать никаким манифестациям, кроме монархических, терпеливо относиться к выражению чувств народной радости, даже если они будут враждебны к чинам полиции. Объяснять, что полиция и раньше служила населению и сейчас не пойдёт против воли народа.

И ещё добился Парамонов: получить копии всех петроградских телеграмм, чтобы лично проверить, не утаит ли какую военная цензура.

И — разъехались все четверо по местам, готовить Гражданский комитет. А заседать он будет в особняке Мелконовых-Езековых на Пушкинской, куда и вернулся Парамонов к своему военно-промышленному комитету. Между прочим, среди самых последних телеграмм оказалось воззвание Совета съездов промышленности и торговли: эта головка промышленников и купцов призывала все биржевые комитеты, купеческие общества — забыть о всякой социальной розни и сплотиться вокруг думского Комитета. И Илья Исакович, съездив потом в биржевой комитет, участвовал в составлении от него телеграммы Родзянке: восторженно приветствуя в вашем лице... положим все свои силы на устроение нашего отечества.

— Так всё великолепно, папа! Ты ж этого и хочешь! И — за один день сломились все барьеры тирании! — как они оказались непрочны!

Поднимались идти в столовую. Илья Исакович обнял обоих, он был уже чуть ниже Сони и заметно ниже Володи:

— Всё — так, мои родные. И может быть — это и есть великое начало. Но революции имеют коварное свойство раскатываться.

Сделали шага три в обнимку, остановился:

— Но что меня в этом всём покоробило — это градоначальник Мейер. Не так меня удивили петербургские события, как генерал-майор Мейер. Всё-таки если б это я был градоначальником, на таком высоком доверенном посту,— я бы стоял до последнего. А он так торопится. Некрасиво.

— Так вот это и показывает, папа, что их дело давно кончено. Они погибли!

344

Остатки думского Комитета или начатки нового правительства под напором публики отступили уже из вчерашней комнаты в следующую, внутреннюю: там, где вчера трое из Совета торговались с Милюковым, теперь сидели второстепенные лица, канцелярия, временно задержанные, вид охраны,— а думские лидеры стеснились в ещё меньшей комнатушке, и маячил у них тут ещё больший беспорядок, чем вчера: они разговаривали, ходили, хлопотали, совещались, и места не хватало никому.

А тут, в восьмом часу вечера, пришла опять делегация из Совета, уже не четверо, а только двое — Гиммер и Нахамкис.

Навстречу и думцы не пытались усаживать никакого подобия совещания,— а просто Милюков пошёл с ними двумя к небольшому столу в углу комнаты, там сели все рядом, лицом к стене, даже настольной лампы там не было, своими плечами они себе ж и загораживали верхний свет. Гиммер — посередине, а то б его и не видно было через плечи Нахамкиса.

Ещё двое Львовых — один благостный, другой мрачный верзила, пытались сделать вид, что они тоже участники совещания, присаживались где-то сзади за их спинами, но посидев без внимания, не предназначаемые для разговора,— потом исчезали.

Та́к ведь и не кончили вчера, и целый день не собрались, вот жизнь. А — чего вчера не кончили, вспомним?

Условия деятельности нового правительства уже утвердили...

Не совсем. На пленуме Совета добавлены некоторые изменения.

Ах, вот как? (Пожалел Милюков, пожалел, что вчера не закончили, а всё из-за Гучкова.) Но так же тоже, товарищи, нельзя работать... А осталось нам согласовать встречную Декларацию Совета?

А вот, на двух листах бумаги вчерашние их попытки: один лист, крупный, неровно оборванный, принёс Нахамкис, и там один абзац от Гиммера, а наперёд сверху вставлен стрелкой снизу абзац от Нахамкиса, который должен стать первым. А на другом месте, у Милюкова,— абзац, который Милюков сам написал от имени Совета, после того, как соколовскую декларацию отвергли.

Стали теперь эти абзацы с двух листов смотреть и сочетать. И чего вчера не могли добрать измученные ночные головы, теперь видели глаза: ничего, кажется пойдёт. Гиммер писал, что нельзя допускать анархии и надо пресекать грабежи и врывания в частные квартиры,— так вашими устами и мёд пить. А Милюков вместо разбойных соколовских разоблачений офицерства писал об офицерах, кому дороги интересы свободы, и как ради успеха революционной борьбы надо забыть их несущественные проступки против демократии, и нельзя клеймить всю офицерскую корпорацию в целом. Что ж, достаточно оговорено насчёт революции и демократии, так что Совету приемлемо.

Пошутил Гиммер, что Павел Николаевич левеет и скоро будет рабочим депутатом.

Но Нахамкис — не шутил (хотя вообще, в революционной среде, он очень любил анекдоты). И больше всего не шутил в его новом абзаце, написанном разборчиво, чуть внаклон, крупно, как бы с плечами у многих букв. Этого абзаца Милюков вчера не видел, читал теперь в первый раз.

Говорилось там о новом правительстве очень отстранённо — вот, дескать, новая власть — объявляет, обязуется, некоторые реформы должны демократическими кругами приветствоваться (те самые, продиктованные Советом),— и *в той мере*, в какой нарождающаяся власть будет действовать в направлении этих обязательств,— в той мере и демократия должна оказать ей свою поддержку.

Вот это „в той мере" очень не понравилось Павлу Николаевичу: вчера, при наших обязательствах, вы обещали нам поддержку безусловную. А ваша вот — и условная, и очень уж сдержанная.

Нахамкис и не волнуясь и не торопясь:

— То было вчера. С тех пор мы продумали. Выслушали мнение Совета...

Да, куй железо, пока горячо, надо было кончать вчера. Вчера они примирялись больше. А теперь Нахамкис был непреклонен.

Но опасался Милюков слишком торговаться, как бы не разрушить так трудно доставшуюся власть. Без Совета справиться с массами невозможно.

А оба советских ещё упрекали его и даже нападали: как же он мог публично выступить до соглашения? Это уже нарушение честных переговоров. Зачем же вы вдруг о монархии, если мы решили не предрешать?

(Ах, Павел Николаевич и сам жалел.)

Выступил потому, что полное соглашение у нас вчера фактически состоялось,— а ждать невозможно.

А вот, Совет выдвинул новые условия.

Да какие же?

— Вот,— читал Нахамкис с другой бумажки, тоже неровной и мятой, запись во время пленума: — Правительство обязуется не пользоваться предлогом военных обстоятельств для промедления в осуществлении обещанных реформ.

Покрутил Милюков головой, губами, носом под круглыми очками:

— Ну, просто вы нас во всём подозреваете, в любой нечестности.

— Классовый инстинкт! — хихикнул Гиммер.

А Нахамкис дальше водил крупным пальцем по большим строчкам, ещё условие: декларацию Временного правительства должен подписать также и Родзянко.

— А это зачем? — искренно удивился Милюков и совсем не по-торговому на них посмотрел: — Ну, зачем? Ну, что такое Родзянко?

Навязывали ему наследственность от Думы и неповоротливость её.

Советские товарищи поняли этот вопрос, и даже были согласны, но... так решил Совет.

Заметил Гиммер, что Милюков уже начал сердиться, слишком много изменений. Сейчас одна неосторожность, Милюков прекратит переговоры, соглашение лопнет — и лопнет великий замысел навязать буржуазии безвластную власть. А сам Совет никак не способен создать аппарат управления, всё пойдёт прахом, и революция погибла.

И он забрал со стола перед Нахамкисом те четыре условия Совета, ещё оставалось два непрочитанных, какое имеет значение, что там накричат на бесформенном Совете, это не были настоящие условия. Нахамкис как докладчик держался за ту бумажку, а Гиммер нисколько.

А обязательства правительства? Да, вчера согласованы, не будем к ним возвращаться.

Обрывок, на котором Нахамкис делал записи во время советского митинга вчера, был пока их наилучшей аутентичной записью. Ещё был листок, где Милюков для себя их вчера повторял, но сокращённо. Ещё был — отчётливый красивый список нового правительства, написанный Милюковым,— а перед ним красивая преамбула, что „Временный Комитет Государственной Думы при сочувствии населения и при содействии столичных войск достиг такой степени успеха над тёмными силами старого режима..." И Милюков очень опасался, что сейчас будут атаковать эту формулировку: а где тут Совет Рабочих Депутатов? а неужели вы сделали больше, чем столичный гарнизон? — и тогда опять спорить, и переписывать, и пропал весь эффект. Но к его радости — смолчали. А дальше стояло: „Общественный кабинет из лиц, заслуживших доверие страны своей прошлой деятельностью",— и тоже смолчали. Значит, список уцелевал. И только:

— Так не забудем, Павел Николаевич, припишите сейчас своей рукой.

Очень не хотелось Милюкову, усами пошевелил:

— Совершенно излишнее недоверие.

И приписал, макая в тяжёлую чернильницу:

„Временное Правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для промедления в осуществлении реформ."

— И мероприятий,— добавил Нахамкис.

— А — литературно это будет? Можно так выразиться? — реформ и мероприятий?

— Можно,— уверенно клал лапу на документ Нахамкис.

— Можно,— сказал Гиммер.— Мы все трое — писатели, и с достаточным опытом.

Вот и всё. Теперь собрать подписи всех министров — для торжественности, как клятву, и Родзянки тоже. Вот и всё. (Они все уже не видели, забыли, что этот документ начинался как объявление думского Комитета — а теперь кончался от имени министров: неизвестно, что ж это и получалось.)

Но тоном необязательным, полуделовым, всё-таки Гиммер повторно укорил Милюкова:

— Хоть образ правления мы вам сняли, а зря вы, Павел Николаич, с монархией выскочили? Осеклись.

— Нисколько,— конечно возражал, конечно на своём Милюков.

— Да я вам скажу из своего опыта,— важничал Гиммер.— Вот сейчас, недавно, я выступал перед большой толпой. Встречали меня прекрасно, всё время одобрительные крики. Тем не менее потом стали выкрикивать насчёт династии — и уже совсем другим тоном. Это — вы их перебудоражили, Павел Николаич.

Правда, откуда же взялось? Ни вчера, ни позавчера об этом, как будто, никто и не вспоминал, никто и не кричал. Получалось, правда, так, что всё — от выступления Павла Николаевича? Но и нельзя зажмуривать глаза на будущее: без продолжения монархии не получить и нормального конституционного развития.

— Ну конечно,— предположил Милюков,— солдатам может показаться опасным возврат всякого царя. Как бы ближе к наказанию за восстание. Надо разъяснять, что это не так.

А Гиммер во-первых знал, что сейчас уже пишется ядовитая статья в завтрашние „Известия" против милюковского выступления. Во-вторых, он и сам не сконцентрировался на этом вопросе раньше, не придал такого важного значения: вопрос о реальной власти разрешался и независимо от судьбы Романовых. Да Совет был обеспечен от неожиданностей пунктом об Учредительном Собрании.

— Неужели вы надеетесь,— усмехнулся Гиммер и худые щёки его втянулись,— что Учредительное Собрание оставит в России монархию? Да все ваши старания пойдут прахом всё равно...

Показалось, что Милюков как будто чуть надувается: приподнялись его щёки, усы:

— Учредительное Собрание может решить что угодно. Если оно выскажется против монархии — тогда я могу уйти. Сейчас же — я не могу уйти. Сейчас же, если меня не будет — то и правительства вообще не будет.

Посмотрел на Гиммера, посмотрел на Нахамкиса. Достаточно предупреждая.

А про поездку Гучкова они, видимо, не знали и до сих пор! — неужели бы промолчали? Так выигрывалось время. А через несколько часов Михаил уже будет регентом, и Россия станет перед фактом. А не будет монарха — то, по сути, кто же претендует стать самодержавной властью? — да Совет: ведь он, вот, ставит условия существования правительства, он будет его контролировать.

Да, так что же со встречным заявлением ИК? На трёх разных бумажках начерно три разных абзаца — и теперь опять взаимно оспаривать и переписывать начисто? Уже надоело, и нетерпение было, особенно у Павла Николаевича: скорей оглашать, да начинать полноценную деятельность. А вот что. Так как в комнате имелся клей — то просто склеили эти три листа бумаги разной ширины и разными почерками. Первым пошёл абзац Нахамкиса, вторым — абзац Гиммера, а третьим — Милюкова. И всё это вместе будет называться „От Исполнительного Комитета СРСД".

Теперь оставалось: на милюковском чистом листе собрать подписи членов первого общественного кабинета и Родзянки (Милюков расписался первый), да перестукать на машинке, да отправлять в типографию, чтоб успело завтра... в газеты? но газет нет... Чтоб успело в „Известия" всё того же Совета депутатов. И — прокламацией для расклейки на улицах.

Все трое встали — и Нахамкис неожиданно обнял Милюкова, даже как бы прислонился поцеловать. (Милюков с горечью сообразил, что, значит, он что-то пропустил, проиграл.)

Нахамкис ушёл. Милюков собирал подписи министров, Гиммер наблюдал. Очень значительно, вальяжно уселся и расписался Родзянко — как будто его подпись только и решала всё. Он доволен был очень, что договорились. Он хотел, чтоб это скорей.

Потом Гиммер унёс всё в печать.

А Милюков обдумывал. Да, очевидно, он принял слишком тяжёлые для правительства условия. И, да, может быть за министерскими расчётами он упустил, что ещё резко может всплыть монархический вопрос. Пожалуй, да, не следовало сегодня объявлять это вслух. Но всё шло регулярно и неизбежно. Через несколько часов Михаил будет регентом, и вопрос исчерпается.

Тут подскочили к нему английский и французский корреспонденты: ведь Европа, ведь союзники хотели и имели право знать, что происходит в туманном и огненном Петербурге. И всем сердцем любя союзников, Милюков дал им первое правительственное интервью:

— Народный гнев был такой силы, что русская революция оказалась едва ли не самой короткой и бескровной в истории. Нынешние великие события увеличат народный энтузиазм, умножат народные силы, дадут им, наконец, возможность выиграть войну.

— А какова будет судьба монархии?

— Новое правительство считает необходимым, чтобы регентство было временно возложено на великого князя Михаила Александровича. Таково наше решение, и изменить его мы не считаем возможным.

(Пока напечатают в Европе, пока вернется сюда, а дело уже сделается.)

345

Только в книгах можно было читать о таких моментах, никогда не мечтая попасть в их сладостно-ужасный водоворот. И редки те счастливцы на целую жизнь, отмеченные богами, кому удается пальцы свои приложить к величайшим событиям истории. Шульгину досталось вот уже два, самых крупных: позавчера без выстрела овладеть русской Бастилией, сегодня — ехать к императору за отречением. Это не только станет достоянием твоих внуков, не только твои знакомые еще много лет будут расспрашивать, но войдет в учебники, хрестоматии, изобразится в рисунках, как во все великие революции.

Здесь, вблизи, видишь тысячерылую чернь, грязь и мразь, несёшься по этим жутким извивам,— что делать, пусть и они. Ты должен готов быть растерзанным в любую минуту — но, надо признать, как легчают ноги, как будто отчасти летаешь, надо признать.

Упоённый этой необычностью, для себя — Шульгин ничего не хотел. Он — и не вошёл в правительство, взяли кого-то другого, и неважно. Он и сейчас хотел не славы, а только соучастия в трагической и великой минуте.

Как падающая звезда прочерчивает небо сияющей чертою, так пронёсся и ком событий по русскому небу, и Шульгин упоён, что и ему доводится там быть сверкающей искринкой. Он не вошел в правительство, но — да здравствует новое правительство, и будем все поддерживать его всеми силами, ибо враг у ворот России. Если мы мощно поддержим эту горстку отважных людей из Таврического дворца — мы спасём страну.

Пусть это странно, оглушительно и ново — что будет с нами самими. Не время задумываться, не будем задумываться, будем верить!

Мысль отказывалась охватить! Еще четыре дня назад, в воскресенье, когда так таинственно замер и так прекрасен был Петроград перед обвалом,— Шульгин оскорбился бы, если б ему сказали, что вот — когда? в четверг — он осмелится ехать предложить Его Величеству отречение!

Но переворот произошёл так неслыханно легко, бессопротивно,— что, вот, он ехал, и казалось ему уже однозначно: Государю и нельзя остаться царствовать.

Да уже этой всей зимой нет-нет да казалось Шульгину, увлечённому неистовыми речами Пуришкевича, всей волной негодования даже дворянских кругов: нельзя этому режиму дальше существовать! Так докатятся они и до цареубийства!

Да как же Государю остаться царствовать, если месяц за месяцем из общества ему и его супруге бросались в лицо все резкие обвинения — а он никогда не ответил.

Никто никогда ни на одно не ответил.

Одним своим молчанием он почти утерял престол до всякой революции.

А сейчас, когда всё разверзлось и грохнуло...? Там, под сводами Таврического, рядом с Советом рабочих депутатов и видя эти прущие, орущие толпы,— уже почти и представить нельзя, что Государь по-прежнему существует, действует, правит Россией?

Очевидно, ударил час...

Или, может быть, это от неполноты сознания, от смутности в голове, от бессонницы, от усталости? — но как-то перестал видеться другой исход. Наоборот, все поиски выхода для России вытекают — к отречению. Для того, чтобы спасти сам трон и династию.

И разве мало знает история примеров, когда переход власти от монарха к монарху — к сыну, брату, племяннику, дяде,— спасали трон, спасали монархию?

Спасти монархию, пожертвовав монархом.

Ну, и ещё многими бюрократами, конечно.

Это — и самое разумное решение. Если отречение — то революции сразу как будто и не станет, власть мягко перейдёт к регенту, назначится новое правительство, всё законным путём.

В Девятьсот Пятом тоже могло быть сотрясение страшное, но тогда так не был подорван кредит власти, тогда на защите её неколебимо стояла вся гвардия, не бунтовала армия, младшие офицеры не усумнялись выполнять приказы, и так в разгар волнений и вопреки смертным угрозам мог продолжать публиковаться правый „Киевлянин". И когда на балконе киевской думы стали ломать царскую корону,— толпа, слушавшая революционный митинг, ахнула от ужаса, и руки протягивались поднять обломки от унижения.

Но если бы в сегодняшнем Петрограде так — то уже не бросились бы поднимать...

Ах, как много потерял за эти годы Государь! И как много — трон.

Но трон — ещё можно, ещё надо спасти, спасать!

Шульгин едет — именно для того,— вот такая мысль созревала в нём: именно для того, чтоб облегчить Государю отречение. Ведь Государь хорошо помнит Шульгина, ласково с ним разговаривал на приёмах. Шульгин — природный монархист, хотя и член Прогрессивного блока, но самый правый. Он примет отречение тактичней всякого левого, облегчит Государю этот горький момент. Его присутствие рядом с Гучковым, известным ненавистником трона, многое смягчит. В руки верного восторженного монархиста Государю легче будет передать акт.

Только этот акт — не выписывался никак. Не складывались мысли, не складывались фразы. Оттого ли, что такая усталость? что голова разболелась?

С Гучковым мало говорили в пути, оба перегружены впечатлениями. Шульгин набрасывал что-то, уже в тёмном вагоне, при свете свечи и в покачке,— но сам был очень недоволен.

Ну, „в тяжёлую годину", это конечно... „тяжких испытаний для..." Тавтология, а иначе не получается... „Вывести империю из тяжкой смуты перед лицом лютого..." „Мы за благо сочли, идя навстречу желаниям всего русского народа..."

А разве — это желание всего русского народа?..

А — как иначе мотивировать?..

„...сложить бремя вручённой от Бога власти... Во имя величия возлюбленного русского народа... Призываем благословение Божье на сына нашего... а регентом..."

Нет, не получалось.

Да и неряшливо выглядела бумага.

Может быть надо было больше волноваться? Но уже столько волновались эти дни, наступило отупение.

И он снова — отдавался мечтам. Или воспоминаниям.

Воспоминаниям — о встречах с Государем. На приёме волынской делегации. На торжественном приёме в Зимнем дворце. На молебне в Таврическом. Вспоминал несравненно-милую улыбку Государя, его никогда не преодолённую застенчивость, нервное подёргивание одним плечом, его низкий, довольно густой голос, чёткую ясную речь с лёгким гвардейским акцентом, его поразительно спокойный взгляд.

Христианин на троне.

Ехал — и любил его. Ехал — и радовался, что ещё раз увидит. Ехал — и надеялся смягчить, облегчить ему роковую неотвратимую минуту.

И вдруг — его прорезало воспоминание: второе марта. Избегнуто страшное первое марта,— но что случилось второго?

Ах, 2-го марта — да ровно десять лет назад — обрушился думский потолок.

Так вот к чему было это пророчество!

346

Тревожное тягучее ожидание Ставкою отречения прервалось самым неожиданным образом: с аппарата Ставки принесли телеграмму, направленную не в Ставку, но мимо Ставки — на Юго-Западный фронт, и даже мимо Юго-Западного — командующему корпусом генералу Корнилову: о том, что он назначается Родзянкою командовать Петроградским военным округом!

Каково?! Как быстро расшатываются устойчивые понятия! Едва начали главнокомандующие неуставные сношения с Родзянкой,— и вот уже он,

пренебрегая и Ставкой, назначает прямо Корнилова, снимая его с фронта?

Задержали телеграмму, разумеется.

Но следом подошла смягчительная телеграмма Родзянки в Ставку. Он ещё раз объяснял, почему Временный Комитет Государственной Думы вынужден был взять власть, а теперь передаёт её Временному Правительству. Что и войска, и всё население, и даже члены императорской фамилии признают только эту власть. Но уже для последнего полного порядка, а также для спасения столицы от анархии — необходимо командировать в Петроград доблестного боевого Корнилова — во имя спасения родины и победы над врагом, чтоб не пропали даром неисчислимые жертвы войны.

Интересно, что от ночных слов Родзянки об отречении здесь не было и намёка.

Не успел Алексеев хорошо разобрать этот ребус — пришла поддерживающая телеграмма от генерала Главного штаба: просилось и в ней безотлагательное командирование в Петроград доблестного генерала Корнилова — также для спасения столицы от анархии, но ещё и от террора...

Ещё и от террора?? Где ж „успокоение"?

...и для опоры думскому Комитету, спасающему монархический строй. Объяснение же давалось другое, чем у Родзянки: что среди войск ведётся разрушительная работа и пропагнда Совета рабочих депутатов, не дающая поставить войска под команду офицеров, так что они переходят на сторону крайней левой рабочей партии.

О-го! Картина в столице представлялась весьма и весьма опасной.

Приходилось выполнить просьбу.

Но где предел обхода устава? Если никто не смел вызвать Корнилова, минуя Ставку, то и Алексеев не мог произвести такого важного назначения без Верховного Главнокомандующего.

Который, как ни устранил себя сам от реального руководства — но и не отказался ещё от него. И находился вполне доступно в штабе Северного фронта.

Оставалось посылать во Псков всеподданнейшую просьбу Верховному на основании телеграммы Родзянки: дать разрешение на отозвание генерал-адъютанта Иванова с этой должности (Родзянко, между прочим, забывал, что не может быть двух командующих в одном округе) — и откомандирование туда Корнилова.

Между тем Брусилову дать предварительную телеграмму: быть готовым к такому откомандированию, боевой генерал с популярным именем может повести к водворению порядка.

Брусилов вскоре отозвался, и неудовлетворительно: к этой должности Корнилов мало подходит, прямолинеен, чрезмерно пылок.

Ревновал, конечно. Да даже и прав: в нынешнюю петроградскую обстановку надо было посылать дипломата, подобного самому Брусилову.

Но назначение — верно задумано. И надо с ним спешить, спасать столицу. И даже не побрезговать Воейковым: передать ему просьбу наштаверха ускорить назначение Корнилова.

Да — там ли ещё литерные поезда?

Да, да, подтверждал Псков, литерные поезда никуда не ушли, но во вторичной беседе главкосева с Государем обстановка видоизменилась, следует быть осторожным. По поводу Манифеста об отречении нет пока указаний. Но сам Данилов думает, что надо подготовиться к его скорейшему выпуску.

А текст уже и был готов!

Передали его во Псков.

Чем могла, Ставка помогала.

Штаб Северного не торопился с ответом.

Снова запрос ему: да передали ли Государю?

Всё передали. Но есть опасение: не оказался бы проект и этого манифеста запоздалым.

Как, и он опоздал?.. Ну, наваливались события! Чего же тогда ещё?

Есть частные сведения, что такой манифест уже опубликован в Петрограде по распоряжению самого Временного Правительства.

Как это может быть? Тогда не отречение, а свержение??

Да, действительно надо торопиться, чтобы было благопристойное отречение.

Даже уравновешенный Алексеев потерял способность заниматься рядовыми делами, только нервно ждал.

Тем временем с Балтийского флота принеслась от Непенина самая свежая, но и отчаяннейшая телеграмма: что он с огромным трудом удерживает в повиновении флот и уж конечно присоединяется к ходатайствам об отречении. Если это решение не будет принято в ближайшие часы, то последует катастрофа с неисчислимыми бедствиями для родины.

На Алексеева эта телеграмма как хлестнула валом, ударила в лицо. Балтийский флот — на грани анархии!

Если немножко точило его какое-то сомнение весь день, то этим ударом вышибло. Всё равно! — только отречение! И как можно скорей!

А с Черноморского гордый Колчак так и не ответил ни слова.

Лишь в половине десятого вечера пришло согласие Государя на назначение Корнилова и отозвание Иванова.

А о манифесте — ни слова... Когда же?..

Теперь-то, внутренне выполнив обязательный служебный цикл, мог разрешить себе Алексеев и вольность: в ответе Родзянке уже не упоминать процедуру с государевой подписью, может быть сомнительную и устаревшую, но: *моим* приказом командир 25-го армейского корпуса генерал-лейтенант Корнилов назначен командующим Петроградским округом.

Через Родзянку пытался Алексеев снестись и с Ивановым: отозвать его окончательно в Могилёв.

И опять переговаривались с Северным фронтом: когда ж, наконец, они пошлют офицеров связи к Иванову? И где он находится?

Где находится — сами не знаем.

Закрадывалось к Алексееву подозрение, ведь он был прост, а Государь уклончив и скрытен: а не ведёт ли он двойной игры, и пока обещает манифест — не двигает ли Иванова куда-то дальше? А сам — вот улизнёт из Пскова, так и не даст отречения?

Как там с литерными? На месте ли?

Да, да. Приехали Гучков и Шульгин и приглашены в вагон к Государю.

Ну, наступили исторические минуты.

Добивались и с Кавказского фронта, для Николая Николаевича: отрёкся уже или ещё не отрёкся? Августейшему Главнокомандующему чрезвычайно важно знать.

Напряжённо ждала Ставка каждого нового сообщения с аппарата.

А ленты текли самые ничтожные, никак не в уровень с событиями. От Квецинского: что из Великих Лук на Полоцк едет какая-то депутация до 50 человек от нового правительства и обезоруживает на всех станциях железнодорожную охрану. Затем и Псков подтвердил, что от Бологого поехало три таких депутации по трём направлениям и обезоруживают жандармов. Говорят — уполномоченные нового правительства.

Просил теперь Эверт снестись с Родзянкой и уговориться всё же о таком правиле, чтоб о всяких командировках на фронты сообщалось бы главнокомандующим предварительно. Не самозванцы ли едут?

Совсем не час был заниматься этой депутацией, и Алексееву не до того, и Родзянке,— но поезд продвигался и в зоне военного командования разоружал военную охрану!

Пришлось Алексееву телеграфировать Родзянке, что этак, правда, нарушается существующий в армиях порядок, должно же новое правительство с ним считаться. Просит наштаверх не отказать преподать указание: что ж это за депутация?..

347

Ну что ж, если новое правительство уже было составлено, и обнародовано, и согласовано с Советом депутатов — так отчего бы ему и не начинать осуще-

ствлять власть? Правда, день был — объявительный, торжественный, и уже опять к ночи,— но ведь обстоятельства не терпели. Да и удобно, что члены правительства в большинстве как раз все здесь, ещё не разошлись.

Правда, они не были в комнате одни: тут же, деля с ними клочки столов, хаотические стулья и места на диване, теснились и члены временного думского Комитета. Все эти дни физически люди не разъединялись, они были — единая головка Думы, секреты общие, разговоры общие. Но составилось правительство, и прошла новая изломистая грань между ними, пока ещё стеклянная, ещё видно насквозь и голоса слышны,— а уже решительная грань. Керенский перестал быть чужим, советским, перестал быть чужим Терещенко, а уж тем более князь Георгий Евгеньевич,— а вот члены думского Комитета, вчера, даже сегодня утром неразличимо свои,— уже ощущались явно как чуждые и мешающие. (Так точно, как три дня назад, незаметно, чуждыми и мешающими ощутились члены бюро Прогрессивного блока, не вошедшие в Комитет: кажется, с Блоком прошли такую полосу думских битв, с Блоком вышли к победе,— а вот, уже и отдалённые.)

И сейчас члены правительства, готовые начать заседание, но не имея для того отдельной комнаты,— владея всей Россией, но не имея комнаты для заседаний,— несколько смущались и переглядывались. Они сами ещё не знали, о чём будет их заседание, насколько конфиденциально потекут их разговоры,— но было бы профанацией их нового министерского звания вести беседу при посторонних.

Очевидно... очевидно надо было попросить остальных выйти, оставив им эту последнюю, тупиковую, комнату.

Но небесноглазый добрейший князь Георгий Евгеньевич не мог решиться вымолвить такую невежливость.

Доставалось проявить твёрдость Милюкову? Он мог, конечно, но печально, что по первому ничтожному поводу, с первого волоска, ему уже приходилось заменять собою премьер-министра.

Однако он не успел достаточно нахмуриться и шевельнуть сероватыми усами, как обер-прокурор Святейшего Синода, подкоротивший разбойную бороду, но с такой же безуминкой в прыгающих бровях и блистающих глазах,— глядя прямо в лоб помятого, но всё ещё величественного Родзянки, выпалил более несдержанно, чем даже требовалось:

— Господа члены Комитета! Мы, члены правительства, желали бы остаться наедине.

Грубо, но отметим, что этот второй Львов в иных случаях может очень пригодиться.

Родзянко, как дразнимый бык, посмотрел на задиру Львова. На других. Пощурился. Изумление выразилось на его крупном лице: в собственном здании Таврического теснила его революция, буйные толпы,— но чтобы свои думцы?

Однако и... И возразить как будто было нечего.

И он понёс свою печаль в другую комнату.

А — только бы Родзянку вытолкнуть, остальные выталкивались уже легко.

И вот — новое правительство осталось само с собою и — рассаживалось. Кого не было? Гучкова. Шингарёва. Этот всё дорабатывает в продовольственной комиссии. Ну, пусть.

Как новенький серебряный рубль среди потускневших, изо всех выделялся новый министр финансов Терещенко — такой свежий, молодой, одетый взыскательно, нисколько не сбившаяся бабочка на свежейшем крахмальном воротнике, такой белейший уголок платочка из нагрудного кармана,— при остальных помятых и неприличной чёрной куртке Керенского.

Рассаживались. Пусть не за единым большим столом, а кто где, малоудобно,— но трудно было не почувствовать великую минуту России. Исполнилась вековая мечта народа! О чём грезили массы, за что отдавали жизнь борцы,— первый общественный кабинет России, одарённый народным доверием, и ответственный не перед царём, а перед парламентом,— вот, наконец, собрался, начинал работать!

Вся история России делилась этим моментом на две эры: эру неволи и эру свободы.

Так. Все друг друга более или менее видят и слышат. Так. А ведь — нет секретаря. Ни одно заседание, ни один шаг этого правительства не могут миновать журнала заседаний. Формируясь, как-то не подумали о секретаре. Надо будет подыскать, и — высокообразованного, талантливого, просто выдающегося человека. А пока сейчас...? Оглядывали друг друга и не могли найти секретаря. Министр просвещения? — не справится. Коновалов — тоже не успевает, медлителен. Владимир Львов? — слишком нервный. Терещенке неудобно предложить, а уж Керенскому — тем более: и самый левый и вечно деятельный, комок энергии, он может в любую минуту вскочить и убежать, никого этим не удивив. И получалось чуть ли не что — опять Милюкову?

А какая же повестка заседания? Это не было подготовлено.

Керенский — сидел здесь из чинности, из приятства, но он не нуждался в соображениях министров, что ему делать с юстицией: программа ясна — расширять свободу безгранично, и он уже начал.

Так же и Милюков, тончайший специалист в нюансах международных отношений, не нуждался в советах своих коллег, знал сам.

Тактичнейший председатель, князь Георгий Львов, руководил заседанием с величайшим внутренним смущением. Как ужасно отличались условия взятия власти от того, как это представлялось всегда раньше! Уже сегодня днём кричали в Екатерининском зале, что князь Львов возглавляет общественность только цензовую. И как же теперь это общественное недовольство ввести в русло? Крайне сомнительные условия — и почему именно он должен нести ответственность?

Однако видя, что его коллеги не спешат высказываться, князь Львов в осторожной форме выразил сам ту мысль, что, приступая к деятельности, новое правительство нуждалось бы определить объём своей власти. Вдаль во времени эта власть ограничивается предстоящим Учредительным Собранием.

Да. Как ни замечательно, что они получили власть, но на Учредительном Собрании их власть должна неизбежно окончиться.

А — д о этого? А до этого хотелось бы, чтобы власть была как можно более полной и суверенной. Это надо обосновать теоретически: к кому именно перейдёт полнота власти? Правильно было бы считать, что она переходит именно к правительству. Неправильно было бы считать — что к Государственной Думе. Представляется весьма сомнительным, чтобы Дума могла возобновить свои занятия в этой обстановке: правая часть депутатов утеряна, они не посмеют явиться; да и вся Дума, избранная по столыпинскому закону, окажется слишком правой для нынешнего течения событий. Да и — переизбираться ей этой осенью. Она будет сейчас только стеснять правительство.

Да ведь и есть некоторые деликатности — ну, хотя бы, как подобрались министры, как сложилось правительство, какие отношения с Советом,— не всё это можно огласить в Думе. Удобнее действовать без думских заседаний.

Родзянко этого, конечно, не вынесет. Ему открыто об этом даже и говорить нельзя.

Но если стеснительна была бы Государственная Дума — то тем более думский Комитет, зачем тогда он? Это некий дубляж правительства, это совсем недопустимо.

Но и этого, тем более, пока нельзя высказывать Родзянке.

В чём будет, господа, особая сложность деятельности нашего правительства? В том, что, как всем ясно, весь состав основных законов Российского государства перестаёт существовать в один миг. А новые законы выработаются ещё очень-очень нескоро. Итак, мы будем действовать как бы в безвоздушном пространстве. Вот почему нам особенно нужна полнота власти. Нам предстоит не только исполнительная деятельность, но и законодательная. Мы — сами должны выработать те нормы, которые будем признавать соответствующими в данный момент.

Продуктивно бы устроить как бы такую продлённую, перманентную 87-ю статью.

А если ещё учесть общую анархию? И что нам придётся считаться с мнением Совета рабочих депутатов?

Господа, такого вмешательства в наши действия мы не можем допустить, мы тогда перестанем быть правительством.

Но реальные обстоятельства заставляют нас считаться.

Ну, тогда надо как-то неофициально узнавать желания Совета депутатов — ещё до официальных заседаний совета министров. Да вот — через Александра Фёдоровича?

А вот, как раз, в частных контактах стало известно, что Совет рабочих депутатов высказывается за выдворение всех членов дома Романовых за пределы Российского государства.

Да-а-а-а?..

Наступила тяжёлая тишина. Страшная выдвигалась голова этого Совета рабочих депутатов: ведь на официальных переговорах согласились не ставить вопрос об образе правления, а вот в частных контактах наших доверенных коллег... Неизвестно кто, но тем страшнее, высказал мнение, что...

Но, простите, это выглядит как абсурд. Как же тогда может династия продолжать оставаться...?

(Тут ещё, час назад, прикатил по городу слух, что умер наследник. Звонили в царскосельский дворец доктору Боткину,— нет, жив.)

Может быть — для некоторых членов?.. Может быть — ограничить пребывание известными пределами, но внутри России?..

А некому было дальше ответить: ведь это — контакт, он был, миновал, не видно никакого лица.

Сидел Некрасов, остроусый, замкнутый, с горбинкой на носу. Выставил Коновалов толстые губы без движения. Именинно сиял Терещенко.

Так как все знали, зачем и куда поехал Гучков, то, может быть, не сегодня следовало этот вопрос обсуждать? Можно пообождать.

Но соотношение с Советом депутатов останется самой щекотливой проблемой правительства...

Теперь: какие деловые вопросы необходимо совету министров обсудить тотчас же?

Министр финансов возбуждает вопрос о праве выпустить бумажные деньги на сумму 2 миллиарда рублей.

Ну что ж, если это необходимо... Действительно, после такого государственного сотрясения...

А любезный милый председатель совета министров затрудняется (как это и можно было ожидать) одновременно выполнять две роли, ещё и министра внутренних дел. И поэтому он думал бы оставить за собой лишь общее руководство, а непосредственное заведывание делами министерства внутренних дел, всю практическую работу — передать своему помощнику в головке земсоюза, бывшему старшему делопроизводителю канцелярии Государственной Думы, очень обещающему Дмитрию Митрофановичу Щепкину... (Он помог князю Львову и в декабре, огласить самую резкую из противоправительственных резолюций.)

Первое пожелание премьера не могло же быть отвергнуто.

Значит, этот делопроизводитель невольно станет теперь как бы членом нашего правительственного кабинета?

Ну что ж... Ну, придётся...

348

А в десятом часу вечера Таврический дворец опустел: главные жители — бродячие солдаты, уже не боялись ворочаться к себе в казармы, уже знали, что их наказывать не будут, а скорей офицеров расстреляют. Хотя с дворцового входа стража ушла — но и во дворец уже никто не пёрся. Опустел и Екатерининский зал, где днём толпился постоянный митинг, опустело и крылечко хор, откуда постоянно кричал какой-нибудь оратор, опустели от брошюр столики агитаторов, уходили домой барышни, раздававшие брошюры,— и только на колоннах, приклеенные, оставались названия партий да лозунги, крупно коряво от руки: „В борьбе обретёшь ты...", „Пролетарии всех стран...",— по новым понятиям они были святы, и никакой пристав или служитель Думы не смел их снять. Да не осталось теперь ни приставов с цепью на груди, ни служителей, никто это здание, кажется, уже не убирал, и хорошо что кочегары не ушли, топили,— а уйди кочегары, и разбежалась бы цитадель революции. Много ободрали и попачкали красной шёлковой материи на скамейках, белые мраморные колонны стали рябые, в чёрно-пепельных точках от гасимых цыгарок, всюду на полах было наплёвано, насморкано, валялись окурки, разорванная бумага, и всё в грязи от сапог,— да вряд ли был смысл сегодня это всё убирать, завтра опять навалят. Выключили большие лампы, в полутёмном зале изгаженье меньше виделось.

В Купольном зале посвободнело: увезли из Таврического взрывчатые вещества, часть крупного оружия, мясные туши, что по делу, а что люди разобрали понемногу себе. А какие-то кули оставались, до сих пор стоял дизель, две швейных машины.

Смирно вёл себя 2-й этаж, с арестованными. Тесно набитые по комнатам, лёжа на полу, полицейские и жандармские офицеры и арестованные чиновники радовались, что они хоть и в тесноте да в безопасности.

Хотя и шныряли ещё люди кое-где по коридорам, через залы наискосок, по бывалому мирному времени это выглядело бы возбуждением, тревогой,— а сейчас казалось безлюдьем, отдыхательной тишиной, первым таким вечером. Огромная буйная невместимая революция, четыре дня бушевавшая тут, опростала дворец, вывалила куда-то прочь.

И в этот первый тихий и полутёмный час вышел на обход дворца его главный хозяин.

Если и всем думцам был оскорбителен загаженный вид Екатерининского зала — то каково ж Председателю! И нельзя приказать сдёрнуть эти отвратительные тряпки с надписями. Вся слава общественной России, собранная в этой Думе, в этом зале, вот теперь как гадко, неприглядно обернулась. Революция гигантски ступала в светящееся будущее, но оставляла мерзкие следы на паркете.

Отошла Революция! — вот сейчас первый раз это ощущалось, уже ушла куда-то вперёд от думских помещений.

И от самого Родзянки.

Собрался наконец тот Общественный Кабинет, который так долго маячил перед Россией, которого ждали, задыхаясь,— а самый крупный, а самый главный, а самый первый в него и не вошёл.

Поймут ли?..

Поймут ли, что он, своими большими руками совершивший всю эту революцию, отстоявший её перед троном и спасший от подавления,— вот, для себя самого ничего и не взял. Первый кандидат передо всею Россией — вот, не вошёл в правительство.

Должны оценить.

Хотя горько.

Он медленно ходил через зал. И старался думать о будущем. О том, как со славой вести теперь Думу, первый свободный русский парламент.

Вдруг послышался шум от входа из Купольного — громкие шаги и перебив голосов.

Это была группа офицеров — и направлялась прямо к нему, узнав конечно сразу.

Они так отмахивали руками на ходу, так нестройно громко говорили — даже непохоже было на офицеров. Один высокий драгун, двое егерей, трое измайловцев, старше капитана тут не было.

— Кого вы ищете, господа?

И — несдержанно, крайне взволнованно:

— Господин Родзянко!

— Ведь вы же опять...! Мы жить так не можем!

— Ведь вы же нас ставите в крайнее...!

Они говорили почти все сразу, и Родзянко, почти все сразу лица их видя, не успевал различить отдельных, а все они были на одно лицо — отчаянное.

Что ж оказалось? По казармам разнеслось, что сказал Милюков — остаётся династия Романовых, и началось буйство: не потерпим! будем убивать офицеров!

— Вчера ваши призывы, господин Родзянко, возвращаться в строй были поняты так же, нас грозились убивать, выгоняли из казарм... А теперь — опять. Господа! Подумайте же о нас! Что же вы делаете?..

Хотя и слова „династия", конечно, солдаты не знали, да и „Романовых" из пяти один,— но что-то происходило, не сошлись бы эти офицеры из разных полков сюда, в одно время...

А Родзянко тоже был человек и не мог обдумывать теперь хладнокровно. Ещё со вчера не утихла в нём собственная опасность, когда грозились убивать его самого,— и тем острей и сочувственней он перенял офицерскую тревогу, да со всем валётом своего могучего сердца:

— Ка-ак? — почти заревел он.— Опять??

Не могли так жить несчастные офицеры! Не могла так стоять славная армия! Не могла дальше так развиваться Россия!

— Пойдёмте! — скомандовал офицерам старый кавалергард и отправился впереди их кучки, так же размахивая руками и клокоча.

Он гнал скорей, чтоб это клокотанье не разорвало ему грудь, а — выбросить его Милюкову в лицо.

Там, в комнате, сидело их несколько, всё члены нового правительства, не принявшего в себя гиганта Родзянку,— и он как бы ворвавшись во главе этой кучки офицеров и сам коренной офицер, чего они, штафирки, перечувствовать не могли,— за всех громко бросил Милюкову:

— Что же вы делаете?! Из-за вашего заявления офицеры не могут вернуться к своим частям! Вы губите армию! После вашего заявления...! Теперь надо спасать офицеров, это наш долг!

Ещё и горькое удовлетворение испытывал он, выговаривая этому осмотрительному, сдержанному, злому коту Милюкову, из-за которого столько...

Милюков поднялся. Никогда не красневший, он, кажется, даже едва покраснел. О каком *заявлении* его — он сразу понял, уже накорили.

— Но,— возразил он твёрдо,— мы же не можем в угоду частным ситуациям... Если таково наше общее принципиальное мнение...— и оглядывал за поддержкой сидящих за столом министров — настолько новоназначенных, что ещё и сами не привыкли к звучанию этого звания.— Мы все так думаем и не можем...— Это прозвучало у него уже менее твёрдо.

Этот увалень Родзянко последние часы как скатывался камнем с горы, всех опережая в падении: уж он и торопил соглашение с Советом, уж он и подписался под его условиями. Лишь два часа назад он с гордостью открыл министрам, что держит постоянную связь с Михаилом и уже подготовил его к регентству, и может немедленно великого князя привлечь к делу. И вдруг вот — уже стряхивал и монархию?

Князь Львов за столом на бархатном стуле ровно и спокойно сидел, хотя и лицом к возбуждённой ворвавшейся группе. Смотрел ласковыми глазами. Не совсем понимая. Не переняв волнения.

И сидел другой Львов, верзилистый, с голым черепом и разбойничьей чёрной бородой, того гляди бросится кусать или бить? Он ляпнуть мог в любую минуту самое вредное.

А Некрасов лицо своё носил как готовую фотографию: можно сколько угодно её рассматривать в неподвижности и непроницаемости: усы не шевельнутся и прикрывают замкнутые губы от всякого выражения, ни одной живой черты на гладком лице, и глаза таинственные уставлены как уставлены.

Да уже знал о нём Милюков, что он — за республику. Во время министерского торга он это на бумажке писал, показывал, другим не слышно, и сам же бережно изорвал. И про офицеров он уже выражался, что они — действительно старорежимные, и агитируют за старый режим,— и вот ставят министров в неловкое положение.

И понял Милюков, что не от них троих он получит поддержку.

Ещё профессор Мануйлов сидел, министр просвещения, и от этого не ждать.

И, наконец, вертелся на своём стуле Керенский, с узкой отутюженной головой, то оглядясь на офицерскую группу с богатырём Родзянкой, то на дремлющих коллег по кабинету, на Милюкова, теряющего уверенность. Он был как бы гимназист, может быть и медалист, но сразу назначенный директором гимназии, и этим одним упивался, а образ правления? Ну просто смешно, ну всем известно, что он — за самую крайнюю республику.

И — кто же тогда в правительстве ещё поддерживал Милюкова с его несчастной идеей о продолжении династии? Гучков? Но пока он там во Пскове что-нибудь успеет — мы тут всё проиграем.

А самый верный монархист Родзянко, вот, стоял во главе гневных офицеров! Он так упрекал Милюкова, будто сам отрёкся от династии уже давным-давно.

И Милюков ощутил внезапную потерю всякой опоры — не то что пола, спинки стула, но даже — воздуха. Он мог бы читать им долгую лекцию о преемственности государственной власти, но безнадёжно было привлечь их на поддержку. Конституционная монархия была для него догмат, необходимая ступень развития к республике, и не приходилось доказывать этого однопартийцам-кадетам никогда, все думали так всегда, и весь Прогрессивный блок так думал,— и вдруг в один миг в этом новом сотрясённом мире Милюков остался среди всех один.

Да, все думали, что надо ему отказаться от своих слов!.. Зачем же вызывать новое раздражение, теперь уже против нового правительства?

Но он — не хочет отрекаться, он — так думает,— отпирался, необычно растерянный. Тут ещё и голоса не стало, он совсем надорвал его в зале.

— Тогда заявите, что это — не мнение правительства, а ваше частное личное,— выдвинулся Некрасов.

Вот так так, на первом же шагу предстояло отрекаться!..

И надо поспешить дать это заявление корреспондентам, чтобы появилось завтра в газетах.

349

С красными лентами через чугунную грудь и с красными флажками локомотив подкатил на псковский вокзал два вагона невдолге до десяти вечера и невдали от той платформы, у которой стоял царский поезд литер А. Парные часовые у Собственного поезда, чины охраны и свиты остолбенели, увидя при станционных фонарях, как из пришедшего служебного вагона выскочило несколько солдат с красными бантами в петлицах, а винтовки таща как удобней по неумелости,— зримое видение революционного Петрограда. Подошедшие вагоны остановились у соседней платформы лишь немного наискосок от царского салон-вагона. С задней площадки второго вагона гражданский молодой человек, тоже с красным бантом, заприметив станционных служащих да случайных прохожих, стал раздавать им листки. Брали, кто неуверенно, кто охотно. Расходились с ними. Приходили другие желающие взять.

Генерал Рузский непременно хотел перехватить депутатов, зазвать их к себе, минуя царя. Для этого он отдал распоряжения и сам не уезжал в город, сидел в своём вагоне на вокзале, а Данилов из города из штаба присылал сюда ему приходящие документы — ответные телеграммы Сахарова, Непенина, телеграмму о назначении Корнилова, затем разработанный в Ставке проект Манифеста об отречении. Рузский отсылал эти все документы Государю, сам избегая видеть его, желая сохранить при себе отречную царскую телеграмму,— и устоял при повторных требованиях, не отдал сокровища. Боялся он поворота государева настроения за эти лишние часы. Для того Рузский и должен был первый видеть депутатов, чтоб объяснить им, как далеко уже ослаб и подался царь, чтоб их давление оказалось не робче. Беспокоило его, что едет Шульгин, известный монархист, впрочем последние полтора года и верный член Прогрессивного блока. Петроградская обстановка загадочно колыхалась, переменялась, можно было ждать и поворота. Не успел Рузский погнать Родзянке заверительную телеграмму, что по его желанию Корнилов вот уже назначен в Петроград (не должный по службе этого слать, но благоприятно

представиться перед могущественным Родзянкой), как пришло — скорее слухом, чем донесением,— что несколько броневых автомобилей, не то грузовиков с вооружёнными солдатами движутся от Луги ко Пскову. И — как это надо было понять и что делать? Противодействовать войскам нового правительства Рузский никак бы не смел, однако и пускать возбуждённую банду в расположение штаба фронта — тоже?

Но как ни сидел он на нетерпеливых иголках в своём вагоне на другом конце вокзала, ничем больше не занимаясь, только ожидая,— упустил, доложили ему с опозданием.

И Гучков с Шульгиным тоже хотели сперва увидеть Рузского, чтоб узнать точно все обстоятельства и не сделать неверного шага. Но не успели они выйти из вагона и выслушать напряжённо-торжественный рапорт станционного коменданта (так приказал ему Рузский) — как вплотную к депутатам подошёл подстерегавший их флигель-адъютант и пригласил к Государю. И отказаться было невозможно: не только по представлениям вековым, но и — выглядело бы неуверенно, портило бы саму их миссию.

И грузноватый приземистый чуть прихрамывающий Гучков, в шубе богатого меха, и легко одетый тонкий высоковатый Шульгин в котиковой шапочке — пошли к царскому вагону, будто так и думали начать, спустились на рельсы, вступили на другую платформу.

По пути флигель-адъютант Мордвинов спросил Шульгина, что же делается в Петрограде, и тот, по молодости, по впечатлительности, не сообразуя со своею миссией, откровенно ответил:

— Что-то невообразимое! Мы всецело в руках совета депутатов, уехали тайком, и нас, возможно, арестуют, когда мы вернёмся.

— Так на что же надеяться? — изумился Мордвинов.

— Вот надеемся,— искренно сказал Шульгин,— что Государь нам поможет.

Вошли в столовую часть вагона. Скороход помог депутатам снять пальто. Через двери они перешли в салон. Он был залит ярким светом при зашторенных окнах, светло-зелёной кожей обиты стены, и лощёно чист, от какой чистоты депутаты уже отвыкали за эти дни в Петрограде. Пианино. Небольшие художественные часы на стене.

Тут встретил их с расторченными седыми усами худой глубоколетний желтовато-седой генерал с аксельбантами — министр Двора граф Фредерикс. Он многие годы сберегал высокую ровную фигуру, но теперь согнутье спины уже и крючило его. Однако он был безупречно наряден, и портреты трёх императоров в бриллиантах на голубом банте напоминали дерзким депутатам, куда они явились. У него было своё неотступное спросить о Петрограде — о разгроме своего дома и что жену увезли неизвестно куда,— но он находился при исполнении обязанностей выше его самого и ни о чём не спросил.

А Гучков, здороваясь с ним, это самое и выговорил запросто, или даже рассеянно, почти как говорят дежурную любезность: что дом министра разгромлен, и он, Гучков, не знает, что сталось с семьёй.

Гучков переступал тяжёлыми ногами, как победивший полководец, приехавший диктовать мир. А Шульгин застеснялся: он ощутил себя совсем не к императорскому приёму, не вполне помыт, не хорошо побрит, в простом пиджаке, уже четыре дня в таврическом сумасшествии. Только сейчас он сообразил, насколько далеки они от церемониала, насколько внешне не подготовлены присутствовать при великой минуте России.

Государь был в соседнем вагоне и тут вошёл — не обычной своей молодой лёгкой походкой, однако стройный как всегда, ещё и в пластунской серой черкеске с газырями, в полковничьих погонах. Лицом он был отемнён и во многих глубоких морщинах, набежавших за последние дни. Он не стал церемонно, чтобы к нему подходили, но сам подошёл и очень просто здоровался, в пожатии у него была крепкая рука.

Дожил император! Своего семейного, личного врага он ожидал как избавителя и сердцем торопил встречу все эти ужасные семь часов от дневного отречения до приезда депутатов. За эти семь часов он выдержал со свитой чай, обед. И читал подбодряющую телеграмму Сахарова. И безнадёжную Непенина: что если отречение не будет дано в несколько ближайших часов — наступит катастрофа России. И в телеграмме Алексеева уверенное заявление Родзянки о сформировании самозванного правительства, и как оно само себе выбрало генерала на Петроградский округ. И несколько раз перечитывал проворно подготовленный дипломатической частью Ставки Манифест об отречении, впрочем благородный.

Вероятно (он боялся) в этот раз глаза его не скрыли и растерянности и надежды: может быть, депутаты привезли ему смягчение? Он спешил угадать: что привезли? Он готов был на ответственное министерство и готов был своего ненавистника Гучкова сделать председателем совета министров (и потом работать с ним и сносить его доклады),— только бы окончилась эта мучительная тяжба с Петроградом, а сам император мог бы беспрепятственно следовать в Царское Село.

Так известны были здесь все лица, что встречавшим не пришёл даже вопрос — спросить у приехавших полномочий от Государственной Думы на этот приезд и переговоры. А депутаты даже ни минуты не подумали ни в Петрограде, ни по пути о таких полномочиях.

Они сошлись как лица несомненные и в обстоятельствах несомненных.

Несомненных — но достаточно ли известных Государю тут, во Пскове?..

Государь сел к небольшому квадратному столу у стены, с каждой стороны на двоих, слегка ослопясь о зеленоватую кожаную обивку стены. Гучков и Шульгин — по другую сторону, против него, Фредерикс — на отдельном стуле, посреди комнаты. В углу за другим маленьким столиком — свитский генерал Нарышкин, начальник военно-походной канцелярии, занёс карандаш над бумагой, записывать.

Понимая, что главный из двоих — Гучков, Государь именно ему кивнул говорить.

О, сколькое мог Гучков высказать этому человеку! Сколько уже было между ними докладов — в Девятьсот Пятом и Шестом году принятых доверительно, так что возбуждалась большая надежда на действие; потом, председателем 3-й Думы, непонятых, отвергнутых. И ещё сверх того в разное время сколько готовил Гучков мысленных докладов царю, монологов к нему, разоблачительных писем! Не изгладился, не забылся ни один рубец минувшего десятилетия. Но — ускользнул уклончивый венценосец ото всех тех монологов, утекло время,— и выговаривать всё то сейчас упречно — было поздно, разве только наслаждением мести. И — улавливал Гучков сейчас в глазах царя и невраждебность, и — неуверенность.

Так надо было идти кратчайшим путём прямо и — доломить августейшего собеседника, не дававшегося никогда до конца.

И Гучков стал говорить — просто, по очереди, как оно всё есть:

— Ваше Величество. Мы приехали доложить о том, что произошло за эти дни в Петрограде. И вместе с тем... посоветоваться,— (это он удачно выразился),— какие меры могли бы спасти положение.

К чему он не стремился — это к краткости. Путь до конца и желательный вывод был ему чрезвычайно ясен, но и сам он не мог его выговорить без подготовки,— и тем более в подготовке нуждался император. Именно долготой, обставленностью, убедительностью речи мог Гучков лучше протолкнуть царя через предстоящую хлябь колебаний и сомнений. И вот он подробно рассказывал теперь, как это всё началось, сперва с разгрома булочных, с рабочих забастовок, разные случаи с полицией, как перекинулось в войска, какие пожары учинились, всё и правда стояло перед глазами,— эти пожары, и костры на улицах, автомобили со штыками, депутации к Таврическому. Каков паралич прежней власти. Как шли под снегопадом пулемётные ораниенбаумские полки... А затем — как и Москва присоединилась вся дружно и без борьбы. То, что в обеих столицах не было сопротивления, особенно важно было для его аргументации, да это и самое поразительное было: власть оказалась даже и не существующей!

— Вы видите, Ваше Величество, это возникло не от какого-нибудь заговора или заранее обдуманного переворота...— Он не задумывал так выразиться, но язык выразился сам, невольно влачась на место преступления, как тянет

часто преступника.— Но это — народное движение, которое вырвалось из самой почвы и сразу получило анархический отпечаток. И именно этот анархический характер движения наиболее пугал нас, общественных деятелей. И чтобы мятеж не превратился в полную анархию — мы и образовали Временный Комитет Государственной Думы. И начали принимать меры, чтобы вернуть офицеров к командованию нижними чинами. Я сам лично объехал многие части и убеждал нижних чинов сохранять спокойствие. Однако кроме нас в том же здании Думы заседает и другой комитет — рабочих депутатов, и мы к сожалению находимся под его властью и даже под его цензурой. Их лозунг — социалистическая республика и землю — крестьянам, а это захватывает солдат. И есть опасность, что нас, умеренных, сметут. Их движение захлёстывает нас. И тогда Петроград попадёт весь в их руки.

В таком раскрыве истинного состояния была, может быть, нерасчётливость, которой Гучков не учёл: ведь их Временный Комитет считали здесь всевластным правительством, только потому и переговоры вели, а иначе: кто они? зачем?

Но иногда встречая неприкрытые искренние глаза Государя, Гучков уловил, что в глазах его вот погасают какие-то слабые блески надежды, которые, кажется, были вначале. Такая полная правда имела, очевидно, влияние на Государя более верное: они, приехавшие,— умеренные, а не лютые враги престола, как рисовалось когда-то, и возникал наклон: не подчиниться им как реальной власти, но — помочь им как, оказывается, полусоюзникам.

Иногда Гучков взглядывал в лицо Государя, но большую часть речи даже и не смотрел, с приопущенной головой глаза в стол,— лучше ли сосредоточиться? или стесняясь слишком открыто торжествовать над давним врагом? Почему-то он избегал прямого взгляда.

Он волновался. Говорил глухим голосом, с остановками, не везде согласовав.

А Государь, полуспиной отслонясь к стенке вагона, тоже опустил голову и перестал смотреть на Гучкова.

Они разговаривали, как если бы были разъединены не этим столиком, но сотнями вёрст телеграфной проволоки.

А вот — безусловно убедительный и выигрышный поворот, который здесь должны почувствовать наилучше: что́ если мятежное движение перекинется на фронт? Ведь всё — горючий материал, и всякая воинская часть, попав в атмосферу движения, тотчас и заразится. Поэтому посылать против Петрограда войска — безнадёжно: соприкоснувшись с петроградским гарнизоном, они неминуемо перейдут на его сторону.

Такого случая ещё не было, с Бородинским полком произошло вовсе не то (впрочем, царь, наверно и не знает того случая). Однако Гучков не только пугал, но и сам был уверен. Ещё и развязный лужский гарнизон виделся ему — ведь это уже не Петроград, отчего бы не пошло так и дальше?

— Всякая борьба для вас, Государь, бесполезна. Подавить это движение — не в ваших силах!

Так ли, не так ли, сгущалось ли, чтоб отбить надежду у царя и скрыть, что вызывало растерянность самих думцев? Государь — не возражал, не оспаривал. Склонённая голова его была неподвижна, и лицо непроницаемо. Он сидел, кажется, самым спокойным из всех.

Он и всегда — волновался только перед решительным моментом, а с началом его успокаивался. А сейчас — совсем успокоился, узнав, что никакого облегчения ему не привезли. Вместе с последней надеждой он утерял и последнее волнение. С безразличием слушал — как что-то новое? или только проверял в себе решённое?

Ещё он про себя удивлялся, как прилично, не дерзко ведёт себя Гучков. Он ожидал оскорбительного поведения.

За дверью едко кого-то добранив, почему не прислали депутации сперва к нему, вошёл Рузский. Не спросил ни дозволения присутствовать, разве кивком головы, ни — сесть четвёртым за их столик,— а сел, через угол от Шульгина, с третьей стороны стола, досадливо перебирая шнуры аксельбантов.

В ровном голосе Гучкова стали выделяться молоточные нотки. Он как будто хотел, наконец, удостовериться, пронял ли он царя. Неумолимо рассказывал, как приходили приветствовать Думу и признать её власть — депутации Собственного Конвоя, Собственного железнодорожного полка, Сводного гвардейского полка и даже — царскосельской дворцовой полиции. Все, все доверенные, кто имел касательство к охране личности Государя.

И действительно, можно было заметить, что это Государя забирало: задвигались брови, дёрнулось плечо.

А Гучков истолковал невероятное спокойствие царя до сих пор — его пониженной сознательностью, пониженной чувствительностью, как думало о нём всё общество. Он и сам не забывал никогда поразительное спокойствие Государя на аудиенции в Петергофе летом 1906: рядом с восставшим Кронштадтом — такое невозмутимое спокойствие! Гучков тогда из этой царской безмятежности вывел, что — все погибнут, Россия погибнет. И сейчас он думал, что не может нормальный человек так спокойно выслушивать такие ужасные для себя вещи. А что Государь именно в мелкий момент выразил волнение, было доказательством того же: среди страшных дней России не это ли первое его поразило? Если б не измена конвоя — понял бы он, над какою пропастью стоит?

И, ещё развивая этот мотив: всем этим частям приказано продолжать охрану лиц, которая им поручена. Однако другие царскосельские части — в мятеже, и вооружена простая толпа, и о п а с н о с т ь (Гучков не вымолвил прямо: для вашей семьи) — конечно существует.

Он — сбивал императора со спокойствия.

Но тот — опять не выказывал ничего.

Всё-таки, несмотря на всю его простоту, что-то в нём не давало забыть, что он — царь.

Итак, думский Комитет — все сторонники конституционной монархии. А в народе — глубокое сознание ошибок власти и именно — Верховной власти. И поэтому нужен какой-нибудь *акт*, который воздействовал бы на народное сознание. Как удар хлыста, который сразу переменил бы всеобщее настроение. Напротив, для всех рабочих и солдат, принявших участие в беспорядках, возвращение старой власти грозит расправой над ними. У них тоже не стало выхода. Для всех — только один выход: смена власти. Единственный путь — это передать бремя Верховного правления в другие руки. Можно спасти и Россию, и монархический принцип, и династию, если, например, Его Величество объявит, что он передаёт свою власть маленькому сыну при регентстве великого князя Михаила.

Тут Государь первый раз перебил, довольно робко:

— Но достаточно ли вы подумали о впечатлении, которое произведёт на Россию...? В чём почерпнуть уверенность, что при моём уходе не будет пролито ещё больше крови?..

Гучков, тяжело коснеющий, и Шульгин, вдохновенно подвижный, в два голоса и в одну мысль ответили ему, что именно *этого* и хочет избежать думский Комитет. Что именно через отречение Россия уже безо всяких помех и при полном внутреннем единстве сможет кончить войну победоносно.

— Даже если судить по Киеву,— убеждённо выникал из молчания Шульгин,— общественное мнение теперь далеко отшатнулось от монархического. Если окажут сопротивление, то элементы малозначительные. Напротив, надо опасаться серьёзной междуусобицы, если отречение затянется.

Как, и — по Киеву? По древнему стольному монархическому Киеву?..

На этого известного, когда-то преданного и даже выдающегося монархиста, на малые острые франтовские усики Государь посмотрел, кажется, первый раз за разговор — и печально. И — не его, но снова Гучкова спросил:

— А не возникнут ли беспорядки в казачьих областях?

Гучков улыбнулся:

— О нет-нет, Ваше Величество! Казаки — все на стороне нового строя! Это ясно проявилось в Петрограде поведением донских полков.

Рузский занервничал: всё говорилось опять сначала, а Государь мог промолчать так и час, и отречения как будто не существовало? Гучков тратил

усилия зря! В кармане у Рузского лежала дневная телеграмма августейшей рукой!

Но не имея возможности вслух перебить при Государе и сделать от себя заявление (однако и сломить же надо этот невыносимый этикет!),— Рузский заёрзал, наклонился к Шульгину и, теряя приличие, якобы прошептал ему, на самом же деле так, чтоб донеслось и до Гучкова:

— Это — дело решённое, даже подписанное. Я...

Это — *он* сломил Государя! Это должно было стать известным!

А Гучков — не слышал, не понял! Перед встречею было бы довольно двух слов, чтобы теперь этого вовсе не говорить и не вводить бывшего императора в соблазн, что ещё можно уцепиться за уголок трона! Гучков — не понял, и с воспалёнными глазами за пенсне, со сбитым галстуком, вновь настаивал:

— События идут так быстро, что сейчас Родзянку, меня и других умеренных крайние элементы считают предателями. Они конечно против такого выхода, потому что видят здесь спасение монархического принципа.

Не сказал — „который дорог нам с вами", но только так и получалось. Обдуманная или сама собою, сложилась позиция приехавших так, что они — не противниками приехали, не контрагентами, но — даже союзниками, вместе с Государем спасающими все дорогие святыни.

— Вот, Ваше Величество, только при этих условиях можно сделать попытку — (ещё попытку только!) — водворить порядок. Вот что было поручено мне и Шульгину передать вам... И у вас, Государь, тоже нет другого выхода: какую б воинскую часть вы ни послали сейчас на Петроград, повторяю...

Уже совсем не выдерживая, туже насаживая свои стекляшки, Рузский поправил:

— Хуже того. Даже нет такой воинской части, которую можно послать.

Это — сильно было заявлено. Кому лучше знать, чем Главнокомандующему, самому близкому к столице?

(Но никто не высказал, да кажется и не подумал: а есть ли у Петрограда такая воинская часть, которую можно послать на Ставку?)

И вдруг сейчас, совсем внезапно и ни к чему, Государь понял, какого именно зверка ему всегда напоминал Рузский — хорька! хорька в очках, от сильных скул сплюснутые наверх виски. Верней — хорёнка, но со старым выражением.

Фредерикс грузно-опущенно сидел, будто дремал, и ему грозило свалиться со стула.

Гучков пропустил намёк Рузского, но и сам, своими глазами видел, что борьбы не будет, что царь близок к капитуляции.

Не замечая, он всё более говорил с этим человеком, недавно правителем, повелителем, который прежде мог его самого легко изгнать или арестовать (но не сделал так),— всё более говорил сверху вниз, поучая, как не вполне развитого и не вполне взрослого. И когда он уже необратимо доказал ему, что единственный выход — передавать престол, и не услышал возражений, он захотел проявить и великодушие:

— Конечно, прежде чем на это решиться, вам следует хорошенько подумать.— Уступая его психике: — Помолиться.— Однако и твёрже: — Но решиться всё-таки — не позже завтрашнего дня. Потому что уже завтра мы не будем в состоянии дать вам добрый совет, если вы его у нас спросите. Потому что — толпа крайне возбуждена, агрессивна, и от неё можно ожидать всего.

И выдержав паузу, Гучков снисходительно повторил:

— Может быть, Государь, вы хотели бы теперь уединиться? Для обдуманья, для молитвы?

Государь диковато-изумлённо посмотрел на Гучкова.

Гучков положил перед Государем смятую бумагу проекта отречения, составленного ими в пути.

Да, да, верно чувствовал Шульгин: почему правильно, что поехал сюда. Его присутствие здесь отменяет всякий оттенок насилия, унижения. Два монархиста — потому что и Гучков монархист, два воспитанных человека, без оружия, должны были тихими шагами войти к Государю и усталыми охрипшими голосами доложить происходящее. В такой обстановке не унизительно отречься монарху, любящему свою страну.

А Государь всё молчал, иногда разглаживая усы большим и указательным пальцем. Обвесив плечи совсем не по-императорски, а как самый простой человек. Посмотрел большими голубыми больными глазами. И после долгого этого выслушивания наконец сказал:

— Я об этом думал... Думал...

Рузский изводился, что не мог развернуть перед депутатами уже готовое отречение. Хотя как будто царь уже не был царь, вся его бывшая власть лежала, вчетверо сложенная, вот тут, во внутреннем кармане кителя у Рузского, однако власть этикета, внедрённая с юных лет, не отпускала. Объявить сам — он не смел. Но этот тон неспорчивый, эти растянутые „ду-мал" — как будто уже и были высказанным согласием? и открывали Рузскому право (вот как он придумал):

право вынуть из кармана и, самому же Государю возвращая, передавая через стол, сказать:

— Государь уже решил этот вопрос.

Очень удачный получился ход! — Государю отрезалось отступление!

Но Николай Второй, получив наконец в руки назад упущенное, чего целый день не умел от главнокомандующего взять,— не развернул, не объявил думским депутатам, а просто — спрятал в карман.

Он — украл своё отречение назад?? Какая ошибка генерала! Так глупо поддаться!

И Рузский приготовился сам теперь объявить, громко сказать, *что* в том документе, ещё не уничтоженном, ещё вот здесь, в кармане царя.

Нет, к облегчению Рузского царь не слукавил. Он искал сло́ва? Да. Но — не волновался. Да умел ли он волноваться? Этим средним человеческим качеством обладал ли он? Он был — спокойней их всех тут, как будто этот эпизод касался его менее всех.

Но — печален был откровенно. И так смотрел на Гучкова, не искавшего встречи взглядов.

Не обращаясь никак, он сказал однако явно одному Гучкову, голос его звучал очень просто:

— Я — об-думывал. Всё утро. Целый день. А как вы думаете? — робким тоном просителя отступил.— Приняв корону, может ли наследник до совершеннолетия оставаться при мне и матери?

И смотрел беззащитно с надеждой.

Гучков уверенно покачал головой:

— Нет, конечно. Никто не решится доверить воспитание будущего Государя тем, кто...— Голос его отвердел, это не о присутствующих,— ...довёл страну до настоящего положения.

— Значит — мне что же?..— тихим-тихим упавшим голосом спросил царь.

— Вам, Ваше Величество, придётся уехать за границу.

Государь покивал печально.

— Так вот, господа. Сперва я уже был готов пойти на отречение в пользу моего сына. Именно это я подписал сегодня в три часа пополудни. Но теперь ещё раз обдумав, я понял... Что расстаться с моим сыном я не способен.

Гучков резко поднял голову к царю.

Голос Государя был совсем не государственный. Но и не равнодушный, а дрогнул болью:

— Я понял, что... Надеюсь, вы это поймёте... У него некрепкое здоровье, и я не могу... Поэтому я решил: уступить престол, но не сыну. А великому князю Михаилу Александровичу.

И потупился. Ему трудно было говорить.

Депутаты удивлённо переглянулись, первый раз за всю беседу. Вступил Шульгин — поспешно, как боясь, что его обгонят:

— Ваше Величество! Это предложение застаёт нас врасплох. Мы предвидели только отречение в пользу цесаревича Алексея. Мы ехали сюда предложить только то, что мы передали вам.

Такое простое изменение, такая простая перестановка двух предметов,—

а депутаты совсем оказались к ней не готовы, и пославшие их не готовы, и никто об этом не задумался прежде...

Искал возраженье и Гучков:

— Учитывалось, что облик маленького наследника очень смягчал бы для... масс... факт передачи власти...

Все они там, в новом правительстве, в думской верхушке, рассчитывали на малолетие Алексея, несамостоятельность Михаила... А что ж получалось теперь?

— Тогда разрешите,— искал Шульгин,— нам с Александром Ивановичем посоветоваться?..

Государь не возразил. Но и не поднялся уйти.

Да и не ему ж уходить! Очевидно — выйти депутатам?

Но и они были в растерянности, не выходили. Да, кажется, Гучков и не искал советов Шульгина, он предполагал бы решить сам.

А у Государя — было своё неохватимо трудное. Но ему — не с кем было выйти советоваться, а вот их же, враждебно приехавших, снова спросить о том же:

— Но я должен быть уверен... как это воспримет вся остальная Россия.— И голубым растерянным взглядом искал ответа у них, избегая Рузского: — Не отзовётся ли это...— не нашёл, как выразиться скромно.

— Нет! нет, Ваше Величество, не отзовётся! — это-то Гучков знал твёрдо.— Опасность — совсем не здесь. Опасность, что если раньше нас другие объявят республику — вот тогда... Вот тогда возникнет междуусобица. Мы должны спешить укрепить монархию раньше.

Также и Шульгину этот вопрос был ясней той неожиданной заминки с наследованием. И он давно порывался вступить с монологом, зачем и ехал:

— Ваше Величество! — горячо, убедительно заговорил он.— Позвольте мне дать некоторое пояснение, в каком положении приходится работать Государственной Думе.

Описал, как наглая толпа затопила весь Таврический дворец, у думского Комитета — две маленькие комнаты.

— Туда тащат всех арестованных, и ещё счастье для них, что тащат, так как это избавляет их от самосуда толпы... Дума — это ад! Это — сумасшедший дом!

Но, кажется, такая горячая характеристика не укрепляла позиции приехавших депутатов? Шульгин исправился:

— Но мы содержим символ управления страной, и только благодаря этому некоторый порядок ещё может сохраняться. Вот — не прервалось движение на железных дорогах. Но нам неизбежно придётся вступить в решительный бой против левых элементов, для этого нам нужна прочная почва. Ваше Величество, помогите нам её создать!

Они просто умоляли, они ничего не вынуждали!

А Государь всё никак не мог увериться, не мог охватить:

— Но я хотел бы, господа, иметь гарантию, что вследствие моего ухода не будет пролито ещё новой крови...

О, как раз наоборот! Наоборот как раз! Только отречение и спасёт Россию от перспективы гражданской войны!

Действительно: зато — миролюбие. Зато — ни над кем никаких расправ.

А вот относительно изменённого Государем проекта — конечно, тут надо... Хотя бы посоветоваться четверть часа.

Но Гучков принял легче и быстрее. Да ведь он ехал сюда, зная несравненное упорство этого человека, ожидая самый изнурительный и быть может безуспешный поединок, так что пришлось бы вернуться лишь с ответственным правительством и с кусочком конституции,— а тут уже всё было сломлено, отречение — подавалось на блюде, цель долгой общественной борьбы — вырвана, надо брать, пока протягивают.

И — ему отказала ненависть к этому человеку, и он сказал великодушно:

— Ваше Величество! Конечно, я не считаю себя вправе вмешиваться в отцовские чувства. В этой области нет места политике и невозможно никакое давление. Против вашего предложения мы возразить...

Слабое удовлетворение проявилось на истерпевшемся лице Государя.

Отыскалась та точка, где он упёрся: в праве на единственного сына!

Депутаты не находились, и Государь не вынуждал их аргументов. Он тихо поднялся и ушёл в свой вагон, так и в руки не взяв привезенного депутатами проекта.

Не объяснив: давал ли он им перерыв подумать? Или уже принял решение сам?

В салоне разбрелись, закурили. Добавился неприглашённый коренастый генерал Данилов, до сих пор завистно переминавшийся на платформе.

Тут стали говорить, в голову пришло: что ведь должны бы существовать какие-то специальные законы престолонаследия, и не худо бы с ними справиться. Граф Нарышкин, до сих пор ведший запись беседы, сходил и принёс из канцелярии нужный том законов Российской империи. Листали, искали, может ли отец-опекун отречься за сына. Не находили.

Не находили видов отречения, но и самого раздела об отречении вообще — тоже не находили.

Двадцать лет боролись, желая ограничить или убрать царя,— никто не задумался о законе, вот штука.

Гучков и Шульгин теперь совещались, верней беспорядочно думали каждый своё.

Если Михаил станет центральной фигурой, то он может повести и неожиданную самостоятельную политику. Монархия может и не принять желанного приличного образа: чтобы монарх королевствовал, но не правил. Такой исход противоречил решению и желаниям Временного правительства.

Просто не успели договорить, сразу не сообразишь. Шульгин сказал бы, немного с романтикой: Ваше Величество! Алексей — естественный наследник, всем понятное воплощение монархической идеи. На нем нет пятен и упрёков. Найдётся немало людей в России, готовых умереть за этого маленького царя...

А может быть тут есть и свои плюсы? Если на троне останется царевич — очень трудно будет изолировать его от влияния отца и, главное, так ненавидимой всеми матери. Сохранятся прежние влияния, отход родителей от власти покажется фиктивным. Если же мальчик останется при троне, но будет разлучен с родителями реально, уедут они за границу,— это отзовется на его слабом здоровьи, да и будет он все время думать о родителях, и в его душе могут подняться недобрые чувства к разлучникам.

Критиковать — легче всего, и теперь Данилов предлагал Гучкову свою критику: не опасно ли принять порядок, не предусмотренный престолонаследием? не вызовет ли отречение в пользу Михаила крупных осложнений впоследствии?

Гучков перетолкнул надоедного Данилова к Шульгину. А Шульгин, про себя лихорадочно прокручивая, вдохновенно нашёл, вздумал ещё и так: если не дай Бог придётся и следующему монарху отрекаться (в этой обстановке — нечему удивляться), то Михаил может мирно отречься, а несовершеннолетний Алексей и отречься не может, и тогда — что?..

Тем временем Рузский, обиженный, что смазана вся его роль в отречении, порицал депутатов: как же они могли ехать по такому важному государственному вопросу и не взять с собой ни тома основных законов, ни юриста?

Да не ожидали они такого решения! Да нужно представить себе нынешнюю петроградскую обстановку!

Но вот важный довод: если трон займёт мальчик, то правомочна ли будет его присяга на верность конституции? А именно такой присяги думский Комитет и хотел, чтобы новый царь не мог восстановить независимости трона. От Михаила же сразу можно будет такой присяги потребовать. Михаил как регент должен будет отстаивать все полные права наследника. Михаил как царь может быть ограничен уже при вступлении, и это посодействует...

Гучкову не хотелось принимать государева варианта. Но утомлённый мозг не мог найти сильного аргумента против.

Да он так был поражён, до чего ж не сопротивлялся царь отречению! Десятилетия жившим под этой императорской махиной вообразить и ожидать

такое — было невозможно! Такой успех шёл в руки сам — как было его не брать? Одним шагом Гучков совершал уникальный поступок в русской истории, обуздывал, быть может, революционную смуту — да ещё и спасал монархический принцип!

Да кажется — их решения никто и не ждал. Государь не возвращался. Он счёл дело уже решённым? или ушёл ещё сам обдумывать?

Да рассуждать от обратного: если сейчас не согласиться — значит, отречения не будет вовсе? Значит, они уедут с пустыми руками. А при их положении таврических пленников — дело отречения просто передастся наглеющему петроградскому сброду, Совету рабочих депутатов? Худшая беда, которой надо избежать. Это будет — гильотина и республика...

Значит, надо брать такое отречение, какое дают. Тут и выбора нет.

Главное — скорей бы его получить, через час уже уехать, скорей бы объявить в Петрограде!

В салоне разговаривали. Умели они тут, при Дворе, держаться, но был раздавлен Фредерикс, голова его свешивалась. Гучков подбодрил его, что узнает, примет меры и выручит графиню.

За этот час на перроне между императорским и депутатским поездами собралось разных человек сто, читали раздаваемые революционные листки, покрикивали „ура!". Офицер охраны хотел приказать рассеять эту толпу, но флигель-адъютант остановил: Его Величество приказал никого не трогать и не разгонять.

К одиннадцати ночи крики на платформе всё усилялись и подступали к императорскому поезду. Под эти крики в другом вагоне и составлялся текст отречения. А Гучков, пользуясь пустой паузой, вышел на заднюю площадку салон-вагона и объявил возбуждённой толпе:

— Господа, успокойтесь! Царь-батюшка с нами вполне согласен. И дал даже больше, чем мы ожидали.

— Ура-а! ура-а! — ещё усилилось.

В четверть двенадцатого Государь вернулся — не более потрясённый, чем уходил, всё в том же самообладании, и протянул два листка, отпечатанных на машинке:

— Вот акт. Прочтите.

Все поднялись ещё при входе Государя, стояли теперь, и Гучков, а сбоку Шульгин, склонясь над столом, читали перебегами вполголоса.

— В дни великой борьбы с внешним врагом... Начавшиеся народные волнения грозят отразиться на ведении упорной войны... В эти решительные дни почли Мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение... и в согласии с Государственною Думою признали Мы за благо отречься от престола государства Российского... Не желая расстаться с любимым сыном Нашим... передаём наследие Наше брату Нашему... Призываем всех верных сынов Отечества... вывести на путь победы, благоденствия и славы...

И — как Германия жаждет поработить Россию. И — как для русской победы удаляется Государь.

Рузский видел, что это — далеко не тот Манифест, который прислали из Ставки. Неужели же царь сам так быстро и гладко пересоставил?

Гучков ничему не возразил. А Шульгин, точнее следуя конституционному духу, пославшему их, предложил, чтобы великому князю Михаилу Александровичу было указано принести всенародную присягу верности законодательным учреждениям.

Государь нахмурил лоб, подумал, приписал: „принеся в том ненарушимую присягу".

Шульгин пожал губами на стиль: всенародную не поставил, а какая ж присяга бывает другая как ненарушимая? Но спорить не стал.

Он предложил, чтобы было помечено тем временем — тремя часами дня, когда Государь и без них пришёл к решению отречься.

Чтоб и не упрекали потом, что отречение вырвано депутатами.

Для Гучкова, напротив, такой пометкой умалялась его миссия. Но он смолчал. Пометили тремя часами дня.

И Государь размашисто подписал отречение — простым карандашом.

Гучков сообразил, что подлинным Манифестом в такое смутное время не хочется рисковать, нельзя ли отпечатать ещё и второй подлинный и оставить у Рузского?

Понесли отпечатать ещё один.

Теперь предстояло им троим — бывшему Государю и двум делегатам нового правительства, лицом к лицу промолчать двадцать минут.

Впрочем: нельзя же всё бросить как чужое. Порядок не должен нарушаться. Трон — брату, хорошо. А кому же кабинет министров? А кому же Верховное Главнокомандование?

Депутаты одобрили: неплохо и распорядиться. Усилить преемственность власти. И пометить часом раньше, чем отречение, чтобы было действительно.

Кому же — кабинет?

Государю не хотелось — Родзянке. Вот кого бы назначить: Кривошеина.

Депутаты посоветовали:

— Князю Львову.

Хорошо.

А Верховное Главнокомандование — конечно, Николаше, кому же.

Писались указы Сенату. Это укрепит обоих.

Отдали на перепечатку.

Вот — и молчание.

Потом, потом... Самое трудное — говорить о себе. Какое-то небывалое состояние — без короны. И куда же?..

Ещё не найден тон: кто кому здесь подчинён теперь или нет? Нехорошо поступать самовольно, но унизительно и спрашивать...

Государь подёрнул плечом.

— Не встретится препятствий, если я поеду теперь в Царское Село?

Гучков поднял лоб как преграду. Ещё днём он так и предполагал, но... За спиной царя он увидел властную злую осанку своей главной врагини.

(Соединиться ему — с волей? Нельзя, может и отречение взять назад.)

Вслух он не запретил. Но весь напрягшийся вид его, краснота лба. Но само молчание. Затянувшееся.

Потом сказал, что в Луге мятеж. Нельзя гарантировать безопасного проезда.

Государь чуть заметно качнулся — и обмяк как от удара.

(Нельзя в Царское? А только этого он и хотел. Для того и торопился скорей выполнить вот эти все формальности. И — нельзя?..)

С точки зрения общего спокойствия? Ну, это правда, может быть. Для блага России.

Да ведь он в Царское хотел — только на время, пока выздоровеют дети. А потом вместе с ними — в Ливадию бы...

А теперь — куда же? В Ставку?..

В Ставку — надо. Там тоже надо передать дела.

И можно будет вызвать в Могилёв из Киева Мамá. Попрощаться.

Если придётся теперь — покидать Россию?

„В ставку" — прозвучало и повисло: вопросом? сообщением. Спрашивал разрешения? не спрашивал?.. Какое-то непонятное состояние.

Гучков ещё раз посмотрел на царя в полное пенсне, почти не скрывая, каким его видел, запуганным.

(Ставка, центр войск? При Алексееве и без Алисы? Ни на что не решится. Ни к чему не способен.)

Можно.

Генерал Рузский даже извился — в недоумении, в протесте: да как же можно отрекшегося Верховного и отпускать в Ставку?

Но возразить Гучкову вслух — не выговорилось.

Принесли второй акт.

Депутаты предложили Фредериксу контрассигновать обе подписи Государя. Государь кивнул. Фредерикс тяжело сел, достал автоматическую ручку. И долго-долго выводил, с мучительными усилиями, как никогда.

Что ж, попросил и Государь, чтобы депутаты дали расписку в получении акта.

С волками жить...

Часы на стене салона показывали без четверти полночь.

Попрощались.

Рузский попросил депутатов к себе в вагон.

А царский поезд мог отходить в Могилёв. Соверша трёхсуточный бессмысленный судорожный круг и оброня корону, возвращаться, откуда не надо было и уезжать.

Ещё более часа поезда стояли.

Со свитою пили ночной чай. Но и здесь не говорили об отречении.

В будничном тоне Государь заметил:

— Как долго они меня задержали!

350

В душных накуренных комнатах министерского павильона ничто не менялось: подходила ночь, кому первая, кому третья, и снова надо было продремать её сидя, при свете и не раздеваясь, какой-то мучительный неустроенный вокзал. За сегодня ещё столько добавилось узников, что и на диване лежать по двое, как Протопопов с Барком, могло не достаться, а — сидеть втроём.

И все арестованные были люди не молодые, больше старики, и даже к восьмидесяти, и не имели привычки по нескольку дней не мыться, не менять белья,— всё это ощущалось ими мучительно.

Адмирал Карцев всё рычал: „Воздуха!"

Никогда в жизни их не отрывали насильственно от семей — и теперь тревога их была ещё и о семьях, и о доме, не разграблен ли: ведь революция это и есть прежде всего грабёж, а что же?

За все эти дни арестованные не пришлось поговорить между собою, кроме десяти минут, когда Караулов, будто став комендантом, разрешил разговоры,— но вскоре к несчастью вошёл Керенский, обнаружил — и драматическим голосом к охране снова запретил.

Кто ни сменялся тут в охране, кто ни сменялся в комендантах,— но надо всеми судьбами властнее всех почему-то стоял Керенский. И старики — уже боялись его, недавнего прыща.

И ещё сидели они в безвестии, что делается в Петрограде, в России. А, людям государственных привычек, да ещё посаженным в такое бездействие, им невозможно было не думать об этом неизвестном происходящем, не строить предположений, как же пошли события, и существует ли новое правительство, и как к нему относится Государь, и как теперь поступать Государю?

По осмотру лиц друг друга они видели, что старых властей в столице не осталось никаких. Все считали демоном зла — Протопопова, и не без удовольствия видели, что и он — здесь, его недавно такую авантажную, а тут сразу такую смятую, припуганную, постаревшую фигуру, как ощипанную птицу.

Просили у прапорщика газет. Он отказывал. Потом принесли два номера „Известий Совета рабочих депутатов" (что за дичь названия!) — и эту мерзость с жадностью брали бывшие сановники, читали невыразимый язык на плохой бумаге грязными отпечатками и истолковывали их себе, как это понимать и что за этим стоит.

Разумеется, понятно было, что их не будут бесконечно содержать в министерском павильоне, но что дальше? Отпустят ли домой? Будут ли допрашивать? Так мучительно было сидеть, что уж лучше б скорей что-нибудь менялось!

Так — думали, но когда близ одиннадцати часов вечера распахнулась дверь и вошёл прапорщик Знаменский, за ним — усиляющий наряд преображенцев с винтовками, ещё два прапорщика Михайловского училища, а затем — струнно-грозный Керенский с бумагою в руке,— сердца арестантов

захолонули. Все в первой комнате сразу поняли, что сейчас — что-то непоправимое случится, и уже страшно стало им покинуть тёплый и не такой уж неудобный павильон, да даже защитный уголок перед страшным будущим.

Вокруг тонкой фигуры Керенского уже веяла такая атмосфера, и сам он смотрел так требовательно, так уверенно, что к кому он эти дни обращался, старые сановники поднимались из кресел, из диванов — седота и рухлядь, и генеральские мундиры, стояли перед недавним ничтожным депутатом.

Теперь, понимая величие минуты ещё больше, чем все эти старики, Керенский, хотя сам лишь слегка промелькнув по тюрьме в Девятьсот Пятом, восстанавливая по дальней памяти и гениальным даром своей актёрской натуры, воспринял и голос, и значение — объявил пронизывающе:

— Все, кого я сейчас назову! — он держал список, но тоже для театральности, он в нём и не нуждался,— будут немедленно отправлены!

И догадался же остановиться, не сказав — к у д а. Это было наиболее страшно! *Отправлены* могли быть и на тот свет!

И самый невыдержанный, самый раскисший старик Штюрмер, длиннобородый, высокий, слабый, четыре месяца назад такой ненавидимый премьер-министр,— жалобным, сразу плачущим голосом спросил:

— Но кто поручится, что нас не обезглавят?

По испугу и неловкости он назвал вид казни, уже никем не применяемый, но это прозвучало не только не смешно, а ещё более пугающе: так и представился где-то за городом помост при фонаре в морозной ночи и секира палача.

Керенский с достоинством миновал вопрос, стал читать каждую фамилию полнозвучно, а затем через паузы, как будто давая каждой струне ещё дозвучать.

А некоторые были в других комнатах, и Керенский пошёл прочесть и там весь список — от вступления „все, кого назову".

Облезлый Протопопов ловил за шинели проходящих солдат, спрашивая громким шёпотом:

— А вы не знаете — к у д а?

А маленький съёженный полукарликовый Беляев с пустыми глазами, не настигнув умелькнувшего Керенского, военный министр, вытянулся перед прапорщиком:

— Я — честнейший человек, и я являюсь ошельмованным. Я занимался только делом и ни во что не вмешивался. Я подлежу увольнению со службы с пенсией...

Знаменский ответил басом ему и остальным:

— Одевайтесь! Собирайтесь быстро!

Старый Горемыкин, надев на сюртук андреевскую цепь, не расставаться же с ней, вот уже в меховой шубе и шапке, оказался готов раньше всех. Уже столько государственных бурь он проходил благополучно и знал, что без Господа не упадёт ни один волос. Да давно уже он жил на этом свете как задержавшийся гость. Он смотрел — и не смотрел, шептал молитву. Его повели.

Голицын прошёл вежливой тенью.

Добровольский обмяк, угнетённый, сколько ж ему расплачиваться за двухмесячное министерство?

Протопопов всё собирался, всё собирался, никак не был готов, хоть и вещей для сбору у него не было.

Дошло и до разляпистого грузного Хабалова.

Казалось бы, всех неготовее мог объявиться Щегловитов: его ведь привели в Таврический без пальто, на нём и вовсе ничего сверху не было. Но он ничего и не просил. Круглоголовый, рослый, он держался так спокойно и понимающе, будто он тут и распоряжался всей церемонией. Или тем задался оскорбить высокий порыв Керенского.

Кто-то из офицеров забеспокоился, и послали для Щегловитова за солдатской шинелью. Принесли узкую, насадили.

По коридору до самого подъезда, заднего, выстроена была в разрядку вся караульная рота преображенцев — и это было грозно, как на казнь, для сановников, ведомых изредка по одному,— и никого посторонних встречных в полутёмном всём коридоре.

Все молчали, никаких распорядительных криков, всё согласовано. Страшно было идти.

Маклаков шёл с обинтованной головой.

Уже за выходом было несколько членов Думы или других каких-то важных по-новому лиц. И в каждый из пяти подъезжавших закрытых автомобилей вводили двух арестованных, сажали их рядом на заднем сидении, а навстречу им, лицом назад, колени к коленям, садились: общественный представитель и унтер с обнажённым револьвером, направленным на арестованных. А с шофёром рядом — по офицеру.

И всякую сажаемую пару Знаменский, смакуя, предупреждал: не шевелиться, по сторонам не смотреть, всякая попытка к бегству вызовет применение оружия.

Как будто кто-то из них был способен бежать.

Занавески автомобилей были задёрнуты, не видно, куда едут. Большой револьвер, не обещающий доброго, поочерёдно наставляли то на одного, то на другого.

Говорить и с единственным соседом —снова не доставалось.

А Протопопову так хотелось узнать, посоветоваться, предположить! Но судьба свела его с мрачным Беляевым, который и без конвоя теперь бы с ним из осторожности разговаривать не стал. Да, верно назвали его военные — „мёртвая голова". А ведь сам же Протопопов зачем-то и выдвинул его в военные министры! И тот — всё погубил.

А с Маклаковым попал рядом Макаров — после Столыпина министр внутренних дел, недавно — министр юстиции, Государем отрешённый за строптивость: отказ погасить дело по Сухомлинову, Манасевичу и недостаточное расследование убийства Распутина. Так что он сам скорей был бы Думе угоден, а в десятку самых опасных и первовиновных угодил по мести Керенского.

Так и ехали. В слабом свете минующих фонарей видно было, как унтер не спускает с их животов крупного нагана. А сопровождающий вертлявый штатский господин вдруг нарушил молчание и обратился к Макарову:

— А вот вы меня и не знаете, ваше превосходительство. Хотя семь лет назад вы меня отправили в якутскую ссылку.

Видно было, что вся процедура сопровождения доставляла ему удовольствие.

В административную ссылку? Возможно. А они тут же разбегались свободно.

— А как ваша фамилия?

— Зензинов.

Да, не помнил. И фамилия какая-то шутовская.

— Я — известный эсер. Я — член ЦК! — с гордостью всё рекомендовал тот.

Вот это — и были страшные революционеры? Представилось: как искажённо должно было видеться им снизу вверх всё государственное. И как всё перевёрнуто в их голове.

Но и с министерской высоты случалось искажение всякое. Страдая сердцем, отдыхал Макаров в Крыму. Вызванный телеграммой — приехал в Петербург, думская трибуна изнывала, и не успев разобраться вышел: это ленская толпа сама напала на войско, ротмистру ничего не оставалось как стрелять. Идут годы — стыдно и больно вспомнить.

В обычной жизни мы всегда виним причину внешнюю. А уж когда возьмёт нас беда — тогда разгребаем внутренюю, исконную.

Да сам Макаров в 60 лет уже хоть и отжил. Но сын у него единственный — это всё, что в жизни. Что будет с ним под этими злодеями?

Автомобили шли не быстро. Иногда их, видимо, останавливали патрули, и передний шофёр кричал:

— Автомобили Временного правительства!

Наверно, странно выглядели эти пять тёмных автомобилей, вереницей, за занавесками, среди ночи,— и все правительственные.

Не было видно, куда едут, пока не взяли на мост — подъём дороги, равномерные тройные фонари с двух сторон, силуэты, — можно было догадаться, что Троицкий.

Некоторое время было в автомобиле светлее.

Перебинтованный Маклаков ехал как отлитой из камня, не давая этому эсеру заподозрить в себе волнение. Тот, кто умел властвовать и отправлять в тюрьмы, должен тем более уметь отправляться сам.

Превратности судеб он уже имел время обдумать за эти дни. Превратности России — всё ещё колыхались впереди, не разглядываемые.

Куда же, всё-таки?..

По Троицкому мосту уже стали и догадываться, хотя казалось это — чудовищно.

Но вот и явно проехали через глубину глухих ворот Петропавловской крепости.

Уже и забыли о ней, стояла как памятник. Уже несколько лет вообще пустовавшая, вот открывалась теперь её каменная твердыня для немощных и отставленных министров.

Автомобили все остановились. Стояли. Слышались переговаривания приехавших офицеров и здешних.

Ещё подъехали. И раздалась недоброжелательная резкая команда:

— Выходи!

Вышли общественные представители. Вышли унтеры с наганами. Стали по одному выбираться сановники и генералы, зябко оглядываясь на темнеющие башни.

Они оказались между оберкомендантским домом и Монетным двором.

Широким оцеплением стояло много вооружённых солдат, как если б ждали от сановников прорыва. Кроме крепостных солдат откуда-то ещё и отряд матросов.

Но разглядывать не дали им, а командовали одному за другим подходить к каменной рубчатой стене на аршин (снег был не довольно расчищен там, они увязали) и стоять лицом к стене, не оборачиваться.

В ботинки Горемыкина зашла мёрзлая влага, и это было ему всего непереносимей.

Во всех командах чувствовалась неотклонимая уверенность. Это были, конечно, постоянные офицеры крепостной кордегардии, уже служившие здесь 5, 10, или 15 лет при этих самых министрах, тогда мелкие и неведомые,— а теперь такие грозно исполнительные при новой власти, уже нельзя им ни о чём напомнить и попросить.

(А Зензинов узнал тюремного полковника, который и его когда-то принимал здесь же. Сейчас доложить Керенскому, посадим!)

Брали по два с краю, по фамилиям не называя, руку сзади на плечо — и уводили.

В затылок.

В обход Монетного двора.

Значит, в Трубецкой бастион.

Уводили сразу трёх премьер-министров. Трёх министров внутренних дел разного времени. Трёх министров юстиции.

То, что составляет государственную власть.

Несколько в ряд императорских правительств заканчивали существование в один час, в одну минуту.

И тут мелодичные колокола часов Петропавловского собора стали вызванивать „Коль славен", тоскливо в ночном пустынном воздухе.

Ту самую печальную мелодию, которую слышали в камерах и декабристы, и народовольцы, и...

351

Хороший ужин после хороших удач и в моменты жизненных поворотов позволяет нам ярче ощутить их. И себя в них.

Именно такой ужин и предложил Рузский делегатам-депутатам Думы или нового правительства, как бы их ни считать. Правда, сервированный в вагоне

военным поваром и по военному быту ужин не напоминал лучшие петербургские, так что даже не оказалось шампанского, столь нужного к моменту, но на столе разлегла сытая добротность русской провинции в копчёностях, солёностях и достаточный выбор, что выпить.

Только сейчас, переходя сюда и рассаживаясь, они все ощутили, что испытывают рассвобождение: оказывается, как они все были напряжены.

Революция революцией, а прежняя уютность хорошего ужина — вот сохранялась.

И наконец тут, без придворных чучел, можно было поговорить откровенно.

Да, они ожидали от царя сопротивления, и даже отчаянного. А что так сразу — и сдастся?..

— Что уже днём сдался! — хотел и Данилов рассказывать, он тоже соучастник той переломной минуты дневного отречения. Широкочелюстный, плотный, он уже ел от лиловатого окорока.

— А как он телеграмму назад требовал, а я ему не отдавал! — даже сам себе удивлялся Рузский: — Он хотел увильнуть, взять отреченье назад! И был бы таков. И уехал бы. Но я не допустил!

С каждой минутой всё больше ощущал Гучков облегчение и победу. Ведь совсем могло иначе сложиться — уехали бы и без отречения. Упёрся бы царь — и что? А теперь — т а к у ю задачу свалили! — теперь только стряхнуться от помех, как в Таврическом, в Луге,— и освежёнными силами сокрушить Германию!

И ещё хотел им успеть сказать Рузский до переговоров: что посланные против Петрограда войска — это фикция, Рузский-то следит, они отначала растянулись, застряли, а теперь и отзываются.

Ну да всё обошлось прекрасно. Однако, как ни освобождён и упоён, Гучков раньше о деле:

— Один экземпляр отречения повезём с собой, а один оставим, Николай Владимирович, в вашем штабе на хранение. А ещё бы правильней — надо бы сейчас отречение зашифровать — и телеграфно передать в Главный штаб, а они — нашим в Думу. Там-то ждут-не дождутся.

Только двое они с Шульгиным видели ту таврическую обезумелость, а кто не видел — не вообразит. И что значит для них там — скорей узнать.

Да, это было разумно. Уже с полученным отречением нельзя было терять часов даже и на ужин.

Но — кому же доверить шифровку, кроме Данилова? и как же, как же не хотелось ему отрываться от этого стола и разговора с высокими гостями!

А ещё, ещё быстрей — послать от имени двух депутатов короткую телеграмму на имя Родзянки: что Государь отрёкся.

Нечего делать, взял Данилов телеграмму, взял одно отречение, поехал в город.

Александру Иванычу здоровье давно уже не позволяло есть и пить без оглядки, и не этой живой плотяной радостью был для него дорог стол, да даже и не всякой застольной беседой,— например сейчас он не был к ней особенно и расположен. А каким-то — надскатертным, надрюмочным полётом.

Свершение! Выполнена задача — может быть целой жизни. И уже не надо измышляться строить заговор, искать сторонников.

И уже ничто не грозит, если заговор раскроется.

Освобождение!

И даже! — проступали явные черты прежнего замысла, даже несомненное прозрение было в нём: между Царским Селом и Ставкою, как задумано, почти по дороге, лишь немного бились в сторону, во Псков. И г д е же состоялась встреча с царём? — да в вагоне! в том самом, который и надо было захватить! Ещё был в заговоре замысел, чтоб и Алексеев поддался, не мешал, так вот он и не мешал! Да не просто похожесть была — это и был т о т с а м ы й замысел в точности: схватить растерявшегося царя, вырвать у него отречение, он не сумеет отказать, таков прогноз! — и после этого пусть уезжает в Англию.

— Господа! — сосредоточено поднял бокал сивоусый главнокомандующий с четырёхугольным стоячим ёжиком на голове, и переходил очками, сидел тут ещё один свидетель события, начальник снабжения фронта Савич.— Мы — первые русские люди, которые можем выпить первый в России тост не за будущую Россию, но — уже наступившую! Все узнают позже, а мы — первые! Наступившую целую эру свободы, не одно столетие, целую эпоху, из которой уже не будет пути назад, во мрак!

Однако в лице Рузского, даже когда он хотел выразить радость, всё равно оставалось что-то неизгладимо унылое.

А Шульгин вообще был создан для красивых высоких моментов, он чувствовал их внутренним трепетом, он вообще был никакой не политический деятель, всё это недоразумение, он был художник жеста и слова, и только потому так блистал в думских речах, он был драматический артист, писатель и даже фантазёр,— наплывы фантазий зыбили для него действительность, и тут рождались лучшие его находки. А сейчас, совершенно необъяснимо, в нём почему-то звучал романс:

Я помню вальса звук прелестный
Весенней ночью, в поздний час...

Но как назло, такой высокий момент, эту острую неповторимую минуту ему портила мигрень: начал сильно болеть уголок головы около правого виска.

А Рузский рассказывал, как царь эти сутки вёл себя. Но всё же большой спор? О да, спор был, и какой, вчера, а сегодня соглашался уже легче.

— Господа,— не мог не удивиться Гучков,— подумайте: и стоило ему десятилетиями так цепляться за свои прерогативы — чтобы так легко их сложить в один день? И это был — наш противник?.. Всего-то?..

Противник? Шульгина покоробило. Нет, такого слова он и в мыслях не мог применить к Государю. Это был — любимый собеседник, которого надо было убедить поступиться во имя России. И теперь — будет хорошо и безопасно, и России, и самому Государю.

— Да не мог он править такой страной, господа! — размышлял откинувшись щупловатый Рузский.— Слишком у него неустойчивый характер.

Доложили, что отходит царский поезд,— не нужно ли чего? о чём распорядиться?

Распорядиться? Переглянулись. Нет. Не прощаться же. Рассчитались, пусть едет.

Одно, чем Александр Иванович не мог не поделиться, что уж слишком было въявь:

— Но какой деревянный человек, господа! Такой акт! такой шаг! — видели вы в нём серьёзное волнение? Мне кажется, он даже не сознавал. Какое-то роковое скольжение по поверхности всю жизнь. Отчего и все наши беды.

Настолько не сознавал, что, может быть, и поражения не почувствовал от многолетней борьбы с Гучковым? Но и тем не уменьшалась победа, нет! Вершинный час. И откуда же возникло в Гучкове такое пророческое предчувствие: так точно видеть заранее эти ночные вагонные обстоятельства, в которых он возьмёт отречение?

И не прольёт крови. Не Одиннадцатое марта,— Второе. Бескровное. Славное. Отречение, как простая бумага, лежало во внутреннем кармане пиджака, у сердца, в бумажнике, чтобы не помять.

Мигрень разыгрывалась:

— Ах, Николай Владимирович, нестерпимо досадно! Но нет ли у вас здесь таблетки пирамидона? Да если вы разрешите, я бы и прилёг на десять минут.

Так и распался ужин. Савич тоже вскоре уехал. За столом сидели Рузский и Гучков.

Совсем друг другу чужие, совсем друг друга не любившие. Случайные союзники в час торжества.

И торжество-то было для Рузского сильно испорчено многим. Смазана была его роль как вырвавшего отречение,— выходило, будто это и не он получил. И Алексеев перехватывал роль, запрашивал Главнокомандующих, слал проект Манифеста. И эти приехали на готовое, даже и законов государства не зная. И не приносило Рузскому радости, что Верховным Главнокомандующим уже сразу и назначен Николай Николаевич: опрометчивый росчерк царя, которого не остановили. Брали картинного, но пустого великого князя, не

замечая, какую несправедливость делают. Рузский и по своему интеллекту, и по посту, и по симпатиям общественности и Родзянки, и по близости к Петрограду — вполне мог бы рассчитывать, что Верховным назначат его. (И может быть, это ещё случится, великий князь не удержится.) Однако, как уже пошло. Надо не считаться, а объединяться. Вот, перед ним сидел уже новый военный министр.

— Обо мне при троне,— криво усмехался Рузский,— всегда было плохое мнение. И что я ненавижу императрицу. Наконец-то можно будет жить без интриг с новым правительством. И не будет этих бюрократических дебрей. И этой парадности, недоступности. И этой продажности. Со склада Фронта требовалось отпускать Двору в день 46 пудов мяса первого сорта — ясно, что для прислуги, лакеев, конюхов,— и это за счёт солдат!

Вообще наступала новая эра в сношениях Главнокомандования с правительством. Для сохранения духа армии очень важна будет, особенно в ближайшие дни, помощь правительства. Возможна ли присылка каких-нибудь политических представителей? Какое-то турне думских ораторов? Вон, что делается у Непенина. Чтоб не разыгралось такое на Северном фронте.

Но Гучков сидел наполненный, молчаливый, неотзывчивый. Даже облегчением победы как бы обременённый.

А Шульгин только тут сообразил и воскликнул из пирамидонного лежания:

— Господа! И ещё мы упустили на Алексее: ведь ему войска уже присягали раньше, как наследнику, теперь не надо было бы присяги повторять!

Да, да. Отречение взято, но какая работа теперь предстояла с Михаилом! Михаил — тоже не семи пядей во лбу, фигура не царственная. Михаила тоже надо вести, направлять, вдохновлять,— кто это будет делать?

— Господа! А ещё мы упустили! — накатывало в больную голову Шульгина, через боль он выговаривал томно: — Как же мы не подумали, а? Как же будет с супружеством Михаила? Разве госпожа Брасова, третий раз замужем, может стать императрицей?

Да, в самом деле!

Да, в самом деле. Как затмило, когда соглашались. А потому что непривычны к этим династическим тонкостям.

Но в конце концов это и важно только для династических зубров. В революционно-потрясённой России — ну кого это оскорбит?

— Об этом сам Николай должен был думать, а не мы.

А вдохновительница нового Государя госпожа Брасова известна своими либеральными симпатиями. У неё — либеральный салон, бывали левые депутаты Думы.

Не разъединяться надо теперь, а объединяться. Однако сидел Рузский против Гучкова и думал: а берёт Гучков на себя — слишком много. Ну, какой же он военный министр?

И сидел Гучков против Рузского, и если чётче замечал эту зверьковую наружность с обкуренными жёлтыми зубами, и эту тощую интеллигентность,— думал: нет, не настоящий военный, рохля.

А Шульгин давал действовать порошку, смягчал свой взгляд, нарочито смотрел неотчётливо. И рядом — почти не видел. А видел — лицо Михаила. Уж такого рядового кавалериста со вскрученными усами.

Боже, ну куда ж ему вести Россию?!

ДОКУМЕНТЫ — 11

Ставка, генерал-адъютанту Алексееву

Вырица, 3 марта, 1 ч. 30 м.

До сих пор не имею никаких сведений о движении частей, назначенных в мое распоряжение. Имею негласные сведения о приостановке движения моего поезда. Прошу принятия экстренных мер для восстановления порядка среди железнодорожной администрации...

Ген-адъютант Иванов

352

Без двадцати минут час ночи штаб Северного фронта донёс в Ставку, что Манифест о царском отречении наконец подписан.

Ну, наконец-то! Разрядилось великое напряжение.

Кончилось несчастное царствование, не стало императора Николая II. Но не возникло и Алексея II, а — Михаил II. Имена как бы подвигались вспять к самому корню династии.

Вот скоро, вот скоро Северный фронт передаст и текст.

Кончилось несчастное царствование — и теперь наступит успокоение. Но, как всегда в жизни, великие минуты смешиваются с ничтожными. Там пока манифест, пока успокоение,— а у Ставки роились свои неотложные заботы: полоцкий комендант доложил: прибыло полсотни нижних чинов, вооружённых револьверами и шашками. Выйдя из поезда, потребовали разоружения станционной охраны. На вопрос коменданта, по чьему приказанию они этого требуют, ответили: по приказанию офицера, который остался в вагоне. Послал комендант жандарма в вагон проверить — солдаты из „депутации" напали на него и разоружили. К счастью, тут показался на станции взвод драгун — и все приехавшие солдаты разбежались. А в вагоне никакого офицера не оказалось.

Теперь они могли снова сбежаться и ехать на Витебск, или могла появиться новая самозванная „депутация", или даже десять таких. Юзы передавали исторический царский манифест, а надо было снова телеграфировать безответственному Родзянке, да в выражениях терпеливо-почтительных, потому что он высился теперь как бы новым царём, и всё военное Главнокомандование, какое ни будь Верховное, под него теперь попадало. В скромных выражениях напоминал Алексеев, что в военное время и в районе Действующей армии никак невозможно допустить разоружение железнодорожной охраны. И против солдатских банд и самозванных депутаций придётся принимать самые суровые меры, чтобы — Алексеев был возмущён, и строка его окрасилась упрёком,— чтобы оградить Действующую армию от того глубокого нравственного разложения, которое переживают все части петроградского гарнизона.

Увы, для петроградской революции, как она дышала вовне, нельзя было найти выражения более точного.

Суматошный этот Родзянко. То три ночи подряд теребил всех главнокомандующих телеграммами, и к аппарату. Но вот посланы ему одна, вторая точные военные телеграммы о тревожном происшествии — а он держит себя так, будто и не получал.

Но что у Алексеева было — это высокая штабная тренировка. Способность одновременно соображать и неупускательно направлять многие дела, включая и самые мелкие, и о которых другие не успевали догадаться.

Едва был принят из Пскова бесповоротный царский манифест, Алексеев уже распоряжался срочно передавать его по всем юзам одновременно на все фронты — и далее во все армии, и начальникам всех военных округов, и безотлагательно рассылать во все части войск. Везде его ждали!

И, стало быть, надо же думать о новой присяге войск.

Об этом послал телеграмму Родзянке и Львову.

Но одновременно тут же соображал Алексеев и такое, что упустили во псковской и петроградской суматохе: а как об отречении будут извещены союзники? Ведь это тоже не ждёт! Достойнее всего это сделать самому же отрекшемуся императору — и надо предложить новому петроградскому правительству заготовить такое обращение.

Об этом послал терeграмму Львову и Милюкову.

А пока не ушли литерные поезда из Пскова — порядочно было поспешить донести через Воейкова бывшему Государю полученные сведения из Царского Села, что генерал Гротен и другие дворцовые военачальники арестованы в ратуше. (Не поостеречься ли ему туда ехать?)

А вот сообщал Псков о назначении Верховным Главнокомандующим великого князя Николая Николаевича. (Как и можно было ждать, как и хорошо!) И вот Алексеев обязан был теперь спешить доложиться туда, за Кавказ-

жизнь военным, генералом, да даже полковником, как есть, но никогда не жениться,— он выбрал бы второе.

Мужская воля и свобода от страха смерти, победа над смертью, решающая в духе армии,— был высший дух, которым восхищался Николай. Этот дух — ещё смертному придавал уже неземную лёгкость.

Да, он нуждался в Ставку сейчас — как дышать. Чтоб не умереть в минуту.

Сколько же этих мужественных, блистательных офицеров он за 22 года царствования знал, повидал, награждал, выслушивал, наблюдал на парадах, смотрах, манёврах, банкетах,— одни они в совокупности уже был тот народ, для которого стоило царствовать.

И — где они оказались сегодня все? Где их восторженные „ура"? где их выхваченные к небу шашки-клятвы? Почему и рать не явилась к нему на поддержку? почему не отстояла трона?

Много — убитых, многих не стало, прими их, Господи, но сколько ж есть ещё,— где они? Все — рассеялись, скрылись, сидят в землянках, смотрят в стереотрубы, лежат в лазаретах,— все скрылись, а вместо них высунулся пяток главнокомандующих — и ни один не протянул руки поддержки, но все пятеро толкнули — отрекайся!

Первый раз он сегодня подумал, что выбрал главнокомандующих как будто не из этих офицеров. И во всяком случае, выбрал — не лучших.

Уже давно не горько было Николаю, что его ненавидят кадеты, революционеры, земгор, высший свет,— не горько, потому что и он им встречно не придавал большой цены.

Но что самые близкие, высшие офицеры, те самые, кто и должны были защитить...— вот этот удар сразил его.

И — опять слезами сжало горло. И выступили на глаза.

Он вспомнил о своём дневнике. Что б ни случилось, даже в день Цусимы,— он не мог отклониться, не записать дня.

Сегодня днём он уже начинал запись, ещё император, ещё не зная своего вечернего будущего. А теперь — надо было кончить.

Кожаная тетрадка дневника лежала на своём месте, в выдвижном ящике столика. Он легко достал её наощупь. Надо было зажечь лампочку, хотя бы ночную, но даже этого удара не могли вынести сейчас глаза.

А была — как раз остановка. Зашторенный поезд недвижно стоял в глухой тишине и как будто во тьме.

Николай раскрыл, где шёлковая закладка, и стал с тетрадью так близко к лампаде, как мог. Он различал и конец записи и смысл последних дневных слов: что он — с о г л а с и л с я. И что из Ставки прислали проект манифеста.

И так, стоя под лампадкой, держа раскрытую тетрадь на раскрытой левой ладони, он вписывал самопишущей ручкой, петли букв скорее на память, но ровноту строчки видя глазами:

„Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с кот. я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого".

Вот было и всё. Нельзя доверять бумаге ни своих рыданий, ни своих молитв. Он закрывал.

Но поднеслась опять эта губка главнокомандующих с жёлчью — такая неожиданная, такая незаслуженная! — и он снова раскрыл тетрадь и добавил ещё одной строчкой:

„Кругом измена и трусость."

И опять — кончил. Но не кончил. Главное-то самое:

„...и обман!"

Всю ночь не пересидишь. Стал раздеваться. И только раздеваясь, вспомнил о Мише,— вот только когда, первый раз! Так непоместительно было вечером всё для головы, что Миша-то и не вместился, все поместились, а Миша нет.

Он там, кажется, сейчас в Зимнем. И именно туда, перст Божий, понеслась по тёмному воздуху корона российских государей,— и странно было бы ничего ему не объяснить, не выразить от себя.

Очевидно, надо с какой-то станции послать телеграмму.

Миша! Милый, славный, прежде такой послушный брат, и такой отчаянный воин, всё перековеркал этой женитьбой,— и какая ж это теперь императрица?

Много было разногласий, но всё можно забыть. А вот — извиниться: передал корону, не предупредив, не спросив.

Завтра послать ему телеграмму.

Решил — изместилось и это из головы. И распустился внутри заветный поиск: родной матери. Кто ж ещё над нами, кто ж ещё при нас, когда мы в бессильной беде?

Быть может — последняя надежда встретиться, перед долгой разлукой. Дать завтра телеграмму и ей — „...приезжай к одинокому сыну, всеми оставленному...".

И опять почувствовал себя маленьким, слабым мальчиком, неокрепшим.

Лежал.

А может — Чудо какое-нибудь ещё произойдёт? Бог пошлёт вызволяющее всех Чудо??

Покачивалось, постукивало.

Постепенно отходили все жгучие мысли, пропущенные через себя, изживаемые думаньем и покорностью, и покорностью воле Божьей.

Отходили — и как-то всё в мире опять уравновешивалось. В этом мире, где завтра начинать снова жить.

ЦАРЬ И НАРОД — ВСЁ В ЗЕМЛЮ ПОЙДЁТ

ПИСЬМА
ИЗ ЭМИГРАЦИИ

Иосиф
БРОДСКИЙ

О ДОСТОЕВСКОМ

Наравне с землей, водой, воздухом и огнем,— деньги суть пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится считаться. В этом одна из многих,— возможно, даже главная,— причина того, что сегодня, через сто лет после смерти Достоевского, произведения его сохраняют свою актуальность. Принимая во внимание вектор экономической эволюции современного мира, то есть в сторону всеобщего обнищания и унификации жизненного уровня, Достоевского можно рассматривать как явление пророческое. Ибо лучший способ избежать ошибок в прогнозах на будущее — это взглянуть в него сквозь призму бедности и вины. Именно этой оптикой и пользовался Достоевский.

Страстная поклонница писателя Елизавета Штакеншнейдер — петербургская светская дама, в салоне которой в 70-х и 80-х годах прошлого века собирались литераторы, суфражистки, политические деятели, художники и т. п., писала в 1880 году, то есть за год до смерти Достоевского, в своем дневнике:

«...но он мещанин. Да, мещанин. Не дворянин, не семинарист, не купец, не человек случайный, вроде художника или ученого, а именно мещанин. И вот этот мещанин — глубочайший мыслитель и гениальный писатель... Теперь он часто бывает в аристократических домах и даже в великокняжеских и, конечно, держит себя везде с достоинством, а все же в нем проглядывает мещанство. Оно проглядывает в некоторых чертах, заметных в интимной беседе, а больше всего в его произведениях... для изображения большого капитала огромной цифрой всегда будет для него шесть тысяч рублей».

Это, конечно, не совсем верно: в камин Настасьи Филипповны в «Идиоте» летит сумма несколько большая, чем шесть тысяч рублей. С другой стороны, в одной из самых надрывных сцен мировой литературы, неизменно оставляющей мучительный след на читательском сознании, капитан Снегирев втаптывает в снег не более двухсот рублей. Суть дела, однако, в том, что пресловутых шести тысяч рублей (сейчас это примерно двадцать тысяч долларов) было достаточно, чтобы прожить примерно год в приличных условиях.

Социальная группа, которую г-жа Штакеншнейдер,— продукт социальной стратификации своего времени,— именует мещанством, сейчас называется «средним классом», и определяется эта группа не столько сословным происхождением, сколько размером ежегодного дохода. Другими словами, вышеназванная сумма не означает ни безумного богатства, ни вопиющей нищеты, но попросту сносные человеческие условия: т. е. те условия, которые и делают человека — человеком. Шесть тысяч рублей суть денежный эквивалент умеренного и нормального существования, и если, чтобы понять это, нужно быть мещанином, то — ура мещанину.

Ибо устремления большинства человечества сводятся именно к этому — к достижению нормальных человеческих условий. Писатель, которому шесть тысяч представляются огромной суммой, таким образом, функционирует в той же физической и психологической плоскости, что и большинство общества. Иными словами, он описывает жизнь в ее собственных, общедоступных категориях, поскольку, как и любой естественный процесс, человеческое существование тяготеет к умеренности. И наоборот, писатель, принадлежащий к высшему обществу или к социальным низам, неизбежно дает картину, в какой-то мере искаженную, ибо в обоих случаях он рассматривает жизнь под чрезмерно острым углом. Критика общества (что есть как бы синоним жизни) как сверху, так и снизу, может составить увлекательное чтение, однако только описание его изнутри способно породить этические требования, с которыми читатель вынужден считаться.

Кроме того, положение писателя, принадлежащего к среднему классу, достаточно шатко, и потому он с повышенным интересом наблюдает за происходящим на уровнях, лежащих ниже. Соответственно, все, что происходит выше, лишено для него — благодаря непосредственной физической близости — ореола таинственности. По крайней мере, чисто численно писатель, принадлежащий к среднему классу, имеет дело с большим разнообразием проблем, что и расширяет его аудиторию. Во всяком случае, это и есть одна из причин широкой популярности Достоевского,— как, впрочем, и Мелвилла, Бальзака, Харди, Кафки, Джойса и Фолкнера. Похоже, что сумма в шесть тысяч рублей становится чем-то вроде гарантии великой литературы.

Проблема, однако, в том, что заполучить означенную сумму гораздо труднее, чем «сделать» миллионы или же чем влачить нищенское существование,— по той

В оригинале статья написана по-английски.

простой причине, что норма всегда порождает больше претендентов, чем крайность. Приобретение означенной суммы, равно как и ее половины, или даже десятой доли, требует от человека гораздо больших душевных усилий, нежели какая-нибудь афера, ведущая к немедленному обогащению или же, с другой стороны, любая форма аскетизма. Более того, чем скромнее желанная сумма, тем больше эмоциональных затрат сопряжено с ее приобретением. С этой точки зрения понятно, почему Достоевский, в творчестве которого лабиринт человеческой психики играет столь существенную роль, считал шесть тысяч рублей колоссальной суммой. Для него она равнозначна колоссальным душевным затратам, колоссальному разнообразию нюансов, колоссальной же литературе. Иными словами, речь идет о деньгах не столько реальных, сколько метафизических.

Все его романы, почти без исключения, имеют дело с людьми в стесненных обстоятельствах. Такой материал уже сам по себе есть залог захватывающего чтения. Однако великим писателем Достоевский стал не из-за неизбежных сюжетных хитросплетений и даже не из-за уникального дара к психологическому анализу и состраданию, но благодаря инструменту или, точнее говоря, физическому составу материала, которым он пользовался, то есть благодаря русскому языку. Каковой сам по себе — как, впрочем, и всякий иной язык, сильно напоминает деньги.

Что до хитросплетений, то русский язык, в котором подлежащее часто уютно устраивается в конце предложения, а суть часто кроется не в основном сообщении, а в его придаточном предложении,— как бы для них и создан. Это не аналитический английский с его альтернативными «или/или»,— это язык придаточного уступительного, это язык, зиждущийся на «хотя». Любая изложенная на языке этом идея тотчас перерастает в свою противоположность, и нет для русского синтаксиса занятия более увлекательного и соблазнительного, чем передача сомнения и самоуничижения. Многосложный характер словаря (в среднем русское слово состоит из трех-четырех слогов) вскрывает первичную, стихийную природу явлений, отражаемых словом полнее, чем каким бы то ни было убедительным рассуждением, и зачастую писатель, собравшись развить свою мысль, внезапно спотыкается о звучание и с головой погружается в переживание фонетики данного слова,— что и уводит его рассуждения в самую непредсказуемую сторону. В творчестве Достоевского явственно ощущается достигающее порой садистической интенсивности напряжение, порожденное непрерывным соприкосновением метафизики темы с метафизикой языка.

Из беспорядочной русской грамматики Достоевский извлек максимум. В его фразах слышен лихорадочный, истерический, неповторимо индивидуальный ритм, и по своему содержанию и стилистике речь его — давящий на психику сплав беллетристики с разговорным языком и бюрократизмом. Конечно, он всегда торопился. Подобно своим героям, он работал, чтобы свести концы с концами, перед ним все время маячили кредиторы и издательские сроки. При этом хочется отметить, что для человека, загнанного сроками, он чрезвычайно часто отклонялся от темы: можно даже утверждать, что его отступления часто продиктованы самим языком, а не требованиями сюжета. Проще говоря: читая Достоевского, понимаешь, что источник потока сознания — вовсе не в сознании, а в слове, которое трансформирует сознание и меняет его русло.

Нет, он не был жертвой языка; однако проявленный им пристрастный интерес к человеческой душе далеко выходит за пределы русского православия, с которым он себя отождествлял: синтаксис в гораздо большей, чем вера, степени определил характер этого пристрастия. Всякое творчество начинается как индивидуальное стремление к самоусовершенствованию и, в идеале,— к святости. Рано или поздно — и скорее раньше, чем позже,— пишущий обнаруживает, что его перо достигает гораздо больших результатов, нежели душа. Это открытие часто влечет за собой мучительную душевную раздвоенность, и именно на нем лежит ответственность за демоническую репутацию, которой литература пользуется в некоторых широко расходящихся кругах. В сущности, в каком-то смысле так оно и есть, ибо потери серафимов — это почти всегда находка для смертных. К тому же любая крайность сама по себе всегда скучна, и у хорошего писателя всегда слышится диалог небесных сфер с бездной. Но даже если эта раздвоенность не приводит к физической гибели автора или рукописи (примером чему — второй том гоголевских «Мертвых душ»), именно из нее и рождается писатель, видящий свою задачу в сокращении дистанции между пером и душой.

В этом — весь Достоевский: при том, однако, что перо его постоянно вытесняло душу за пределы проповедуемого им православия. Ибо быть писателем неизбежно означает быть протестантом или, по крайней мере, пользоваться протестантской концепцией человека. И в русском православии и в римском католичестве человека судит Всевышний или Его Церковь. В протестантстве человек сам творит над собой подобие Страшного Суда, и в ходе этого суда он к себе куда более беспощаден, чем Господь или даже церковь,— уже хотя бы потому, что (по его соб-

ственному убеждению) он знает себя лучше, чем Бог и церковь. И еще потому, что он не хочет, точнее — не может простить. Поскольку, однако, ни один автор не пишет исключительно в расчете на свой приход, литературные герои и их поступки заслуживают суда беспристрастного и справедливого. Чем тщательнее расследование, тем убедительнее произведение,— а ведь писатель прежде всего стремится именно к правдоподобию. В литературе святость сама по себе не слишком ценится: потому-то старец у Достоевского и смердит.

Конечно же, Достоевский был неутомимым защитником Добра, то бишь Христианства. Но если вдуматься, не было и у Зла адвоката более изощренного. У классицизма он научился чрезвычайно важному принципу: прежде чем изложить свои доводы, как сильно ни ощущаешь ты свою правоту и даже праведность, следует сначала перечислить все аргументы противной стороны. Дело даже не в том, что в процессе перечисления опровергаемых доводов можно склониться на противоположную сторону; просто такое перечисление само по себе — процесс весьма увлекательный. В конце концов, можно и остаться при своих убеждениях; однако осветив все доводы в пользу Зла, постулаты истинной Веры произносишь уже скорее с ностальгией, чем с рвением. Что, впрочем, тоже повышает степень достоверности.

Но не одной только достоверности ради герои Достоевского с почти кальвинистским упорством обнажают перед читателем душу. Что-то еще заставляет Достоевского выворачивать их жизнь наизнанку и разглядывать все складки и морщинки их душевной подноготной. И это не стремление к Истине. Ибо результаты его инквизиции выявляют нечто большее, нечто превосходящее саму Истину: они обнажают первичную ткань жизни, и ткань эта неприглядна. Толкает его на это сила, имя которой — всеядная прожорливость языка, которому в один прекрасный день становится мало Бога, человека, действительности, вины, смерти, бесконечности и Спасения, и тогда он набрасывается на самое себя.

Авторизованный перевод с английского
А. СУМЕРКИНА



СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Судьба человека

А. И. Солженицын в представлении не нуждается. Уже не нуждается. Сняты обвинения в «антикоммунизме» и в «охаивании социалистических идеалов». Забыты клички «диссидент» и «отщепенец». Рукой подать до «классика отечественной литературы». Уже и собрание сочинений печатать начали. И не надо больше настраивать приемняк на «их» волну, отыскивая ее среди «наших» помех — достаточно дойти до ближайшей библиотеки. Наверное, скоро будут защищать диссертации по особенностям и своеобразию художественного метода писателя...

Можно спорить о литературных достоинствах произведений Александра Исаевича. Не всем нравится его полудокументальный, без подчеркнутой аффектации стиль изложения. Однако можно не сомневаться, что все написанное им было в действительности. Солженицын не только живет и призывает других жить «не по лжи». Он не по лжи и пишет. Все или почти все его герои имеют прототипов. Некоторые из этих людей дожили и до наших дней. Ниже мы предлагаем вашему вниманию воспоминания жены одного из них — «кавторанга Буйновского» (Б. В. Бурковского). Их ценность — в непридуманности, честности изображения. Вы не найдете тут выразительных художественных образов, эффектных эпитетов и метафор. Зато здесь есть неприкрашенная жизнь, женщина и ее страх потерять любимого, отца ее детей, и люди, которые в трудный час могут предать или помочь. И все это — правда.

Ирина САХАРОВА

ЖЕНА КАВТОРАНГА

Тысяча девятьсот сорок девятый год. Позади война, блокада, эвакуация, потеря родных и близких.

Мы с мужем уже четвертый год живем в Грузии, в городе Поти. Дочке Марине 11 лет, сыну Андрею — 3 года. Мой муж, Борис Васильевич,— кадровый военный моряк, капитан II ранга. 25 июня 1941 года, едва успев окончить Военно-Морскую академию им. Ворошилова, получил назначение на Черноморский флот в бригаду торпедных катеров. Воевал всю войну, награжден орденами и медалями. Накануне Ялтинской конференции его назначили «посредником» (офицером связи) на американский корабль.

К 1949 году, с которого я начала свое повествование, капитан II ранга Бурковский служит в должности начальника оперативного отдела Потийской военно-морской базы. Служба идет успешно...

Неожиданно муж получает перевод в Севастополь — на должность начальника ОВСГ.

Переводу я обрадовалась: хороший климат, много друзей. Муж, однако, не разделял моей радости, напротив, он был «мрачнее тучи» и на мои вопросы неизменно отвечал, что не понимает причин перевода. По существу это понижение: боевого командира переводят на «заштатную» должность, совершенно не соответствующую его званию, образованию, выслуге лет. «Все равно, что ученика 8-го класса перевести в 3-й»,— пояснил он мне.

До войны мы оба учились. В Ленинграде жили в общежитии при Академии. Кроме детской кроватки и минимума посуды, ничего у нас не было. Здесь, в Поти, у нас была благоустроенная двухкомнатная квартира в каменном доме, постепенно мы обзавелись всем необходимым, купили мебель.

На теплоходе было пианино. Боря часто играл и около него собирались пассажиры. Играл русские песни, арии из оперетт, песни из кинофильмов. Каждый раз он несколько импровизировал, но удовлетворял пожелания невзыскательной публики, выполняя почти любую просьбу. Сейчас его песни звучали грустно:

В таверне, где с пьяной слезою
Уходят сомнения прочь,
Прощалися с шумной землею
Матросы в последнюю ночь.

По приезде в Севастополь, также неожиданно, мужу предложили отпуск и путевки в санаторий подмосковного Солнечногорска. Мы не только не обжились в новой квартире, но даже полностью не распаковались.

В Малаховке под Москвой жила тетя мужа, мы завезли к ней детей и уехали отдыхать. К концу нашего отдыха мы

с мужем поссорились. Серьезно. Оба чувствовали себя скверно, но надо было возвращаться в Севастополь. Муж начал говорить, что мне не стоит ехать: он уйдет в море, я все равно буду одна... Я не знала, как поступить, и уложила свои и ребячьи вещи отдельно от его вещей. Утром в день отъезда, чувствуя, что он крайне раздражен, я окончательно решила остаться в Малаховке. В Москву, к поезду, не поехала. Его проводил двоюродный брат Володя. Мне он привез записку, Боря извинялся, признавал себя отчасти неправым и заканчивал: «Очевидно, как приеду,— получу жалованье и вышлю вам деньги на дорогу».

После этой записки мне стало спокойнее. Однако прошла неделя, вторая... Ни письма, ни денег. В начале третьей недели пришла открытка от соседки по новой квартире. Текст был очень странным: «Если Вам дорог Ваш муж, приезжайте в Севастополь». Сам факт, что открытку писала почти незнакомая женщина, настораживал. Я терялась в догадках.

Видимо, случилось что-то серьезное, если она меня вызывает. Надо ехать. Денег в конце отпуска у меня, конечно, не было. Однако быстро собравшись, двинулись в путь. Провожал нас опять Володя. В поезде я ломала голову: что же случилось? Может быть, после ссоры он начал пить? Или кем-то увлекся?

Утром, подъезжая к Севастополю, на последние копейки купила ребятам какую-то лепешку — ее мы запили водичкой. С вокзала хотела идти к Вале К. (с ней я подружилась за годы учебы наших мужей в Академии), она жила в центре. Но потом передумала и повернула к дому на Пироговку.

Я несла чемодан и сумку, ребята — свои пальтишки. Войдя в квартиру, с облегчением сбросили пожитки на стол. Повернулась к двери в комнату. Хотела открыть — вижу, она опечатана... Может, Боря ушел в море и нарочно это сделал?

«Не открывайте, идите сюда!» — остановил меня голос соседки. Она пропустила меня к себе, закрыла дверь, заговорила: «Вашего мужа арестовали! Был обыск, и после этого комнату опечатали. Мне предложили вызвать вас, не указывая почему. Дали адрес, сказали, как написать. Еще сказали, когда приедете,— явиться на ул. Ленина, 9. Дверь не открывайте!» — закончила она.

Соседка вынесла детям на кухню остатки супа. Я отпустила их погулять, а сама побежала на улицу Ленина. В дверях стоял дежурный в армейской форме. Я назвала себя. Он ушел и через некоторое время, показавшееся мне очень долгим, вернулся. С замиранием сердца я выслушала, что сегодня выходной, никого нет и мне надо прийти завтра, к 9 часам. Опять неизвестность! Побежала на работу мужа. Обратилась к начальнику, я видела его впервые. «Да, арестован! Что, почему — не знаю. Взяли прямо с работы. Вот его китель висит»,— показал он на стену.

Я металась по городу, заходила к знакомым, они только разводили руками. Зашла к Вале, но она тоже ничего не знала. Валя дала мне хлеба и немного сахара. Пройдя всю улицу Ленина, у Исторического бульвара, я встретила С., бывшего сослуживца мужа (по штабу Черноморского флота). Спросила его, где гауптвахта, так как была уверена, что Боря находится там. К моему удивлению, а потом и ужасу, я услышала, что он не на гауптвахте, а в тюрьме! С. видел, как его вели по этой улице: под конвоем, погоны сорваны, на голове кепка. Я бросилась к тюрьме. Обежала ее кругом, попала в большую очередь. Люди стояли с узелочками — передачами. Обежала тюрьму снова, постучала в какую-то небольшую дверь (раньше ее не заметила). Открылось маленькое окошечко. На мои вопросы: «Здесь ли Бурковский, можно ли его видеть? Передать что-либо?» мне ответили: «Идите спрашивайте тех, кто его посадил». Окошко захлопнулось. Потрясенная, измученная, я стояла еле живая. Опять ничего не узнала и до утра ничего не выясню. Я начала понимать, что обвинения, предъявленные мужу, слишком серьезные...

На следующее утро я опять была у дежурного. Вскоре меня провели, как я потом узнала, к следователю. Не ожидая вопроса, с радостью заговорила сама: «Это ошибка, этого быть не может! Чем я могу помочь скорее разрешить недоразумение? Спрашивайте!» Следователь взглянул на меня удивленно и как будто сочувственно. «Садитесь, расскажите коротко о вашей жизни до войны, как познакомились с Бурковским, где были в войну, когда снова встретились с мужем?»

Он внимательно слушал, иногда задавал уточняющие вопросы, записывал. Мне же хотелось скорее все-все рассказать. Допрос длился долго. Находясь все эти дни в постоянном нервном напряжении, возбужденная в начале допроса, к его концу я совершенно сникла. Я по-прежнему твердо была уверена, что произошла ошибка, что все разъяснится. Но когда? Единственное, что хоть как-то облегчило мою жизнь, это разрешение открыть комнату и пользоваться вещами, но — «ничего не менять и не продавать!»

«Надо немедленно искать работу, Андрюшу устроить в детсад»,— думала я, а пока пошла по знакомым. В одной квартире мне вынесли на лестницу (в квартиру не пустили) семь рублей и сказали, чтобы я больше не приходила. «Забрали мужа, а завтра, может, и ее заберут»,—

угадала я их мысли. Напротив жили Керенские, я их почти не знала, но Зина встретила меня очень сочувственно, дала мне целый каравай хлеба, банку тушонки, макарон! Обрадованная, почти счастливая, я вернулась к детям. Сейчас их накормлю! Хватит и на завтра. После ужина, когда дети легли спать, уже на свои кроватки с простынями и подушками, я написала короткое письмо маме о случившемся с просьбой прислать хоть немного денег. Из Москвы я привезла тюль на окна. Покупая, представляла, как это украсит комнату. Сейчас это было первое, что можно было реализовать, быстро и без убытка. Такой товар — с руками оторвут! Утром пошла на «толчок». На улице Ленина встретила начальника политотдела базы, моего всегдашнего в прошлом партнера по танцам на праздничных вечеринках. Увидев меня, он круто свернул в сторону. «Наверно, побоялся, что заговорю с ним»,— подумала я. С этого дня я стала избегать знакомых.

Быстро «избавившись» от тюля, я снова начала метаться по городу. Теперь — по юридическим учреждениям. Одни адвокаты брались помочь, но я чувствовала неискренность, какую-то фальшь в их словах, другие отвечали, что не важно, что он член партии, орденоносец, имеет много других наград, благодарностей, пользуется авторитетом, — все это сейчас не имеет значения, все это зачеркивается.

Вечером вышла на балкон. Прямо вдали виднелась полоска моря, справа внизу — неясные очертания тюрьмы. Пыталась представить его там, в камере... Каково ему? Он так близко, а помочь нельзя...

Четвертый день как мы здесь. К следователю иду без страха, очень тороплюсь, надеясь узнать что-нибудь о муже. Поздоровавшись, сразу спрашиваю: «Скажите, ничего не выяснилось?» Следователь отрицательно качает головой: «Расскажите мне еще, когда и где ваш муж и вы встречались с иностранцами».

Шел 1945 год. Центр Севастополя был полностью разрушен. На улице Карла Маркса из завалов торчали покореженные балки, трубы, прутья арматуры, но на улице Ленина сохранились три здания. Их срочно отремонтировали. В одном разместился штаб флота, в котором служил мой муж, в другом — военная поликлиника. Что тогда было в третьем, не помню, но сейчас я находилась в нем на допросе. А жили мы в жилмассиве Пироговка. Дом наш был пуст. За водой ходили под гору, к бывшему хлебозаводу, где из разрушенной стены сочился тонкий ручеек.

Муж очень редко мог бывать дома. Чтобы увидеться с ним, мы с дочкой ходили к нему на службу. Осторожно шли по тропинке между развалин, не отклоняясь в сторону (еще были мины). В одну из таких «прогулок», подходя к штабу, я увидела мужа, беседующего с американскими офицерами. Боря представил меня. Старшим был командор Ли. Командор держался просто. Вскоре он, его адъютант и мой муж сели в «виллис» и уехали осмотреть разрушенный город. Боря давал пояснения.

«Так вот в чем его обвиняют! — подумала я.— Разве он виноват? Ведь не тайно, не по своему желанию он встречался с иностранцами — командование направило его на американский корабль офицером связи как знающего английский язык».

— Он ни в чем не виноват, я ручаюсь за него больше, чем за себя!

— Что вы за него ручаетесь,— ответил следователь.— Вы же знаете: компании, выпивки, а раз так — все может быть... Где вы еще встречались с иностранцами?

Ялтинская конференция. Муж находился среди встречавших президента США. Рассказывал о его необычно пристальном и в то же время радушном взгляде.

Рузвельт, Черчилль и Гарриман прибыли с дочерьми. Борису поручили сопровождать женщин в поездках по городу и окрестностям. По завершении ялтинской конференции состоялся вечер в Доме офицеров. Там было много военных моряков — наших и иностранных. Присутствовали дочери Рузвельта и Гарримана. Обстановка была не просто радушная, а с особенным, приподнятым настроением, ликующая. Победы Красной армии, переговоры с союзниками и надежда на близкое окончание войны переполняли наши сердца радостью... Госпожа Рузвельт подошла к моему мужу и сказала: «Что же ваши офицеры так стесняются, даже танцевать не приглашают». Борис перевел это стоявшим рядом офицерам...

Разбираясь в своей комнате, я обнаружила растительное масло, килограмма три белой муки и столько же гречи.

На базаре я выискивала самые дешевые овощи и подпорченные фрукты. Вырезав испорченные места, заливала их водой на 3—4 часа, потом, вскипятив, получала вполне сносный компот. Сахар я не добавляла — на него я не тратилась, покупала еще только хлеб. Так мне удалось дотянуть до получения от мамы первого перевода.

Днем я искала работу, заходила на «толчок», вечером шла к «ним», надеясь, что сегодня услышу что-нибудь хорошее. На Холодильнике был нужен технолог, спросила, могу ли я туда поступить,— не

возражали. Вообще я докладывала «им» о каждом своем шаге, чтобы не истолковали его превратно, да и советоваться мне было больше не с кем — следователи стали моими единственными «друзьями». Устроить Андрея в детский сад все не удавалось, везде был карантин. Оставалось только ждать и надеяться, молча переживая свое горе, испытывать унижение, подолгу выстаивая на «толчке».

Тянулись дни...

До меня дошли слухи, что в Севастополь приехал А. С.— бывший Борин начальник, с которым он проработал дольше всего,— человек умный, авторитетный, достойный уважения. Для меня его мнение было неоспоримым. Надо с ним встретиться. Но как и где? Я очень боялась его подвести. Случайно узнала, что А. С. будет на дне рождения у адмирала... В доме, где жило высшее начальство, у меня была малознакомая (только здоровались при встрече) женщина, М.— жена начальника политотдела базы. Она, конечно, знала об аресте моего мужа. Я пришла к ней и попросила устроить мне встречу с А. С. «Так пойдемте сейчас»,— сказала она. Мы перешли в другой подъезд и поднялись в квартиру адмирала. Уже с порога увидели накрытый стол, за ним много знакомых и незнакомых. Меня усадили почти напротив А. С. Понятно, что мне было не до застолья, но я долго не решалась обратиться к А. С. Наконец, когда за столом стало тише, я прямо спросила: «А. С., как вы относитесь к тому, что случилось с Борисом Васильевичем?» Все смолкли, у меня перехватило дыхание. «Ну что ж, там разберутся,— как-то особенно легко, небрежно ответил он.— А вам мой совет: уезжайте в Ленинград. У вас там мама, она и так вам помогала»,— он обернулся к соседу и поднял рюмку. Снова всплеск шума и звон стекла. Я ждала, он скажет: «Конечно, это ошибка! Скоро все выяснится». И вдруг такой ответ! Он допускает... Убитая его словами, я выскочила из-за стола. Хватило сил дойти до двери и вернуться к М. Там у меня началась настоящая истерика. Если А. С., даже он, знающий мужа «как облупленного», допускает... Значит, дело совсем плохо. Зачем-то еще о маме сказал... Я долго не могла успокоиться, несмотря на капли, которые мне давала М. Потом я шла в темноте по улице Ленина, спотыкаясь и плача...

Если раньше я была твердо уверена в скором, благополучном исходе Бориного «дела», то теперь впервые усомнилась в этом. Дело затягивалось, и меня охватывало отчаяние. Что делать, как быть с Маринкой? Узнав от взрослых, что ее отец «враг народа», не станут ли дети ее травить? Хорошо еще, если только это, а если физически расправится с ней? Такие случаи были. Как это вообще отразится на ее психике? Маринку я решила отправить к маме, о чём предупредила ее в письме.

Снова я зашла на Холодильник. Место технолога было уже занято, и мне предложили должность товароведа. Надо было доложить «друзьям»...

Меня провели к начальнику. Как всегда, я прежде всего спросила, не выяснилась ли невиновность мужа. Начальник стукнул кулаком по столу: «Да что вы, в конце концов, не понимаете, кто ваш муж? Да разве мы могли бы взять капитана второго ранга без всяких оснований? Разрешение на его арест мы у Москвы запрашивали!» Я была ошеломлена, до этого все сотрудники относились ко мне неизменно корректно, не обрывали меня и, тем более, не кричали на меня. «И вообще, больше к нам не ходите. Следствие закончено, вашего мужа здесь нет, он и его дело отправлены в Москву»,— закончил начальник более спокойно. «Вот возвращаю вам фотографии, изъятые при обыске»,— протянул мне пачку снимков, с обратной стороны которых Бориной рукой были написаны имена и звания заснятых. На мой вопрос, могу ли я поступить работать на Холодильник, он ответил резко: «А зачем вам здесь оставаться? К Севастополю вы уже не имеете никакого отношения. У вас в Ленинграде мать, у вас образование, специальность — уезжайте в Ленинград».

Не сразу я пришла к выводу: да, надо уезжать. Сходила на вокзал. Железная дорога к этому времени была восстановлена, и не надо было добираться до Симферополя, чтобы узнать о ценах на билеты и условиях провоза багажа.

Через несколько дней пришла телеграмма: «Выезжай, ждем, мама». Я стала собираться в дорогу. Наступили ноябрьские праздники. Всюду музыка, улыбки, радостные лица военных моряков. Я не могла спокойно смотреть на их форму, зашла под арку какого-то дома, чтобы спрятать свое лицо от людей.

После праздника я начала распродавать свои вещи. Дня за два до отъезда все, что осталось из моего имущества, я вынесла на пригорок недалеко от нашего дома. Матрасы, тюфяки, одеяла, подушки, кастрюльки, керосинку, мисочки, вазочки — все, чем постепенно обзавелись за три года жизни в Поти. Меня окружили жены военнослужащих и местные жители. В конце дня я потащила через весь город тяжелый тюфяк, проданный с «доставкой на дом». Было жарко, ветер гнал и крутил пыль. Усталая, грязная, я еще растравляла себя: до чего дожила! После распродажи у меня собралась сумма около 500 рублей, которой должно было хватить на переезд в Ленинград и, может быть, недели на две житья там.

Днем я простилась с Керенскими и Валей Карповой. В поезде, держа сына за руку, я вглядывалась в силуэты знакомых зданий и огни ночного города, а мысли были беспросветно темные: вернусь ли я, увижу ли еще Севастополь? Что нас ждет?

Через год от мужа «проскользнуло» письмо. С конца 1953 года условия в лагерях стали меняться. Была разрешена переписка, стали выдавать часть заработанных денег. На них можно было купить хлеб и кое-что в ларьке. Охрана и конвоиры не издевались, как раньше, и до них дошло: может, не все зэки «враги». Бывая по работе в командировках, я всегда старалась ехать через Москву, чтоб зайти в Центральную прокуратуру, на Лубянку.

В последнее посещение в 1955 году мне ответили: «Сейчас ничего сказать не можем. Вина его не доказана, но и противоположных фактов нет. Но что дело будет пересмотрено — обещаем». В 1956 году в лагерях было введено самоуправление. В 1956 году Боря прислал мне разрешение приехать к нему на свидание.

Он встретил меня на «виллисе» с шофером начальника. Лагерь выглядел так, как потом показали в кинокартине «Вокзал для двоих». Признаюсь, я со страхом переступила порог проходной.

А потом... Потом пришло и освобождение.

Первое время муж боялся брать у меня деньги, даже на трамвай. Мы были в полном неведении: где ему теперь работать, куда его возьмут? Его вызвали в Москву, сказали: «Вы можете вернуться в кадры, но вы же так отстали!..» Муж согласился уйти в запас, хотя ему оставался только один год до полной выслуги лет. Начались поиски работы, но бывшего заключенного брать не хотели: «У вас даже нет трудовой книжки!» Из Москвы прислали ордена, потом — облигации. Восстановили в партии. В сентябре 1956 года его приняли экскурсоводом в Центральный Военно-морской музей, в его филиал — на Краснознаменный крейсер «Аврора».

Кроме собственно музейной работы Борис вел активную работу по воспитанию молодежи, пропагандируя революционные и боевые традиции флота. Выступал в воинских частях, на заводах и не только в Ленинграде, но и в других городах страны, даже на Камчатке.

Он получил много благодарностей, грамот от начальников музея, командования военно-морской базы, от адмирала флота Горшкова.

В 1964 году в газете «Известия» появилась статья В. Паллона «Здравствуй, кавторанг». Статья вызвала поток писем. Писали не только такие же пострадавшие, но и люди, не испытавшие этой беды. Они выражали сочувствие.

Приходили письма из лагерей.

Борис Васильевич проработал в Центральном Военно-морском музее 25 лет. Из них около 22-х — на «Авроре».

Совсем недавно. Совсем давно

Константин КУРБАТОВ

КАК ВЫКИДЫВАЛИ ПИКУЛЯ

К истории одной публикации

Подковырист и колюч русский язык. Так и норовит он на каждом шагу выставить напоказ всякую бяку, переиначить на свой ехидный лад любое обозначение. И никакая сила ему не указ. Хоть целая академия наук на него ополчись, он знай свое клонит.

Слово «выкидывать», что я вставил в заголовок, в словаре Даля трактуется так: кидать вон, выбрасывать, выметывать, вышвыривать, браковать, признавать негодным, исключать. И еще (иносказательно): выкинуть шутку, выкинуть флаг, выкинуть весла, выкинуть на счетах.

Но совершенно блистательного советского иносказания «выкидывать» — в смысле пустить в продажу, у Даля, разумеется, нет. Оно появилось уже в наше время. И русским купцам, убежден, не могло присниться в самом страшном сне. То, что они, русские купцы, выкидывали вон, браковали, признавали негодным, вдруг легло на прилавок. С необыкновенной точностью и ехидством охарактеризовав всю нашу торговлю.

Нет у Даля и выражений «выкинуть фортель», «выкинуть номер» и тому подобное. Все это тоже сугубо нашенское, нынешнее.

Я хочу рассказать читателю, как сравнительно недавно кое-кто, чисто по-большевистски, пытался выкинуть Пикуля из литературы и что в ответ на это выкидывал Пикуль, и что творилось в магазинах, когда в продажу выкидывали книги Пикуля. И еще я хочу кое в чем покаяться.

В 1981 году я заведовал отделом прозы журнала «Нева». В те мрачные

времена Валентина Пикуля печатали еще «сквозь зубы». Да и решались на подобную дерзость лишь наиболее пробивные и отчаянные издатели. Чуть раньше, когда у нас в «Неве» главным редактором был Александр Федорович Попов, я как-то заикнулся о Пикуле, но уловил такой взгляд, что мгновенно понял, какую глупость сморозил. А тут к нам пришел новый главный — Дмитрий Терентьевич Хренков. До того пребывавший в должности главного редактора Лениздата и уже имевший некоторый опыт публикаций произведений Пикуля.

Опыт этот заключался в том, что Дмитрий Терентьевич каким-то одному ему ведомым хитроумным способом умел ладить с обкомом КПСС. Его говорили окончательное «нет», а он шел в Смольный снова и снова, стучался во все двери, доказывал и убеждал. И потому, придя в «Неву», он изрек:

— Будем печатать. Пикуль, я знаю, сейчас новый роман кончает — «Три возраста Окини-сан». Его и напечатаем.

Я — ноги в руки, на поезд и в Ригу, где жил Пикуль. Он стоял на учете в Ленинградской писательской организации, а жил в Риге. Отважный Хренков решил дать роман Пикуля явочным порядком. Набрать, поставить в номер, а там действовать по обстоятельствам. Применив, когда дойдет до читки верстки в обкоме партии, тактику ближнего боя.

Наш трудолюбивый обком КПСС в те времена читал все до последней строчки, что готовилось к появлению в ленинградской прессе. Без соответствующего разрешения Смольного у нас в городе никто и ничего напечатать не мог.

Приехав в столицу Латвии и поселившись в гостинице «Рига», я позвонил по телефону Пикулю.

— Жду,— сказал он.

— Как до вас лучше добраться? — поинтересовался я.

Последовала заминка, какое-то бормотание и наконец:

— Тут у нас по улице какой-то троллейбус ходит...

Разговор показался мне странным. Человек живет по данному адресу не первый год, в центре Риги, а как добраться из гостиницы до его дома, не знает.

Вскоре, когда я заявился в квартиру Пикуля, многое разъяснилось. Валентин Саввич принял меня в прихожей чисто по-домашнему. В каких-то ярких клетчатых штанах, в рубашке с закатанными рукавами и носках. Носки то ли шибко разносились, то ли превышали стопу хозяина размера на два.

— Проходите, — пригласил Пикуль, шаркая по паркету носками и делая знак рукой в сторону кабинета.

И мы сразу, без каких-либо вступлений приступили к работе над рукописью. Таков был у Пикуля стиль жизни: главное — литературная работа. Остальное — за борт. Отсюда и незнание, какие троллейбусы ходят по его улице. Разве троллейбусы помогают процессу, происходящему за письменным столом? Отсюда и прическа — никакой прически, просто отросшие после стрижки наголо волосы. Зачем тратить время на парикмахерские? И шлепанье в носках по квартире, как мне показалось, тоже отсюда. Мне так удобно, я так и хожу. Мне некогда задумываться о подобных мелочах.

Кабинет Пикуля — большая комната с письменным столом слева от входа. Стол не у стены, не где-то в уголке, а почти в центре. Как капитанский мостик, с которого хорошо видно. За спиной на полках до потолка — книги. И на правой стене — книги. И перед лицом на открытых полках — книги. Всюду книги. Лишь слева, где окно — занавесь: шелковый военно-морской флаг, подарок моряков. За флагом — неширокая, походного типа койка: место для отдыха.

Он почти никуда не ходил, одержимый единственным делом,— ни в кино, ни в театры, ни на концерты. Адмиралы присылали за ним черные «Волги» и приглашали в президиумы на торжественные вечера. Он отнекивался. У него не хватало времени, он спешил работать. Днем отсыпался, вечером садился за стол. На всю ночь. Так удобнее, меньше отвлекают, меньше мешают.

Единственное, куда его тянуло,— букинистические магазины. Здесь раскалялась его страсть. Букинисты знали Пикуля, привечали его, оставляли книги, звонили по телефону.

И еще он любил переплетчиков.

— Есть у меня знакомый переплетчик,— со смаком рассказывал он.— Чудо! Любую книгу возвращает к оригиналу. В коже, с тиснением. Не отличишь. Гляньте.

И доставал с полки книгу, завороженно гладил ее, ласкал...

С рукописью мы разобрались довольно быстро, в несколько дней. Без особых споров. Не обошлось, правда, и без казусов.

— Валентин Саввич, вот здесь вы приводите слова Ленина, но не указываете источник. Номер тома, страница.

— Зачем? Это ведь художественное произведение, роман. Мог Ленин так сказать? Мог. Вот я и пишу.

— Но откуда вы взяли эти слова? Выдумали?

— Нет. Пожалуйста.

И показывал затрепанный томик воспоминаний какого-то эмигранта, белогвардейского офицера.

— Валентин Саввич! — в ужасе стонал я.— Да кто же такое пропустит?

— Что значит «кто»? — искренне удивлялся он.— Слова-то какие Ленин говорит правильные. Чего же их не пропустить?

Его наивность была поразительна. Удрав из Ленинграда в Ригу, он во многом спас свое сознание от замутненности, догматичности, наступающей из Смольного. Он остался первозданно чистым, не пустив в себя ни партийного редактора, ни цензора. Того, от чего все мы, ленинградские литераторы, оставшиеся в «колыбели революции», уберечь себя не смогли. Пожалуй, за исключением Федора Абрамова.

Когда набрали роман Пикуля и сверстали очередной номер «Невы», мы затаили дыхание. Что-то скажет Смольный.

Смольный сказал:

— Да вы что? Вам партийные билеты надоели?

И Хренков отправился по сановным кабинетам. Выпуск журнала задерживался. Главный возвращался из Смольного хмурым и разводил руками. Наконец — первый просвет.

— Они согласны дать «добро», если Пикуль повернет основную линию романа в нужное русло.

Суть «нужного русла» заключалась в следующем. У героя романа адмирала царского флота Коковцева три сына. И все трое тоже становятся военными моряками. Двое перед революцией погибают в морских сражениях. Третий, Никита, становится большевиком. Отец и всегда-то не сходился взглядами с Никитой, а тут — окончательный разрыв.

— Нужно сделать,— разъяснил мне Хренков,— чтобы Никита оказался зорче отца, чтобы он одержал верх в их идейном споре.

Я — снова в Ригу.

— Как это — чтобы он одержал верх? — поразился Пикуль.— Ничего он не мог одержать. Разве вы сами не видите, что большевики к сегодняшнему дню совершили с Россией?

— Валентин Саввич! — взмолился я.— Но в ином случае роман не выйдет ни в журнале, ни в издательстве.

— Ну и хрен с ними! — парировал он.— Когда-нибудь все равно выйдет.

Уламывал я его два дня.

— Нет! — твердил Пикуль.— Да чтобы я собственной рукой... Никогда!

— А если не собственной? — отчаявшись, предложил я.

— Вы? — насторожился он.

— Дайте попробую.

И попробовал. Цитирую свою «пробу» по книге, выпущенной издательством «Современник» в 1985 году. По книге, которую прислал мне с дарственной надписью Пикуль. В той надписи, как мне кажется, таится легкая, на всю жизнь теперь со мной неразлучная, пикулевская ухмылка: «Константину Ивановичу Курбатову — моему коллеге».

В романе адмирал Коковцев окончательно порывает с сыном Никитой и выгоняет его из дома. Кричит:

— Уходи! Чтоб я больше тебя не видел!

А дальше то, от чего потом болезненно морщился и отворачивался Пикуль. Вложенный мною по велению партии в уста Никиты монолог (стр. 344—345):

«— Я уйду, отец,— ответил Никита,— но на прощание все-таки кое-что скажу тебе. В твоем представлении вместе с царизмом и буржуазией рухнул мир. Но в представлении большинства населения России наша страна с революцией лишь поднялась к жизни. При рождении тебе повезло. Ты появился на свет здоровым и в семье, которая имела достаток. Тебе дали хорошее образование и щедро оплачиваемую должность. А как же те девяносто пять процентов населения России и ее окраин, те бесправные рабы на фабриках и земельных делянках? Без воспитания, образования, без элементарных бытовых удобств и медицинской помощи, в грязи, болезнях, навозе? Они трудились по двенадцати и шестнадцати часов в день, чтобы остальные пять (если не меньше) процентов привилегированных жителей страны ни в чем не ощущали нехватки. И ты, адмирал, действительно ни в чем не нуждался. Так или нет? Теперь ты плачешь по прошлому. Тебе не по душе настоящее. Знаешь, почему? Только потому, что ты печешься о собственной персоне, а мы, большевики, думаем о всех, о каждом человеке своей страны, да и всех стран земного шара. Вот в чем наши разногласия. Ты еще не попал в изгои, отец. Ты еще не знаешь, что это такое. Ты все еще живешь лучше вчерашнего быдла. И не дай тебе бог попасть в их ряды. Или — для большей убедительности — в ряды отверженных, когда остаются без работы, без крыши над головой, без куска хлеба, в болячках, беспомощные, старые. Таких тоже хватало в несчастной России. И их тоже было больше, чем вас, довольных и слепых эгоистов. Мне жаль тебя в твоей слепоте, отец. Прощай!»

Вот какой я, коллега Пикуля, был десять лет назад умный и политически зрелый, вот как я активно отстаивал наш социалистический выбор, как верил в светлое будущее. В которое Пикуль уже тогда напрочь не верил.

В обкоме КПСС монолог Никиты понравился. Но роман они к читателю все равно пускать не хотели.

И придумали совершенно невыполнимое условие: привезти в два дня визу из Министерства иностранных дел. В два дня потому, что истекал последний типографский срок. Нужно было или через два дня подписывать номер к печати, или ставить вместо Пикуля другой материал.

За два дня! Кто, интересно, за два дня сумеет прочесть толстенный роман и дать на него положительную рецензию? Только положительную! Выручил анекдот. Что такое социализм? — говорили в те времена. И отвечали: это когда все вместе — за, а все порознь — против. Соответственно анекдоту в любом министерстве тоже сидели нормальные люди, даже в чрезвычайно ответственных кабинетах. Те самые люди, которые вместе — за, а порознь — против. Хренков позвонил в один из тех кабинетов своему давнему знакомому. Тот оказался поклонником творчества Пикуля. На другой день я сидел напротив поднебесного лица за его дубовым столом.

— Считаете, хороший роман? — прорычал басок.

— Хороший,— подтвердил я.

— И не пускают?

— Ни в какую.

Басок вызвал стенографистку. Я продиктовал ей свое аргументированное мнение о романе. Внизу отпечатанного текста появились веские подпись и печать.

— С богом,— пожал мне руку министерский чин.

В обкоме партии не поверили своим глазам. Но деваться было некуда. И роман явился свету.

И последнее о том, как выбрасывали Пикуля. Вернее, предпоследнее. На Новый, 1982-й, год я посылал Пикулю поздравление. Что же такое написать ему? И вдруг мне стукнуло. Шел мимо Дома книги. По каналу Грибоедова почти до самого храма Спаса-на-Крови — очередища. Оказывается: выкинули Пикуля.

Здесь же сама собой родилась пародия.

С Новым годом, адмирал!

Конечно, в мире сейчас жутковато. Это накладывает особый отпечаток. На днях я шел домой по каналу Грибоедова. Заснеженный город отражался в лужах люминисцентием ламп. Очередь у Дома книги упиралась хвостом в храм Спаса-на-Крови. Пересвистывались милиционеры в шапках.

— Не пойму, товарищи, за чем давка и кто здесь последний? — спросил я.

Изумительной красоты девица, вылитая правнучка Окини-сан, персиковая и раскосая, отвечала жеманно:

— Говорят, Пикуля привезли. Сейчас выкинут.

В сырых ботинках мерзли ноги. Правнучка Окини-сан кокетливо сморкалась и кашляла. В каменных излучинах кровавого Спаса зябко дремали голуби.

. . . .

Пойми, Валентин Саввич, Россию ломает на сгибе двух мнений относительно твоего имени. Михаил Шолохов еще щедро купает коней в милом его сердцу тихом Доне. А молодой Валентин Распутин, затмивший громкой славой своего печально известного однофамильца, уже подбирается к самой вершине Олимпа.

— Чего ради этот Пикуль накатал столько исторических романов? — дерзят одни.

— Даешь Пикуля! — свирепо требуют другие.

Выручай, друг, так дальше продолжаться не может.

. . . .

Вечер. За окнами вьюжит снег. У Казанского собора, где когда-то со страстными речами выступал Георгий Плеханов, снова вместо елок продают палки. А книг Пикуля так и не выкинули. Спрашивается: почему?

Правнучка Окини-сан пламенно температурит. Я устойчиво хандрю.

Прощай, адмирал!

Как мало я написал тебе.

Твой, стоящий за тобой в очереди,

К. КУРБАТОВ.

Написав пародию, я перекладывал ее с места на место, да так и не отправил Пикулю. Что-то остановило меня. А может, зря? Опустил в почтовый ящик обычную новогоднюю открытку.



То, о чем вспоминаю сегодня, не лишено и прагматизма. Хотелось бы, чтобы при очередном переиздании романа Пикуля «Три возраста Окини-сан» редактор, опираясь на эту статью, выкинул из текста монолог Никиты, не имеющий к Пикулю никакого отношения.

Выкинул... Какое хитрое словечко — «выкидывать». Употребляю его в последний раз. И уже, так сказать, в первородном его значении, в изначальном. Очень бы хотелось, чтобы выкинули ту пакость, которую я десять лет назад невольно сотворил. Чтобы сняли с моей души грех.

Фотографию Пикуля я сделал 11 марта 1981 года. Публикуется она впервые.

СОДЕРЖАНИЕ за 1991 год

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКИ

СТИХИ

ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛЕМИКА

ВСПОМИНАЕМ...

ПИСЬМА ИЗ ЭМИГРАЦИИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ